

ISSN 0130-7673

НОВЫЙ МИР

МИР

НОВЫЙ

2003

9

2003

НОВЫЙ ВЕК, НОВЫЙ МИР

БУДЬ КОНСЕРВАТОРОМ, ВЫБЕРИ СВОБОДУ

**В 2003 И В НАЧАЛЕ 2004 ГОДА «НОВЫЙ МИР»
ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ:**

- АНАТОЛИЙ АЗОЛЬСКИЙ.** Кандидат (повесть);
ОЛЕГ БОРУШКО. Класс «А» (роман);
СЕРГЕЙ БОЧАРОВ. Петербургский пейзаж;
ИГОРЬ БУЛКАТЫ. Кавказский лабиринт (роман);
РАВИЛЬ БУХАРАЕВ. Гость случайный (роман-эссе);
ДМИТРИЙ БЫКОВ. Отвращение (роман);
АЛЕКСЕЙ ВАРЛАМОВ. Новая повесть;
АННА ВАСИЛЕВСКАЯ. Книга о жизни (предвоенные главы);
СВЕТЛАНА ВАСИЛЕНКО. Мария из Магдалы (повесть);
ВЛАДИМИР ГЛОЦЕР. Я помню;
ВАСИЛИЙ ГОЛОВАНОВ. Избранные места для переписки с
друзьями (роман);
НИНА ГОРЛАНОВА, ВЯЧЕСЛАВ БУКУР. Повесть о герое
Василии и подвижнице Серафиме;
ЛИДИЯ ГРИГОРЬЕВА. Прекрасная чужбина (эссе);
БОРИС ЕКИМОВ. Рассказы и очерки;
ОЛЕГ ЕРМАКОВ. Возвращение в Кандагар (повесть);
АЛЕКСЕЙ В. ИВАНОВ. Вниз по реке Теснин (исторический
роман);
ЕЛЕНА ИСАЕВА. Первый мужчина (театр.doc);
ФАЗИЛЬ ИСКАНДЕР. Новые рассказы;
АНАТОЛИЙ КИМ. Сеть (повесть);
НИКОЛАЙ КОНОНОВ. Нежный театр (шоковый роман);
ВЛАДИМИР КРАВЧЕНКО. Вечный календарь (роман);
МИХАИЛ КУРАЕВ. Дом без адреса (повесть);
АЛЕКСАНДР КУШНЕР. Мимо жимолости и сирени (стихи);
ОЛЕГ ЛАРИН. Пейзаж из криков (повесть);
ИННА ЛИСНЯНСКАЯ. Без тебя (стихи);
ВЛАДИМИР МАКАНИН. Могли ли демократы написать гимн...
(рассказ);

(См. на обороте)

АННА МАТВЕЕВА. **Небеса** (роман);
ВЛАДИМИР НОВИКОВ. **Моншер** (роман);
ОЛЕГ ПАВЛОВ. **Чаровщина**;
ЮРИЙ ПЕТКЕВИЧ. **Заморозки** (повесть);
ИРИНА ПОВОЛОЦКАЯ. **Пустырь** (повесть);
ДМИТРИЙ ПОЛИЩУК. **Мастер пения** (стихи);
ЕЛЕНА РАБИНОВИЧ. **Филологические новеллы**;
ЕВГЕНИЙ РЕЙН. **Избранник** (роман);
МАРК РОЗОВСКИЙ. **Театральный человек** (документальное повествование);
ДИНА РУБИНА. **На солнечной стороне улицы** (роман);
РОМАН СЕНЧИН. **Вперед и вверх на севших батарейках** (повесть);
ОЛЬГА СЛАВНИКОВА. **Период** (роман);
АЛЕКСЕЙ СЛАПОВСКИЙ. **Новая проза**;
АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН. **Угодило зёрнышко промеж двух жерновов. Очерки изгнания; Этюды из «Литературной коллекции»**;
МИХАИЛ ТАРКОВСКИЙ. **Бабушкин спирт** (повесть);
АЛЕКСАНДР ТИТОВ. **Прощание с гармонистом** (роман);
ЛЮДМИЛА УЛИЦКАЯ. **Сансаныч** (повесть);
АНТОН УТКИН. **Брейгель-младший; Приближение к Тендре** (рассказы);
СЕРГЕЙ ШАРГУНОВ. **Откос** (повесть);
ДМИТРИЙ ШЕВАРОВ. **Пушкинский бульвар** (сюжеты);
ГУСТАВ ШПЕТ. **«Я пишу как эхо Другого...»** (письма к жене);
ГАЛИНА ЩЕРБАКОВА. **Новая повесть**;

а также стихи ТАТЬЯНЫ БЕК, БАХЫТА КЕНЖЕЕВА, ГРИГОРИЯ КРУЖКОВА, ЮРИЯ КУБЛАНОВСКОГО, ВИКТОРА КУЛЛЭ, ОЛЕСИ НИКОЛАЕВОЙ, ОЛЬГИ ПОСТНИКОВОЙ, СЕРГЕЯ СТРАТАНОВСКОГО, ОЛЕГА ЧУХОНЦЕВА, ЕЛЕНУ ШВАРЦ, статьи, обзоры, эссе КИРИЛЛА АНКУДИНОВА, ДМИТРИЯ БАКА, СЕРГЕЯ БОРОВИКОВА, ДМИТРИЯ БЫКОВА, ВЛАДИМИРА ГУБАЙЛОВСКОГО, НИКИТЫ ЕЛИСЕЕВА, ЕВГЕНИЯ ЕРМОЛИНА, ЮРИЯ КАГРАМАНОВА, ТАТЬЯНЫ КАСАТКИНОЙ, АЛЛЫ ЛАТЫНИНОЙ, АЛЛЫ МАРЧЕНКО, ВАЛЕНТИНА НЕПОМНЯЩЕГО, ЛИЛИ ПАНН, МАРИИ РЕМИЗОВОЙ, ВАЛЕРИЯ СЕНДЕРОВА, ИРИНЫ СУРАТ, ТАТЬЯНЫ ЧЕРЕДНИЧЕНКО и других авторов.

NEW!

Частные лица и организации, находящиеся в любой точке земного шара за пределами Российской Федерации и стран СНГ, могут подписаться на журнал «НОВЫЙ МИР» без посредников, круглый год, с любого месяца, на любой срок и на любое количество экземпляров.

СПОСОБ ЗАКАЗА: по факсу, по электронной почте или по Заявке (см. ниже).

СПОСОБ ОПЛАТЫ: 100 % предоплаты на счет ЗАО «Редакция журнала „Новый мир“» № 40702840938040101095 в Московском банке Сбербанка г. Москвы, Российская Федерация, Тверское отделение 7982, корп. счет 30301840638000603804.

Tverskoe OSB 7982 MB SBERBANK PF, Moscow, Russia, ACC. 30301840638000603804, ACC. Beneficiary: 40702840938040101095.

Заявка принимается к исполнению с момента поступления денег на счет редакции. О возможности купить номера журнала за прошлые годы можно узнать в редакции.

СТОИМОСТЬ одного экземпляра в 2003 году: \$ 10,

СТОИМОСТЬ годового комплекта: \$ 120.

ЗАО «Редакция журнала „Новый мир“» обязуется: отправлять заказчикам журналы в экспортном исполнении (белой обложке) по почте бандеролью в течение 5 дней с момента выхода тиража за счет редакции, обменивать бракованные экземпляры или повторно высылать не полученные заказчиком экземпляры за счет редакции, немедленно информировать заказчиков о всех затрагивающих их изменениях (объем журнала, периодичность, цена и проч.).

С момента передачи оплаченного тиража журнала на Московский почтамт обязательства продавца считаются выполненными и право собственности переходит к подписчику.

Адрес редакции: Россия, 127994, ГСП-4, Москва, К-6,
Малый Путинковский переулок, 1/2, Редакция журнала «Новый мир».
Телефон/факс: (095) 200-08-29, (095) 209-62-13.
E-mail: novy-mir@mtu-net.ru

Заявка на подписку на журнал «НОВЫЙ МИР»

(вырезать или ксерокопировать Заявку,
заполнить и отправить в редакцию по почте или по факсу либо
отправить все требуемые в Заявке сведения по факсу или по электронной почте)

Я (фамилия, имя или название организации) _____

прошу подписать меня на ежемесячный журнал «Новый мир»

с _____ (месяц, год) на _____ месяцев.

Количество экземпляров _____

Стоимость заказа _____ (число месяцев x число экземпляров x \$ 10).

Дата оплаты (Заявка заполняется и отправляется в редакцию после оплаты) _____

Контактный телефон (факс, e-mail) _____

Адрес для отправки журнала (почтовый индекс, страна, город, улица, дом, имя и фамилия получателя) _____

Подпись заказчика и дата заполнения Заявки _____

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Подписные индексы «Нового мира» в зеленом Объединенном каталоге «Подписки-2004. Пресса России»: 70636 — для индивидуальных подписчиков и библиотек (на полугодие — 444 рубля плюс стоимость доставки), 16410 — для предприятий и организаций. Спрашивайте этот каталог во всех отделениях связи.

Те из вас, кто имеет возможность приходить за журналом в редакцию «Нового мира», могут оформить *льготную* подписку по адресу: Малый Путинковский переулок, 1/2 (м. «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская»), в понедельник, вторник, среду, четверг с 10 до 17 часов. Для членов творческих союзов, преподавателей высших и средних учебных заведений, студентов вузов, постоянных подписчиков, пенсионеров и инвалидов в редакции предусмотрены дополнительные льготы.

В редакции можно приобрести отдельные номера «Нового мира». Журналы выдаются подписчикам в понедельник, вторник, среду, четверг с 10 до 18 часов. (Справки по тел. 200-08-29.)

Спрашивайте наш журнал в московских книжных магазинах «Ad Marginem» (1-й Новокузнецкий переулок, 5/7), «Библио-глобус» (Мясницкая, 6), «Гилея» (Нахимовский проспект, 51/21), «Графоман» (1-й Крутицкий переулок, 3), «Летний сад» (Большая Никитская, 46), «Мир печати» (2-я Тверская-Ямская, 54), «Эйдос» (Татарская, 5, стр. 2).

Распространением журнала «Новый мир» за рубежом занимаются: германская фирма «Кубон унд Загнер» (Kubon & Sagner. D-80328 München Germany. Tel. (089) 54-218-130. Telex: 5216711 kusa d. Fax (089) 54-218-218; Электронная почта: postmaster@kubon-sagner.de Адрес в Сети: <http://www.kubon-sagner.de/ksinfo>)

американская фирма «Ист Вью Паблликейшенз» (East View Publications, Inc. 3020 Harbor Lane North Minneapolis, MN 55447 USA. Tel. (763) 550-0961. Fax (763) 559-2931. В Москве тел. (095) 318-09-37, факс (095) 318-08-81).

Уважаемые зарубежные подписчики!

Экземпляры журнала, предназначенные для распространения за пределами России и стран СНГ,

выходят в обложке белого цвета с надписью «Novy Mir».

Приобретая «Новый мир» в голубой обложке, вы отдаете свои деньги фирмам, не связанным официальным контрактом с журналом, что наносит редакции финансовый ущерб.

Вы очень поможете «Новому миру», оформляя подписку через наших официальных распространителей (см. стр. 4) или через редакцию журнала (см. стр. 3).

НОВОСТИ МИРА®

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г.

№ 9 (941)

Сентябрь, 2003 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ИНГА КУЗНЕЦОВА — У окраины сердца, стихи	7
ВЛАДИМИР МАКАНИН — Долгожители, рассказ	10
ИГОРЬ МЕЛАМЕД — После многих вод... Стихи	20
АЛЕКСАНДР МЕЛИХОВ — Чума, роман	24
ТАТЬЯНА МИЛОВА — Не доверяйся штилю, стихи	83
ВЯЧЕСЛАВ ПЬЕЦУХ — Три рассказа	88
КИРИЛЛ КОВАЛЬДЖИ — Смена светотени, стихи	105

ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

БОРИС ЕКИМОВ — Оставленные хутора	108
-----------------------------------	-----

ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

ЮРИЙ САККОВ — Два упущенных полугодия. Об одном краткосрочном увлечении Голливуда	122
---	-----

ВРЕМЕНА И НРАВЫ

ЮЛИЯ УШАКОВА — Атипичная религиозность в постсоветской России	133
Священник ВЛАДИМИР ВИГИЛЯНСКИЙ — СМИ и православие. Информационные войны вокруг «Основ православной культуры»	150

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

АЛЕКСАНДР КУШНЕР — Заболоцкий и Пастернак	174
---	-----

РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ

Кирилл Анкудинов. Превращенный	182
Дмитрий Бак. Science fiction again, или Снова нон-фикшн?	186
Юрий Каграманов. Артур Кёстлер в роли товарища	188
Ольга Канунникова. Пилигрим в утопию	191

(См. на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

КНИЖНАЯ ПОЛКА ПАВЛА КРЮЧКОВА	195
ТЕАТРАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК ГРИГОРИЯ ЗАСЛАВСКОГО	202
КИНООБОЗРЕНИЕ НАТАЛЬИ СИРИВЛИ	205
WWW-ОБОЗРЕНИЕ ВЛАДИМИРА ГУБАЙЛОВСКОГО	208

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ЛИСТКИ

Книги (составитель Сергей Костырко)	214
Периодика (составители Андрей Василевский, Павел Крючков)	218
SUMMARY	240

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ БИБЛИОТЕК!

**КАК ВЫ ХОРОШО ЗНАЕТЕ,
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ПОЛНОСТЬЮ ПРЕКРАЩЕНЫ
БЕСПЛАТНЫЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ РАССЫЛКИ «НОВОГО
МИРА» ДЛЯ БИБЛИОТЕК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
КОТОРЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯЛИСЬ РАНЕЕ ИНСТИТУТОМ
«ОТКРЫТОЕ ОБЩЕСТВО» (ФОНДОМ СОРОСА).**

**У РЕДАКЦИИ НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНО
ОСУЩЕСТВЛЯТЬ БЕЗВОЗМЕЗДНУЮ РАССЫЛКУ
ДАЖЕ В БОЛЕЕ СКРОМНЫХ МАСШТАБАХ.**

**ПРОСИМ ВАС НЕ ЗАБЫТЬ ПРОДЛИТЬ/ВОЗОБНОВИТЬ
ПОДПИСКУ НА 2004 ГОД, ПОСКОЛЬКУ У МНОГИХ НАШИХ
ПОСТОЯННЫХ ЧИТАТЕЛЕЙ НЕТ ИНОЙ ВОЗМОЖНОСТИ
ЗНАКОМИТЬСЯ СО СВЕЖИМИ НОМЕРАМИ ЖУРНАЛА,
КРОМЕ КАК В БИБЛИОТЕКЕ.**

**ПОДПИСЫВАЯСЬ СЕГОДНЯ НА «НОВЫЙ МИР»,
ВЫ ПОДДЕРЖИВАЕТЕ НЕЗАВИСИМЫЙ ЖУРНАЛ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ
МЫСЛИ, КОТОРЫЙ ЗА ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ ТРИ ЧЕТВЕРТИ
XX ВЕКА САМ СТАЛ ОДНОЙ ИЗ РОССИЙСКИХ
КУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ.**

Издание выходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства Российской Федерации по делам печати, теле-радиовещания и средств массовых коммуникаций.

ИНГА КУЗНЕЦОВА

*

У ОКРАИНЫ СЕРДЦА

* *
*

Выдохнуть бьющуюся в гортани
бабочку и неживую природой
лечь, упуская эры братаний
видов, возвращенных на кислороде.

Женщина, гумус, материя — мерить
нечего. Эти различья подобны.
Значит, я ближе и к жизни, и к смерти.
Бабочка вздрогнула, сев поудобней.

* *
*

Терпенье, терпенье — вот все, что осталось теперь,
когда наступает песчаное время потерь,
пустынное время разбрасывать силы и камни.
И если ты скажешь: опомнись, вернись, собери —
иль ты позабыла о ветках, растущих внутри? —
ответу тебе: эта тяжесть теперь велика мне.

Воткни меня в землю и деревом хрупким храни.
Ты знаешь, какая здесь почва — песок и гранит.
Присядешь в тени и подсохшие соты граната
разломишь — а это твои промелькнувшие дни.
Каким незамеченным счастьем сочатся они!
И ты их глотаешь — постфактум, спеша, воровато.

Как много просроченных подвигов в плане, но где
нам здесь научиться неслышно ходить по воде?
Как выпить обиду до дна, до касанья губами
одежды врага, ведь всегда он на той стороне,
смеется над нами, паяцем бежит по стене?
О, как же расти, ни препятствия не огибая?

Ты говоришь

Ты говоришь:

«Эта пугающе-липкая мгла,
 что ползет от торфяников, в горле и горечь, и жженье
 оставляя, гигантской бесформенной тварью была:
 вырывала прохожих слабеющие растения
 и глотала их. Как я боялся тебя не найти!
 И, стеклянный сосуд-оболочку тебе выдувая
 из спасительных слов, я бежал переулком, и ты
 чудом встретила мне. Но стекло расколосось, едва я
 обнял тебя».

Если бы я... Если б я только могла
 удержать этот сон, этот миг, этот мир от разрыва и поражения,
 но сама я фигурка в огне, и огонь, и зола,
 и ни зла, ни добра нет уже при таком приближенье
 к тебе. Если бы ты... Но уже никаких
 «бы» не построить на узкой полоске у самого края
 земли. И пока это пламя не стих-
 нет, буду стоять, как трава, до корней прогорая.

* *
 *

Неужели и ты из тех, кто
 сминает рельеф, как текто-
 нический сдвиг, как техно-
 кратический бум, как тот
 прославленный архитектор,
 что строит дворцы пустот?

И ты — лишь о том, о том же
 оскоминном: о подкожном
 смятенье, о том, что тоньше,
 беспомощней и грубей
 словесной игры роскошной,
 оставшиеся на губе?

Как мне пролететь над женско-
 мужским, неумелым жестом
 ни флюгера хриплой жести,
 ни облака не задев?
 Не выдразнить тьму нашествий,
 таящуюся везде.

* *
 *

Она щетинится, как щетка.
 Она как горькая таблетка
 под языком и как щепотка
 песка меж пальцев. Точно едко
 смеющаяся сигарета
 в руке ребенка. Будто стройка
 заброшенная, а порой как
 запах сбежавшего супа, сильных лекарств, перегара
 и крови на лестничной клетке.

Во всем — в затоптанных прожилках
 листы (пропробуй не поддаться!),
 и трупиках чешуекрылых
 на подоконниках издательств,
 и в том, как зонт поникшей птицей
 лежит, поджав больную спицу...
 Она внутри меня гнездится —
 тоска, тщета.

* *
 *

Ты открываешь во мне неизвестные земли. Еще никогда
 там не ступала нога европейца. Только туземцев
 странные гимны слышала эта вода,
 этот залив у окраины сердца.

Да, человек до поры запечатан, как свернутый в трубочку лист —
 в толстостенной бутылке, отчаянно бьющийся пленник.
 Как мельчайшая буква, которую окулист,
 дальноркость измерив, покажет последней.

* *
 *

С. Я.

Утром проснешься: ветер в затылке, смутная память о саде.
 Пух тополиный стружкой овечьей тихо бежит по земле.
 Время, как дождь, в трещинах гибнет и выпадает в осадок
 на оболочке глаза, бумаге, стекле.

Облако, дерево, птица с растянутым горлом, с отколотым краем
 чашка, забытая книга, в которой тебе не хватает страниц,
 запах нагретой травы, полустертой мелодией долгоиграя,
 тихо звучащий с наветренной стороны, —

где ты? А Бог весть. Восточнее Запада, западнее Востока,
 там, в междуречье сквозных совпадений, в кибитке дрожишь кочевой.
 Едешь в подземке, гулко гремящей ржавой трубой водостока,
 по кольцевой.

Там, между азом и ять, между точной разборчивостью книгочех
 и сумасшествием нищего, дервиша, пробующего на слух
 все, что еще не возникло из мысленных сот, из неясных ячеек —
 и возникает навеки, захваченное врасплох;

здесь, где текучее время тонирует зренья, что твой полароид —
 пленку, и все, что увидишь, как будто под бежевым слоем песка,
 ты остановишься, чтобы пройти сквозь поверхность и медленно строить
 маленький дом на окраине языка.



ВЛАДИМИР МАКАНИН

*

ДОЛГОЖИТЕЛИ

Рассказ

По типологии (если в первом приближении) он был просто честный человек и *энтузиаст*. Однако жизнь нас прищипливает на конкретные булавки. Жизнь груба... Жизнь заставит определиться пожестче. А потому в своем исследовательском институте стареющий Виктор Сушков являл собой знакомый всем тип шестидесятых и семидесятых — он был, как вокруг пошучивали, **БОРЕЦ ЗА ПРАВА, БЕГАЮЩИЙ ПО КОРИДОРАМ**. Когда-то он был напористым комсомольцем... Когда-то активным профсоюзным деятелем... Теперь он был симпатичный шустрый старичок.

Едва слышав про какую-то несправедливость начальствующих, про их подлянку или обычный зажим рядового сотрудника, Виктор Сергеевич тотчас начинал собирать подписи. Это в нем осталось. Старый гвардеец... Суетлив, конечно. Однако в нескольких случаях он все-таки не дал выгнать человека с работы, а кому-то сумел — помог с жильем. А то и защитил женщину, не позволив ее травить... Само собой, хороший семьянин. Инженер Сушков, чуть что собирающий подписи!.. С этажа на этаж — торопится, бежит по коридору Института, и глаза так серьезны. Таким бы ему и запомниться! Но, увы, еще постарел... В маленьких честных его глазках проступило неостребованное. И жалкое. И уже не напирал, а просил. В руках, как водится, бумага. С письмом... С заявлением... С протестом... И наготове дешевенькая шариковая авторучка — отзовет в сторону, просит: подпиши.

Но люди в коридорах — они ведь такие! В большинстве своем хуже Виктора, они не сомневались, что они лучше. (Мы ведь такие.) Когда Виктор Сергеевич Сушков в 65 ушел-таки на пенсию, эти самые люди, сослуживцы, кислили физиономию ему вслед. И меж собой характеризовали его, *романтика по-советски*, до обидности кратко:

— Зануда... Житья не давал.

А был еще Виктор Одинцов — давний по жизни (по юности) приятель Виктора Сушкова. Как тип — прямо ему противоположный, сам в себе. И совсем не говорун. Молчалив... Этаким рослый малообщительный мужчина... Скрытный (и удачливый) любитель молоденьких женщин.

Этот мрачноватый Одинцов был холостяк (оправдывал фамилию). И был он, вплоть до выхода на пенсию, фотограф. Но не классный. Просто работа. Заведовал фотоателье, что по тем нашим временам кое-что значило. *Мастро*... Человек, более или менее известный, если кружить возле метро «Таганская».

Штат его ателье был невелик — один качок-охранник и три-четыре девицы, не больше. Эти тонкие женские ручонки помогали Одинцову в его

Маканин Владимир Семенович родился в 1937 году в Орске Оренбургской области. Окончил МГУ. Живет в Москве. Постоянный автор «Нового мира».

Из книги «Высокая-высокая луна». (См. также: «Однодневная война» — «Новый мир», 2001, № 10; «Неадекватен» и «За кого проголосует маленький человек» — «Новый мир», 2002, № 5; «Без политики» — «Новый мир», 2003, № 8.)

фототрудах и оформляли, как заведено, всякие платежи. Бумаги. Квитанции... Девицы были собой очень даже недурны. Что было видно уже сразу с улицы — через большое стекло его маленького ателье.

Поскольку начальник самолично решал, кого оставить на нехитрой работе, а кого нет, девицы от Виктора вполне зависели, и он этим вполне пользовался. Раз в два года наш мрачноватый одинокий Одинцов менял контингент и вновь им пользовался. Умел!.. Любопытно, что Виктор проделывал все это буднично, как бы нехотя. Лицом насупившись... И молчком. Такой вот мужчина. Жил с одной, жил с другой. (Начинал он почему-то с самой скромной, с дурнушки.) А то и с двумя сразу жил, разнобразя себе неделю. Но, кажется, тоже без страсти. Тоже спокойно. Только чтобы не мучили желания. (Не каждый же день большая любовь!..)

Однажды в середине дня заглянув к ним в фотоателье и не найдя Одинцова, я спросил у трудового народа, где Виктор Олегович. Не вышел ли куда пообедать старый седой барсук — и не сказал ли чего?

— Сказал?.. Разве он умеет говорить? — вмазала мне одна из девиц, и вокруг дружно захихикали.

— Едем порыбачить? На пару дней, а? — спрашивал мрачноватого Виктора Одинцова говорливый Виктор Сушков. Звонил ему... И они сговаривались. (Обычно после получения пенсии.)

— Едем.

Порыбачить — значило посидеть с удочками, слегка попьанствовать. Повспоминать молодость... Поностальгировать. А что еще делать двум (наконец-то!) пенсионерам. Они это здорово придумали! Они посылали весь мир на хер. Запасясь продуктами, они съезжались и ловили рыбку. Забравшись в глухое Подмоскowie... Ночуя в развалюхе избе.

Приезжал иногда к ним и я.

Но в их разговорах было кое-что еще. Кое-что удивительное!.. Оба Виктора ощущали себя долгожителями. Они это обнаружили вдруг. У них обоих, как выяснилось, бабки и деды жили по сто лет... Разве это не обзывает? (Жить!) Разве это не вдохновляет?.. Так что даже теперь, на пенсии, жизнь обоих Викторов отнюдь не кончалась — вся их долгая жизнь была еще впереди.

Когда они, оба в азарте, заводили речь о своем сокровенном, казалось, оба слегка спятили! Сколько жара, огня!.. Долгожительство стало их идеей, их пунктиком. Их восклицательным знаком!.. Открывшимся (наконец) смыслом их бытия.

Кстати сказать, Виктор Сушков и я тоже могли бы поговорить о прочем-разном. Виктор Сушков мой земляк. Из Оренбуржья, и даже район один. Тоже ведь можно было повспоминать. Подергивая удилищами. Попивая водочку... Припомнить словечки. Оживить давний лесок, холмы — географию детства.

Однако же нет! В основном разговоры вели они — два Виктора. Их было не перебить. Мрачноватый Одинцов тоже к этим годам разговорился! (Выйдя на пенсию!) Именно долгожительство (притом соревновательное, кто дольше!) стало любимым их сюжетом. Будущие долгие-долгие дни — вот что их привлекало. Вот что подталкивало заскучавшую было у реки мысль... Будущее манило. Будущее (почти бесконечное) их ждало — и они смело шагали ему навстречу. В конце концов, пенсии им хватает. Много ли им надо!..

Это будущее завлекало, как увлекает, скажем, игра на деньги. Или как под парусом. Они поймали ветер!.. Я с трудом их понимал. Но что-то я тоже чувствовал. Задевало... Некая абстрактная светлая даль. Невозможно было не почувствовать их живой восторг, их упоение нечаянно найденным кладом.

А шуточные «дарственные» друг другу! А завещания! Это уж точно был род азартной забавы. Интеллектуальная игра ничем не занятых стариков. Происходило это изысканное действо картинно: оба Виктора, безмерно гордые, обменивались «бумагами». Самосочиненными текстами. Галантно... Из рук в руки... При свидетеле (в моем, скажем, присутствии) — тексты зачитывались. Когда знаешь, что проживешь сто лет, завещать — это большая радость. У костра — вслух! С удовольствием. Со вкусом... С повторением выигрышных словечек. Юридические скользкие термины. Крючковатые фразы. Весь этот бред нотариальных контор.

Зачитывалось, перечитывалось, пересмеивалось и... сжигалось. Вот оно, наше наследство. Гори!.. Благо костер в шаге. Что-то здесь было от киношного сжигания денег. Сначала, как бы дразня «наследника», колебались: еще только держали уголком бумаги у самого края огня. Языки пламени тянулись, лизали. И наконец огонь получал... Хватал... В какую-то секунду огонь поглощал этот опус, так мгновенно исчезающий, но так смело заигрывавший с вечностью.

— А вот тебе еще. Послушай!

— Ну-ка...

— Дарю... Отрываю, можно сказать, от сердца, — начинал один из Викторов зачитывать другому свое новое дарение.

Жизнь человека и жизнь вещи... Невозможность (или все-таки возможность) противостоять Времени. Каким-то косвенным образом то и это в их игровой забаве увязывалось. Сказать, что «совки» запоздало ощутили (наконец-то) вкус собственности, мне не хочется. (Мелковато.) Скорее уж, напротив. Их, долгожителей, забавляло бессилие вещей. Обреченность вещей... Их это поддразнивало. Их щекотало... И чего, чего только не отдавалось! Так гр. Виктор Одинцов завещал после своей *нескорой* смерти гр. Виктору Сушкову свой старенький «жигуль» (который, как оба прекрасно знали, не протянет и двух-трех очередных лет). В другой «бумаге» он оставял тезке-долгожителю чайный сервиз, *недорогой, но хрупкий* — терявшийся, как все мы знали, чашку за чашкой в наших частых чаепитиях у реки. И в подпитиях тоже... Мы всё пили из чашек.

Зато Виктор Сушков, как все бывшие романтики, не умел сосредоточиться на ценном и завещал гр. Виктору Одинцову чаще всего *Разное... Стертый коврик*, что будет позаимствован из коридора их исследовательского института... *Книгу жалоб*, выброшенную из местного магазинчика. (Ее выбросили попросту: прямо в окно. В траву.) Суровую *переписку* некоего гр. Боброва с жэком!.. В азартной необходимости дарить и дарить они завещали любой попавший под руку (и под ногу) предмет и всяческий хлам. Пустую бутылку из-под марочного коньяка! Ботинок бомжа! Кепку азербайджанца!.. Завещали они друг другу, но и нам вдруг тоже перепало (за компанию). Маньяки!.. Они пьянели от немислимо долгих лет своих дедов. Они захлебывались от избытка здоровья и своей возможности жить бесконечно.

Иной раз вдруг чувствовался натуг их веселья. Чуть-чуть пережим. Это правда... Но ведь забавно! И потом — вокруг дикая природа. Глухое место. И кому здесь не захочется жить вечно... Забытая людьми речка. У догорающего костра!.. И ведь так не част смех в рядах потертого и потерянного нашего старичья. Среди сотен и сотен ноющих. Среди тысяч жалующихся на болячки!

Соревнуясь в абсурдной щедрости (и не сомневаясь, что он переживет всех), Виктор Сушков, сидя у костра, передал мне однажды (знай наших!) бумаженцию, где в здравом уме и твердой памяти завещал после смерти не что-нибудь, а свою квартиру. Он, кажется, уже и не знал, что дать. Он отдал бы все. Щедрость распирала!.. Он только хихикал... И ведь сам не бросил в костер, не дал огню... как расхрабрился!.. Конечно, ноль. Конечно, без нотариуса. А все же бумага! А я его еще поддразнил — подержал бумагу у пламени. Но не сжег. И, вчетверо сложив, сунул в карман.

Однако же шутливо разбрасывающийся своим добром Виктор Сергеевич Сушков ничуть не рисковал. Знал, что переживет меня, — это было ясно. Притом надолго!.. Один его дед прожил ровно сто, другой даже перескочил, перебрался, перемахнул через этот странный психологический бугор — 101!.. А про древних суматошных бабок Виктора и говорить нечего. Большие были любительницы покушать! Оладышки! Огурчики! Окрошка!.. Когда ударяешь на «о», живешь долго. Похоронив своих мужей, бабки, конечно, тоже когда-то померли. Но померли они, лет своих (*пардон, после 105-ти*) совсем уже не считая — зачем им счет? какой смысл (без мужей) было им знать или не знать свою цифру на выключенном секундомере?!

Так что не стоило мне надеяться на его *квадраты* (квадратные метры подаренной им жилплощади). Нет надежды. Даже и втайне!.. Виктор Сушков вполне уверил меня, что умрет, как умерли его деды — после ста лет и во сне. Умрет счастливо. Как все они.

А для некоторого с ними контраста — Вась-Василич. Тоже один из нас. Тоже потенциальный долгожитель. Один из стариканов, приезжающий к ним, чтобы порыбачить. (Все мы приятели по юности.) И тоже один из тех, кого странно будоражили эти восхитительные вечерние разговоры у костра. И воздух с реки! И еще выпивка!

Этот Вась-Василич все же старался обоих Викторов хотя бы слегка одергивать — игра, мол, их нехороша. Провокативна. И этим опасна... Сам Вась-Василич был в игре с небесами куда более осторожен! Тоже долгожитель (по замыслу), он, однако, не пробалтывал свое будущее. Он его лелеял. Он его оберегал. Скрытный, он избрал по ходу жизни иную тактику. Тоже ведь неплохую. Он — без конца жаловался:

— Куда мне!.. Да ну!.. Хоть бы пяток лет еще проскрипеть!

И нарочито суеверно — ох-ах! — Вась-Василич кривил узкий, лукавый рот:

— Хоть бы за семьдесят переползти на карачках.

А поутру честные рыбацкие рассказы. Сошла с крючка щука. Окунь в полкило... Окунь кувыркался уже на берегу, уже в траве!.. Свяжи-ка ему руки, чтобы он не показывал, какой был окунь... Шли к реке проверить донки. Речка невелика и вполне подмосковна. Однако же у Виктора Сушкова два окуня. И у Вась-Василича два. А у меня аж три, и каких крупных!

Зато у одинокого Одинцова полный штить. Три окуня — это не пережить! Три — это слишком, с ума сойти... Виктор Олегович Одинцов сердится:

— Мерзкий везун! — грозит пальцем в мою сторону бывший фотограф.

Мы смеемся. А он (инерция вчерашнего разговора) опять вспоминает о своих живучих дедах. И страшит меня:

— За везучесть — заплатишь. За каждого окуня по десятке... Тебя я переживу на тридцать лет — ты хорошо слышишь?

Смеемся...

Как раз восход. Река, а с ней и зелень вокруг — все озаряется. Берег сияет. Чего тут мелочиться! Да переживи на сколько хочешь!.. Солнце на реке — это и есть сто лет.

Виктор Одинцов иногда приходит в свое бывшее фотоателье. Приходит — но не входит. Там нечего делать долгожителю... Он рассматривает с улицы новых там девиц. Они на своих боевых местах. Они все новенькие... Увы, уже нет над ними его былой маленькой власти. Разумеется! Нет и большого удовольствия выбрать. Жизнь меняется! Однако большое окно (большое стекло без единой трещины) все то же. Прищурясь, можно отлично рассмотреть молодых тружениц, так ловко устроивших свои попки на вертикальных стульях. Смотри или не смотри — стекло прозрачно! Вроде бы оценявая рекламные снимки, седовласый Виктор Олегович Одинцов еще и еще постоит там. Посмотрит, а почему нет?.. Он никуда не торопится.

...Виктор Сергеевич Сушков, пенсионер, шестидесяти восьми лет, умер у себя дома — в одночасье и во сне. Не дернулся, не разбудил жену. Никого не всполошил... Сонный и счастливый умер.

Врачи объяснили родным уже после — инсульт.

Во сне, как и обещал. Ну да, со сроком он несколько напутал и поспешил. Поторопился. Это правда... А сравнительно с дедами он даже сильно забежал вперед. Бывает. Зато — во сне.

Умер и умер, и было бы как обычно... Поплакали б, сожгли, всё как у людей. И жили бы дальше. Не он первый... Если бы не один тонкий момент. Нашли завещание. Оказывается, Виктор насчет возможной своей смерти оставил несколько строк.

Скорее всего, это была импровизация, этакое нечто, некий всплеск его души. Фантазия! Продолжилась, скорее всего, та же забава в написании красиво сочиненных бумаженций — заигрывание с будущим. (Игра своих героев не забывает!) Сел — и готово. Не зная, в сущности, зачем. Настроил... А престо так.

И лучше б, разумеется, это его краткое сочинение не нашли вовсе или нашли попозже. Лучше бы всего, если бы после похорон. Какое-то время спустя.

Но теперь сюжет заработал: родная сестра Виктора, дама положительная, учительница средней школы, увидела на листке кольнувший ей сердце знакомый почерк. Наклон букв, узнаваемый ею с детства. Прочла. Вот оно что!.. Виктор, ее старший брат, в здравом уме и твердой памяти написал, что после своей смерти он ЗАВЕЩАЕТ — он просит похоронить его в родном Оренбуржье, в разрушенной деревне, где жили по сто лет деды и где уже давным-давно нет ни одного дома, ни стен, ни даже одиноко торчащих печных труб. Но все же там есть кладбище... Пока что есть... Остатки старого кладбища, которое он, Виктор, года два назад посетил с большим интересом.

Виктор Сушков и в игре (а я уверен, что завещание было игровое) оставался романтиком. Виктор прибавил подходящий к случаю образ. (Увиденный им на кладбище.) Мол, покосившиеся там кресты, как пьяные.

Виктор Сергеевич даже счел их старинным счетом. Он не написал, что их восемь или, скажем, около десяти. Он сделал приписку: мол, их, неупавших, мало... Маловато уже там осталось — их *меньше дюжины*. Крестов.

Как ни люби, а оторопь взяла. Поплакали, погоревали, однако же, перечитав заново про дюжину стареньких крестов, которые отсюда за тысячу километров, вдова Виктора Сушкова и его дети (взрослые уже) придумались. Дело-то трудное. А с временем известная напряженность. Умерший не мог лежать долго. Лето. Солнце. Всласть не полежишь.

Свинцовый гроб, допустим, они за большие деньги достанут. Успеют. А спецвагон? А сопровождать?.. Везти до Орска 36 часов — неплохо, а?.. Родные страдали по умершему. Но теперь они страдали вдвойне: утрата, а к ней в придачу еще и невыполнимость его дурацкой (да, да, дурацкой) последней просьбы. Сожалели, что вообще нашли эту записку-завещание (ну чтоб неделей позже!). О чем он только думал?.. Уже и сестра его, самая строгая из всей родни, учительница, педант и все такое, которая поначалу так громко на всех прочих родственников сердилась и требовала точка в точку выполнить волю покойного, теперь и она не настаивала. Как-то сникла.

Окружающие тем более расслабились. Сначала шепотком, а затем в голос все они Виктора Сушкова осуждали: ну, блин! Ну, удумал! Какие вдове и детям хлопоты. Да и сестре родной как удружил!

— Дети сделают... Я сделаю... Выполним волю, — повторяла им строгая сестра-учительница.

Но повторяла не так уверенно. Родственный ген уже не стоял на страже... Да и время пошло на часы. Переговорив меж собой заново — без

пыла наконец и без амбиций — решили прежде всего проблему по-родственному упростить: сжечь.

А вот прах покойного захоронить. Это уже дело другое... Захоронить уже без нервной спешки и (да, да, да!) в далеком Оренбуржье. Как он хотел. (Как он просил.) На старом дедовском кладбище.

Сжечь — это было даже правильнее... Сжечь старика-пенсионера, написавшего столь вдохновенное завещание, было вполне в стиле. Кремировать, сжечь, спалить в печи романтика, который полжизни собирал подписи в защиту обиженных, — в этом виделось высокое соответствие. Как-никак сама стихия — торжество огня!.. Пламя!.. Пепел!..

Сожгли.

Хованский крематорий — ведь тоже, если от процесса отвлечься, звучало вполне возвышенно. Какие имена, Хованские да Милославские, кто не слышал!.. Но вдруг оказалось — и тут не слава богу. Ну, не везло нашему Виктору, не везло старику!

Для начала нате вам, родственники, еще имечко: Течкин. Прямо сказать, имя не самое величавое. Не звучит... Однако же зазвучало. И еще как! В газете «Аргументы и факты»... Скандальное в те дни разоблачение *оператора кремационных дел* Николая Течкина. Напутал оператор Течкин или не напутал? Пьян был — или не пил?.. Склоняли его в газете так и этак... Склоняли даже тогда, когда бедолагу с его работы уже выгнали. Не посочувствовали ему. Ишь народный умелец! Рационализатор Течкин!.. Так и писали, с издевкой. С такой-растакой фамилией, пшел вон, холоп, — вон из огненно-пепловой Хованской вотчины!

Этот Течкин, как выяснилось, сжигал сразу четверых в сеанс. После чего неповторимый человеческий пепел делил на четыре горки. (Кому что придется.)

Обнаружилось, конечно, случаем. Один из клиентов, забиравший прах родича (сожженного в ту же пятницу, что и наш Виктор Сушков), напутал и ошибся с временем. Клиент заявился в кремационную в тот же день... Слишком рано. Какой быстрый! И еще поглядывал на часы... Его почему-то не остановили. В пятницу! В пятницу бывает!.. Самодеятельно он тогда стал ходить-заглядывать. Для храбрости слегка даже насвистывал... Искал... И забрел не туда... Не туда, где ждут, белея, урны, а случайным образом вышел напрямиком к выгребателю, то бишь к оператору. К Течкину.

Оператора кое-кто пытался оправдывать, опять же пятница, пьян, шары налил. Но не чудовище он, конечно. Человек!.. Не со зла... Однако трудно оказалось даже объяснить, ленился ли поддатый Течкин выгребать каждого отдельно? ошибся ли?.. И вообще как такое ему удалось — каким образом, нарушив строжайшую технологию, останки смешались? Этого не могло быть!

Но факт фактом: клиент самолично видел, стоя неподалеку (и от удивленного онемев)... Этот Течкин... В белом опрятном халате... Молча... Своей длиннющей кочергой делил прах на четыре кучки.

А как негодовали родные Виктора Сергеевича Сушкова! И без того уже последнюю волю покойного они сильно упростили (сожжением). А тут еще нате: достался из печи пепел, на три четверти чей-то чужой. (И это если арифметика здесь в силе. Если честные арифметические дроби и с пеплом в ладу. Хотя бы на верную четверть...)

Но что теперь поделывать! Что?.. Все ходили мрачные. Не глядели друг на друга. Досталось ли нам *хоть что-то наше* в полученной в конце концов урне? — почти метафизический вопрос, который нет-нет и возникал — и особенно возмущал сыновей Виктора Сушкова, взрослых уже мужчин. Особенно же младшего сына. Его еле удерживали, когда он, двадцатипятилетний, рвался в бой... Самый рослый, хотя и младший, он грозился отыскать умельца. Отследить и избить Течкина его же собственной, мать его, кочергой.

Младший стал мрачен. Мрачный, хотя и красивый парень... Дело в том, что младшему добавилось еще одно: как раз ему выпал жребий везти беленькую урну в поля Оренбуржья.

Я был у них в тот вечер. Вдова Виктора и его строгая сестра, учительница, крутились на кухне. Гремели посудой, озабоченные предстоящей едой. Они в выборе не участвовали. Их даже не звали.

— Петр Петрович! — кликнули было женщины и меня на кухню. Но я не пошел. Незачем.

Жеребьевка состоялась сразу же. При мне... Скрученные бумажки с именами сыновей вынимались из белой панамы. Кто-то один... Ну в самом-то деле! У каждого свое. Не ехать же, отрываясь от работы, всем братьям сразу. А каково было бы улаживать отпуска всем в одно время?

Я успокаивал младшего: рассказывал ему, как там прекрасно. Куда он поедет... Какие травы и какие ивы. Да, да, какие старые скрипучие ивы нависли там над речкой. Бедные и корявые, остались совсем в безлюдье. То-то скучают. Скрипят... Ивы... Возможно, что умерший Виктор их тоже имел в виду в своей записке. В своем завещании. Эгоистичном, конечно же...

Младший сын молчал. И только разок скрипнул зубами. Но едва ли в отклик старым надречным ивам... Скорее всего, ему снова и снова припомнился Течкин, колдовавший с кочергой в руке над горячей горой обшего праха. Придурок! Пьянь! Шиз!

А я знай рассказывал (стал говорлив в те дни). Я не мог заткнуться. Я теперь рассказывал младшему его дорогу — сначала поездом тридцать шесть часов, это он, впрочем, и сам знал. До Орска. А дальше еще час сорок минут до разъезда — местным скучноватым поездом. И там еще пешком пять километров. Почти пять. На листке бумаги я набросал ему планкартинку... Прочертил указующие стрелки, где там заросшая дорога вдруг выпрямится и где один-единственный (у сухого лога, не ошибешься) поворот. Пять километров. Но ведь пепел — не гроб нести. Я еще сказал ему: подумай, как тяжело могло бы быть... Представь себе... Подумай, как вы, три сына, горбатились бы по бездорожью с домовиной на плечах.

— И думать не хочу, — ответил младший сурово.

Младшему сыну Виктора Сушкова я рассказал и про зиму: про то, какая там зима. Окружающие поля, включая и само кладбище... Снега — до самого горизонта!

Зимой покосившиеся кресты увидятся не сразу. Хотя, конечно, для урны не велик труд отрыть ямку. Чем?.. Что за проблема! Не лопату, а саперную лопатку. Прихватить с собой...

Я, видно, не мог остановиться.

Сын сдержанно молчал. Затем негромко произнес:

— Надеюсь, вы не думаете, что я повезу туда урну зимой?

Но еще заметнее стал говорлив в те дни пенсионер Виктор Одинцов... После (или вследствие) смерти пенсионера Виктора Сушкова. От ощущения утраты. От потери... От ведь жил теперь (жил и долгожительствовал) за двоих. Он даже интонацию перенял. Казалось, старинный приятель *завещал* ему свой легкий, чуть торопливый говорок.

Внезапная смерть в голове не укладывается. Виктор Одинцов был потрясен... И теперь анализировал, доискивался до причины — он искал, в чем же (или чем же) его тезка и друг юности так провинился перед природой?.. Собрат-долгожитель *приказал долго жить*. Но это не могло быть просто так. Это не могло быть случайно. Ведь с какой наследственностью! С какими генами!.. И всего каких-то *шестьдесят восемь!* Бред!

Ответ был все же найден. Вот он. Покойный Виктор Сушков, в отличие от него, Виктора Одинцова, мало интересовался в своей жизни жен-

щинами... Не баловал себя случайной женской лаской — самой жадной из ласк! Заряжающей нас. Дающей нам силу!.. Женская постель — это сама энергия! Бок о бок... (Даже аккумулятор лучше заряжается лежа. Шутка.) Жена... Жена, понятно, тоже женщина. Однако же *в шестьдесят восемь*...

Ах, Виктор! Виктор!.. Как поторопился!.. А ведь мог бы жить и жить. Если бы...

Окончательный вывод был таков: Виктор Сушков, если по сути, уклонялся от жизни. Проще сказать, пренебрегал женщинами — и природа (тоже женщина) завязала ему скорый узелок. Отмстила.

Нет, нет, Виктор Олегович Одинцов не осуждал старинного друга-приятеля. Да и как тут осудишь?.. Ведь и сам он, одинокий Одинцов, постарев, тоже в последнее время не подпитывал себя любовью. Ни с кем не встречался. Ни с одной... Подзабыл женщин, переключившись на пиво. Нашел чем радовать сердце! Кретин!.. Нет уж!.. Хватит!.. Теперь он все понял. (И все сосчитал!) Даже пенсионер, если прижмет, способен наскрести кой-какие рубли и сбалансированно, с умом их потратить. Конечно, теперь ему, Виктору Одинцову, придется, увы, побегать и поискать. Привыкший в былые времена в своем фотоателье к легкой смене партнерш, теперь он в поиске сколько-то помучается. Теперь и в выборе он будет, конечно, много скромнее, но... Но он сумеет. СУ-МЕ-ЕТ. Надо же как-то за жизнь биться!

Он очень даже скоро сумел. Найти ход... Наступившие времена позволяли.

— Найти ход к оплачиваемой красоте оказалось несложно. Опыт!.. Вы же помните, каким я докой был?!

Мы помнили.

— И хорошо, что язык вдруг развязался. Как шнурок... Без болтовни не только девицу, кошку хорошую не прикупишь, — нарочито сетовал он нам.

Нам — это мне и Вась-Василичу.

Но вот (я отлично помню) Виктор Олегович Одинцов многозначительно усмехнулся. Потер руки. Вынув записную книжицу, подсел ближе к своему телефону. Надел очки... Всмотрелся... И вздохнул так:

— Ох-хо-хоооо-о!

Водя глазами по мелким строчкам, Виктор Олегович рассуждал вслух сам с собой:

— Есть мальчик Вова, а есть мальчик Сема. Сему мне совсем недавно порекомендовали...

Я было решил, что старый мудило поголубел. Я даже охнул. Не отшибло ли горем мозги?.. Но выяснилось, что и Сема, и Вова мелкие сутенеры. «Поводыри» — как запросто называл их старый маэстро фотографических дел. Парнишки, имевшие на подхвате сразу нескольких скорых девиц.

— Сейчас, что ли?

— Конечно. Чего тянуть?.. — И седовласый Виктор подмигнул.

Мы колебались.

— Может, в другой раз?

— Вот еще!.. Секс не баня. Секс не откладывают на послезавтра. Трахать — это как раз под разговор. С разгона!..

Он был убедителен:

— Ну, ну!.. Вы же, домоседы, — когда это вы меня еще навестите!

Похоже было, что прямо здесь и сейчас, в его замшелой квартире, мы сможем себя убажить. Без всяких там комплексов. И в открытую, честно. Не как-нибудь!.. В конце концов, мы у него в гостях, а гость даже в пост может себе кое-что лакомое позволить. Без канители. По-современному.

— А что вам еще делать! — наседали Виктор Олегович уже в азарте.

У нас и правда ничего другого на сегодня не было. И было очевидно, что мы уже никуда не нацелимся. Разве что по домам... К телевизору... А рыбная ловля сорвалась уже с утра (ветер на улицах все завывал).

Приободрился, приосанился даже Вась-Василич, тот самый старикан, что тоже целил в должители, но своеобразно... По-тихому... Тот, что в будущее глядел постно, скромно, еще и униженно. Да, мол, последние денечки.

— Как поживаю?.. А плохо! Плохо поживаю! — жаловался Вась-Василич, уже с порога, едва вошел, отгоняя ладонью наш дешевый сигаретный дым.

И руку пожимал слабенко, еле-еле:

— Опять нездоров... Опять бок ноет.

— Перестань!

— Чего «перестань»? Тебе хорошо... Ты-то, мордаш, еще долго протянешь!

Или так:

— Вам хорошо. Вы прямо как добры молодцы!.. А у меня опять печень. Вот-вот дам дуба! А почки что вытворяют!

Нищенским и осторожным нытьем он явно замаливал своего божка, припрятанного где-то в высях. В высоких белых облаках... Он как-то сложно хитрил с Ним. Но не с нами. Мы-то его знали как облупленного.

Так что теперь, при секс-сговоре, Виктор Одинцов не упустил случая озаботиться (с ухмылкой):

— Вась-Василич!.. Тебе-то как?.. Не во вред ли молодая красotka будет?

— Не думаю, — посерьезнел Вась-Василич.

— А почки?

И, не дав ответить, Виктор убежденно заговорил:

— Почки — солдаты. Ты, главное, сам должен быть в себе уверен. Если ты уверен... Если ты — на все сто уверен... Тогда и твои солдаты, как один, будут стоять насмерть!

Виктор Олегович Одинцов знал, как жить жизнь. Знал, как ее продлить. Он не хотел больше о почках и прочих бедах Вась-Василича. К чертям почки!.. Он говорил о женщинах. Женщина — вот чудо. Женщина — вот импульс! Именно женщина длит нашу жизнь...

— Ну что?.. Звоню? — И Виктор Олегович поглаживал телефонную трубку, уже предвкушая.

Похохатывал и поддразнивал:

— Сейчас она придет... Та девица... Моло-оденькая!.. А?

Однако же его собственная жизнь не продлилась. Увы... Женщины, как видно, запоздали. Женщины недодали Виктору свой импульс. Или, быть может, женщины не самым решающим образом влияют на долгий век. Загадка!.. Так или иначе, Виктор Одинцов пережил своего тезку Виктора Сушкова всего на полгода. Но все-таки — *в шестьдесят девять*. Умер он от сердечного приступа. В метро.

Ту девицу звали своеобразно — Алехандра, и была она *за пятьдесят* (не про возраст, конечно, а про доллары). Нам же надо было *за двадцать*.

Славенькая, ладненькая, из Сумской области... Ослепительно голые, манящие южным загаром коленки, хороша, очень хороша! — но какие крутые (для нас) деньги!.. Нас возмутило... Вась-Василич даже вышел из себя!.. К чему такая дороговизна! К чему это латино-московское имечко? Нам не надо... Должители не тщеславны! Наша эстетика скромна!..

А парень-поводырь, что ее привел, Сема или Вова (не помню), все улыбался и оглаживал девицу. Поощрял нас сначала словом — а затем делом. Положив руку ей на шею и простежки принагнув, поставил Алехандру в боевую позу... К нам задом... И тут же задрал ее короткую юбочку. Там уже не было ничего. Вернее сказать, там было все.

Он послунявил указательный палец и все еще с улыбкой объявил нам:

— Фокус.

И провел пальцем. Как художник кисточкой... Провел пальцем сверху вниз по сомкнутым губам (пока что по сомкнутым, так это понималось). Надо сказать, провел он нежно. Мог обжечься. И руку сразу убрал... И чудо случилось.

Парень прищелкнул пальцами:

— Фокус! — и как раз при щелчке губы раскрылись.

Девушка стояла согнувшись. Спокойно стояла... А ее раскрывшееся лоно было как само по себе. Как рот. Как губы, приоткрывшиеся в жажде. Пересохшие, они хотели. (Нас потрясло. Долгожители онемели.)

Двое из нас стояли, разинув варежки, а третий — это я — крепко держался руками за стол.

Приподнявшиеся, начавшие стареть еще при коммуниках, мы, понятное дело, оказались вдруг сильно смущены. Имели свои белые пятна. Пробелы... В недомашнем сексе... Никогда не видели, как дверца открывается сама собой. Много чего не видели.

Конечно, время рвануло, и теперь мы наверстывали. Но наверстать — не значит догнать... Мы проигрывали и этому сопляку Вове. И его Алехандре. И тут уж ничего не поделаешь... Зато у нас взамен кое-что впереди. Зато какой плюс у нас в будущем! Имеется в виду отдаленное будущее. Нет же ни малейшего сомнения, что малогрешному (малогрешившему) нашему поколению зачтут на небесах. Уж точно в плюсах... Если бы еще не воровство!.. Вдоль и поперек по жизни.

Если бы не разного рода и качества воровство, большинство из нас, «совков», попало бы в рай легко. Мы просто созданы длярая... Вышколены... Большинство из нас, убежден, оказалось бы в раю сразу и прямым ходом, без проверки на дорогах. Даже без собеседования.

Онемели — а вертикальная маленькая дверца еще на чуть открылась. И ждала. (Тут и подумалось о рае. О пропуске в рай... Вот оно.) Мы смотрели. Онемели и смотрели. Мы даже слюну не глотали. Я же говорю: без собеседования. Золотые и серебряные медалисты!

Нам ударило в голову. Нам что-то там отшибло. Жаль, конечно, что ничего перед этим не выпили. Ни глотка... Хотелось же выпить, еще как хотелось! Но Виктор за нас боялся и загодя выпить не дал. Такой предудительный. (Вино, мол, расслабит.)

А парень тут же джикнул молнией на своих блеклых джинсах, вынул и ей вставил. Прямо на наших глазах.

— Ну что? — сказал он.

Сделав три-четыре движения, он вернул эротическую картинку на место. Он ведь только демонстрировал. Напомнил. Возможно, он думал, что мы подзабыли. Он еще и еще глянул на нас: все ли понятно?.. Затем деловито кашлянул... И первоначальную картинку наконец убрал, распрямив девушку. Но юбочку ей не опустил. Жопка так и сверкала.

Еще секунду они стояли рядом и спокойно ждали. И только тут, одернув юбку, она повернулась, и мы могли увидеть ее холодноглазое лицо.

— Нет. Пятьдесят это дорого, — еле выговорил Виктор Олегович Одинцов пересохшими губами.

Мы молчали. Мы дышали. (Мы слышали дыхание друг друга.)

Парень и девушка направились к дверям:

— Идем-идем, Алехандра! Эти мудаки окаменели дня на четыре. Представляешь, какие у них сейчас члены!

В дверях он обернулся:

— Вам что — копеешных привести?

Виктор Одинцов покачнулся, удерживая равновесие. И вдруг оперся рукой о стол... Бледный, он, однако, повторил прежнее:

— Двадцать — потолок. Не дороже.

Парень хмыкнул:

— Ладно. Через часок... Но едва ли... Если получится такую найти — звякну.



ИГОРЬ МЕЛАМЕД



ПОСЛЕ МНОГИХ ВОД...

* *
*

Квартира гостями полна.
На матери платье в горошек.
И взрослые делятся на
хороших и очень хороших.

Звон рюмок, всеобщий восторг.
У папы дымит папироса.
Вот этот уедет в Нью-Йорк,
а тот попадет под колеса.

Осенний сгущается мрак,
кончаются тосты и шутки.
И будет у этого рак,
а та повредится в рассудке.

И в комнате гасится свет.
И тьмой покрываются лица.
И тридцать немислимых лет
в прихожей прощание длится.

Как длится оно и теперь,
покуда, сутулы, плешивы,
вы в нашу выходите дверь,
и счастливы все вы, и живы.

* *
*

Мне сладко ощутить тех дней очарованье:
там каждый выходной который год подряд
они к своим родным приходят мыться в ванне —
отец мой, мать моя и маленький мой брат.

И ясно вижу я, как ждут они трамвая,
собрав свое белье и в сетку положив.
И дядя Федя рад, им двери открывая, —
семнадцать долгих лет еще он будет жив.

И Софа к ним спешит походкой косолапой,
и тетя Муся им пижамы раздает.
Там жарко, и отец, обмахиваясь шляпой,
рассказывает свой еврейский анекдот.

И вот они чисты, как и нельзя быть чище,
как после многих вод, как после долгих бед.
И оmyвает свет еврейское кладбище,
где только Софы нет и брата Толи нет.

И вновь они идут к вечернему трамваю,
торопятся домой, белье свое неся.
А я смотрю им вслед и глаз не отрываю,
хотя на этот свет еще не родился.

* *
*

Иоанн отвечает: мы ждем, —
но глаза его сонной тоскою
наливаются. А под Москвою
снег течет вперемешку с дождем.

И нельзя добудиться Петра —
словно камни прижали ресницы.
А во тьме подмосковной больницы
я и сам в забытьи до утра.

И в краю кривоногих олив
Ты стоишь у меня в изголовье,
смертный пот, перемешанный с кровью,
на иссохшую землю пролив.

Петр уснул, и уснул Иоанн.
Дождь течет вперемешку со снегом.
За Тобой не пойдут они следом —
застилает глаза им дурман.

И течет гефсиманская ночь.
Ты один. И не в силах я тоже
ни спасти Тебя, Господи Боже,
ни бессонной любовью помочь.

* *
*

Подойди ко мне, присядь
на больничную кровать —
я измучен и исколот.
Неужели это — ты?
Может быть, твои черты
на окне рисует холод?

Гость ночной, вернись назад
в безмятежный райский сад,
во блаженные селенья
и у Бога моего
иль у ангелов Его
испроси мне исцеленья.

* *
*

Глядишь с икон, со снежных смотришь туч,
даруя жизнь, над смертью торжествуя.
Но вновь и вновь — «Оставь меня, не мучь!» —
Тебе в ночном отчаянье шепчу я.

Прости за то, что я на эту роль
не подхожу, что не готов терпеть я, —
Ты сам страдал и что такое боль
не позабыл за два тысячелетья.

Прости за то, что в сердце пустота,
за то, что я, как малодушный воин,
хочу бежать от своего креста,
Твоей пречистой жертвы недостоин.

* *
*

Памяти Н. И. Б.

В своем углу ты всем бывала рада,
во всех мужчин была ты влюблена.
Тебе таскал я плитки шоколада
и наливал дешевого вина.

Прости меня за то, что обещанья
не смог исполнить, и в холодный лоб
не целовал тебя я на прощанье,
и горсть земли на твой не бросил гроб.

Быть может, там и вправду жизнь вторая,
и брызжет свет из-под могильных роз,
и для тебя раскрыты двери рая, —
я ничего не вижу из-за слез.

* *
*

Телефон звонит в пустой квартире.
Я уже к нему не подойду.
Я уже в потустороннем мире.
Я уже, наверное, в аду.

Над моей больничною кроватью,
как свидетель смертного конца,
кто-то наделенный благодатью,
но от горя нет на нем лица.

Или это лишь анестезия,
сон и ледяная простыня?
Надо мной склонясь, Анастасия
отрешенно смотрит на меня.

Неужели я не умираю
и в ночи февральской наяву
к светлому и радостному раю
на больничной койке не плыву?

Боже мой, Ты дал взглянуть мне в бездну,
я стоял у смерти на краю.
Неужели я еще воскресну
в этом мире, прежде чем в раю?..



АЛЕКСАНДР МЕЛИХОВ

*

ЧУМА

Роман

У Вити не было оснований очень уж обожать свое прошлое — обожать до такой степени, чтобы сквозь желтеющую муть давнишней-предавнишней заскорузлой фотографии мучительно или мечтательно вглядываться в неразличимые лица одноклассников, с трудом отыскивая в них себя — востроносенького, горестного, еще не прикрытого от мира даже очками, — кому было задуматься, отчего мальчуган постоянно щурится — ясно, чтобы поменьше видеть. А что разглядишь в полузабытом — это смотря чью уверенность возьмешь с собой в экскурсоводы: Витя с пеленок испытывал робость и почтение перед людьми, которые твердо знают, как оно есть на самом деле.

Сам-то Витя не мог бы с твердой уверенностью сказать, каков на самом деле даже и родной его отец. Когда-то во тьме времен в дверях возникало что-то очень большое и доброе — ты летишь к нему со всех ног, и оно возносит тебя в вышину. Потом папа сделался культурным дяденькой в подтяжках, который, чем бы ты ни занимался, обязательно буркнет: «Делом бы лучше занялся». Теперь же отец постоянно раскладывал пасьянсы из анализов всевозможных жидкостей, сосредоточенно, словно ученый-экспериментатор, наносил на миллиметровку новые уголки ломаной линии своего кровяного давления, тщетно пытавшейся подобраться к верхней границе нормы, — это увлечение позволяло отцу забыть, что его бессовестно ограбили, отняв у него — нет, не те сто восемьдесят четыре рубля, которые лежали на сберкнижке (как блокадник он и пенсию получал приличную), а заводы, пашни, газеты, пароходы. Каким-то причудливым образом еще в годы перестройки он умозаключил, что если Сталин тиран и садист, то и его, отцовская, жизнь прошла напрасно, и теперь искал забвения в анализе анализов да в нескончаемой перестройке белого кухонного гарнитура Пенелопы: заезжая навестить стариков, Витя иногда обнаруживал гарнитур во всем белом больничном сиянии бесчисленных ящичков (мать тоже любила больничный стиль, не делая различий между красотой и гигиеной), но в следующий раз уже снова скалился один гарнитурный скелет, а вся красота опять разложена на части по пронумерованным тетрадным листочкам, тоже в свою очередь разложенным по напудренному деревянной пылью линолеуму, а отец вновь что-то к чему-то подгоняет надфилем, ежеминутно прикладывая к подгоняемому вытертую до кинжальной ясности стальную линейку.

Когда-то Витя твердо считал отца чрезвычайно образованным человеком, *инженером*, но еще задолго до того, как он случайно наткнулся в моде на отцовский диплом об окончании техникума, в гостях у Сашки

Мелихов Александр Мотельевич родился в 1947 году в г. Россось. Окончил математико-механический факультет Ленинградского университета. Прозаик, эссеист, постоянный автор «Нового мира». Живет в С.-Петербурге.

Журнальный вариант.

Бабкина ему открылось, какие бывают настоящие инженеры — и костюм с инженерским ромбиком (у отца такого не было) намного заграничнее, и обращение как бы на равных, но с юморком: что скажете, молодой человек?.. Однако стоило матери в очередной раз упомянуть, что папа у него *инженер*, как он немедленно снова обращался в *инженера* — в шляпе, в пальто, тогда как немаркое облачение других обитателей поселка им. Бебеля, на миг отвернувшись, уже невозможно было вспомнить — «одежда», и больше ничего. При этом дома слово «инженер» было очень почетным титулом, зато на улице, среди юной рабочей поросли, оно немедленно превращалось во что-то начальнически постыдное, что необходимо было искупать особой оборванностью и бесшабашностью. А поди искупи, когда мать так неукоснительно стоит на страже чистоты и дисциплины!..

Короче говоря, на все можно посмотреть и так и этак — обладай Витя склонностью к философствованиям, он бы, пожалуй, даже заключил, что мысль обобщенная есть ложь, но Витя к философствованиям не был склонен: все наиболее вычурные образы в дальнейшем, равно как и предшествующем, принадлежат автору, а вовсе не герою. Герою, например, даже не приходило в голову сравнить свою мать с пианистом-виртуозом, когда она своими до скрипа промытыми пальчиками пробегала по стопе отглаженных полотенец и сразу знала, сколько в ней штук, — зато Витя каждый раз еще глубже постигал, почему именно маму у нее на работе назначили старшей. Старшая медсестра... Витя и во взрослости немного побаивался командных бряцаний в материнном голосе, внушала ему некоторую робость и ее манера смотреть, будто приглядываясь, а потом вдруг взять твою голову в маленькие сильные ладони и быстро повернуть сначала влево, потом вправо — проверить уши, успев еще и молниеносно охватить состояние ногтей. (Мама немного путала любовь и гигиену.)

Но начнешь доверять памяти — обязательно вспомнишь, чего и не было. Одно из самых первых Витиных воспоминаний — в глазах стоит, как двоюродный брат Юрка, тоже еще трехлетний бутуз, сидя на сосредоточенных корточках, пытается гвоздем выковырять глаз у котенка. Видеть это Витя точно не мог, его тогда почти что и на свете еще не было, он только слышал, как мама кому-то рассказывала, четко разводя руками: «А он сидит и выковыривает котенку глаз!..» — и так с тех пор и жил с этой картинкой под веками. Заметим попутно, что в глубине души Витя понимал Юрку: глаза у котят, да и у кошек тоже, сияют до нестерпимости завлекательно. Разумеется, Витя и помыслить не мог, чтобы попытаться добыть из котенка его драгоценный глаз, но к собственным своим глазам Витя перед зеркалом приглядывался, приглядывался... В уголке глаза, у переносицы, есть такой розовенький треугольничек — так Витя в позднем дошкольном возрасте иногда покалывал его булавкой, треугольничек...

Вообще, вдумываться — верный способ потерять последнее, в чем ты еще был уверен. Тот же Юрка. Взять объективно — вроде как даже и неудачник: сидел по два года в каждом классе, пока Витя его не догнал, а потом уже все списывал у Вити. Затем еще два года отсидел в тюрьме за то, что взял за лицо участкового, явившегося при исполнении служебных обязанностей выяснить, на каком основании Юрка позволил себе выбить передний зуб склочному соседу. Теперь Юрка работает на стройке, зимой и летом расхаживает в переливающимся тренировочном костюме; когда говорит, заметна серьезная недостача в зубах — целых три зуба за зуб соседа, хоть и с отсрочкой, потребовала с него судьба: Юрка вез в электричке приобретенную на очень выгодных условиях подержанную гитару (он так ловко обменивал и делил после разводов квартиру за квартиру, что теперь оказался шестым коммунальщиком в городе Луга), общительный парняга из соседнего веселого купе попросил инструмент на пару песен, но — попросил недостаточно вежливо: заранее протянул руку. «Не протягивай руки, а то протянешь ноги», — сделал ему внушение Юрка, очень щепе-

тильный в таких вопросах. Оскорбленный гитарист выбрался к Юрке: «Ну-ка встань!» — «Если я встану, то ты ляжешь». В школе когда-то Юрка был здоровый, как дикий кабан, могучими мотаниями корпуса раскидывал повисших на нем шавок, но лет в пятнадцать остановился, и довольно многие, воспользовавшись этим, его переросли. Однако Юрка так до сих пор себя и понимал — как могучего кабана.

— И вдруг он разворачивается и *хуячит*... Извини, Аня, — обезоруженно разводит он руками, обращаясь к Витиной жене, и так это у него аппетитно получается, что не захочешь, а поверишь — не в зубах счастье. И не в том, что нос подвернут набок, словно Юрка прижал его пальцем, чтобы высморкаться, а нос почему-то так и застыл.

Человек твердо стоит на ногах — это ясно видишь, когда Юрка умело ухватывает на электричку билет без очереди, и еще яснее — когда со знанием дела костерит министров и депутатов: не остается ни малейшего сомнения, что это не Юрка, а Ельцин и Чубайс неудачники.

Что существовало вне всякого сомнения — так это поселок им. Бебеля. Ибо он и поныне существует, поглощенный, но так до конца и не переваренный новостройками, которые, и обветшав, остались «новыми», ибо так и не выучились что-либо говорить человеческому сердцу помимо того, что вот это — жилые дома. Можно хоть сейчас спуститься в метро, доехать до конечной станции, затем проходными сталинскими дворами добраться до трамвайной эстакады, набраться стойкости дотерпеть до нужного номера и потом долго-долго греметь и мотаться, греметь и мотаться над сиротливыми железнодорожными путями, мимо каких-то ангаров и пакгаузов, мимо стареющих, но не мудреющих новостроек, одетых в бетонную скуку героических когда-то, а ныне стертых машинальностью имен маршалов и сержантов, среди бывших зарослей, превратившихся в пустыри, среди бывших пустырей, обращенных в чахлые скверы, и так до гордой некогда пятитрубной «Авроры», теперь не то ЗАО, не то АОЗТ, заслоненной все теми же бетонными ящиками, не иначе как в издевку окрещенными «кораблями», а там уже — сердце начинает надавать и надавать — пора вглядываться в неразличимые остановки и так все же и не распознать, какими именно «кораблями» затерта Витина уж такая малая родина, — приходится спрашивать у поредевших пассажиров: «Простите, пожалуйста, на Коминтерновскую где выходить?»

Имя центральной улицы поселка Бебеля сохранилось, но все наружные приметы поглощены бетоном, и даже до оторопи грязная, еле живая речушка — и та упрятана в бетонную трубу, так и похоронена безымянной (кто вспомнит — да кто и прежде помнил! — что Сашка Бабкин называл ее таинственным Потомаком). Но, как ни странно, кто-то каким-то чудом знает, где Вите следует сходить.

«Ты пытайся зачерпнуть силу в мире своего детства, — по-доброму советовала ему Аня. — Вот я, когда становится совсем невыносимо, стараюсь вспоминать, как я была хорошей девочкой, читала серьезные книги и верила, что если я буду хорошей, то и мир мне ответит добром». Однако мир Витино детства представлялся заслуживающим доверия лишь до тех пор, пока был маленьким, вернее, обозримым. И все в этом мире было свое. Нет, не только свои мудрецы и свои храбрецы, но и своя Великая Отечественная война: здесь каждый мог показать, где стояли наши пушки, а где немецкие, а вот на тех бескрайних огородах неведомого совхоза погиб Витин дядя (здесь взяли, здесь и погиб). Даже немцы здесь были свои — сначала старавшиеся размолотить в кирпичную крошку поселок своего земляка Бебеля, а потом так же старательно восстанавливавшие размолоченное, и Витя усматривал особо воспитующую умышленность в том, что на фронтонах желтых двухэтажек, растопырившихся трехкоконными трехгранными выступами да плоскими балконами, которые все же необходимо было подпереть кудрявыми пилястрами, — что на этих фронтонах плен-

ных немцев заставляли отливать серпы и молоты вместо конечно же тайно вождедеемой ими свастики.

Теперь-то Витя, разумеется, понимал, до какой степени жалки эти претензии на архитектурные излишества, но они, в отличие от новостроек, все-таки что-то как-никак пытаются изобразить, а стремление что-то изображать и есть то главное, что отличает человека от ящера, а здание от ящика. Занавеси, склоненные знамена и в гипсовой своей ободранности хранят гордое терпенье, подкова изобилия, как и во времена дефицита, по-прежнему охватывает пружинную дверь в гастроном густым сплетением колосьев, тыквочек, груш, яблок, винограда, чье пребывание на прилавках ближнего захолюстья даже и не предполагалось, — но вся эта гипсовая роскошь и торжественность напоминали человеку, что помимо мира тусклых реальностей существует еще и пышный мир мечты — от него-то и отказались благоустроенные спальные районы. Если человек живет для того, чтобы спать, — ясное дело, ему покажется чистой нелепостью величавая арка меж двухэтажками, открывающая почтительному взору густошерстый пустырь (ныне растоптанный бетонными коробами), вскипающий ядреными репейниками и могучими лопухами в тогдашний человеческий Витин рост, а за ними бескрайняя, до сказочного Залива, вечно волнуемая ветром зеленеющая нива прибрежных тростников, которые Сашка Бабкин впоследствии называл сельвой (а пустырь — пампасами).

Рискнув же со временем углубиться в эти будущие пампасы, Витя был повергнут в немое изумление, до чего их невероятно *много* — этих лопухов, репейников, крапивы и прочего всяческого бурьяна: он *ВЕЗДЕ*. Вообще самые впечатляющие потрясения Витя переживал в ту пору, когда просто поражался, ничего ни на что еще не употребляя. Это потом оказалось, что из репьев, впивающихся друг в дружку, можно плести уютные мохнатые корзиночки, — но можно этими цепляющимися бомбочками и просто кидаться, помирая со смеху, если которая-нибудь кому-нибудь прицепится на неприличное место; это потом оказалось, что юную крапиву можно есть, а злой, задеревеневшей пугать друг друга; это потом оказалось, что лопухами можно зачем-то прикрываться от солнца или обмахиваться, как опахалами, играя в султанов, — все эти удовольствия были ничто в сравнении с тем замиранием сердца от всеобщего упорства и необъятности этих мясистых трав, которые перли ВСЮДУ, не разбирая дорог и площадей. И почему-то самые нечеловечески громадные лопухи вымахивали на доисторическом дореволюционном кладбище, где вращало в землю и обрастало ржавыми лишаями тесное скопление полированного камня, такого, несмотря на одичалость, красивого, что Витя каждый раз не мог удержаться, чтобы не погладить его в особо привлекательных местах, и лишь потом отдергивал руку. Под плитами и колоннами таились почему-то все больше советники — статские советники, надворные советники, — некоторые даже занимались своим ремеслом тайно, но удержаться от советов все-таки не могли. При том, что в Стране Советов жили не они, а Витя с Сашкой Бабкиным, который хотя и норовил переименовать полупересохшее болото с разлегшимися в нем деревьями во Флориду, однако же вместе с Витей тоже частенько предавался сладостному ужасу, каково бы им было родиться не в Советском Союзе, а где-нибудь в Америке.

А когда они впервые решились пересечь пампасы и углубиться в сельву и там, обогнув Флориду, вышли к Потомаку... Впрочем, в ту героическую пору еще и Сашка не знал таких слов, но захватывающих дух приключений испытано было тем не менее — зашибись. Во-первых, от каждого шага по жирной, дышащей под сандаликами и в любой миг готовой обернуться трясинной земле — уже от этого одного замирало сердце; да жутковато было и само затишье, когда высоко над головой неустанно кланяются и кланяются под неощутимым ветром блестящие коричневые метелки. А в самом жирном месте их глазам внезапно предстал стройный

строй шоколадных цилиндриков, внутри белых, как эскимо, изготовленное из прессованного пуха, до того тугое, что невозможно было не попробовать, каково это — получить таким по голове. В тинистой Флориде полегшие в воду деревья были точь-в-точь крокодилы — аллигаторы, поправил Сашка: он уже видел аллигаторов в зоопарке, тогда как Витя только на картинке, — Витины папа с мамой считали излишним таскаться в город без серьезного дела. Под лапой одного из аллигаторов замаскировалась под кочку лягушка, высунувшая из воды одни только пучеглазые глаза, причем Сашка тут же принялся уверять, что это была вовсе и не лягушка, а змея, и она действительно в тот же миг обратилась в змею.

Но более всего Витю поразило, что в еле тянущихся струях грязи впервые открывшегося им будущего Потомака неподвижно сияли сверхъестественной красотой... кувшинки, определил их Сашка, попутно сообщив, что в таких же вот кувшинках запутался и утонул знаменитый пловец с «Авроры» (Сашка даже знал его имя), которого специально возили на соревнования аж на Черное море. Витя посмотрел на кувшинки с недоверчивой укоризной, но был отвлечен мазутно лоснящимся пузом рыболова на другом берегу: он выдернул из речной непроглядной мути невероятно чистую сверкающую рыбку, и та забилась под сенью тростников, хотя, казалось, должна была бы радоваться, что ее вынули из такой грязищи.

Но это еще что! Пробираясь вдоль Потомака, они увидели толстенную трубу, на своих могучих бетонных опорах перешагнувшую речушку, что называется, не замочивши ног. Труба была пухло обмотана исполинским бинтом, под которым пружинила какая-то переливающаяся в клочковатых прорывах вата, когда они, обмирая, переползали на четвереньках на другую сторону. А когда перед нашими путешественниками во всей славе своей предстала «Аврора», гремящая на полных парах к незримому Заливу... Синейшее небо, мощные клубы рыжего дыма — Витя с тех пор не видел ничего более величественного и прекрасного.

Однако со всех сторон уже наступали суровые будничные заботы: пробираться обратно сквозь все препоны и опасности или все же рискнуть на трамвае, в который после работы, вплоть до гроздьев во всех дверях, набивалась вся Бебеля (так Витя трактовал имя своего мироздания, поскольку обитатели его произносили: поселок Бебеля).

До конца смены было еще далеко, но друзья хорошо понимали, что любой из *больших*, да хоть бы и трамвайная кондукторша, немедленно потребует отчета, откуда и куда они пробираются без взрослых, да еще и перемазанные с головы до ног (о том, какие объяснения предстоят дома, пока что лучше было и не думать). Какой-нибудь холодный эгоист, сумевший возвести право быть эгоистом на престол священных прав человека, конечно, может возмутиться, по какому праву посторонние люди суют нос в дела посторонних индивидов (он бы хотел, чтобы все были друг другу посторонними), и он вправе негодовать: ему не постичь защищенности и прелести того мира, в котором каждому есть дело до каждого, в котором взрослые чувствуют ответственность за чужих детей. Холодный эгоист разве что зло усмехнулся бы, наблюдая, как жители Бебели все время друг перед другом что-то изображают: не поймет и не заметит гордый взор иноплеменный, что в этом-то и проявляется равнодушие людей к чувствам ближних и дальних — каждый что-то хочет пробудить в душе другого, запечатлеть в ней милый своему сердцу собственный образ.

Витя никогда по-настоящему не боялся людей, которые что-то изображают. Даже самый крутой в Бебеле хулиган — тоже, кстати, Витька (Суханов, но Сухан) — всеми своими атрибутами — вихляющаяся походочка, руки в брюки-клевш, кепочка на нос, фикса желтого металла, посвечивающая сквозь недобрую усмешку, — просил только об одном: признавайте меня крутым, расступайтесь и опускайте глаза, и больше мне от вас ничего не нужно.

Да, в Бебеле рос еще и непролазный когтистый шиповник, на котором фонариками горели мясистые ягоды — от оранжевых до свекольных. Нужно было очень осторожно объедать мясо, чтобы не занозить уголки рта микроскопическими волосками, которыми, вперемешку с косточками, был набит каждый фонарик. Но никак было не удержаться, потому что ближе к косточкам и начиналась самая мягкая мякоть... И был еще за Витиным домом коренастый пенёк баобаба, на котором Сашка с Витей раскладывали карты воображаемых земель.

И все это вплоть до врастающего все глубже и глубже в землю пня сохранилось и по нынешнюю пору. Из городских джунглей, поглотивших бывшие пампасы, можно и сейчас сквозь прежнюю арку войти в бывшую Бебелю — после капремонта, отселившего Витиных родителей на другой конец бесконечного мегаполиса, она сделалась даже несколько поновее. В остальном же — разве что лопухи измельчали да яблони одичали, только что на людей не кидаются. А компании, расположившиеся под их корявенькой сенью, — те могут и кинуться. Нет, под ними и прежде располагались не ягнятки, но бывлые удалыцы хотя бы что-то из себя изображали, а нынешние перед своими жертвами склонны красоваться не больше, чем охотник перед дичью. Когда-то Витю в составе всего класса возили в зоопарк (Юрка к этому времени уже с ним сравнялся), и еще в метро Витя снова удостоверился, что люди могут быть не страшными, только когда их не очень много: даже самые культурные дяденьки в шляпах или шпионских беретах и тетеньки в шляпках, округлых, как пустые фары, преодолевают толпу, словно какой-то поток. В зверях за решеткой было несравненно больше человеческого — все они хотели Вите что-то такое показать. Или по крайней мере совершали массу ненужных действий. Речь не о мартышках — те-то вообще чистая малышня, — но даже и солиднейший вроде бы белый медведь открыто выставляет себя дураком: в мокрой грязной шубе, будто пьяный, плюхнувшийся в осеннюю лужу, где почему-то плавают всевозможные объедки, кувиркает автомобильную покрывку, переворачивается на спину и, раскорячившись, дрыгает босыми ногами в меховых штанах. Енот озабоченно оттирает ручки; Юрка ему свистит: «Эй, выстирай мне трусы!» — а он притворяется, что не слышит, но по его старенькому, в седых бакенбардиках личику отчетливо видно, до чего ему все осточертели.

Рысь торопливо прохаживается взад-вперед, будто нервная дама в приемной, едва успевая перед стенкой нырнуть маленькой головкой с кисточками — так и ждешь, что ей вот-вот скажут: «Гражданка, сядьте, пожалуйста!»

Снежный барс — на лице безмерная обида: не надо мяукать, не надо звать меня кошачьим именем: «Барсик, Барсик!» — нечего подлизываться!.. Смотрит мимо, однако явно все сечет.

Волк не столь бескомпромиссен, в своей бесконечной пробежке туда-сюда он легонько косит через плечо, с чего это весь класс вдруг развылся: у-у-у, у-у-у-у... А потом догадываешься: да ведь наверняка же и все так воют — он и любопытствует: неужели и эти такое же дурачье?

Лев в своей войлочной гриве мудр, как Карл Маркс, — и вдруг демонстративно зевает всем в лицо, выставляя на обозрение слюнявый язычище. «Царь зверей, царь зверей», — почтительно шелестит у клетки, а он — вот вам царь зверей, лопайте!

Пожалуй, лишь в террариуме не было ничего человеческого. Хотя нет: медленно струящиеся змеи что-то определенно давали знать — держи, мол, ухо остро, — только не понять, насчет чего это они. Единственным, кто ни на что не намекал, а просто лежал себе да лежал бревном, был аллигатор — бугристый, как чудовищно разросшийся одичавший огурец. Из двух болотных наростов поблескивали ничего не выражавшие глаза — перламутровым огнем отражали свет лампы и больше ничего. Пасть была прорезана неровно, крючковатые зубы натканы как попало, но нижний

край челюсти был очень точно подогнан к верхнему. «Как неживой...» — через минуту выразил кто-то общую озадаченность, и Юрка начал стучать по стеклу, делать пальцами: «Фрр! Фрр!» — изображая, быть может, взлетающих птиц, но аллигатор не реагировал *никак*. «Может, он дохлый?» — неизвестно кому задал Юрка нарастающий общий вопрос, и вдруг перламутровый глаз затянулся медленной пленкой, а потом снова засиял, неживой из неживого. У котенка абсолютно другие глаза...

Юрка вновь принялся стучать, мяукать, лаять, но аллигатор, по-видимому, когда-то уже успел убедиться, что стекло не прошибешь, и теперь не желал совершать бесполезных движений. Вроде бы разумно. Но ведь и собака отлично знает, что цепь не разорвешь, забор не перепрыгнешь, — однако попробуй ее подразни — она хрипом, пеной изойдет, но будет все кидаться и кидаться. Что ж она, глупее аллигатора? Да нет, конечно, — просто в ней есть что-то человеческое, а в нем *НИЧЕГО*. Это был идеальный образ утилитаризма, сформулировал бы Витя, если бы имел склонность к философствованиям.

Аллигатор вовсе не был неповоротливым флегматиком, Витя сам видел в каком-то киножурнале, как аллигатор пузатой лапчатой торпедой вылетал метра на два из воды и хватывал поперек живота нежную косулю, которая в миллиард раз умнее, роскошнее и красивее его, и, взбивая воду своим страшным бугристым хвостом, вращал бьющуюся бедняжку, выкручивая из ее трепещущего бока аппетитный кусище... Да аппетитный ли? Для него ведь наверняка существует лишь съедобное и несъедобное!..

Эрмитаж после аллигатора большого впечатления уже не произвел. Что говорить, Зимний дворец одной только пышностью сводов способен ошарашить неподготовленного зрителя, но Витя в пятилетнем возрасте успел повидать станцию московского метро «Комсомольская-кольцевая», когда они ездили к маме на родину в Воронежскую область, и так был поражен пышностью лепнины и золотом мозаик, что все последующие архитектурные прекрасности представлялись ему лишь слабым эхом. Но голые статуи Витю все же смутили. «Смотри, колбаска!» — показал пальцем Юрка одной из девочек, и она, вспыхнув, ответила: «Дурак». «Ну-ка, ну-ка, кто там такой умный?..» — грозно вытянула шею классная руководительница, заранее, впрочем, отыскивая взглядом Юрку. Но пожилая тяжелая экскурсоводша, от сострадания впадая в елейность, растолковала бедным детям, что древние художники стремились изображать человека во всей его красоте, и Витя с готовностью принял эту версию: что же взять с первобытных людей! Правда, притворяться еще и восхищенными — это, пожалуй, уже чрезмерное великодушие...

Тем не менее в целом Витя был очень далек от того, чтобы уподобить жителей самого культурного города страны ужасному *хладнокровному*, — однако сам город вел себя в точности как аллигатор: тупыми зубищами многоэтажек он перемалывал все живое между собой и беззащитной Бебелей, и даже гордые трубы «Авроры» теперь извергали свой великолепный дым из-за каких-то тупых коробок. Город уже втянул в себя и переварил Сашку Бабкина — подманил отцовским «повышением» и проглотил: Витя тогда впервые услышал от Сашки слово «престижный». Но до Сашкиного «престижного района» пришлось два часа греметь и замерзать в трамваях с передышкой на презрительную давку в метро, а затем бродить среди кирпичных башен, запутавшихся в сосновом редколесье; Сашка же встретил его скучно, почти не скрывал, что ему не до Вити, то и дело звонил по телефону с таким видом, будто ему это раз плюнуть, водил по квартире, в которой главная красота — благородных цветов собрания сочинений — тереялась в пустынных пространствах, и то, что отец в воскресенье был на работе, говорило, оказывается, не просто о сверхурочных, но об особом доверии каких-то верхов — номенклатура есть номенклатура, небрежно пожал плечиками Сашка, намеренно пояснив и так вроде бы понятное не-

понятным словом, и принялся рассказывать, что Москва строит против Ленинграда некие козни, однако Сашкин папа написал какую-то настолько хитроумную докладную записку, что Толстиков... Сашка произнес и это имя так, словно Витя непременно должен был его знать, хотя ему было прекрасно известно, что у них в Бебеле ни о каком Толстикове никто и слыхом не слыхивал.

И когда Витя гремел и мотался обратно в Бебелю, грудь его сжималась не только от горечи и обиды, но и от тяжелого предчувствия «все там будем»: надвигающиеся на Бебелю городские параллелепипеды возглавлял исполинский, разинувший застекленную пасть кинотеатр «Марс». Уже одно то, что до «Марса» нужно было ехать... Но на пропущенный фильм «Мамлюк» не поехать было невозможно. Однако Витя почуял недоброе еще в кассе: к ней стояло всего человека три, никак друг другом не интересующихся. На «Марсе» явно не было живой жизни. А уж зал — эта ширь и эта высь, казалось, были возведены нарочно, чтобы не только каждый человек в отдельности, но и любая компания ощутила себя крошечными и затерянными. Тем не менее раскинутые по необъятностям гнутых кресел компашки, похоже, чувствовали себя как нельзя уютнее: аллигаторы — те вообще всюду в своей тарелке, лишь человек при созерцании безмерного испытывает тоску и страх. Витя еле досидел до конца издевательски сияющего прездника на неохватном экране, завершившегося прекрасной парной смертью, и досидел, оказалось, напрасно: на улице его обшмонала кучка шпаны, вывернув из кармана сдачу с полтинника.

В Бебеле никогда никого не «трясли» — там боролись только за честь. Но если бы даже... В Бебеле непременно постарались бы показать, что действуют во имя какой-то своей правды, а эти марсиане его вертели и охлопывали, словно неодушевленный предмет, — им было совершенно плевать, что он о них подумает, им был нужен только результат. Даже и коленкой они ему поддали как будто из чисто утилитарных соображений — исключительно чтобы придать ему скорости.

В бебельском клубе какой-нибудь Сухан тоже вполне мог попросить за шкирятник с приглянувшегося ему места, но ты при этом знал, что ему нужно не только и даже не столько место у экрана, сколько место в твоей памяти, и Витя всегда готов был пойти навстречу этой благородной потребности. Клуб — это, можно сказать, был второй дом — длиненький желтый дом с пронзенными шагающим циркулем вздувающимися волнами книжных листов на треугольном челе, желтый дом, где и в самом деле постоянно клубились и кружились пацаны и особенно девочки в кружках танцевальных, рисовальных, кроильных и шильных. Кинозальчик там был небольшой, с откидными деревянными сиденьями, открывавшими пальбу, когда народ начинал подниматься с мест, и мест этих всегда хватало, если явиться за час-полтора и хорошенько размять бока среди навалившихся на кассовое окошечко знакомых. Толкучка — увлекательный спорт, когда все друг для друга что-то значат — пусть даже иногда и не очень приятное. Это-то как раз и нормально, когда кто-то кого-то недолюбливает, ненормально, когда кто-то кого-то не замечает.

Но лучше всего — когда любят до гроба. Как ему казалось, они были преданы друг другу с Сашкой Бабкиным — простодушный Эдмон Дантес и превзошедший всю земную мудрость аббат Фариа: Сашка, как теперь выражаются, и по жизни был одним из Витиных учителей. Витя вступил в отроческую пору в сопровождении двух экскурсоводов — Сашки и Юрки, причем оба они твердо знали, что открытая простодушному глазу реальность — всего лишь обманная декорация для дурачков, самое главное творится где-то за кулисами. С той существенной разницей, что, по мнению Юрки, главные тайны мира прячутся в чем-то мелком и, как правило, довольно противном, а по мнению Сашки — в чем-то большом и, как пра-

вило, довольно скучном. Выражаясь упрощенно, Юрка находил разгадки всех тайн в сортире, а Сашка — в каких-то заоблачных канцеляриях.

Скажем, биологичка выглянула в окно и поспешно процокала вон из класса, не довершив ритуальной угрозы: если кто, мол, встанет с места, возысит голос... «К физруку побежала, — непременно продышит в ухо жаром далекой преисподней Юрка. — Знаешь, как это называется у баб? *Вожделение!*» Это звучало как нечто невероятно заманчивое и вместе с тем гадкое, словно некое выделение, которое нужно поскорее смыть — но уж никак не тем средством, к которому она сейчас цокает по коридору в учительскую уборную, где затаился в ожидании условного стука такой вроде бы мрачный и чуждый всех сует амбал физрук... Уже сделала от физрука два аборта, и все ему мало, этому мерзкому всесильному *вожделинию!* Но там же, в уборной то есть, нет никаких приспособлений? Однако для Юркиного воображения не было невозможного.

Однако же, когда биологичка возвращалась в класс, по ее лицу, разом полагавшему конец развернувшемуся веселью, Витя с облегчением видел, что все это неправда, ничего такого, к счастью, просто нет и не может быть на свете. А стало быть, прав Сашка, уверяющий, что биологичка бегала получать срочные инструкции из военкомата в связи с переходом армии на новые формы биологического оружия. И если бы Витя пожелал зачерпнуть из полузабытого чего-нибудь наиболее, с позволения выразиться, жизнеутверждающего, то есть наиболее безжалостно обманувшего, это наверняка оказались бы не железобетонные стены реальности, а Сашкины росписи на этих стенах. Бебельская, скажем, «Круглая дача» даже и после военного разрушения для всей Бебели так и осталась всего только «Круглой дачей» — переполненная толченым кирпичом небольшая арена, при которой высится израненная кирпичная тура со следами каких-то бывлых красот, — едва заметные линияло-зеленые плети Сашка называл каменным плющом. Витя подзревал, что плющ — такая материя, но Сашке не перечил: кто бы еще сумел окрестить всем привычную башню за шоссе замком Иф! Хотя сам же Сашка и разъяснял, что прежний хозяин дачи Юсупов-Гаментов воздвиг каменную юрту в честь своих татарских предков, а башню при ней — в честь предков английских (Гамильтонов). В ее подвале, куда толченый кирпич, очевидно, выхлестнуло из соседней ступки, поскольку в куполе все кирпичики твердо сидели в своих гнездах, как семечки в спелом подсолнухе, так вот, в этом самом подвале замка Иф они под руководством Сашки творили римейк за римейком бессмертного «Графа Монте-Кристо».

Как это было упоительно! Из голых и мокрых стен, казалось, сочились слезы... И вот ты остаешься один среди тишины и мрака, немой и угрюмый, как те своды подземелья, мертвящий холод которых ты чувствуешь на своем пылающем челе. Внезапно легкое постукивание... прекращается как по волшебству... Но надежда, всегда отрадная человеческому сердцу... И вот ты держишь в объятиях своего старшего бесконечно мудрого друга, который говорит по-итальянски, как тосканец, а по-испански, как истый сын Кастилии, математику знает лучше математиков, а химию лучше химиков, — такую выучку в наше время дают разве что шпионские школы.

Пожалуй, всего труднее было включить в игру вновь и вновь возникавшие на кирпичном крошечном загадочного происхождения экскременты, в зависимости от времени года то заледеневшие, то, наоборот, подтаявшие, как забытое эскимо. Но даже неукоснительное их появление Сашка сумел объяснить тем обстоятельством, что земля, на которой возведен замок, когда-то принадлежала коварному и мстительному племени туарегов, чьи обычаи требовали метить этим способом границы своих владений. Разумеется, туареги давно были загнаны в резервации, но, проникая под чужим именем в охрану замка, они снова и снова напоминали хозяевам, что от своих притязаний отказываться не намерены. Чтобы лишить их метки ма-

гической и юридической силы, Витя с Сашкой, готовые в любой миг брызнуть прочь, скачивали у бывалых грузовиков возле закусочной стакан другой бензина и торжественно поливали им пограничные претензии неутомимых туарегов, а потом сжигали их и развеивали пепел по ветру.

Черпай не перечерпашь, сколько раз они с Сашкой совершали побег из замка через подкопы, съезжали с башни (куда тоже добирались настырные туареги) на веревках, скрученных из савана мнимо скончавшегося то одного, то другого узника, обмирая, по-простому сигали в снег, пробирались в сельву сквозь пампасы, замерзали во льдах Аляски, тонули во Флоридских болотах и вновь оживали: замок Иф был связан и со Старым, и с Новым, и даже с *тем* светом. А уж когда аббат Фариа из гвоздей собственного ложа, битых черепков, лампы и золотых нитей, похищенных из аксельбантов хозяина тюрьмы, сумел изготовить радиопередатчик...

Замок Иф теперь лучше и не ворошить, проглоченный вместе с восстановленной для этой цели каменной юртой — рестораном «Трактирь», русская кухня эксклюзив. А вот кружок радиолюбителей так и остался вечным... Нет, он тоже был проглочен вместе с волшебным запахом плавящейся канифоли, с азартно раскуроченными шэфскими приборами по стенам, с хвостатыми разноцветными цистерночками сопротивлений и леденцами конденсаторов, с лысыми лампочками и набриолиненными катушками, с «папами» и «мамами», как игриво, в отсутствие девочек и взрослых, именовались разъемы («папы» вставлялись в «мам»), и даже с небольшим ладным физиком, ухотившим домой (да и то не наверняка) только ночевать — ибо в новой школе и физик перестал поминутно вспыхивать своей треугольной улыбкой. Витя не зря проходил мимо новой строящейся школы с таким душевным спазмом, будто это была предназначенная ему тюрьма (уже влитые в серый фасад грязно-белые профили глядящих исключительно друг в друга Маяковского, Горького, кажется, и Пушкина тоже были чудовищно увеличенными медалями неумолимых диктаторов).

Кстати, именно аббат Фариа первым объяснил Вите, для чего нужны резисторы, транзисторы, тиристоры... «Что ты несешь?.. — вдруг появился в дверях Сашкин папа с выражением сморщенного страдания на лице. — Какие тиристоры?..» В своей заморской пижаме папа подсел к ним и принялся, набрасывая на бумаге совсем не похожие на реальность схемы, объяснять, что такое сопротивление, емкость, индуктивность, и Витя, к своему удивлению, почти все понял, хотя в школе до колебательных контуров им с Сашкой было еще довольно далеко (тогда и год был эпохой). Сашка, к Витиному смущению, никак не усматривал различия между сопротивлением обычным, желавшим все затормозить до нуля, и сопротивлением индуктивным, которому достаточно было оставить все без изменений, — так Витя на некоторое время превратился в некую достопримечательность кружка вольных сынов эфира, набивавшихся в каморку при физкабинете: слабые или слабеющие места в радиотехнических схемах Витя ощущал то дискомфортом в боку, то легким стеснением в горле, а то и пульсацией в голове.

Правда, этим нелегким его даром восхищался в основном сам физик, остальным азарт придавал даже земноводные черты — для них становился всего важнее результат, связь с каким-нибудь местечком, куда еще не опускалась их электромагнитная волна. Причем такие белые пятна вполне могли оказаться в двух шагах от Бебели, и когда Сашка однажды похвастался, что его папа связался с папой римским, это не произвело ни малейшего впечатления — зато какое ликование вызвал минутный контакт с Колей изпод Тосно! И добро бы кто-то желал что-то такое неслыханное у него выведать, нет — бдительному кагэбэ, как разъяснил Сашка, даже вопросы «Как поживаешь?» и «Какая у вас погода?» могли показаться шифровкой. Потому-то и дозволялись исключительно стандартные сигналы «семьдесят три» — наилучшие пожелания и, кажется, «восемьдесят восемь» — пожела-

ние любви, но это уже в виде дерзости. Однако радиолюбителям для счастья было довольно получить скромную открыточку-«куэзэльку».

Что такое «QSL», Витя уже забыл намертво, но он уже тогда чувствовал: со страстью предаваться абсолютно бесполезному делу — это и значит быть человеком.

Именно поэтому в новой школе, проглотившей старую, очень скоро выяснилось, что бесполезными делами могут заниматься только придурки, и если кое-кто из прежних придурков еще полутайком временами предавался прежней страсти (Витя оставался в их числе), то рекрутирование новых иссякло полностью. Поэтому, здороваясь с физиком, Витя всегда опускал глаза. Впрочем, и физик старался смотреть поверх голов. Коридоры в новой школе были такие высокие и светлые, что сердце сжималось от одиночества, когда они были пусты. А когда они вскипали толкотней, оно сжималось от страха в любой момент ощутить толчок своего же, казалось бы, пацана, для которого, однако, ты *ровно ничего не значишь*.

Тщательнее, чем разжалованную директоршу, коридорная бегодня теперь обтекала другие фигуры — прежде всего Храпова, носившего производимое с понижением голоса — не кличку, звание: *Храп*. Храп был очень широкий, обманчиво мягкий, с широким же носом, тоже мягким, как его вкрадчивая поступь, и Витя не мог взять в толк, как это учителя решаются вызывать его к доске. Может, правда, они и не решались, а только, набравшись терпения, дожидались той минуты, когда можно будет с облегчением вручить ему аттестат?..

Вот где можно было набраться стойкости — в воспоминаниях о школьных «вечерах», на которых под какое-то залихватское «А-ма-ма-ма-ма-ма-ё-керу», что ли, или дураковатое «Пошла Каролинка в поле погулять» необходимо было промаяться положенное число часов, чтобы только не признаться себе, что тебе нет места на празднике жизни. Да и было ли там место кому-нибудь, кроме аллигаторов, в присутствии хотя бы одного из которых человек, разумеется же, не может испытывать ничего, кроме тревоги и тоски?

Юрка — тот вроде бы вполне вписался в новую действительность: отрабатывает «чарльс», выбрасывает в разные стороны обтянутые зеленые икры — изумительно выдрессированный кабан на задних копытах: «Бабушка, отложи ты вязанье, научи танцевать чарльстон...»

Зато Витю тоже стало тянуть — нет, не отплясывать, а побыть во внеурочной атмосфере рядом с девочками, как-то незаметно обретшими таинственность, особенно в настоящих платьях, в которых Витя и взрослых не припоминал: то в каких-то колокольных, то в узеньких и блестящих, как ящерки... Праздничных причесок Витя тоже не разбирал, но что и они отличали значительность — особенно непостижимо высокие и воздушные (на уроках бы за них сразу влетело), — это он видел. Мари не может стряпать и стирать, зато умеет петь и танцевать — и правильно, это важнее, чем стряпня и стирка: для них есть тетки. Но много глупостей больших Витя готов был совершить все-таки скорее не ради тех, кто танцует или, пошептавшись, прыскает, а ради тех, кто загадочно стоит у стены. Незвестно почему одна из таких стоящих во время белого танго внезапно пригласила его, и он обмер, когда его рука поневоле оказалась на ее талии, — еле дотоптался, пока наконец не истаял невероятно томительный «Маленький цветок».

Витя каждый раз замирал, когда до него доносился популярный куплет: я гляжу ей вслед — ничего в ней нет, — в них во всех что-то было, неизвестно откуда взявшись. Он даже не мог различить, кто из девочек посимпотней, — бивший от всех от них напор тайны делал его полуслепым. А ведь только что, кажется, мог огреть любую из них по спине в догонялках или вступить в нешуточную борьбу за спорное яблоко, хватаясь за все, что под руку попадется...

Однако теперь те же вроде бы самые девочки под слоем явной робости пробуждали в нем еще и скрытую бесшабашность, желание отмочить перед ними что-нибудь отчаянное. Однако аллигаторы, крупные или мелкие, проворные или ленивые, особенно охотно концентрировавшиеся всюду, где попахивало весельем, вселяли в него столь мистический ужас, что он и не смел думать о девочках, ясно понимая, что такие труссы не имеют на это права. Он даже не задерживался перед зеркалом пострадать как следует, до чего он уродливый — длинный нос, глазки бусинками, уши торчат то одно, то другое: до страданий по поводу собственной внешности еще нужно было дорасти — он же снимал свою кандидатуру на гораздо более ранних этапах конкурса. Ибо при одной только мысли, что перед ним сейчас предстанет аллигатор, его покидала всякая воля и достоинство. Так однажды, когда Вите с первого раза не поддалась разбухшая дверь в школу, он, вместо того чтобы дернуть посильнее, жалобно попросил: «Пусти, а?» — аллигаторы любили подобные шутки. Или: услышав крик из футбольной компании: «Куда попрыгал?» — Витя повернулся и покорно пошел прочь, лишь после сообразив, что вопрос относился к мячу. Хотя, пока ему приходилось иметь дело с людьми, а не с аллигаторами, он не отличался особой робостью, вполне умел и пихаться: ты чё, крутой, что ли?! Даже дрался сколько-то там раз. Но в драке с человеком, как это ни мучительно, ты все-таки знаешь, что он чувствует не только твои удары, но и твою боль, твою обиду... А вот если для него существует исключительно то, что он может увидеть, пощупать, разжевать... Они так про девочек и говорили: шупать.

От этого просто пальцы немеют, ноги подкашиваются. И если ты о себе такое знаешь, разве хватит совести хоть где-то, хоть в чем-то изображать удаль?

Разумеется, глупость юности временами брала свое; разумеется, Вите не раз, не два и не двадцать случилось забывать, кто он есть, у кого-нибудь дома, хотя бы и у себя самого, но в школе забыться ему было тем невозможнее, что он невольно оказался допущенным в аристократический клуб — в радиоузел, — а куда допустили, оттуда могут и шугануть, тем более что и допущен-то он был не за аристократическое искусство вытереть о другого ноги, а всего только за плебейское умение быстро чинить тяжеленный, как паровоз, раздолбанный коллективным обладанием школьный магнитофон, приматывать отставшие коленца синей изолентой и золотой проволокой, а также заменять обмякшие резинки свежими.

К тому же еще и ответственность — иной раз Вите даже казалось, что он не допущен, а привлечен. Привлечен склеивать коричневые, с одной стороны тусклые, с другой — глянцевые пленки щекочущим в груди ацетоном, привлечен распутывать их стихийно образующиеся колтуны — и ждать, что его же вот-вот и сделают виноватым. Конечно же далеко не все в этом клубе были хищными земноводными, но для Вити было достаточно одного аллигатора, чтобы прозревать его признаки во всех. К счастью, в присутствии Храпа никто не смел проявлять свою крутость, а Храп до такой мелюзги, как Витя, не опускался.

Храп вообще был, можно сказать, поэтичен. В те годы как раз входил в силу Высоцкий, которого и педколлектив, и пацаны считали блатным и похабным — только одни с осуждением (попытки прокрутить его для общего пользования всякий раз вызывали целые расследования и массовые кары), а другие с одобрением: коц-моц, Зоя, кому давала стоя — в кайф! Но когда Храп принимался мечтательно перебирать гитарные струны, в Витиной душе сразу же начинало натягиваться некое скорбно-сладостное «mmm...», не оставляющее места мелким чувствованиям. Несмотря на занимавшее половину радиоузла угловато-сквозное нагромождение ломаных стульев, их всегда не хватало (жажда среди соленого океана), иногда под кем-то с треском подламывались ножки под общий хохот и Витину выму-

ченную улыбку, но если треск издавало сиденье под Храпом, все лишь растроганно улыбались. Храп закладывал ногу на ногу, и штаны — не вызывающие, лазурные или бордовые, а какие-то серо-буро-малиновые (вот пиджак на нем был фирмовый — без лацканов) — натягивались на его ляжке так туго, что он длинным движением спокойно зажигал о них спичку, — однако участие гитары исключало малейшие проявления демократического шутовства — и мясистая храповская чувствительность немедленно налагала на лица печать высокой трагедии.

Надрывающая сердце мелодия околдовывала дивной историей о том, как в некоем манящем притоне дочь рудокопа Джанель, вся извиваясь, как змей, с шофером Гарри без слов танцевала танго цветов. Витя даже забывал об аллигаторах, в душе его закипали слезы восторга, когда он почти что вживе видел, как однажды в этот притон зашел красавец барон и увидел крошку Джанель, «всю извиваясь, как змей». И кажется, Храп догадывался о его чувствах: в безразлично пробегающем по Вите храповском взгляде Витя, ему казалось, успевал заметить что-то вроде благоволения, хотя он, разумеется, всячески избегал встречаться с Храповыми глазами — деликатность, которую тот, похоже, тоже ценил. Поэтому Витя с особенным жаром горел со стыда за Юркину неотесанность, когда тот после надрывной прекрасности начинал колотить по струнам всей пригоршней, выкликая с такой отчаянностью, будто в драку рвался. Судя по всему, его лирический герой за что-то отчитывал свою бывшую возлюбленную:

Сука, б... плевков, п... вонючая,
 Падла, курва, сатана, урод,
 Для меня ты что в ...ю колючка, сучка,
 Что хромому бешеный фокстрот.
 Перестань же ты по фене ботать,
 Отвалю такой ...зды — держись!
 Будешь на лекарства ты работать, курва,
 Всю свою прое...нную жись.

Витя не знал слова «вульгарность», но прежде всего это именно она ставляла его по-черепашьи укорачивать шею. Но даже жар стыда не мог разогреть в его груди холодный камень тревоги: Юрка словно не догадывался, кто тут основной, а рано или поздно... Не нужно обольщаться, что кое-кто из храповской свиты называет его поощрительно — Юрецкий. И вот уже у кадки с фикусом три молодых аллигатора небрежно делятся с почтительной публикой, как они собираются ...здить Юрку, совершенно не принимая во внимание, что здесь присутствует какой-никакой, но все-таки Юркин родственник. Один из аллигаторов как бы в рассеянности чем-то постукивал по кадке, и Витя едва удержал рвотный спазм, увидев, что это зубило.

Не почерпнуть ли стойкости на том истоптанном снегу с четко чернеющей ледовой дорожкой, словно кто-то продышал и проскреб в непроглядную ночь нечистое морозное стекло, — как раз у этой дорожки обращенный в кабана человек бешено мотал корпусом, пытаясь сбросить повисших на нем аллигаторов. Ып, ып, подкатила и откатила рвота, и Витя прислонился к стене за углом, уже сдаваясь, уже готовясь прекратить борьбу и сползти на снег. И тут до него дошло, что с этим воспоминанием теперь ему придется жить до конца его хорошо бы короткой, но все равно необозримо долгой жизни...

Надо же смотреть, кому ты впаиваешь, впоследствии не раз пенял ему Юрка, ты же один раз и меня на...бнул, но Витя никогда не признавался, что в схватку он бросился с единственной целью — чтобы его поскорее убили. Промахиваясь, он шлепался на руки и, как кобель, несколько раз проскальзывал задними лапами, прежде чем ему удавалось вскочить, — но его все не убивали и не убивали. Последнее же, что ему помнилось, — сам превратившись в аллигатора, он висит на чьей-то спине, окаменело зажав

локтевым сгибом чье-то горло, а его жертва рвется, выкручивается, но рывки ее все слабее, слабее... И вот ему уже приходится опускать ее на снег, стараясь, чтобы она не стукнулась затылком.

— Ну, клещ!.. — с одобрительным удивлением говорит ему взошедшее над исчезнувшим миром лицо Храпа, и зрители подобострастно смеются, а Витя прикладывает к разбитому носу и губам быстро пятнающийся снежок, видя, что так поступает Юрка.

— От...здили, и хватит, — вельможно распорядился Храп, и два аллигатора, тоже врачевавшие свои раны снежками, потупились, третьему же растирали щеки снегом без его участия. — Красиво ты его отключил, — поощрительно обратился Храп к Вите, и Витя догадался, что следует растянуть бесчувственные губы в скромную улыбку.

Так вместе с дружелюбным прозвищем Клещ Витя обрел и невидимую камеру, куда аллигаторы уже не проникали. В этой камере он и передвигался по школе, сожалея лишь о том, что ее стенки все-таки прозрачны. Изредка он отпраивался под своды замка Иф погрузить о былом и видел, что туареги в отсутствие истинных хозяев окончательно распоясались, хотя теперь-то вроде могли наконец и успокоиться. Из голых и мокрых стен сочились слезы, он оставался один среди тишины и мрака, немой и угрюмый, как своды подземелья, мертвящий холод которого он чувствовал на своем пылающем челе... Вся человеческая мудрость заключена в словах «Ждать и надеяться»... Но реальность была слишком наглядна и неотвратима, чтобы можно было воодушевиться игрой. Начиная понемногу дрожать от сырости и грусти, Витя стоял в полумраке среди туарежьих меток, въевшихся в задутый сквозь амбразуры снег, и не мог постичь, ради чего Эдмон Дантес с аббатом Фариа так неукротимо рвались наружу — можно ведь было, наоборот, запереться на такой невиданный (невидимый?) замок, чтобы тюремщики никакими силами не могли попасть в камеру, то есть в дом наших друзей... Запереться от мира в тюрьме — почему еще ни один писатель до такого не додумался? Что пить, что есть в этом убежище — можно придумать. Ну, скажем, выкопать колодец, нарыть нор и добывать из них всякие полезные коренья... Или, скажем, кротов, — можно развести целую кротиную ферму, кормился же майн-ридовский Морской Волчонок в тюрьме крысами, — писатели придумали бы в тысячу раз лучше, чем он, но все они зачем-то рвались наружу.

Вите грезились какие-то дивные затворы без ключей и скважин, словно верные псы, откликающиеся на поглаживание, на голос, на свист хозяйина, и физик зарубал схему за схемой, для которых не хватало то комплектующих, то законов природы. Однако на место одного павшего принципа немедленно становилось два новых, за выдумыванием которых Витя проводил столь упоительные часы и дни и отчасти ночи (пока не всунется помятый отец в майке: «Может, хватит дурью маяться?..»), что в них, пожалуй, можно было бы почерпнуть и какой-то жизнестойкости, если бы Витя не понимал: это было упоение бегства, а не упоение борьбы.

Самое удивительное — к его химере очень активно присоединился Юрка, столь пронырливо и настырно достававший аккумуляторы и редукторы (таскал и Витю на пяти трамваях на Лиговский толчок, где тырил радиодетали, взявши вроде как поглядеть), что не в таком уж долгом времени счастливый миг настал: Витя приложил руку к свежей штукатурке на израненной стене замка Иф, и ржавый стальной лист, гремя и скрежеща, пополз вверх по направляющим, открывая путь выдоху сырости и тьмы из-под родных некогда сводов. Внутри тоже было устроено несколько заветных местечек, приложившись к которым можно было снова опустить или поднять лязгающую защиту, впуская внутрь свет и воздух.

Само собой, Юрка, тоже вроде бы очарованный словами «емкость», «индуктивность», все равно позавал в бывший замок знакомых полуаллигаторов с их бутылками и гвалтом, но подвал для Вити уже и без того

утратил обаяние: он разыскал и неустанно углублял другую нору, несравненно более прочную, ибо ее было невозможно ни увидеть, ни пощупать. В старой клубной библиотеке один только запах книжной пыли издавна наводил на его душу сладостный покой — покой предвкушения, — вот только пожилую строгую библиотекаршу он воспринимал как еще одну учительницу (она будто нарочно всегда садилась к нему спиной, оттиснув в его памяти свои мелко и туго заплетенные, блестящие как новенькие, косички, свернутые конической спиралью). Витя выбирал книги наиболее распухшие, растрепанные — народ что попало читать не станет! — с рекомендациями на последней странице: эта книга очень хорошая, эта книга очень интересная. Новая библиотека, как и все новое, отдавала чистотой и порядком пустой казармы, зато новая библиотекарша постоянно с ним заговаривала с той подтрунивающей умильностью, какую ему впоследствии не раз случалось вызывать у женщин. Будучи в Бебеле первым официальным лицом женского пола, носившим брюки, со своей тугой кучерявой стрижкой она вообще походила бы на цыганенка, если бы не была ограждена от Витиново взира своей взрослостью, — Вите больше запомнился ее перстень с камнем, похожим на выпученный рыбий глаз.

Витя в ту пору уже начинал рыться в номерах «Техники молодежи» (как он по простодушию склонял название популярного журнала «Техника — молодежи»), разыскивая какие-нибудь сведения, которые могли оказаться полезными при конструировании электромагнитных замков, и кое-что находил. Однако журнал был настолько увлекателен, что Витя постоянно застревал у стеллажа, опуская нос все ближе и ближе к страницам. Ну-ка, ну-ка — можно, оказывается, довольно просто соорудить радиофицированные очки: в одной дужке — ферритовая антенна с переключателем на два диапазона, на длинные и средние волны, в другой — небольшая гетинаксовая плата с телефончиком ВТМ-1 и аккумулятором Д-0,06; схема строится по принципу прямого усиления 2-V-2 на четырех триодах, причем что важно: первые два каскада служат усилителем высокой частоты и собираются на триодах П403 — громкоговоритель же выполнен на базе капсюля ДЭМК-1 с диффузором 35 — 50 мм. Класс!

— Ты в каком классе? — вдруг грянул женский глас, и Витя отпрянул от захватывающих очков. И не провалился сквозь землю только потому, что в прысканье веселой библиотекарши различил явную симпатию. — Так тебе уже давно пора читать «Юность»!

«Юность», «Юность»... Жизнеутверждающие обложки, на которых бросалось в глаза прежде всего что-то юное, щемящее, манящее и лишь потом — производственное, государственное. Парень с девушкой на скале над таежным озером (у нее обязательно развеивается что-нибудь ранившее, женское — косынка, подол платица...) — а рядом теодолит на треножнике: счастье юности, любви неотделимо от работы — щемящая зависть ясно говорила Вите, что это чистая правда: чего бы он ни отдал, чтобы оказаться на месте этого парня (не «Над озером» — «Над котлованом»). Простецкая смеющаяся девчонка в завораживающих веснушках, каждая с двушкой, — а вдали коровник и трактор «Беларусь» с прицепом. (И тоже не такие, как на «Огоньке», а будто с чертежа — видно, с умыслом, до которого ты должен еще дорасти.) Утирает лоб лыжник, рядом с ним грациозно прогнулась на палках его подруга, особенно тоненькая на фоне могучего «МАЗа» и черных скал в белых треугольниках снега (и солнце нарезано дольками, тоже неспроста). Мужской и женский профили на фоне взрывающей ракеты — он привычный воин-освободитель, но она уже очеловечена, наделена наивным вздернутым носиком. Даже черные, белые, желтые юноши и девушки, выставившие перед собой плакаты «Мир», «Frieden», «Peace», при всей их плакатности смотрелись студентами-симпатиями, — оказывается, и борьба за мир вовсе не школьное занудство... А вот отчаянный парень, ухватясь за сосенку над обрывом, тянется к цвет-

ку для тоненькой девушки (ветер треплет ее платице, алое, как пионерский галстук), вдали же — стройная плотина, и всюду прелестью одного заряжается и другое. «На землю рухнул Голиаф, как ствол тяжелый дуба... И ты, победу одержав, великой стала, Куба». Это еще было подозрительно гладко, но вот когда поэт, которого ругают в газетах (уроки «цыганочки», смущавшей Витю непривычной свойскостью), слушает зов кубинской революции не как-нибудь, а *осиянно*... Витя два раза перечитывал это слово. Прежде он и не подозревал, до чего ему хотелось, чтобы все, чему его учили, и впрямь было на свете, только *настоящее* — *настоящая* революция, *настоящий* социализм, *настоящие* коммунисты: сам не догадываешься, как ты устал жить в мире унылой лжи, а барбудос — вот они, прекрасные, мужественные. У писателей «Юности» и наши ребята были хоть и не очень похожи на настоящих, но все-таки по-своему живые, с какими-то шуточками, словечками вроде «железно», и хотя в Бебеле так никто не говорил, Витя все равно понимал, что имеется в виду: снаружи молодежь вроде бы чуваки и чувихи, но в решительную минуту, как и отцы их из более старых книг, они пойдут на нож, защищая склад от бандита.

Носил он брюки узкие, читал Хемингуэя — вкусы, брат, не русские, внушал отец, мрачней, — Витя даже решился попросить Хемингуэя у игривой цыганочки, и та насмешливо приподняла безукоризненно причесанную антрацитовую бровь: о, поди достань!.. Но, собственно, Вите и так было понятно, что Хемингуэй — это что-то поверхностное, вроде узких брюк, а суть все равно откроется в подвиге: могила есть простая среди гранитных глыб — товарища спасая, «нигилист» погиб. Дневник его прочел я, он светел был и чист, — не понял я, при чем тут прозвание «нигилист». Витя тоже не очень понимал, как связан погибший с сочинениями на тему «Отцы и дети», но в высоком и не требуется понимать все.

Витя уже научился сразу же чутать нечто многозначительное в какой-нибудь меленькой маленькой заметке «Жан Поль Сартр в гостях у „Юности”» (брюзгливый иностранец с отвисшей сигаретой, но понимающему человеку сразу ясно, что Сартр — это, видно, не хрен собачий). Взаимоотношения отцов и детей во Франции, сказал Ж. П. Сартр, обуславливаются, мне кажется, исключительно причинами биологического характера, меня интересует, в каких формах проявляется эта проблема у вас. Подробно на вопрос гостя отвечали В. Аксенов, А. Гладилин, С. Рассадин, Б. Сарнов (имена эти Витя запомнил на всю жизнь — так они были значительны). В их выступлениях прозвучало твердое убеждение, что творческие дискуссии среди писателей и художников разных возрастов не являются спорами между поколениями. Это споры единомышленников. Молодежь у нас продолжает дело своих отцов и дедов. Вместе с партией, со всем нашим народом она активно борется с теми, в ком еще силен дух, порожденный культом Сталина, с догматиками и начетчиками, которые не могут понять, что после XX съезда КПСС в нашей жизни произошли колоссальные изменения.

Витя вчитывался в эти слова с таким радостным предчувствием, что, обладая он склонностью к скептическим философствованиям, он скорее всего признал бы, что чтение «Юности» утоляет его тайную мечту полюбить ту силу, во власти которой он оказался. Крайне смутно, разумеется, но он представлял государство чем-то вроде еще одного невидимого, но всеобъемлющего алигатора и старался только не встречаться с ним взглядом. И вдруг оказывается, что, подняв глаза, ты видишь что-то сердечное или праздничное...

Пожалуй, даже коммунизм... Вот бригада, скажем, коммунистического труда — это вовсе не безжизненная «наглядная агитация», а славные полудевушки-полутетки — в брезентовых рукавицах, в ватных штанах, но с удалыми застенчивыми улыбками — и косы, прядки из-под косынок...

Хотя и невозможно испытывать человеческие чувства к тем, кто вечно воодушевляет и организывает, вечно шагает от победы к победе, — зато полукрамольные напоминания о жертвах... Ведь коммунисты-то прежде всего всегда бывали главными *жертвами* — то белогвардейщины, петлюровщины, махновщины и всякого такого, то кулачества, а то и сталинских репрессий — это была самая трагическая страница: артиллерия была по своим. Но в тебе, Колыма, и в тебе, Воркута, мы хрипели, смиряя рыдания: даже здесь никогда, никогда, никогда коммунары не будут рабами. Это были *настоящие* коммунисты — всклокоченный Орджоникидзе перед микрофоном, умно смеющийся Киров...

Мир этот оказывался в своем роде ничуть не менее поэтичен, чем притон, где танцевала крошка Джанель, — Вите так недоставало близкой души, способной разделить его переживания! И чтобы у нее развевался хвостик косынки и выбивалась из-под него вьющаяся прядка. Витя дошел даже до того, что принялся читать стихи. Начал он с пародий — они были особенно таинственны, в них перешучивались о чем-то страшно завлекательном, о чем он не имел понятия, но стоившем же, стало быть, того, чтобы перешучиваться на глазах у тысяч и тысяч читателей. «Сонет взошел на нет. Но что взошло на да?» — приводились совершенно непонятные строчки для передразнивания — однако что-то же и они означали? Он искал разгадку в следующей за ними пародии, но выносил из нее лишь чувство, что присутствует при разговоре подтрунивающих друг над другом небожителей. Совсем уж конфузно вспомнить, но две-три наиболее загадочных пародии Витя однажды даже прочел матери вслух, и в тот раз ее строгости лишь с большим усилием удалось одолеть растерянность.

В нормальных же стихах его больше всего удивляло, с каких высот удается поэтам бросить взгляд на такую обыкновенную вроде бы землю. А с виду на фотографии — ничего особенного: костюм, галстук, иногда усы как усы, а то и распушенные губы, и вдруг — «я знаю ту силу, что кружит с рождения шар земной». Или: «И все же наши с вами корни земле распадаться не дают». Особенно полюбились ему стихи, начинающиеся как будто бы с вызова, скандала — «расползаются слухи, будто лава из Этно: в моду входят узкие брюки, в моду входят поэты!» Чтобы тревога тут же оказалась ложной: «Если Родину свою любить мода, с этой модой смерть меня разлучит!»

Когда мужики ряболицы, папахи и бескозырки шли за тебя, революция, то шли умирать бескорыстно, — в этом уверял поэт, которого постоянно долбали за любовь к революции, *настоящей* революции, и уверял не гладенько, вприпрыжку: «Рабочий катит пулемет, сейчас он вступит в бой, кричит народ: долой господ, помещиков долой!» — а неуклюже, чтобы искренности приходилось пробиваться сквозь неумелость, если бы Витя сочинил такое — «бескозырки»-«бескорыстно» — его бы обсмеял любой бебельский пацан: ни в складушки, ни в ладушки — толстым ...ем по макушке, не просекши, что эта-то нескладушность и убеждает: есть, есть, и не где-нибудь, а именно в той стране, где ты живешь, место и подвигу, и бескорыстию, и самоотверженности, и... И любви, как ни трудно выговорить это слово.

И вот обманутые девушки пишут в «Юность» — каждый день по нескольку мешков: «Он настаивал, и я уступила» (как можно на этом *настаивать?*..), «А есть ли еще на свете настоящая чистая любовь?», «А можно ли вообще верить людям?». Им отвечал сам Р. Фраерман, сочинивший книгу «Дикая собака Динго», одно название которой почему-то Витю страшно волновало, но в библиотеке «Собака» эта тоже не водилась, однако создатель ее, очевидно, все же существовал, ибо собственноручно давал ответ этим — Витя уже и сам не знал, чистым страдалцам или гадким распутницам: почти все эти знакомства, отмечал Р. Фраерман, произошли на танцах, ни одно письмо не упоминает, что встретились молодые люди в

библиотеке, в кружке, на занятиях, у хороших знакомых, у друзей, в письмах удивляет какая-то духовная нищета, словно дело происходит в каком-то дремучем лесу, где не видно ни синих манящих просторов, ни пленительных далей, ни высокого, великого неба. Отчаяние понятно на Западе, где молодежь, утомленная бессмысленностью своей жизни в мире, лишенном величия и надежд, поражена ядом неверия и нигилизма, а в нашей стране...

И Витя всматривался в свою душу и с облегчением убеждался, что если насчет нигилизма (при чем здесь Базаров с его лягушками?) сказать трудно, то уж чего-чего, а неверия в ней нет: в самой глубокой ее глубине он уверен, что есть в мире и синие манящие просторы, и пленительные дали, и высокое, великое небо. Не нужно, конечно, понимать эти слова слишком буквально, но все высокое и волнующее существует столь же несомненно, как замок Иф и Флорида, как сельва и пампасы. А уж справедливость — справедливость существует так же достоверно, как существует «Юность»: каждый человек на земле рано или поздно получает то, что заслужил. И от тебя требуется лишь одно — накопить к этому мигу, мигу подведения итогов, побольше заслуг.

Этой, стало быть, уверенности и предлагала ему зачерпнуть Аня из тогдашней душевной глубины?

Да, конечно, это было счастье — переворачивать обложку «Юности» и прямо под цифрой номера снова встречать завораживающее девичье лицо, по которому ты уже успел соскучиться, проступающее небрежными светящимися линиями из прямоугольной черноты, которая тоже не была тьмой, ибо в ней сразу угадывалось сверкающее под солнцем озеро (с котлованом так почему-то не получалось, хотя плавать Витя научился именно в котловане, бывшем песчаном карьере), и тогда эта девушка оказывалась русалкой, чьи волосы не зря напоминали о водорослях, — или грезился за этой черной доской солнечный лес, весь в березовых плетях, какие Витя однажды вдруг увидел вблизи из поезда Москва — Воронеж (с некоторых пор он начал замечать такие вещи), и тогда девушка-юность становилась... Витя забыл, как называются эти... вроде русалок, живущие в деревьях, но она явно была одной из них, потому что волосы ее ближе к окончаниям обрастали остренькими листочками, и одну такую веточку она прихватывала губками, тоже похожими на два листочка. На узкие листья были похожи и ее полуприкрытые глаза, глядящие то строго, то призывно, то лукаво, — если долго всматриваться, такого нагладишься...

Эти волосы, эти глаза преследовали его именно тем, что он нигде не мог их найти. Он примеривал их к каждой встречной до тридцати и выше — кажется, одних только учительниц полностью защищала скука, которую они источали, но эта же слишком явственная сосредоточенность на чем-то близком не позволяла увидеть заколдованные глаза даже на самых красивых лицах: в листьях и то удавалось высмотреть их чаще. С волосами обстояло получше — даже случайно поймав в зеркале расчесывающуюся после бани мать, Витя на мгновение замирал. А уж если ему попадалась на глаза какая-нибудь девушка, машинально тянущая в рот отпавшую прядку, он замирал надолго — пока не подденут большим пальцем в бок с хохотом: «Глядите, глядите, Клещ опять уставился!..» Витя смущенно улыбался, — он же еще и шурился, когда хотел что-нибудь разглядеть получше, — но ничего поделаться с собой не мог — все засматривался и засматривался.

Вот другую картинку ему не нужно было искать и засматриваться — она и без того прозрачно и призрачно стояла у него перед глазами. В «Юности» умели рисовать удивительно — ничего как будто и не нарисовано, а все видишь. Горизонтальная линия — горизонт, обруч на ней — садящееся солнце, еще одна горизонтальная линия пониже — берег моря, черная нитка, извивающаяся от горизонта к берегу, — солнечная дорожка,

легкая поперченность белой бумаги под линией берега — песок, а на песке две фигурки вроде тех, что когда-то и сам он складывал из спичек, только каким-то чудом видишь, что одна фигурка — парень, другая — девушка, и они, взявшись за руки, идут по берегу к огромному солнцу. И у Вити каждый раз ныло сердце, когда он придавал картинке резкости...

Но сильнее всего в его память впечаталась самая некрасивая картинка, вырезанная как будто на растрескавшейся обугленной доске. Это была иллюстрация к заметке об экспрессионизме, который почему-то был совершенно не похож на импрессионизм: импрессионизм был пестренький, его буржуазная критика сначала не поняла и советская догматическая тоже, однако впоследствии и те, и другие оказались не правы. И то сказать, если картинку держать подальше от глаз, получалось очень даже мило. А вот с экспрессионизмом они не совсем ошибались, и действительно, эта детская мазня даже из другого угла все равно смотрелась мазней, про такое Юрка говорил с полным основанием: «Я бы лучше нарисовал». Но вот это растрескавшееся женское лицо...

Это скорбное лицо глядело из тьмы, на нем были освещены лишь часть лба, рассеченная черными прядями, неотличимыми от трещин, выступы скул и полоска носа, да еще белые зрачки горели из мглы, словно две луны сквозь тучи; подглазья же чернели как глазницы черепов, которые пацаны, раскопав на старом кладбище, таскали на палке, а те, свесив голову, словно старались запомнить, кто над ними глумится, — но это лицо конечно же было лишено злорадной скелетной улыбки — его стиснутые губы лишь угадывались во мраке, и чувствовалось, что лик этот смотрит миру в душу века и века — уже растрескался, обуглился, но все смотрит и будет смотреть, пока мир не рассыплется в прах.

Непонятно, почему эта обугленная скорбь со сжатыми губами захватывала Витю еще намного более властно, чем очарование с закушенной веточкой-прядкой или соединившиеся руки перед помышлял идущим в море солнцем. Однако в реальности Витя и не помышлял искать чего-либо подобного — слишком уж хорошо он понимал, что ничего даже отдаленно сходного все равно не найдешь: царство ее было не от мира сего.

С такими вот экскурсоводами Витя и вступил в настоящую юность.

Первый курс — не почерпнуть ли жизненных сил в ошалелости? Витя и вправду ошалел от радости, когда увидел, что среди его однокурсников нет ни единого аллигатора, ибо все они хоть что-нибудь да изображали. Изображали в том числе и вульгарность, но *игра* в вульгарность, все равно несущая печать иного, высокого мира, порой лишь пикантно оттеняла его присутствие — может ли быть всерьез вульгарным какое бы то ни было суждение о е...х дифференциалах (они еще не входили в курс средней школы). А эротические правила сопромата были прямо-таки эзотерическими, хоть Витя и не знал этого слова: была бы пара — момент найдется. Витя таял даже от прямых глупостей, ибо и они несли на себе отпечаток иного круга, он сделался активнейшим пользователем студенческого фольклора: во второй раз, скажем, заварить один и тот же чай — взять производную; производной называлась и выпивка, купленная на бутылки от предыдущей пьянки, пьянка же, у которой существовала вторая производная, именовалась грандиозной.

До второй производной Витя не добирался, но в первой участвовал, и не раз.

Витя млел от счастья, встречая все новых и новых ребят, которые были умнее его, замечая все новых и новых девочек, которые были неизмеримо чище и утонченнее. В будущем это сулило страх оказаться их недостойным, но пока с него было довольно, что они существовали, и существовали рядом с ним — им лишь овладевала кратковременная серьезность, когда он оказывался в соседстве с которой-нибудь из них... Витя не уставал

дивиться, сколько их на свете — чистеньких, умненьких... Но купаться в радостном возбуждении все же предпочитал в обществе таких же ошалевших, как и он сам.

Простор коридоров, стройные арочные окна в лекционных амфитеатрах с видом на высокое, великое небо говорили о высоком просветленном мироздании, на порог которого ему посчастливилось ступить. Вите и в голову не приходило искать в этом мире какого-то собственного, особенного местечка — с него было довольно, что мир этот существовал, и он, Витя из Бебели, был к нему причастен. Высокое небо в общем-то могло и подождать — освобожденные ошалелостью юные страсти рванули на волю так же бесконтрольно, как пух на щеках, внезапно потребовавший бритвы. Однако и безопасные для жизни лезвия «Нева», проливавшие ручьи крови, вызывали в нем ликующее чувство, ибо и они служили крошечной деталью распахнувшейся панорамы взрослой жизни, в которой можно ложиться хочешь в два, хочешь в пять, а можешь и вовсе не ложиться. Витя в ту пору из-за радостного возбуждения как будто и вовсе не нуждался в сне, хотя постоянно шился в общежитии якобы из-за того, что из Бебели очень уж долго добираться, приходится слишком рано вставать.

«Какие умные молодые люди!» — постоянно пело в нем, когда он запойно, за бутылкой и без, отдавался болтовне в ночной общаге, где всегда можно было отыскать свободную койку, а в случае чего переспать хоть на полу, на чем-нибудь одеяле или спальном мешке. Тогда же Витя приобщился и к радостям туризма — с таким рвением, что вскоре у каждого костра сделался именно тем редким знатоком, кто помнит все куплеты в песнях Городницкого. Но несравненно более близким и частым его наслаждением стали танцы, открывшие для него почти недоступное смертным счастье, захватывающее и одновременно безопасное. В новом мире все было — ну, друзья не друзья, но... собратья по общему небу, под которое они целенаправленно собрались из всех концов Союза от Прибалтики до Чукотки. Что говорить — парни есть парни, иногда и здесь вспыхивали мордобойчики, но это были схватки людей, а не аллигаторов. Да и без чувствительной дозы дурацкой удали дивный новый мир был бы слишком пресным; вступив в него, Витя и сам временами ощущал некую петушистость. Он даже записался в секцию дзюдо, привлеченный помимо ее мужественности нелепыми белыми штанами, демонстрировавшими всему свету, что и в нелепом, если не робеть, возможен стиль. Стиль народа, а если быть еще смелее, то и стиль индивида. По секрету сказать, Вите было не очень-то приятно швырять и душить своих новых собратьев (недаром зальчик дзюдоистов напоминал сумасшедший дом тем, что его стены были обиты брезентовыми матами — на случай, если кого шмякнут об стену) — Витя старался сгладить неловкость тем, что сразу же щедро протягивал поверженному руку. Лишь из-за этой неловкости Витя не успел выйти на второй разряд, а так-то он очень точно улавливал миг, когда нужно выдернуть из-под противника ногу, на которую тот уже совсем было ступил; захваты же Витины оказались столь цепкими, что он бы заново обрел кличку Клещ, если бы здесь было принято давать прозвища.

Тогда-то Витя и обзавелся, впоследствии забыв про них и вспоминать, той внешностью и теми манерами, с какими он и двинулся по все более и более взрослеющей жизни. Он обзавелся небольшими усами, так и не взявшими ни густотой растительности, ни густотой цвета, зато придавшими ему сходство с обесцвеченным Гоголем, довольно интеллигентными очками с небольшим минусом, которые он то и дело утверждал на переносице рассеянным, но строгим указательным пальцем, поспешно из них выныривая, когда приходилось принимать участие в какой-нибудь возне или в твисте — вот твист он выучился танцевать на диво: не прекращая шатунообразных движений, мог плоско, на одних коленях откинуться назад почти параллельно полу. «Прикиды» же — в общежитии они свободно

варьировались от выглаженного костюма-тройки, включающего ленинский жилет с атласной спинкой, до престарелого свитера и линялой ковбойки, от немнущихся и негнущихся джинсов из-под полы фарцовщика до хабэшных четырехрублевых из магазина рабочей одежды, от штанов обыкновенных до обоюдоострых расклешенных брюк из ателье, оснащенных широким матадорским поясом и горизонтальными карманами, четкими, как прорези в почтовом ящике, от длинноносых мокасин до увесистых советских кедров, от ковбойских полусапожек до войлочных ботов «прощай, молодость». В целом же следить и следовать за престижными мимолетностями Витя не имел ни средств, ни, главное, желания: на него произвела сильнейшее освобождающее воздействие первая же сцена, словно нарочно поставленная для него режиссером его судьбы на танцах в общежитской зале для занятий — рабочке.

Еще при живых читателях и писателях за школьными столами рослый парень (тип «благородный шериф») в облегающей атлетической торс черной футболке и рябящих на стройных бедрах польских джинсах за девять рэ установил на стуле чемоданчик проигрывателя и оглушил народ кощунственным после библиотечной тишины ликованием Муслима Магомаева: «По переулкам бродит ле-ето, солнце льется прямо с крыш», — сегодня Витя не мог бы почерпнуть из этого льющегося с крыш солнца ничего, кроме слез утраты (абсолютно недопустимых в его положении). Потянувшаяся на Магомаева пока что немногочисленная публика (Витя предпочел бы затеряться в более густой толпе) загремела столами, отодвигая их к стенам вместе с наиболее увлекшимися читателями, а на ширящейся как бы сцене мужественный красавец шериф, полуприсев, заерзал подошвами, задвигал локтями и коленями в такт с полуприсевшей перед ним девушкой, которую падающая на ее мохнатые глазки взбитая челка делала похожей на миленькую обиженную болонку. Выйти вторым на всеобщее обозрение, казалось, никто не решался, но — будто на колесиках, молодой человек с фигуркой груши на коротеньких ножках и личиком Швейка, еще и поднадутого, как воздушный шарик, прокатился к Витиной соседке из загадочных и стремительно пробулькал звонкое: «Буль-буль-буль», — и, о чудо, она, зардевшись, присела вместе с ним и тоже заерзала подошвами, задвигала локтями и коленями, как будто не замечая убийственного для ее партнера соседства благородного шерифа. Пуще того — казалось, соседства этого не замечал и сам грушевидный, он тоже залихватски елозил, молодецки откидывался на пятки, выкрикивал какие-то не слышные за Муслимом жизнерадостные очереди своих «буль-буль-буль»...

— Сеня Голосовкер, — небрежно (нам, мол, знаменитости не в новинку) прокричал Вите в ухо приведший его в рабочку Жора Степанец, уже тогда худой и скептический (мы совсем уже большие, глазам не верил Витя, наблюдая, как Жора совершенно по-отцовски морщится, застегивая воротничок для галстука). — Идет в аспирантуру по пертоку, готовая кандидатская.

Партнерша, утратившая в паровозном ритме загадочность, как будто даже слегка робела перед Голосовкером, а когда Витя невольно потащился вслед за ним на лестницу, тот извлек из раззявленного кармана штанов обыкновенных не сигареты, как другие, а темно-коричневую трубку, превратившись отнюдь не в полярника, а совсем уж в какого-то гнома из мультяшки. Однако этого по-прежнему никто не замечал, и даже более того: когда среди общего галдежа Голосовкер выдавал свои «буль-буль-буль», все почтительно приумолкали и даже делали вид, будто что-то понимают.

И в Витиной душе окончательно расслабился последний желвак: да, здесь не террариум. Здесь можно быть таким, каков ты есть.

Таким он всем надолго и запомнился — каким ненадолго сделался: возбужденное дружелюбие, приподнятый интерес ко всему, что происхо-

дит вокруг, радостная готовность в каждую бочку вставить одобрительное словцо или чуточку захлебистую шутку и, смутившись, утвердить пошатнувшиеся от его развязности очки; и — поспешный смех каждой остроте, особенно никем больше не поддержанной. Витя был проникнут столь безграничным доверием к своим новым собратьям и сосестрам, что в тех редких случаях, когда что-то казалось ему несправедливым или не очень красивым, он немедленно брал октавой выше и начинал жалобно голосить, призывая оступившихся вспомнить о своем высоком назначении.

За девочками, из тоже ошалевших от предвкушения какого-то окончательного счастья без изъянов и пределов, Витя кидался ухаживать за всеми подряд — чем-то восторгаться, что-то подавать, куда-то зазывать — к их смешливому умилению, как если бы он был плюшевым мишкой, и желанию почаще иметь его в своей компании: у высокого мира науки и техники было все же слабовато с забавным и трогательным. Но, оставшись вдвоем, Витя терялся, страхась какими-нибудь поползновениями оскорбить тайну, все равно сохранявшуюся даже в самых веселых и своих девчонках. Главное же — в нем с каждой минутой начинала нарастать грусть, что и сегодня ему не придется, держа за руки, идти по песку за садящимся в безбрежные воды огромным солнцем...

Не просматривалось и русалок, или как их там, лукаво прихвативших губами прядку-веточку. А уж растрескавшийся трагический лик с ввалившимися щеками и темными подглазьями был окончательно немислим даже в полумраке, на интимных вечеринках для двух-трех специально избравших друг друга пар. С каждым глотком вина (для порядочных девочек Витя настаивал покупать только вина с таинственными названиями — мадера, херес...) загадочность, конечно, все-таки нарастала, но стоило перед его глазами помагчить обугленному женскому лику с прядями-трещинами на лбу, как тьма, из которой он проступал, словно безжалостным прожектором, начинала выхватывать из волшебного сумрака заурядные либики, заурядные глазки, заурядные челки, кудряшки, начесы, всегда дивившие его своей воздушной стойкостью, и Витя съеживался, чувствуя себя последней сволочью за то, что чокается, глядя в глаза, делится сокровенным, сидит на провисшей кровати, прижимающей на грани неприличия к минуте назад обольстительной соседке, танцует, каждый раз замирая, со всеми в обнимку — а сам таит такие подлые мысли!.. В первых танцевальных объятиях, кстати, девочки показались ему удивительно мягкими по сравнению с дзюдоистами.

По счастью, водились в общежитии и ребята настолько простые, что в их компании не могло пригреться ничто сколько-нибудь нездешнее, убивающее прелесть здешнего, — это были парни из таких же Бебель, только бесшабашные и бывалые, «стажники», протрубившие по два года на производстве или в рядах Вооруженных Сил, и девки ихние, которых они где-то добывали, с самой жестокой прямоотой демонстрировали, что женщины — существа отнюдь не загадочные. Однако Витя не мог не относиться к сомнительным гостям серьезно, хотя полагалось за глаза называть их мочалками, а в глаза фамильярничать до свинства (особые мастера умели их употребить, а после в голом виде, пускающих слюни, выставить в коридор, средоточие общественной жизни). Впрочем, с ними он уже считал возможным совместное употребление бормотух числом поболее, ценною подешевле — тем более что самые мерзкие из отрав носили наиболее красивые имена: портвейн «Золотистый», «Рубиновый», «Янтарный»...

Тем не менее, если при них начинали выражаться нецензурно, Витя немедленно брал октавой выше и под общий благодушный смех жалобно голосил что-то протестующее. Но это было еще ничего, вот если девки выражались сами — тут его охватывала такая безнадежная тоска, такая обида за них: ведь они могли бы сделаться предметом почтительного восхищения, овеяться дымкой тайны — и так задешево все это отдали!..

После первого стакана «Золотистого» эти чувства накатывали с особой силой, но после четвертого уходили в неразличимую глубину — вернее, глубина-то и пропадала, так что при помощи новых друзей и «Рубинового» с «Янтарным» Витя со второй попытки сумел освободиться от невинности, — однако ему никак не удавалось избавиться от нее окончательно, она как будто каждый раз восстанавливалась заново, словно у гурий мусульманского рая: с каждой новой «мочалкой» его вновь охватывал сначала страх оскорбить ее, а потом, наутро, похмельная тошнота сливалась для него с новым обострением брезгливости к слюнявым губам, потным грудям: и два пальца не требовались — достаточно было вдуматься поглубже, чтобы вызвать облегчающую рвоту. У этих и пот вонял как-то по-другому... Однако брезгливость, неизменно являвшаяся лишь задним числом, окончательно открывала Вите, какой он гад: уж раз ты такой чистюля, так и будь чистюлей, не используй людей, чтобы ими же потом и брезговать!

Рядом с веселыми компанейскими однокурсницами Витя еще мог забывать о своей нарастающей недостойности, но мимо загадочных он проходил со все более и более безнадежным чувством. Они словно возносились все выше и выше над ним, теряясь в высоком, великом небе: Витя теперь даже и различал их все хуже, выделяя лишь тех немногих, кто запомнился ему с самого начала.

Запомнилась же ему лучше всех, конечно, Аня Лобанова, хотя виделись они только на общекурсовых лекциях да на лабораторках, где Витя чувствовал себя как птица, наконец-то возвращенная родной стихии, — там он особенно всех любил. «У нее коса пшеничная», — пропела в его ушах Людмила Зыкина, когда он впервые покосился Ане вслед. Попутно бросилась в глаза и ее юбка, отглаженная, как геометрическая трапеция, но что касалось длины — за нее в Витиной школе наверняка последовала бы выволочка, — и так сделалось радостно на сердце, что и эти чистенькие умненькие девочки тоже не какие-нибудь послушные тихони. А коса ее и впрямь походила на те колосья, что подковой изобилия оплетали вход в бебельский гастроном. Фигуристая не фигуристая — Витю и сами эти слова коробили, и глаз его искал совсем другого: прядку-веточку в губах, проволочные фигурки на фоне огромного, уходящего в океан солнца... Но однажды на лабораторке в своем пушистом, как цыпленок, желтом джемпере Аня зачем-то потянулась через стол, и в бесконтрольной Витиной памяти невольно отпечатался уж такой гитарный изгиб от ее талии к бедрам...

Хотя Аня выделялась на курсе почти врачевной ровной приветливостью, в ней не проглядывало ни проблеска простецкого, авансом тебя принимающего, каков ты ни есть. Но не было в ней и надменного «ты постарайся, а я посмотрю» — на ее правильном решительно во всех отношениях лице было написано: я очень хочу, чтобы ты мне понравился, но, если не получится, душой кривить не стану, ты уж извини. Услышав шутку, она мгновение вдумывалась и лишь потом приветливо смеялась. Если было смешно. А если оказывалось не смешно, по ее лицу, как будто только что вымытому с мылом колодезной водой, пробегала тень огорчения. Поскольку же у Вити с той исторической лабораторки оказалось перед нею рыльце в пушку, он старался и смотреть на нее пореже, и сам поменьше задерживаться у нее на глазах. Но, как назло, она, к его радости, довольно часто с полной простотой просила что-то присоединить, отсоединить, настроить, и он торопился исполнить, пока внутренний жар в щеках еще не успел пробиться наружу. Однако она, казалось, ничего не замечала и могла с тою же простотой подняться к нему и в амфитеатре со своей амбарной книгой под мышкой, где ровными рядами, будто войска на параде, расцвеченные красными плакатами прямых и волнующимися знаменами волнистых подчеркиваний, строились законспектированные лекции. Беленький пальчик ее, указывающий на темные места, был тоже

словно бы только что до скрипа промыт ледяной водой. Витя обычно ответы знал, но сами вопросы почему-то ему в голову не приходили — ему и так было ясно. Поэтому впоследствии случалось, что он на экзамене получал четверку, а она пятерку.

Словом, отношения у них складывались стабильные — она подходила и задавала вопросы, он отвечал и ускользал. Нарушил эту гармонию слепой капээсэсник. Все трусливы или подкуплены буржуазией — одни большевики молодцы (повторять не поднимая глаз), — хорошо, «Юность» разъяснила Вите, что это аллигаторское догматическое обличье скрывает от народа *настоящих* коммунистов, которые горят в топках и гордо идут на расстрел. Или, держась чересчур прямо, в стилижных темных очках, с невесомой белой камышинкой в руке, задев плечом о косяк, бережно входят в аудиторию читать лекции по истории партии — желтоватая, словно прокуренная, седина бывшего блондина величава и даже начальственна, а под нею — аж живот втягивается от морозного дуновения — нечто глянцево-розовое, как вывернутые губы, на фоне чего в настоящих губах можно заметить розовый оттенок разве лишь по контрасту с белыми резиновыми нашлепками на щеках; в отдельных местах бензиновой пленкой на мокром асфальте кожа еще и переливается из синего в зеленый — от Вити потребовались неоднократные тренировки, чтобы отрывать от них взгляд с первой попытки. Притом изначально черты капээсэсника были благородные, с мягкой орлиностью, и только из-за выеденных огнем ноздрей казались хищными.

Однако вызывал капээсэсник лишь содрогание, но не страх — на его лекциях опоздавшие на первую пару скапливались под дверью, а затем с напряженными улыбками, на цыпочках просачивались через дверную щель. Как-то и Витя за компанию просочился — что он, лучше других? Но укоризненная картинка с тех пор в глазах маячила: благородный хищный профиль с сине-зелеными разводами — и они, блудливым гуськом... Однако, когда Витя покорно сучал на комсомольском собрании *потока*, ему было совершенно не до того: он испытывал исключительно неловкость и смутное сострадание к их поточному секретарю, который, восстав за лекторской кафедрой, в данный момент трибуной, уподобляясь несчастным «мочалкам», обменивал самое дорогое, что есть у юности, — возможность повоображать о себе, пока аллигатор отвлекся, — на добровольное «устройство» в его желудке. Бедный комсомольский вожак еще и старался как-то скрасить для себя все эти аллигаторские сигналы не подымать глаз, все эти «дальнейшие улучшения» и «решения съезда в жизнь» неким сдержанным рокотком, как будто в глубине души они его страшно волновали и лишь целомудрие не позволяло ему греметь и взывать. И совсем уж жалко он цеплялся за соломинку своей устарело-плакатной мужественности — в духе не «Юности», а «Правды»: суровые толстые губы, сдвинутые, каждая в мизинец, брови, распряленный на широких костлявых плечах грубый свитер, намекающий на что-то рыбацкое, шкиперское, да только совсем уж конфузное без сейнера, плота или хоть уж котлована-самосвала на заднем плане. Факультетский секретарь за лекторским, в данный момент председательским, столом смотрелся и то более честно — канцелярская крыса так канцелярская крыса: с виду ровесник Витинога отца, в таком же немарком костюмчике и галстучке, словно в честь какой-то ими одними хранимой традиции, он многозначительно вертел в пальцах неочиненный граненый карандаш, какими давным-давно уже никто не пишет, и время от времени строго им постукивал. Однако в целом народ здесь и без стука знал, какой уровень гудения еще пребывает в пределах дозволенного, — отпетые на собраниях не появлялись. Поэтому аудитория замерла прежде всего от неприличия, когда после мужественно-сдержанного призыва хранить моральный облик советского студента зазвенел *искренний* Анин голос: открытый пафос на комсомольском собрании — такого уровня фальши

даже главный оратор себе не позволял (другое дело где-то там, за морями, за лесами, все равно существовала *настоящая* комсомолия...).

Звонящая Анина речь среди звонящей тишины длилась каких-нибудь полминуты, но запомнилась Вите навеки. Гневный облик восставшей из рядов Ани поражал прежде всего *чистотой*. Обычно у возмущенных людей смешиваются на лице самые разные чувства: и гнев, желающий испепелить врага, и опаска, как бы чего не вышло, и сомнения в своей правоте, и жажда эти сомнения перекричать, и надежда, почти мольба о поддержке, а поверх всего этого неопрятного коктейля — красные пятна, вздутые жилы, подрагивания, подергивания, — Аня же, как и подобает чистоте, лишь самую чуточку побледнела, обретя еще больше сходство со статуей, но вздрагивать на ней не вздрагивал ни единый волосок из легшей на ее плечи волны (она как будто нарочно для этой минуты остригла свою пухлую косу), и скульптурно правильное лицо ее не выражало ничего, кроме чистоты и негодования, — Родина-дочь, вдруг произнеслось в Витином уме. Голосом неземной ясности Аня уведомила всех, кто когда-либо пробирался на цыпочках мимо капээсэсника, что пользоваться несчастьем слепого человека — низко, стыдно! И не важно, какой предмет он преподает!

Что значит «не важно», история партии — один из самых главных, нахмурился факультетский секретарь, но Витя не дал ему развить эту ответственную мысль — подхваченный волной чистоты, он вскочил и, взяв октавой выше обычного, заголосил что-то покаянно-укоризненное, и только когда шлепнулся на место, обмер: похоже, вышло так, будто он обличает других, а про свой грех...

Секретарь потока хмурился с выжидательным напором, а на лице секретаря факультетского промелькнула какая-то приятная идея. «Что ж, надо выяснить конкретные имена, кто именно...» Витя напряжением век почувствовал, как амфитеатр от нарастающей пристыженности качнулся к недоброй подобранности, и только было с облегчением рванулся снова задолбить что-то беспримесно покаянное — вяжите, мол, православные, я один всех виновней, — как с вовсе уж космической высоты его подсекла на взлете Родина-дочь:

— Как вы собираетесь выяснять конкретные имена?!. Может быть, введем тайную полицию, узаконим доносительство?!

Тут уж озадаченно притихли и вожди.

А она, статная, ясная, гневная, царила над безмолвными рядами, за нею же в стройном арочном окне чернело высокое, великое небо.

У нее батя был лауреат Госпремии, закрытый членкор, отвечал за всю авиационную начинку, небрежно (и неправильно) разъяснил Анину медальность Жора Степанец и пустился со вкусом рассуждать, что самолеты называют именами авиаконструкторов только по старинке, тогда как сегодняшней самолет — это тачка, которая возит электронику.

Известие о столь бронзовом ее отце отозвалось у Вити под ложечкой таким внезапным спазмом безнадежности, как будто он до этого втайне не смел и мечтать, о чем теперь нечего было и думать. Но думать-то как раз пришлось. С того дня, как они поднялись вдвоем против всех, Аня стала его — нет, не избегать, конечно, это как раз другие начали его немножко обходить, что ли, пока снова не убедились, что он ни на кого больше кидаться не собирается, — но Аня в обращении с ним как будто утратила неизменную свою приветливую ясность. О том, чтобы сюда примешалась неприязнь, не могло быть и мысли, уж неприязнь-то она бы никак не стала скрывать, а походило это больше всего на то, как, бывает, столкнешься где-нибудь с хорошим знакомым и чувствуешь, что надо что-то сказать, но ничего подходящего сразу не придумывается, а отделаться стандартным кивком тоже неловко. Походило на то — но ведь это означало бы, что ей, Ане, уже неловко держаться с ним как с посторонним?!

Витя просто леденел, что она каким-то образом может догадаться о его наглых догадках, и, отвечая на ее уже не простые и ясные, а с микроскопическими заминочками вопросы, он совсем уж не поднимал глаз, с отчаянием чувствуя, что он еще больше затрудняет ей общение с собой и что она все-таки продолжает обращаться к нему с вопросами исключительно для того, чтобы он не вообразил, будто может чем-то ее смутить. Бессознательно налагая на себя епитимью за свою бесстыжость, Витя и со всеми остальными начал держаться с предельной скромностью, перестал вмешиваться в чужие разговоры, а если к нему обращались, старался держаться как можно ближе к самому буквальному смыслу вопроса. С наступлением теплых дней он извлек было из шкафа с осени припасенную абстрактную, в духе Клее, безрукавку навывпуск («расписуху», как их называли в Бебеле), но, поразмыслив, тщательно, чтобы не выговаривала мать (но она все равно выговаривала), сложил ее снова и со вздохом упрятал в шкаф: так фразериться было ему снова не по чину.

Зато когда их курс после сессии бросили на прополку, вернее, разбросали по разным усадьбам, Вите никак не удавалось сразу подобрать себе борозду по чину. Сначала он становился как можно дальше от Ани, потом, обмерев, как бы она не подумала, что он против нее что-то затаил, кидался поближе, тут же спохватываясь, да кто он такой, чтобы она вообще стала о нем размышлять, но прежнее место было уже занято, а снова пробираться вдоль заболоченной межи, опять привлекая к себе внимание... Кончалось тем, что Витя оказывался с нею рядом.

Сорняки вскипали дружно, как бебельские пампасы, Аня с ответственной складочкой между бровями принималась уверенно драть их присыпанные цветочками зеленые бакенбарды, но распоясавшаяся Витина наглость нашептывала ему, что она спешит от него оторваться, потому что поддерживать утренний стиль пустого зубоскальства ей с ним уже неловко. Разделяваясь со врущимися затопить цивилизованный мир пампасами, Витя никак не мог удержаться, чтобы не взглядывать украдкой на Аню, обращенную к нему своим обтянутым задним фасадом; он изнемогал от собственной подлости, но в бесстыжих его глазах все равно отпечатывался проступивший треугольник ее трусиков, и стереть его не удавалось ни едкому поту, ни раскаленным слепням, ни занозистому бурьяну, ни ноющей пояснице. На Ане были надеты удивительно каждый раз чистенькие и отглаженные брючки с боковыми разрезами чуть пониже колена, и Витя понимал, что и длина эта, и разрезики сошли сюда из какого-то высокого, недоступного мира. Брючки были светло-коричневые, но на обтянутых местах сияли на солнце, как золотые купола. В поведении Витиных глаз особым цинизмом его поражало то, что они еще и пристально шурились на запретное зрелище, поскольку работал он без очков.

Вырвать соблазняющий глаз — с этим рецептом Витя не был знаком, но, искупая свою неискупимую низость, он удваивал, утраивал темп расправы с жалящими языками пампасов и скоро сам оказывался обращенным к Ане не самой парадной своей стороной. Он сбрасывал темп, снова наращивал, снова сбавлял и в конце концов решался лучше еще раз подтвердить свою предполагаемую репутацию чокнутого и отправлялся на другой конец поля, чтобы пуститься оттуда навстречу остальным. И чуть только он переставал слышать их голоса — «задорные», как именовались они в тех книгах, что он читал до обретения «Юности», — чуть только на него снисходила уверенность, что Ане толком его уже не разглядеть (да и делать ей, что ли, больше нечего, тут же понимал он), как им овладевала никогда прежде не испытываемая серьезность. Им овладевало такое чувство, будто он вместе со всем миром участвует в каком-то необыкновенно значительном деле, для которого решительно все могло оказаться важным — даже отяжелевшие от еще не просохшей росы штаны, даже комочки сухой земли, засыпавшиеся в кеды: вытряхнуть их, конечно, позволя-

лось, но досадовать, а тем более злиться нельзя было ни в коем случае — мелкими недобрыми чувствами можно было повредить общему делу, ибо в нем каким-то образом участвовали даже серые слепни, хоть это и не давало им права нагнать до бесконечности, на них тоже лежала кое-какая ответственность, и если который-нибудь из них, после того как его смахнешь и раз, и другой, и третий, по-прежнему продолжал искать местечка, где бы присосаться, его дозволялось и хлопнуть, но без ожесточения, без непереносимого желания уничтожить, а тоже оставляя ему шанс, как бы остерегая его заходить слишком далеко. И сорняки тоже должны были знать свое место — с них довольно было того, что их рвут без ожесточения и торопливости, а затем аккуратными букетами укладывают в борозду, — это был максимум, на что они могли рассчитывать: совхозное поле — это вам не пампасы.

Вот солнце — оно обсуждению не подлежало, от него разрешалось разве что повязывать голову рубашкой, да и то лишь когда в глазах принимались таять и струиться оранжевые кольца. Тем не менее чуть Витя начинал различать Анину голубенькую косынку, как тут же облачался снова. Ребята многие расхаживали полуголые, и Витя не только в собственной ванной, но и в дзюдоистском душе не раз убеждался, что он не хуже других, в мышцах его, пожалуй, даже излишне ощущалась жилистость троса, однако в присутствии Ани он старался не делать ничего такого, что она могла бы воспринять как фамильярность. Он старался и не поднимать глаз на приближающуюся Аню, но уж тут-то, отговариваясь тем, что формально они не совершают ничего неприличного, глаза то и дело вскидывались на нее исподлобья. И — о ужас! о счастье! о конфуз! — чуть ли не через раз сталкивались и с ее глазами. Причем угнездившийся в нем бесстыдник начинал немедленно нашептывать из недостижимой своей глубины: «Ага, ага, ты видел?! Она на тебя смотрит!!! А теперь только делает вид, будто подняла голову лишь для того, чтобы распрямиться и подуть снизу на разгоряченное лицо, на самом-то деле ей хочется снова пресечь твоё дыхание своей выбившейся из-под косынки трепещущей под её дуновением прядкой. А выглядывающий краешек лба она вытирает своим особенно чистеньким в соседстве с земляной резиновой перчаткой предплечьем, невероятно тоненьким в сравнении с той властью, которую она имеет над тобой, разумеется же, только для того, чтобы ввести тебя в заблуждение, будто она всего лишь человек, будто ей, как и тебе, тоже жарко, будто и с нее катит пот, но это все делается исключительно для того, чтобы ты мог и дальше воображать, что между вами может быть что-то общее. Но зачем-то ведь и ей нужно, чтобы ты это воображал, а?..»

Прочь, прочь, будто от слепней, отмахивался Витя, но какая-то более спокойная глубина напоминала ему: да ведь на это же и намекала «Юность» с ее уральскими комсомолиями; самое большое счастье — не развлекаться вместе, а вместе делать какое-то большое и хорошее дело... да, собственно, все дела и есть большие и хорошие, ибо сливаются они во что-то совсем уж непостижимое, что охватывает все мироздание от слепня и сорняка до ослепительного солнца среди высокого великого неба.

Это чувство требовало уединения — и тишины, тишины.

Тишины...

Ти...

Ши...

Ны...

Народ, однако, быстро расчухал, что встреча Вити с Аней знаменует половину рабочего дня, и потому приветствовал их несколько полинявшими, но все еще задорными кликами и помятыми, но все еще свежими букетами сорняков. «Встреча на Эльбе! — громче всех орал Кот (Костя) Успенский и, изображая фоторепортера, как бы снимал их из положения лежа, страдальчески взывая: — Ну обнимитесь же, обнимитесь!..» Аня и Витя старались

снисходительно улыбаться, не глядя друг на друга, однако наглец, управлявший Витиными глазами, все равно успевал отметить, что игра эта не была ей неприятна. Но однажды — сердцу девы нет закона — Аня вдруг действительно шагнула к нему и обняла за, благодарение небесам, одетые плечи и немножко даже припала к нему, обратив разгоряченное лицо (едва слышно обдало нежным теплом) к воображаемому Котовскому фотообъективу с выражением: «Ну что, теперь твоя душенька довольна?»

Витя даже не расслышал аплодисментов и криков «браво, бис, горько!» — внутри себя он съежился до размеров дамского кулачка. Он так ошалел, что потащился на озеро со всеми за компанию. Хотя и вчера, и позавчера, и позапозавчера он бочком, бочком отрывался от масс и, не чуя горевших в резине, пересыпанных землей ног, брел к местам, не приспособленным для купания, где мог снова побыть наедине с миром. Собственно, почти весь берег был не приспособлен для купания, бескрайнюю, казалось бы, водную гладь неумолимо стягивало кольцо бебельской сельвы, лишь в одном месте прорванное песчаным протуберанцем Сахары, как, возможно, выразился бы проглоченный аллигатором города Сашка Бабкин. Все нормальные люди там и купались, но сейчас Витя не был нормальным, он не видел никакой разницы между илом и песком. Грязь представляется грязью лишь поверхностному капризному взору — эта чрезвычайно важная для общего дела жирная паста, которая очень красиво, словно из тюбика, выдавливается между пальцами ног. В воде же она сначала нежная-нежная, неощутимая и невесомая, а в глубине страстная, присасывающаяся, засасывающая, но надо не терять доверия к миру, и она рано или поздно поддержит тебя, а потом выпустит с безнадежным чмоком — но тут уж ничего не поделаешь, всякой деликатности бывает предел. А тростники все так же кланяются и кланяются над головой своими блестящими коричневыми метелками, иногда вдруг все разом покорно полягут под неощутимым внутри их толщи ветром, а то, наоборот, вразнобой замотают буйными головами, сокрушаясь о своей пропащей доле, и Витя с уже отпустившей им грех укоризной все-таки снова пенял им за того пловца с «Авроры», которого они, опутав, увлекли на дно. При таком очевидном их раскаянии Витя не допускал и мысли, что они и с ним могут проделать что-либо подобное, и когда уже на вольной воде ощущал щекотку каких-то водорослей по животу, то, вопреки обыкновению, не содрогался от этого прикосновения утопленника, а воспринимал его с доверием и пониманием.

От холодной воды немножко захватывало дух, хотелось помолотить руками и ногами, чтобы согреться, но Витя не позволял себе такой распушенности. Он плыл медленным самодельным брассом, терпеливо отфыркиваясь, когда мелкая волна захлестывала лицо — волнам тоже нужно делать какое-то свое дело, — и, шурясь, вглядывался в облака на горизонте. Бока у них были с одной стороны сизые, тучные, зато с другой вздувались мощно и белоснежно, как ветреные простыни, среди которых он однажды заплутал бебельским малышом, и можно было шуриться на них и дни, и месяцы, и годы, если бы не начинала бить такая крупная дрожь.

Стараясь не впадать в бестактную суетливость, Витя выбирался на травяной берег, провожаемый последним, взасос, поцелуем илистого дна, растирался рубашкой, с бережка тщательно ополаскивал ноги, а потом укладывался на спину прямо на жесткий зеленый ворс чистой, как и все в мире, травы и, подложив руки под голову, долго блуждал взглядом по оранжевому небосводу под закрытыми веками. Он старался закрыть глаза раньше, чем в поле зрения попадало неистово лупящее светом солнце, но если оно все-таки успевало чиркнуть по глазу, то на внутреннем оранжевом куполе долго горел бирюзовый след с зеленой головкой, постепенно меркнувшей, как остывающая спичка. Трава немножко кололась, какие-то

муравьишки немножко покусывали, но покуда они не переходили через край, Витя воспринимал их деятельность с полным пониманием.

Плеск волн, шелест камышей... Невозможно сказать, сколько времени прошло — половина часа или половина века.

Но на обед он никогда не опаздывал — не потому, что так уж умирал от голода, а потому, что не хотел выходить из гармонии с распорядком мира. И в судьбоносный тот день их шуточных объятий он тоже почувствовал, что не пойти со всеми — на этот раз означало бы нарушить гармонию. Он выполнил все — с разбегу плюхнулся животом, побарахтался, поперекидывался шутками, хотя с ним теперь снова шутили не без осторожности, но, ощутив долг перед коллективом исполненным, он позволил себе усесться близ границы песков и трав и, обняв колени, предаться уже не обществу, а миру. Ошеломленность ее внезапным объятием (поселившийся в нем наглец ничуть не сомневался, что уж кто-кто, а она с кем попало так шутить не станет, — «и ты заметил, все аплодировали так, как будто уже давно про вас что-то знали?») не сумела в нем убить чувства странной причастности к какому-то непонятному всемирному действию: бескрайность неба и бескрайность вод он видел даже лучше, чем веселую брызготню возле берега. Озеро то взерошивалось беспорядочным рыжим волнением, то вдруг укладывалось холодно блистающей кольчугой, затуманенной отражением облаков, от которых к прибрежной суете плыла голубая планета с такой угадываемой под косынкой серьезностью, какую Вите случалось видеть только у плывущих собак.

Витя охватывал собою все мироздание, но изнемогал от благодарности к ней одной. Она была столь безмерно снисходительна по отношению к ним, жалким существам из кожи, мяса и костей, что делала вид, будто и у нее есть такое же тело, по которому способна струиться вода, которое якобы может нуждаться в купальнике, явно составляющем нерасторжимое целое с имитацией тела (чтобы не трудиться сверх необходимого, над каким-нибудь пупком например, она выбрала черный закрытый купальник), и Вите хотелось целовать ее следы от невыносимой благодарности, что она снисходит к тому, чтобы ступать по песку, хотя конечно же запросто могла бы и пролететь над ним. А когда она, опустив за собой незримый, однако же непроницаемый для умеющего уважать святыни глаза занавес, помотав головой, распустила высоко уложенные волосы и принялась их расчесывать — Витя и отвернувшись осознал, с какой необыкновенной деликатностью выбран их цвет: светлые, но не золотые, которые бросались бы в глаза, — это вот, наверно, и есть *русый* цвет. Какой-то остолоп, не понимая, с кем имеет дело, мимоходом присоединил к ее волосам буро-зеленую плеть водорослей, на мгновение сделав ее похожей на русалку из «Юности» — Витя даже привстал, но она терпеливо сняла постороннюю прядку с листочками, и Витя вновь опустил в прежнюю напряженность. И у него перехватило горло от благодарности, когда она, словно самый обыкновенный человек, прихлопнула комара на загорелом предплечье и, шагнув на траву, по очереди обтряхнула об икры свои ступни, как будто к ним и вправду могло что-то пристать. А уж когда она протащила по траве не успевшую надеться туфлю-лодочку...

В тот день струсилось нечто еще более невообразимое — студентам выдали аванс, рубля как бы не по три. Но портвейны «Янтарный», «Рубиновый» и «Золотистый» стоили еще дешевле. И очевидцы долго вспоминали, с каким самоотречением Витя выпевал у вечернего ритуального костра: «Меня оплакать не спеши, ты подожди немного. И вина сладкие не пей, — каждый раз на этом слове делая проникновенный глоток из зеленой эмалированной кружки, и лишь потом со всей решительностью отрицательно взмахивал головой: — И женихам не верь!» Тут же смущенно устанавливая очки на прежнем месте указательным пальцем. В его окулярах, словно в паровозных топках, извивалось пламя, а он, разрываемый

любовью к миру, все тянулся со своей кружкой то к одному, то к другому, стараясь хоть щедрым клацаньем выразить невыразимое. Он подливал снова и снова, чтобы клацнуться еще и еще раз, и только Аниной кружки касался с предельной осторожностью, как если бы снимал пушинку с ее щеки. Впрочем, ведь и кружка была такой же эманацией незримой ее сути, как щека или волосы, — ведь она же исключительно по невероятной демократичности своей делала вид, будто и у нее есть щеки, руки, кружка в руке, хотя на самом деле она всего только старалась при помощи этих (прелестных тоже) орудий облегчить другим общение с собой. Поэтому Витя совершенно не нуждался в том, чтобы пялиться на нее, — суть ее он ощущал гораздо ближе через то чувство единства с миром, которое причиняло ему сладостное страдание своей невозможностью разрядить его каким-то действием.

Хотя донельзя слабым суррогатом такого действия он все-таки ощущал почему-то проникновенные манипуляции с янтарным, рубиновым и золотистым. Переполненный доверием к миру, Витя и не заметил, когда мир утратил целостность — вдруг откуда ни возьмись наедет на тебя чье-то лицо, и только сумеешь вспомнить, откуда оно взялось, как его опять нет, а ты уже вылавливаешь комара из кружки, и ничего во всей вселенной не остается, кроме этого полуметрового комара в рубиновом бассейне. А тут весь мир заслонит какая-то огненная преисподняя, и нужно долго и мучительно соображать, пока наконец дойдет, что это костер, а в нем возятся здоровенные растрескавшиеся угли, похожие на огненных черепаха, и требуются новые мучительные размышления, чтобы понять, что нарастающая боль, которая все сильнее и сильнее стягивает лицо, есть не что иное, как жар этих самых черепах, к которым ты неосторожно приблизился, придерживая очки указательным пальцем, а звуки, на которые ты с трудом наконец обратил внимание, — это просто-напросто смех, но пока пытаешься понять, откуда здесь смех, и зачем, и над кем, как уже приходишь думать, что за странная сила уже давно тянет тебя назад, и, обратившись наконец к источнику этой силы, вдруг видишь — бред какой-то... — что это Аня и она как будто чем-то расстроена. А!.. — озаряет тебя, она оттаскивает тебя от огня, но не успеваешь ты с благоговейной признательностью прижать ладони к груди, как она уже исчезла, а ты с запредельной пытливостью вглядываешься во тьму, пытаешься понять, откуда она взялась и зачем тебе нужна...

Девочки просто обвисали от смеха, когда Витя каждый раз с одного и того же места заводил: «Меня оплакать не спеши», — оплакивая себя сам огненными слезами, струящимися из-под огненных очков. Пытаясь подняться на ноги, он почувствовал сзади чью-то поддержку, но не понял, что это и зачем, поскольку не заметил, что вот-вот готов был обрушиться в костер. Витя не понимал ни куда, ни для чего он стремится, как не понимает этого человек, просыпающийся из-за неотложной нужды, но очки он все-таки сообразил кому-то сунуть — пдержки, пжалста... Здесь должна быть канава, вспомнил он шагов через десять и почувствовал щекой что-то прохладное и щетинистое. Трава, догадался он и с удовлетворением понял, что канава оказалась на месте. Он принялся сосредоточенно собирать себя, но когда он наконец попытался выпрямиться из позиции низкого старта, его так мотнуло, что он непременно обрушился бы во тьму снова, если бы не ударился обо что-то, кажется, живое. Держись за меня, приказал ему молодой женский голос, и Витя долго и тупо собирал зрочки, пока в ирреальном свете луны не разглядел... *Аню!* (В нем еще сохранился какой-то живой уголок, способный испытывать ошеломление.) «Н-не н-на... Й-я с-сам...» — простонал Витя, отшатываясь от нее, — и чудом удержался на ногах. «Ну-ка слушайся! — прикрикнула она со строгостью еще не пресытившейся своей ответственной ролью юной мамочки. — Держись за меня!» И утвердила Витину руку на своем плече. Плечике. Да, плечике.

Это было еще более невероятным бредом, чем все остальное, — ббельская баба волочет на себе мужика, славно обмывшего полурастаявшую в этом процессе получку, и мужик этот — Витя, а эта баба — АНЯ!..

Он попытался было слезть с ее шеи, но она так шикнула на него, что он поверил: ей можно довериться. «Кх-какхкие у тхебя пхлечхики узенькии, — собрав все силы, сумел он поделиться с нею своим открытием. — А тхо тхы кхаззалась...» Витя попытался изобразить руками что-то воздушное и одновременно могущественное, однако Аня удержала его руку на плече: «Потом, потом все расскажешь». Но он сквозь всю свою очумелость почувствовал, что она вовсе не сердится. Более чем не сердится. И они, мотаясь, повлеклись дальше к местам, не приспособленным для купания: Витя еще не понимал зачем, но уже знал, что ему нужно в сельву. Вода смывает все следы.

Ждал ли его желудок возможности освободиться от рубиновых ядов, или потребность была спровоцирована возможностью, но едва черные ряды тростников восстали из серебряной травы, как Витя рванулся к их спасительному укрытию, и, если бы Аня не удержала его поперек живота, он бы точно плюхнулся в свой любимый ил. Вот так она его и держала, покуда его выворачивало.

Причем не раз, не два и не три. У него лопались глаза, он издавал утробные звуки, мотал головой, тщетно стараясь отплеваться от неиссякаемой липкой слизи, но по животу — под ее руками — прокатывались все новые и новые бесплодные спазмы... Ничего, завтра утоплюсь, равнодушно констатировала где-то еще удержавшаяся в нем горошина человеческого: помыслить о том, чтобы утопиться сейчас, когда и вода под ногой, — на такой волевой акт горошины не доставало.

Наконец он почувствовал возможность выпрямиться. Утирая залитое слезами лицо, он ощутил холод в кедах и понял, что стоит-таки в воде. «Спасиб... Я ттьэрь ссэм...» — еле-еле продышал Витя, и она помогла ему выбраться на бережок из разочарованно чавкнувшего ему вслед ила, горестно и, кажется, почти уже растроганно усмехаясь: «Сам с усам... Разве же можно столько пить этой гадости?..»

Дальше это было уже не сопровождение пьяного с торжества полочки, а вытаскивание с поля боя умирающего, у которого доставало сил лишь шептать едва слышно: «Брось меня, иди...» Но верная «сестрица», надрыываясь, все волокла и волокла его на себе, уговаривая как маленького: «Ну еще немножко, ну постарайся, — сокрушаясь: — Мне же тебя не удержать...» — когда он снова и снова ляпался то в колючее, то в пыльное, а однажды лицо завернулось во что-то прохладное, ласково похрупывающее — лопух, догадался он.

Последнее, что он запомнил, — он лежит на спине на дне океана и видит высоко над собой сражение исполинских каракатиц, напустивших в светящуюся воду клубящихся чернил, тянущих бесконечно синие нити...

Он и очнулся под шум моря и далеко не сразу понял, что это шумят деревья, — ветер катил над ним их зеленые листовые валы. А где-то рядом двое немых гортанно не соглашались друг с другом: «У-у-у-у-у!» — «У-у-у-у-у!»... Понять, что это голуби, потребовало от Вити такого напряжения, что он зажмурился от неправдоподобной судороги головной боли. Переждав немного, он попытался приподнять голову, но в ней так мощно плеснулось целое подземное озеро боли, что он снова замер, не смея даже стонать. Не открывая глаз, он попытался исследовать исправность разных частей тела, иные из которых были, казалось, вовсе утрачены, иные же в беспорядке разбросаны бог знает где без всякой связи друг с другом. Он пошевелил пальцами рук — они были на месте. И даже ощутили что-то сушеное, не то сено, не то солому, — наверно, это называлось «копна». Затем Витя вызвал из небытия нос — он немного застыл. Значит, было совсем рано, ибо часам к семи солнце уже пригревало прилично. (К тому же

и свет его, он успел заметить, еще отдавал утренней зарей.) Да, он же вчера промочил ноги, они-то вообще должны заледенеть... Он вызвал к жизни далекие ступни, и если бы он был в силах удивляться, он непременно удивился бы, что им отчетливо тепло и отчетливо сухо, а щиколотки так даже немного прели, как, бывало, в валенках, когда набегаешься, поленившись как следует вытряхнуть снег.

Он попытался поднять руку, но — он был чем-то скован. Бережно скосив глаза, он обнаружил, что туго спеленут общежитским, цвета линиялой свеклы одеялом, какими они здесь накрывались в своих амбарах. Линялая свекла туманилась от росы. Медленно-медленно, словно эквилибрист с полной чашей на голове, замирая от колыханий прибоя боли, он сумел выпростать руки и сел. Потом долго-долго стаптывал одеяло с ног. И затем тупо-тупо созерцал их, затянутые в слишком маленькие шерстяные носочки, тугие до неприятного надавливания на большие пальцы, но зато беленькие-беленькие и пушистые, как два близнеца-котенка.

— Ну что, несчастный страдалец? — раздался небесный голос, от которого остатки Витиной души радостно вскинулись навстречу и тут же рванулись провалиться сквозь копну, на которой он сидел, — хотя насмешка в ее голосе была лишь самой прозрачной маской жалости и ласки.

В лицо ударило жаром вчерашнего костра, и Витя не обратился в пепел единственно потому, что телесное эхо его душевных бросков плеснулось в голову болью настолько умопомрачительной, что руки сами собой схватились за виски. И страдальческое мычание тоже вырвалось само собой.

— Господи, зачем вы так себя мучаете?.. — В ее голосе теперь звучало одно лишь сострадание, и Витя понял, что только оно и может хоть на время заслонить его чудовищный позор. Поэтому он не отнял рук от висков и даже хотел еще раз застонать, но побоялся переборщить. А кроме того, даже в этот кошмарный миг она оставалась последним человеком, с кем он согласился бы фальшивить.

Он начал медленно поворачивать голову, заранее прищуриваясь, поскольку очки вчера были сунуты неведомо кому, и первое, что он увидел, были протянутые ему очки. Второе же, что он увидел, стараясь держать свой взгляд пониже, подальше от ее глаз, была зеленая эмалированная кружка в другой ее руке. Утвердив очки на переносице указательным пальцем, он очень ясно разглядел перед собой ее чистенькие голубенькие кедки, в которые стройными черными клиньями уходили в меру натянутые тренировочные брючки на штрипках.

— Попробуй попить воды. Она только что из колодца. — В ее голосе звучало лишь одно чувство: заботливость.

Витя не глядя взял кружку, слегка передернувшись от тяжеленьких колыханий жидкости в ней, — но вода была настолько прозрачной и чистой, что даже белая эмаль внутри казалась темноватой в сравнении с нею.

Витя сделал осторожный глоток, подождал. Вроде чуточку отлегло. Он сделал еще один холодный чистый глоток, уже от души. А с третьего глотка рванулся к приветливо стелющейся под утренним ветерком родной сельве, до которой оказалось совсем не так далеко, как представлялось ночью. Мгновение назад Витя был уверен, что погибнет от первого же резкого движения, однако он сумел промчаться метров десять, прежде чем из него ударила струя уже не колодезно прозрачная, а янтарная и даже изумрудная. И снова лопались мышцы живота, лопались глаза, лопались жилы на шее, но запредельная боль в голове затмила все — в нем больше не оставалось ни горюшины достоинства и стыда. Поэтому он брел по траве обратно, уже ничего не чувствуя, лишь машинально утирая слезы с бесчувственного лица бесчувственной рукой.

В нем ничего не отозвалось даже тогда, когда глаза его сами собой увидели краешком зрения, что лицо ее не выражает ничего, кроме жалости и тревоги. Прополощи рот, предложила она, и в ее голосе снова зву-

чало лишь чистейшее сострадание. Витя прополоскал. Отвернулся, выплюнул. Прополоскал еще раз. Снова выплюнул. Полынной горечи во рту побавилось. Плюхнулся рядом с нею на одеяло, уже не обращая внимания на прибой боли, а только то теряя на мгновение сознание, то возвращаясь обратно. На глаза попались беленькие носочки. «Ну вот, еще и носки испачкал, — чуть не плача продыхал он. — Но я выстираю. Посижу немножго и выстираю». Не церемонясь с собой, он подтягивал к себе то один, то другой носок и с сосредоточенной тупостью разглядывал приставшие к ним соринки.

«Носки — это, конечно, самая серьезная проблема. — В ее голосе снова ожила нежная насмешка. — Господи, какие вы все дети!» — «Кто — мы?» — не сразу решился спросить Витя. «Кто-кто — мужчины! Так себя терзать... У тебя же вчера живот так перенапрягался — как камень! Ужас!..» Жар вчерашних огненных черепах снова стянул Витино лицо. «Я, наверно, тебе теперь противен?» — еле слышно решился спросить он и почувствовал, как она выпрямилась.

— В человеке бывают противными только душевные проявления.

Она отчеканила эти слова с такой давней обдуманностью и непреклонностью, как будто ставила кого-то на место. В Витином отравленном мозгу даже зашевелилось недоумение, что же такое в тех небесах, где она обитает, могло дать ей повод к подобным размышлениям.

— Брезгливость — это совсем не аристократическая, а мещанская черта, — продолжала она ставить на место кого-то незримого. — А настоящие аристократки, — с вызовом продолжила она, — всегда были готовы ухаживать за ранеными, простыми крестьянскими парнями... Может быть, попробуешь сделать еще глоток, тебе надо больше пить, промывать желудок, — ответственно спохватилась она, как будто Витя был тем самым крестьянским парнем.

Витя с содроганием покосился на пристроившуюся на травке кружку и сделал осторожное отрицательное движение рукой.

— Да, — посетовала Аня, — после алкогольной интоксикации лучше всего пить капустный рассол. Обычно считается, что огуречный, но на самом деле капустный мягче. Я всегда папе покупала капустный на Кузнечном рынке.

В сравнении с этим вывертом бреда весь предыдущий мог почесться зауряднейшей обыденностью.

— У тебя же отец был очень... ну, как это?.. бронзовый... — не вполне понимая сам, что говорит, выговорил Витя, ибо беседу необходимо было поддерживать и в бреду.

— Он все равно оставался живым человеком, — надменно напомнила она тому, кто, по-видимому, в этом сомневался. — Он всегда оставался живым, страдающим человеком. Когда он выпивал, это сразу проступало наружу. Бывают пьяные противные, злые, а он становился очень трогательным. Как ты вчера. Он был, правда, более гордым. На свое несчастье.

Оказалось, что из-за своего гордого беспечного нрава отец ее, куда ни кинь, вышел полным неудачником: должен был выйти в академики, а застрял в членкорах, должен был получить Ленинскую премию, а получил всего только Государственную, вместо Героя Соцтруда ему сунули жалкий орден Ленина, и даже после смерти враги его не позволили установить на здании, где он работал, мемориальную доску, отговорившись, что по его открытой монографии вражеская разведка сумеет догадаться, чем занимается институт.

У Вити даже истерзанная голова его начала подергиваться от всех этих внезапностей. И тем не менее где-то в недостижимых глубинах его изнемогающего от тошноты организма вновь зашевелился прежний наглец: ага, ага, вот видишь, жизнь и в небесах остается жизнью, и там пьют водку, а потом отпаиваются капустным рассолом, и там страдают из-за беспеч-

ностей и несправедливостей... и что из того, что слово «аристократка» ты впервые в жизни слышишь произнесенным, — зато теперь ты знаешь, что аристократки иногда снисходят и к простым крестьянским парням. Особо раненым.

Тем более что — слышишь? слышишь? — бывают люди из простонародья с прирожденной тягой ко всему аристократическому! Простой парень из рабочей *слободы*, ее отец был как раз из них, он всегда очень тянулся к маминому кругу... Да только это не всегда умели ценить. Мужчины ведь до седых волос остаются мальчишками, и женщинам, которые этого не понимают, лучше бы вообще не выходить замуж, с горечью укорила она все того же незримого слушателя, и Витя постарался потупить еще более благоговейно. Он понимал, что происходит невероятное: она делится с ним чем-то заветным. И вместе с тем как будто испытывает, во всем ли он, Витя, сумеет отнестись как должно к приоткрываемым ему интимностям.

Ее родственные отношения были явно омрачены какими-то обидами, однако это были вовсе не те отношения с «родней», которые у людей обыкновенных всегда немножко отдают исподним, — нет, от них веяло красотой и величием еще повнушительнее, чем с «Юностей».

Отец Аниной матери был *гардемарин* (что-то связанное с флотом), *принявший революцию* (для Витиной родни показалась бы дикой сама мысль, что в мире можно что-то принять или не принять). Он с открытой душой вступил в партию большевиков, стал крупным океанологом, руководил гидрографическим обеспечением Северного морского пути, его очень ценил *Отто Юльевич Шмидт*, но в тридцать седьмом его все равно расстреляли (значит, действительно был настоящий коммунист). Его арест попутно погубил блестящую карьеру его жены, то есть Аниной бабушки, лучшего меццо-сопрано в *Мариинке* (понадобились годы, чтобы Вите открылось, что Мариинка есть не что иное, как Театр оперы и балета имени Кирова). Когда-то на *любительском* вечере она выступала с *Шаляпиным*, а после лагеря до пятидесят шестого года ей пришлось преподавать в Иркутской области пение и немецкий язык, однако она сохранила и осанку, и настоящий петербургский выговор: она произносила не так, как все мы: медведь, а — *медведь*. (Не медведь, а *медведь* — да-а...) И петербургский, и немецкий выговор она освоила в доме своего отца, знаменитого *либерального* адвоката, крестившегося в *протестантство*, чтобы получить право перебраться в Петербург из беднейшего *еврейского местечка*. Последние слова она произнесла с неким нажимом и, казалось, даже призадержалась на них, чтобы дать Вите возможность как-то отреагировать, но ничего, кроме благоговения и страха оказаться недостойным открывшихся ему тайн, он испытывать не мог. Он даже о тошноте своей забыл.

Дед ее матери был одним из основателей *кадетской* партии, тоже с нажимом сообщила она, и Витя вспомнил, что кадеты были не только дореволюционные суворовцы, но и белогвардейцы в пенсне. Кроме того, перед революцией он сделался *домовладельцем*, продолжала она испытывать широту его взглядов, но это Витю не впечатлило: его воронежская родня тоже большей частью жила в собственных домах. Разумеется, у адвоката было что-то поприличнее, но впоследствии он невольно присвистнул, когда Аня мимоходом показала ему на *Кирочной* — на Салтыкова-Щедрина — домину о пяти этажах, куда можно было бы запросто упаковать половину Бебели: этот дом принадлежал моему прадеду, видишь, во втором этаже окна выше других, это *господский* этаж. Северный *модерн*, прибавила она, открыв ему, что модерн — не обязательно стекло и бетон.

Через этот полупонятный мерцающий мир Анин отец проходил, словно ледокол сквозь призрачные торосы, могучей, но простой и понятной фигурой: *рабфак*, первый *красный директор* «Красного пропеллера», вывез через Ладогу уникальное оборудование, развернул производство первых радиолокаторов, познакомился с мамой, эвакуированной вместе с семьей

дедушкиного брата, известного *египтолога*, хлопнул дверью в *наркомате*, пытавшемся расстроить его брак с невестой со всех сторон сомнительного происхождения... Он ее увидел в очереди за хлебом и сразу решил на ней жениться.

Еще бы — упустить случай породниться с Аней! Но Аня явно считала, что отцовский подвиг был кем-то недооценен, и Витя не смел подумать, кем именно. «Некоторые женщины слишком легко забывают такие вещи, они всегда уверены, что оказали мужчине благодеяние», — о ком это может быть сказано, как не о...

В Витиной жизни впоследствии бывали и более счастливые дни в тривиальном значении этого слова — более радостные, более безмятежные, более свободные от физических страданий, в конце концов. Но таких *ирреальных* — не было. И когда на них лег весь этот черный ужас, Витя, пока он еще позволял себе размышлять, тысячу раз задавался вопросом, чего не хватало сыну — ведь все же имел, все!.. И только однажды вдруг додумался (и тут же забыл), что, может быть, как раз ирреальности-то и не хватало.

Блистающий Анин мир располагался недосыгаемо выше серенького Витино, и все-таки каждое ее слово слетало оттуда новой паутинной поблескивающей ниточкой, и неутомонный наглец уже прикидывал, не удастся ли потихоньку-полегоньку сплести из них целую веревочную лестницу.

«А ты?..» — доверительно спросила она, и Витя с тоской понял, что ничего достойного ее слуха с ним никогда не происходило. Лишь то, чего с ним не происходило, еще могло на что-то претендовать. И Витя, то и дело останавливаемый пульсирующей головой, вполголоса поведал ей кое-что о замке Иф, о проглоченном Сашке Бабкине, об аллигаторах, о бессонных часах, проведенных под одеялом за конструированием послушных одному только их изобретателю замков, при помощи которых можно было бы затвориться от аллигаторов...

— От аллигаторов?.. Запереться в тюрьме?.. — Ей понадобилась вся ее отзывчивость, чтобы наконец вздохнуть с ласковым облегчением: — У мальчишек всегда какие-то фантазии.

Предпочитая лучше показаться еще более чокнутым, чем непонятым, Витя, уже не щадя головы, немножко даже заголосил в том смысле, что он, конечно, видит разницу между человеком и аллигатором, но когда люди используют друг друга, как будто не замечая, что и другие испытывают такие же чувства, вернее, не такие, как те, кто не замечает, а, наоборот, как те, кто замечает... Чувствуя, что уже выставился вполне достаточным идиотом, Витя все-таки продолжал голосить, отдавая миг приговора — который вдруг сам себе и вынес:

— Ты, наверно, думаешь, что я шизофреник? — Он лишь чудом в последний миг успел достроить общежитское «шизик» до его культурной формы.

— Совсем нет, — нежно, будто несмышленишу, возразила Аня. — Просто ты очень добрый и впечатлительный.

Только тут Витя узнал, как по-настоящему краснеют. Зато наглец в нем весь обратился в слух: дальше, дальше давай!.. И даже выжидательно покосился ей в глаза. И его вдруг поразило, какие белые, прямо как молоко, у нее веки. Не успела накраситься, радостно сообразил рассиявшийся наглец, ибо и в этом он усматривал знак их близости. А румянец на ее щеках был почти морозный — колодезной водой умывалась, растроганно подумал Витя и сделал несколько глотков из кружки уже без тягостных последствий.

Пора на завтрак, ответственно посмотрела она на трогательнейшие чашки, и Витю снова начало мутить. А она, чуточку отвернувшись, достала нежно-зеленую, словно первая травка, расческу и принялась быстро-быстро, как умывающаяся кошка, прядку за прядкой расчесывать в обратном направлении, создавая пышную путаницу. Вот это и есть начес, понял

Витя, не смея ни дохнуть, ни отвернуться. Наконец она снова подвязалась своей голубенькой косыночкой, и Витя увидел, что косынка эта уже не совсем вчерашняя. И Аня тоже присмотрелась к Вите повнимательнее и — погоди-ка, погоди-ка — в точности как мать взяла его плеснувшуюся голову в руки и вытащила из волос сухой стебелек с цветком, похожим на крошечную булаву. Клевер, после внимательного исследования констатировала она.

На поле от каждого наклона подкатывала такая тошнота, так расплескивалось озерцо боли, что ему не понадобилось уходить на другой конец борозды. Ему было и рядом с нею хорошо: боль и тошнота лишь обостряли ощущение дивной ирреальности.

После купания его еле отлили водой — так крепко он заснул прямо на песке. Но, очухавшись, он смеялся вместе со всеми — он видел в ее взгляде... любовь не любовь — у них в Бебеле подобные слова и выговорить было невозможно, но что такое любование, Витя понимать умел. А когда они вечером отправились на прогулку вдоль озера, она первая взяла его за руку, и он, замирая, молил бога только об одном — чтобы рука не вспотела. Поравнявшись с мысом Сахары, он увидел, как в бескрайние воды садится огромное малиновое солнце — лишь бредущих к нему по песку взявшихся за руки фигурок и не хватало, чтобы наконец сбылась тайная мечта его «Юности». Пойдем к воде, осторожно предложил он Ане, и она ласково, но рассудительно возразила: «Песку в обувь наберем. Пойдем лучше по дороге».

Пружинистая травяная дорога вела к селу, где наверняка обитали и аллигаторы. Однако Вите вдруг открылось, что никаких аллигаторов в мире нет, есть только незнакомые. Но если ты обратишься к ним как к людям, они тут же превратятся в твоих друзей до гробовой доски.

Даже жаль, что в тот вечер никто им не встретился. Только глупые слизняки с наступлением прохлады выползали на самые опасные места, расправляя бесполезные мягонькие рожки. И оказывались правы в своей наивности — Витя с Аней очень тщательно через них переступали.

— А вот если бы слизняки были такие огромные, как мы, а мы такие маленькие, как они, — они бы не стали через нас перешагивать... — наконец решился Витя высказать вслух уже несколько лет преследовавшую его мысль.

— Тебе такие неожиданные соображения в голову приходят, ты фантазер — прямо как мой папа. — И Витя, простите за банальность, едва не отделился от земли от счастья, по крайней мере надолго перестал ощущать пружинящую дорогу под ногами, оттого что в Анином голосе прозвучала не только воркующая насмешка, но и чуть ли не гордость за него.

И Витя решился признаться ей (а заодно и самому себе) в одном воспоминании, которое не пропитало горькой отравой всю его жизнь только потому, что он за версту обнес его колючей проволокой и пустил по ней ток высочайшего напряжения.

Когда их классе этак в девятом возили на экскурсию в Петергоф, на одной из дальних аллей Витя увидел убитую белку, и для него разом померкло и круглолицее «Солнышко» с кривыми текучими лучами, и златомышечный Самсон, раздирающий пасть льву: если бы из лвиной пасти ударяло вверх не сверкающее серебро, а тугая черная кровь, зрелище показалось бы ему менее бесстыдным. К сибирским охотникам, умеющим бить белку в глаз, Витя относился с большим уважением, потому что таежная белка наверняка умеет защититься себя своей вечной настороженностью, невесомой стремительностью — она и головкой вертит квантиками, словно в мультике: не успел ты ее зафиксировать в одном положении, как она уже замерла в другом. Так что безвестный аллигатор ухитрился попасть в нее каким-то своим мерзким орудием только потому, что она *поверила* лю-

дам... Этот гад был даже мерзее любого аллигатора — тот ведь просто машина из мяса, убивает, чтобы жрать, он не творит зла из любви к злу...

Вите целый день незаметными отрицательными мини-движениями головы удавалось отгонять от себя это понимание, — она *поверила, поверила, поверила...* — но в темноте защитную оболочку наконец прорвало, и он часов до трех еле слышно скулил под одеялом. И с утра уже не терял бдительности. Лишь ощутив в своей руке Анину руку, он вдруг почувствовал в себе силы войти в запретную зону и выйти оттуда живым и сравнительно невредимым. По крайней мере готовым и дальше жить в мире, где такое возможно.

Он и в самом деле сумел поделиться с Аней, не слишком оконфузившись: когда голос готов был сорваться, Витя начинал высматривать слизняков еще более пристальным взором, а повествование вести еще более безразличным тоном — страстно надеясь, что Аню обмануть ему не удастся.

Аня некоторое время продолжала идти, сосредоточенно глядя под ноги и не подавая никаких сигналов его руке, которую она лишь в самом начале сжала покрепче. А потом, как всегда, серьезно что-то обдумав, с нежной властью повернула его лицом к себе и тоном преданного гипнотизера приказала:

— Забудь. Я знаю, что таким, как ты, это очень трудно. Но ты все-таки забудь. Больше никаких аллигаторов в твою жизнь я не допущу. — И прибавила с горечью, как бы уже про себя: — Бедные вы мои мальчуганы... Папа тоже был очень впечатлительный, только никто этого не хотел понимать... Вот он и умер в пятьдесят два года.

Витин мозг, еще не вполне освободившийся от ядовитых самоцветов, на некоторое время окончательно отказался понимать, въяе ли и с ним ли, с Витей, это происходит. Наглец-то в нем, правда, и здесь, ликуя, выхватывал свое: «Ты слышишь — мои мальчуганы, мои! И если она клянется всю жизнь защищать тебя от аллигаторов (что, конечно, не в ее силах — но сам порыв!..), значит, она как минимум собирается оставаться где-то рядом!» Витя отмахивался, ибо нужно было прежде всего выказать сочувствие к безвременной кончине ее отца (хотя пятьдесят два года — срок вполне приличный, дочь все равно не может так считать) — но и нельзя было допустить, чтобы скорбь заслонила его благодарностью, — так что же, улыбнуться, как дураку?.. Или потупить?.. А вдруг выйдет, будто ему неловко за ее серьезность, хотя именно серьезность-то ему и нужна... Ах, черт, кажется, щеки уже пылают... Может, незаметно, ведь светится только небо... Слова у нее все такие взрослые... но ведь мы вроде бы теперь и есть взрослые?.. Или еще нет?..

Однако он не переставал ощущать, что она смотрит ему в глаза, и рано или поздно нужно было отвечать ей тем же. В ее глазах отражалось меркнувшее небо, но нежность и сострадание сияли ярче канувшего солнца. Она смотрела так, словно присягала ему в чем-то, и Витя понял, что может сказать ей очень важную вещь (хотя и не самую важную).

— Смотри, ведь если даже взять не аллигатора, даже белку — все равно она для нас трогательная, а мы для нее нет...

— Ну, конечно, — очень серьезно ответила Аня. — Все живое борется за собственное выживание, и только человек отвечает за всех.

— И даже за аллигаторов? — осторожно поинтересовался Витя — уж очень ясным для нее оказался не самый, по его мнению, простой вопрос.

— И за аллигаторов. Если их начнут истреблять свыше допустимой нормы, мы должны будем занести их в Красную книгу. Да они, кажется, уже и занесены.

Дальнейшему придавало правдоподобия лишь то обстоятельство, что в книгах именно так и писали: «Впоследствии он не мог бы точно вспомнить», — самое отчетливое, что ему запомнилось, было собственное его прозрение, когда она ласково взъерошила ему волосы: у нее такая смелая

рука, догадался он, потому что она твердо знает, как поступать нужно, а как не нужно, и потому все, что нужно, делает уверенно, а что не нужно, вообще не делает. И следовательно, если она сравнила его с только что вылупившимся растерянным птенцом, стало быть, это так и нужно, и если при такой ее высоте она считает возможным подшучивать над его птичьим носом, как, бывает, в редкие ласковые минутки его мать поддразнивает отца, значит, это говорит о какой-то уже окончательно неправдоподобной их близости.

А следующее прозрение было совсем уж судьбоносным: заметив, что Аня начинает немножко дрожать от холода, он вдруг понял, что дрожит она вовсе не из демократизма, не для того, чтобы внешне походить на остальных, а потому, что ей *и в самом деле холодно*. Но ведь это означало, что она способна страдать и от всех прочих стихий, неборимо играющих жизнью смертных, — от голода, болезней, грязи, безобразия... И когда он это понял — понял, что ее высота *ровно ни от чего не защищена*, — что, оступившись, Аня вовсе не взлетит, а упадет (хотя бы и в лужу, если под ногами окажется лужа), что, оказавшись одна в безбрежном океане, она рано или поздно... Витя принялся незаметно делать мелкие отрицающие движения головой и даже как бы в рассеянности ущипнул себя за щеку, чтобы отогнать приближающееся содрогание, но *понимание* прогнать было нельзя: она такой же человек, как и все. В том, что касается беспомощности и уязвимости, разумеется, но отнюдь не в том, что касается высоты: высота ее вознеслась еще выше, до звезд, ибо хранило ее хрупкое, как белка, существо, в которое можно запустить камнем, швырнуть грязью, которое может в любой миг споткнуться, заболеть, уме... Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет!..

С этой минуты Витя начал ощущать ее высоту не естественным свойством небожительницы, но — подвигом. Подвигом, рождающим в нем благоговение, чуть только он в него вдумывался: хранить высоту перед таким морем опасностей!.. Витя ощутил невероятную гордость, когда до него дошло, что и она в нем, стало быть, может нуждаться. И когда он прижимал ее к себе, это был именно порыв согреть ее, а вовсе не фальшивая забота, прикрывающая желание потискаться (а что его внутренний наглец и здесь возликовал: «Ага, ага, она совсем не воспротивилась!..» — так за этого хама Витя отвечать не мог). Он впервые видел ее лицо так близко, и теперь в слабых бликах меркнувшей зари оно казалось ему уже не медально совершенным, а пленительным.

Правда, если бы в эту минуту его спросили, согласен ли он украсть, чтобы накормить Аню, он бы все равно промямлил: «Наверно... Но лучше бы не надо». Если же его спросили бы, готов ли он убить ради спасения ее жизни, он бы совсем уже затосковал: «Ну, если бы не было другого выхода... Ну и смотря кого, смотря в какой ситуации...» У него не укладывалось в голове, как это можно убить из-за денег — из-за такой трухи, как миллион, миллиард, триллион... Из-за оскорбления — это еще на что-то похоже, но все равно, как можно сравнивать: какое-то там оскорбление и — *человеческая жизнь!* Убийство могло бы представиться ему чем-то мыслимым — ну, разве что ради предотвращения атомной войны.

Но если бы его спросили, способен ли он убить того, кто попытается отнять Анину высоту, он бы только пожал плечами: разумеется — что же еще с ним делать?

Да, действительно — что же еще с ним делать?!

И где набраться сил, чтобы не делать? Сил, то есть надежд. Что же, зачерпнуть их в тех неделях и месяцах, когда он жил с ощущением свершившегося чуда? Когда он и просыпался, и засыпал с чувством упоительного: «Нет, не может быть!»? Теперь он только и мог бы подтвердить: «Да, не может быть». Продлить сон невозможно, если даже снова заснешь. Да не к

этому ли продлению сна и стремился тот, кто был главной — сумасшедшей! — его любовью и сделался главным — всезаслоняющим! — кошмаром его жизни?..

Мыслимо ли найти опору в том мире, который не имеет с нынешним ничего общего? В теперешнем мире все предметы обладали лишь тем единственным значением, что, столкнувшись с ними, можно набить шишку на лбу либо ссадить колено, а это нецелесообразно: жизнь сумела-таки вдолбить ему, что, сколь бы ужасной она ни была, со ссадиной все равно будет хуже, чем без ссадины. А в том мире, сквозь который впервые просияло Анино солнце, — в нем все норовило предстать чем угодно, лишь бы не самим собой: Исаакий мерцал из тумана серебряной горой, из которой безвестные мастера высекли подобие храма, но вершина, теряющаяся в облаке, все равно открывала, что перед тобой не здание, а именно гора; ночная зимняя Нева становилась трещиной среди льдов, в которой медленно кипело черно-огненное варево; отпечатки женских и мужских ступней по юному снежку под фонарями превращались в дивные рельефы на спинах и спинках черных рыб и рыбок, скользящих по белопенному океану; в уличном фонаре, отраженном в изразцовой облицовке, глаз сразу же распознавал золотое дерево с квадратными листьями, — чудесам не было конца, и все они каким-то особенным сверхчудом были еще и ею: если раньше она открывала ему глаза на все мироздание, то теперь все мироздание открывало глаза на нее. Даже если ее и не было рядом. Даже если он чистил зубы или завязывал шнурки. А уж если брел по улице, стараясь мысленно заглянуть за угол...

Лишь узревши мир, засветившийся ее скрытым светом, он уяснил, каким до этого был пацаном, мальчуганом, когда за каждым поворотом ожидал праздника, а не чуда, искал все новых и новых поводов ошалеть: «Вот это да!..», а не обомлеть: «Не может быть!..» — только теперь он понял, что щенячий захлебывающийся восторг достоин самое большее снисходительной улыбки в сравнении с замиранием (слово «благоговение» не вошло в его активный словарный запас).

Однако он понимал, что ему еще расти и расти, но не торопился с этим, поскольку видел, что Аню его мальчишество в основном пока что умиляет: глупыш — ведь это же ласковое слово? Он навсегда запомнил, как поздней осенью они стояли, облокотившись на чугунную ограду близ Спаса-на-Крови, и отрешенно следили, как в черной воде под фонарями завязывается первый ледок: растекшиеся плевки неведомого исполина медленно-медленно скользили по тьме, один за другим присоединяясь к крепнущей прозрачной ткани, которая чем дальше, тем тверже морщилась, образуя складки, занавеси, все более крепнущие и белеющие, обретающие в конце концов сходство с недоснятым жиром на холодном супе. «С жиром?.. — от неожиданности рассмеялась Аня. — Я только у детей встречала такие неожиданные ассоциации». Но Витя уже твердо знал, что теперь она сама ищет, чему еще в нем удивиться и растрогаться, а если что-нибудь в нем она и в самом деле захочет исправить, так тут же это и сделает. Шепнет, скажем, в гардеробе, что шерстяной шарф не повязывают поверх шерстяного свитера, он и будет помнить всю жизнь (даже когда она забудет). Или очень просто и не обидно даст ему понять, что не нужно кидаться с услугами, пока не попросят, смеяться анекдоту, пока не доскажут...

Мужчины такие доверчивые, им так легко выдать жеманство за утонченность, как-то обронила она с той безнадежной горчинкой, которая всегда означала, что отец ее где-то рядом, и Витя почтительно примолк, мысленно перебирая известные ему случаи жеманства — и действительно ни об одном из них не мог бы с уверенностью заключить, что это именно жеманство, а не утонченность. Аня все различала лучше, чем он. Когда под храмовыми сводами институтской библиотеки, почти такими же необъят-

ными, как высокое, великое небо, к ним обернулся пыхтевший над шаткой башенкой книг Сеня Голосовкер и что-то пробулькал, Вите пришлось изобразить некую глубокомысленность, словно он не знает, как отнестись к столь серьезному сообщению, а вот Аня вместе с Сеней обратила на него взор, полный нарастающего ожидания. Видя, что ожидание наконец переходит в недоумение, Витя сообразил как бы стряхнуть с себя рассеянную задумчивость и тем самым обрести право переспросить: «Извини, пожалуйста, я отвлекся». Сеня выдал новую очередь бульбульбульканий, и Витя понял, что может переспрашивать его до конца своих дней, но так и не приблизиться к смыслу пробулькиваемого. Чтобы оттянуть миг расплаты, он в отчаянии прибегнул к прежнему приему и, будто внезапно о чем-то вспомнив, извлек из кармана горсточку мелочи и с преувеличенным вниманием принялся ее пересчитывать — авось по Сениной реакции он на этот раз догадается, что ему нужно. Однако Сеня с Аней следили за ним, ничем не выдавая своих замыслов. Витя досчитал до конца свои пятаки и гривенники, потом пересчитал снова, — дальше пришлось отправлять пересчитанное обратно к месту постоянной дислокации... И только тут Аня спросила, уже явно ничего не понимая: «Так что?» — «Что „что“?» — «Так ты дашь ему рубль?» — «Что?.. А, рубль, ну конечно, да хоть два!..» Витя был бы счастлив стащить с себя последнюю рубашку.

И когда он наконец объяснил Ане причину своих манипуляций, ему впервые открылась возможность лицезреть ее умирающей от счастливого смеха. «А я смотрю — что он делает?.. Достает деньги, пересчитывает и, не говоря ни слова...» Почти так же счастливо она смеялась, когда на Марсовом поле во время гололеда внезапно со всего роста шлепнулась навзничь в своей остроконечной вязаной шапочке, делающей ее немножко похожей на звездочета (и, стало быть, так тому и полагалось). Витя, в ужасе от такого ее унижения (тем более что как раз за миг до того он выпустил ее бережно придерживаемый локоток, заглядевшись на парящую в золоте прожекторной подсветки ирреальную стройность колоннады Русского музея), кинулся ее поднимать, стараясь одновременно делать вид, будто в такой ее позиции он не видит ничего необычного, и ее чудесное смеющееся лицо в свете фонарей — вся-то их любовь проходила под фонарями — бросило его сначала в оторопь и тут же в облегчение: уф-ф...

Вот и в первой Витиной филармонии после блаженных часов в очереди под общим зонтиком среди общих луж в окружении небожителей и небожительниц Аня, по-родственному поздоровавшись с интеллигентной старушкой-гардеробщицей («Она меня еще девочкой помнит»), с полной простотой попросила его подождать и скрылась за дверь с насекомой буквой «Ж», которую Витя даже взглядом старался обойти. Так и во всем она первой давала ему понять, что можно, а что нельзя. Иной раз она отпирала ворота даже раньше, чем ему приходило в голову в них постучаться. Ей были глубоко противны женщины, которым нравилось ради своего полового (она и это слово легализовала первой) самоутверждения мучить мужчин разными приближениями-отталкиваниями, и Витя вновь и вновь изнемогал от благодарности, ясно понимая, что ничем и никогда ей отплатить не сможет. И тем не менее, не пройдя положенного курса томления в чистилище надежд и обид, приближений и отталкиваний, он не получил важной прививки от опасной инфекции...

Но в тот вечер в надмирном зале, подсвеченном белым сиянием колонн, когда на сцену вдруг пролился свет совсем уж неземной, когда по залу прошелестело «Мравинский, Мравинский» и Витя увидел состоящего из одного только профиля устремленного вперед и ввысь вдохновенного старца в грачином фраке, а мгновение спустя по осиянной сцене к черной зорьке рояля, вскинув надменный подбородок и посвечивая нимбиком, который даже наглец из наглецов не осмелился бы назвать лысиной, про-

шагал в таком же фраке еще один сверхнебожитель с нездешним именем Рихтер и, откинув черные хвосты...

Вите показалось, что по полу раскатились хрустальные карандаши. Звуки их буквально загипнотизировали его своей неправдоподобной красотой, и хотя вокруг него и в нем самом гремело и струилось что-то дивное, он, обмерев, все равно продолжал ждать, чтобы волшебник у рояля рассыпал все новые и новые хрустальные пачки. Через непонятное время, когда Витя наконец снова обрел способность видеть и любопытствовать, он заметил справа у колонны девушку с мечтательным, «улетающим» выражением и покосился на Аню. Анин совершенный профиль излучал ответственное внимание, и Витя тоже подобрался, посерьезнел: где жеманство, где не жеманство, еще поди разбери, а утонченность уж точно здесь.

В антракте, прогуливаясь с ним среди небожителей по небесному фойе под портретами гениальных незнакомцев, Аня заботливо спросила у него, не скучно ли ему было, Седьмой концерт сложноват для первого прослушивания, но Витя, бдительно следя, чтобы не заголосить, пылко заверил ее, что даже сами звуки в отдельности до того прекрасны... Просто удивительно — смотри, ведь если бы какие-то мастера не сумели выработать звуков настолько красивых, то и ни один бы Рихтер... Какой ты у меня технарь, воркующе засмеялась она, мой папа тоже про децибелы сразу начинал рассуждать, он говорил, что ходит в филармонию как в баню, очиститься изнутри.

Кажется, наглец в Витиной душе чем-то остался не вполне доволен, но для самого Вити всякое сравнение с ее отцом было радостным. Тем не менее он старался быть повзрослее. Он засел за музыкальный словарь и, по Аниным словам, удивительно скоро насобачился осторожненько вворачивать что-нибудь насчет рапсодий и скерцо, синкоп и флажолетов, код и каденций, интерлюдий и интерпретаций. Однако недоступный убеждению наглец в своей неприступной берлоге стоял на прежнем: да, те, кто делает что-то лучше других — пускай намного, неизмеримо лучше, — те, конечно, большие молодцы, и все же истинный гений совершает нечто ровно противоположное: он не заставляет нас восхищаться, до чего здорово сделано, а отнимает у нас способность разглядывать и рассуждать, рождает в нас единственное чувство: «Не может быть!..»

Но Витя знал, что наглецам давать воли нельзя.

Он лишь однажды заблудился — притом впервые оказавшись у нее дома. Она пригласила его посмотреть фигурное катание (ее подверженность столь обыкновенному девчоночьему увлечению была для него почти такой же трогательной, как проявления ее физической природы, — правда, не рождая мучительного ощущения невыносимой хрупкости). Арка ее дома с демократической непритязательностью круглилась в двух шагах от неизвестного ему прежде игрушечного скверика, в котором скромно грустил Александр Сергеевич Пушкинъ. И долго буду тем народу я любезен, что звуки новые для песен я обрел, прочел Витя на могильно полированном постаменте, и ему показалось, что в школе он учил как-то не так. Но ближе ее дома все и должно было делаться не так. «Девушка, вы знаете, почему Пушкин смотрит в ту сторону?» — прохрипел Ане с мокрой осенней скамейки распухший алкаш. «Нет», — с безупречной простотой ответила Аня. «Потому что там была его квартира», — и алкаш показал на какой-то балкон. «Спасибо, очень интересно, — с признательностью склонила шапочку Аня и шепнула Вите: — Легенда. Это наш балкон». И Витя поразились интуиции забулдыги, сумевшего-таки учуять исключительность заурядного с виду балкона.

Лестница была темная — путь в чертог лежал через пещеру. После которой сказочное великолепие опрокидывало еще неотразимее. Витя, естественно, не разбирался в мебели, тем более в посуде, но первое, что ударило в глаза, — это все равно была не красота, а — *подлинность*. Как раз в

эти дни у его родителей подошла очередь на полированный гарнитур — прямо выпиравший из их квартирки своей элегантностью. Однако в Аниной *гостиной* Вите немедленно открылось, насколько он жалок и провинциален со своими потугами скрыть зеркальностью древесно-стружечную внутреннюю суть и прямолинейностью недостаток выдумки: вокруг Ани, такой простой, ясной и доброй, все волновалось и кругилося, но без истерик и завитушек, закругляясь с плавностью, присущей уверенным ораторам. Причем красота дерева требовала не прятать ее под дешевыми бликами, а, напротив, обнажать ее — красоту буквально какого-то благородного камня, сквозь отдельные оспинки которого с несомненностью открывалось, однако, что это все-таки дерево. Дерево, глядящееся камнем, живое, ведущее себя как неуязвимое, — в этом было не вдруг осознанное сходство с Аниной жизненной позицией, так что львиные лапы у обоих кресел могли придать им лишь совсем немного дополнительного мужества. Стулья же с высокими спинками на первый взгляд были довольно обычные — лишь взгляда с третьего замечалось, до чего мумифицированной тисненой кожей они обтянуты, сколь тонко прочеканено звездное обрамление их обойных гвоздей. Здесь и собрания сочинений — взятые в отдельности, как будто бы те же, что и у Сашки Бабкина, — за переливающимися алмазными гранями стеклами сами казались обнажениями самоцветов.

По стенам выси были рассыпаны старинные фотографии каких-то принцесс с инфантами, в которых Аня прекрасно ориентировалась: моя прабабушка, мой внучатый дядя, нет, в матросском костюмчике — это племянник дедушкиной двоюродной сестры... Рамки фотографий были из того же каменного дерева, но в отделке как-то мельчили — фотографический портрет Аниного отца резко отделялся от них и размером, и четкостью, и простотой. Сильное мужицкое лицо с раздавленным носом и с умнейшими, пронизывающими Витю насквозь, вплоть до притаившегося в нем наглеца, глазами еще раз открыло ему могущество аристократизма — если уж такой мужичина «тянулся к маминому кругу»... Правда, Аня как-то помянула еще и жеманство, принимаемое доверчивыми мужчинами за утонченность...

С нарастающим стыдом за неотвязного наглеца, не желающего уняться и в чужом доме перед лицом святыни, Витя поспешил ускользнуть к чему-то менее пафосному (по пустякам наглец его не беспокоил):

— Да у тебя здесь просто Эрмитаж!..

— Мы бронзовую *козетку* и продали в Эрмитаж, — с полной простотой рассмеялась Аня. — Меня нужно было каждое лето в Крым возить — пневмонии донимали, а папа не хотел в министерском пансионате одалживаться, он даже дачный участок не взял. Я ужасно радовалась, когда ее продали. На ней было столько завитков, куда взрослые не могли забраться, так мама наматывала мне тряпочку на палец и заставляла все-все протирать... я эти заросли ненавидела.

Она была маленькой, ее донимали пневмонии, она что-то ненавидела — из груди до кончиков пальцев разлилась расслабляющая нежность, глаза защекотали зарождающиеся слезы умиления и восторга — подвиг, подвиг...

— А эти часы мне подарила бабушка к будущей свадьбе.

И Витя почтительно замер перед той ясной простотой, с которой она произнесла это грубое слово — «свадьба», «ба»...

Часы с древними римскими цифрами и золотыми резными стрелками вырастали из окаменевшего зеленого мыла и были охвачены золотой аркой изобилия.

А фигурки на... Витя не знал, как назвать эту изысканность, но уж никак, конечно, не комодом или мещанским «сервантом»... Так фигурки на этом самом сразу открыли ему, чему и сколь жалко пыталась подражать Юркина мать, тетя Клепа, она же Клеопатра Алексеевна. Пастушки с

овечками, придворные в многослойных юбках или коротеньких облегающих штанишках до колен (ага, у Ани в совхозе было что-то в этом роде...) — все здесь хотя слегка и напоминало тети Клепино собрание, но было настолько изощреннее — глазки, складочки, мизинчики, — что... Правильно, Витина мать не пыталась обзаводиться безделушками, не позорилась.

— Это *корниловский* фарфор, — доброжелательно поясняла Аня, и Витя уважительно кивал, наматывая на свой нещедрый ус и это заклинание. — Тоже, будь моя воля, половину продала бы. Только пыль собирают.

Аня что-то рассказывала и о тарелках-чашках — майсенский фарфор, китайский фарфор, — но посуда представлялась Вите чем-то слишком интимным, утилитарным, чтобы на нее пялиться. Однако и в ней он успел ощутить некий источник, жиденьким, слабеньким эхом которого оказались все поползновения на изысканность, попадавшие ему на глаза в сервантах приятельских мамаш.

Телевизор у Ани был обширный, но не обширнее Витино — Витин отец придавал этому значение, — но даже и в нем Вите чудилась некая особая простота и сдержанность, как будто он исключительно из демократизма скрывал свое родство с красными деревьями и красными директорами.

В фигурном катании Витю по-настоящему потряс — до замирания, до благоговейного вытягивания шеи — только мужской одинокий полет надо льдом: стройный черный силуэт уносился вдаль, и вдруг — как будто без усилия, как будто *сам собой* — ВЗЛЕТ!.. Женщины не вызывали у него этого чувства — *само собой*, он ни на миг не переставал замечать, как это делается: бросались в глаза голые ноги, трусики... А если еще партнер хватал ее за разные места... Будь Витя склонен к философствованиям, он сказал бы, что истинное искусство — даже в спорте — не поражает *возможностями* нашего тела, но заставляет забыть, что у нас есть тело, заставляет поверить в невозможное.

— Но ты взглядишь, взглядишь, какая грация, — тормозила его Аня, понуждая разглядеть что-то еще в какой-то своей любимице, и Витя в конце концов заголосил, что грация женщин вовсе не в том, чтобы прыгать и размахивать ногами, а в том, чтобы просто садиться, поворачивать голову, подавать руку...

— Вот на тебя можно смотреть бесконечно, когда ты поправляешь волосы, берешь чашку, подносишь ее к губам... Вот это действительно грация! — в отчаянии закончил он, чувствуя, что лицо уже пылает, и пальцем утверждая на переносице очки, чтобы прикрыть хоть малую часть горячей территории.

— Я думаю, никто из самых моих галантных знакомых не додумался бы до такого комплимента, — после паузы с некоторым даже почтением проговорила Аня. — Ты со своим простодушием мог бы покорять женские сердца...

Она как будто сама себе не верила и, чтобы убедиться, извлекла его, смущенного и нерешительно противящегося, из кресла и, словно поставив какую-то окончательную, ласковую, но твердую печать, крепко поцеловала в губы. Это были настоящие губы. Героические.

И все-таки Витя больше любил обниматься, чем целоваться, — обнять и застыть, изнемогая от нежности, от желания стиснуть, вобрать в себя и одновременно замирая от страха повредить эту невыносимую хрупкость: с похожим чувством он когда-то нес домой воробьиного птенчика и наконец, измучившись от бесплодной борьбы страсти и страха, остановился и начал поить его слюной, — вот так и к поцелуям он мог переходить, лишь достаточно протомившись, только сейчас все было в сто, в тысячу раз сильнее — теперь-то он понял, слабеньким, жиденьким предвестьем чего были тогдашние воробьиные его страсти.

В этот визит Витя был представлен и Аниной матери — от почтительности даже не разглядел ее как следует, однако несдающийся наглец из своей норки успел ухватить в ней сходство с узбекской девочкой из какой-то детской книжки — «у москвички две косички, у узбечки двадцать пять»: черные с серебром волосы ее вились так, будто косички были расплетены пять минут назад. Витя поспешно вскочил ей навстречу, но она лишь грустно ему кивнула, бегло улыбнувшись левым уголком рта (правый был безнадежно опущен), и прошла к себе. В памяти отчетливее всего успели отпечататься ее скорбные, но из-за восточной прищуренности все равно как бы немножко смеющиеся желтые глаза в маленьких очках с едва заметно поблескивающей проволочной оправой. При взгляде исподлобья глаза делились на две неравные части — ту, что побольше, глядящую поверх очков, и ту, что поменьше, за стеклами. С тех пор ему при каждой встрече хотелось проверить, не показалось ли, но верхняя часть так всегда и оставалась чуточку побольше, а нижняя чуточку поменьше.

— Что-нибудь случилось? — тревожно спросил Витя.

— Случилось. Пятьдесят лет назад моя мама имела несчастье появиться на свет.

Витя и внешне, и внутренне потупился — он и впоследствии считал себя вправе присоединяться лишь к доброжелательным ее отзывам о членах ее семейства: как бы там ни было, в этой сугубо личной сфере имела право распоряжаться только она сама.

Приглашение поужинать он принял довольно решительно — со второго раза, ибо уже давно начал к нему готовиться: когда не видели родители, учился пользоваться ножом и держать вилку в совершенно не приспособленной для этой цели левой руке. И неплохо преуспел: уже мог подносить вилку ко рту, контролируя ее лишь нижним краешком зрения. Правда, тогда под носом образовывалась некая мертвая ненаблюдаемая зона, которую приходилось проходить, полагаясь на судьбу, однако во время последних тренировок судьба оказывалась к нему стабильно благосклонной.

Введенный в кухню, Витя старался не рассматривать изнанку Аниной жизни, пускай и обожаемой, пускай и рождающей лишь благоговение перед ее подвигом. И все же его внимание само собой пало на никогда не виданный в кухнях круглый стол, требовавший простора и обретший простор. А черная, в могучих прожилках, резная крепость заставила его утратить контроль даже, по-видимому, и за выражением лица.

— Этот дубовый буфет всех приводит в оторопь, — с улыбкой прочла его чувства Аня (да-а... в этом бастионе и вправду могли бы разместиться и школьный, и институтский буфет, вместе взятые). — Папа говорил, что нас всех отсюда вынесут, а он останется стоять, как Александровская колонна. И действительно, мы после папиной смерти хотели его продать, — уже немного понижшим голосом прибавила она, — деньги были нужны, папа как будто нарочно не хотел ничего копить... В Китае половину командировочных потратил на какой-то супераристократический чай, его раньше только мандарины пили, а теперь только члены Цека, — оказалось, в рот невозможно взять... Так бригада грузчиков не смогла его с места сдвинуть — я имею в виду буфет. Они хотели послать за добавкой — я хочу сказать, за подмогой, но я решила, что это знак судьбы. Может быть, папе было бы приятно, что его пророчество сбылось.

Витя со сделавшимся уже привычным погрустневшим выражением опустил глаза, которые тут же притянула к себе сахарница из поседелого, стершегося, как старинная монета, металла, на котором были отчеканены скрещенные якоря. У таких же истершихся шипчиков для рафинада были хваталки в форме раковин. «Гардемарин...» — вспомнилось ему.

Аня стройно подпоясалась чистеньким, но очень обыкновенным (подвиг, подвиг!) передником, расторопно и умело (подвиг, подвиг!) напустила воды в такую же, да не такую, как у Вити дома, эмалированную каст-

рюльку, поставила ее на газ (даже этот колеблющийся подводный цветок здесь был другим), присела в миллион раз грациознее любой фигуристки, добыла из холодильника совершенно заурядные с виду сосиски — Витя изнывал от благодарности и неловкости. Он сунулся было помогать, но она остановила его почти торжественно:

— Не нужно. Я однажды увидела, как папа утром сам себе варит сосиски... рукавом снимает горячую крышку... и дала себе клятву, что с моим мужем я не допущу ничего подобного.

Витя как будто закувыркался с лестницы: он ведь не был ее мужем, у них и близко к тому разговоров не было — и похолодел от ужаса, что она прочтет эту подлую, унижительную для нее мысль по его лицу. Да он что же, да он, конечно!..

Тем не менее факт остается фактом — врата блистательного города открылись ему раньше, чем его впервые посетил хотя бы проблеск мысли, а не рискнуть ли ему в них постучаться.

Чтобы скрыть ошеломленность, Витя прыгающими пальцами взял с круглой плахи стола оплетенную китайскими драконами чайную чашку, успевшую-таки поразить его своей невесомостью яичной скорлупы, и принялся изучать ее с дотошностью археолога.

— Костяной фарфор, — с полной простотой (может, она вовсе ничего такого и не имела в виду?..) пояснила Аня. — Папа привез из Китая. Он маме отовсюду привозил фарфор, он знал, что она любит фарфор. Но приехал уже подшофе — «простились с мужиками» в аэропорту. Мама заметила и — *замолчала*. Он преувеличенно хлопочет, подлизывается — мама безмолвствует... но ты понимаешь, — внезапный взгляд в самую его душу, — что я никому никогда этого не рассказывала и не расскажу? — («Конечно, конечно», — в ответные кивания Витя вложил всю свою проникновенность.) — Так и вот, извлекает он наконец этот сервиз — мама царственно молчит, отвернувшись к окну, — Анна Ахматова! — (Это имя Витя прежде слышал краем уха.) — Папа взял одну чашку и бац ее об пол — ах ты, черт, уронил!.. Мама ни звука. Он бац блюдце — ах я разрыва!.. Мама каменеет. И он берет одну чашку за другой, сокрушается и грохает. Пока я его за руки не схватила. Вот так у нас две эти чашки остались и к ним три блюдечка.

Она явно гордилась папиным норвом, и Витя поник головой.

— Я бы так не смог... — расстроено признался он.

— А тебе и не придется. Женщина должна понимать, что, когда мужчина ей что-то дарит — фарфор, цветы, какую-нибудь тряпку, он всегда делает то, что считает бессмысленным. И мы должны ценить это выше всего — когда человек ради тебя отказывается от своего здравого смысла.

Нет, все-таки, когда она говорила о муже, она имела в виду определенно...

У Вити голова шла кругом. Относительно пришел в себя он лишь года через два. И то сказать: если бы кто угодно из нас открыл дверь в подъезд, где живет девушка, которую он боготворит, но еще не любит, и оказался в невообразимо прекрасном городе, — что бы он почувствовал — восторг или ошеломление? А тут еще пушки с пристани палят, и во главе пышной свиты приветствовать его выходит принцесса, в которой — да уж не сошел ли он с ума?.. — счастливцев узнает ту самую девушку, о коей не смел и мечтать, и слышит, что королевская дочь назначена ему в жены...

Можно ведь рехнуться от такого?

А чуть придешь в себя, то ешь чуточку привыкнешь повторяющийся бред считать новой реальностью, как до тебя дойдет, что обрести новую, ослепительную жизнь тебе удастся лишь ценой отказа от прежней. В которой тысячи пустяков при угрозе их утратить немедленно наполнятся трогательнейшей прелестью — и сильные материнские ладошки на висках, и

недовольный отцовский кашель, и партия в шахматы с забредшим, благодушно поддатым Юркой, и репи с лопухами в тесных бетонных комодищах пампасах, и разложенные заготовочки для абсолютно небывалой конструкции электрического замка, подобно верному сторожевому псу, клацающего зубами в ответ на специальный хозяйский свист, и... В том-то и дело, что, если прогреют теплом твоей жизни дребедень ты можешь оторвать от себя без всякой боли, значит, ты не теплокровный человек, а хладнокровный аллигатор.

А ведь в дивном новом мире и удовольствия превращаются в испытания — в экзамены: вечеринка становится приемом делегации, знакомство с приятными людьми оборачивается выстраиванием отношений с членами королевского дома... Экзамен же остается экзаменом, пускай и сдаешь его симпатичнейшим людям, среди которых не попадают даже некрасивые — некрасивость-то, оказывается, всегда намек на какую-то грубость, то есть жестокость: безобразия и вправду бывают только душевные. У Ани была одна глуховатая троюродная тетушка, которая, чтобы лучше слышать, оттягивала себе уши, обретая сходство с летучей мышкой, — и ничего, можно сказать, даже мило. А уж старшая Анина сестра, унаследовавшая отцовский раздавленный нос, своей значительностью произвела на Витю впечатление почти красавицы, внушая особое почтение крупным обтянутым корпусом. «Вы, — (еще и это „вы“!), — прежде чем что-то сказать, всегда смотрите на свою суженую, — с покровительственным сочувствием сказала она Вите, оказавшись с ним в каком-то доверительном уголке. — А человек должен уметь жить один. Потому что в самые тяжелые минуты он неизбежно остается один». — «Вы, наверно, давно живете одна?» — с почтительным сочувствием спросил Витя и, заалев, метнулся глазами в поисках Ани, чтобы проверить, поправимую ли бестактность он сморозил, но собеседница ответила охотно: «Если это можно назвать жизнью».

После этого Витя начал раскланиваться с нею с удесятеренным почтением: если человек не уверен, что жизнь можно назвать жизнью...

Когда Витины родители впервые побывали в гостях у его будущей тещи (и отчего это все слова из области не самых близких семейных отношений так чудовищно грубы — «сноха», «золовка», «шурин», «свекор»?..), Витя изболелся за них душой, до того неуклюжими они здесь смотрелись. И он, отвернувшись, поспешно замигал от благодарности, когда Аня радостно запротестовала на его робкие иносказательные их оправдания: «Перестань, они же прелестные!» И понял — ну конечно же прелестные, такие простые честные труженики.

Тем труднее оказалось расстаться с *родным домом*. Дворец-то дворцом, но и в царских покоях царит не государь, а этикет, церемониал. Да и вся обстановка от стен до настенных гравюр сооружена чужими людьми за эпоху до твоего появления — об этом Витя тоже не забывал. И все во дворце такое музейное — страшно дотронуться. Правда, собрания сочинений он распечатал довольно решительно — он хотел прочесть их все, том за томом, чтобы сделаться хоть сколько-нибудь достойным Ани. Но дошел до третьего тома Бальзака из двадцати четырех и понял, что нужен какой-то авторитетный фильтр. В конце концов он начал в предисловиях отыскивать произведения, о которых с похвалой отзывались классики марксизма, и читать уже по их наводке.

Словом, даже превратившись в формально полноправного супруга, уютнее всего он себя чувствовал, оставаясь один. Но не хочу ли я сказать, что Вите было бы уютнее и спать одному? Ну, таких экспериментов жизнь не ставила, но что можно утверждать с полной уверенностью, — страшась понапрасну обеспокоить — жену? — нет, и это слово было грубовато для нее, — Витя старался не тянуть на себя одеяло, не придвигаться слишком близко, поскольку размах царского ложа этого не требовал, и вообще, чтобы перейти к ласкам, ему требовалось преодолеть изрядное расстояние.

Неизвестно даже, как бы он его преодолевал, если бы она первая не протягивала ему руку, тем или иным способом давая знать: не мучайся, можно, можно, — а после с вовсе уж сверхчеловеческой деликатностью делала вид, будто инициатором был он, шутила, вызывая приятную щекотку, насчет его ненасытности (которая, впрочем, до некоторой степени действительно имела место). Витя изнывал от благодарности и счастья, что она сумела повести дело без всякого урона для своей высоты.

Несмотря на то, что Аня уверенно овладевала тайнами контрацепции (подвиг, подвиг!), в довольно скором времени она оказалась беременной и переносила тошноту с бледным воодушевлением, показывавшим, что и к этому подвигу она была давно готова. Витя же чувствовал себя преступником, которому нет и не может быть прощения, и обращался с нею скорее в умоляющей, чем в заботливой манере, она же в ответ при каждой возможности с некоторой даже экзальтацией уверяла, что все это *нормальная жизнь!*

Оставить ребенка, пока они оба не получают диплом, она не желала ни под каким видом — пришлось бы просить помощи у матери.

Когда она отправилась туда, куда Витя ни за что на свете не допустил бы свое воображение, он целый день не выходил из комнаты, чтобы, не дай бог, не столкнуться с Аниной матерью, которая теперь наверняка его ненавидела. Он и всегда-то старался пореже попадаться ей на глаза, что было не так уж трудно, поскольку Аня, как и обещала, не позволяла ему принимать прямого участия в приготовлении еды, а чтобы поставить себе чайник, Витя сначала хорошенько прислушивался, нет ли кого на кухне. Хотя иногда и обманывался, ибо Анина мать любила подолгу там сидеть в полной неподвижности над недопитой чашкой кофе, глядя на Пушкина под снегом, на Пушкина под солнцем, на Пушкина под дождем, на Пушкина под фонарями, и Витиному наглецу каждый раз приходила на ум расхожая формула тщетной надежды — «получишь у Пушкина»... Заглянуть и уйти было невозможно, поэтому чайник он все-таки ставил, затем по мере сил беззвучно выпивал две трети удушаемой драконами чашки едва согретшегося чаю и ускользал, пожелав тещиной спине приятного аппетита. В ответ она молча склоняла голову, делая при этом движение как бы полуобернуться, и Вите приходилось шикать на неугомонного наглеца, пытавшегося извлечь на свет когдатошний Анин намек на простодушных мужчин, не умеющих отличать жеманство от истинной утонченности...

Нет-нет, не подумайте дурного, он всегда прекрасно помнил, что обрел совершенно не заслуженное счастье, обсуждать которое был бы способен разве лишь наглец из наглецов, а в ту роковую ночь наконец поджал хвост и наглец. В ту ночь уединение немедленно обернулось одиночеством, а когда Витя окончательно истерзался от своей затерянности на просторах царского ложа, он решился наконец выбраться и на кухню, на всякий случай натянув и рубашку: Аня еще в первые дни деликатно намекнула ему, что голубая майка, в каких бебельские мужики забивали козла в теплые дни, несмотря ни на что, остается все-таки нижним бельем. Однако Анина мать далеко за полночь все равно каменела над своим недопитым кофе, а поскольку Витя не решился сразу улизнуть, вдруг обратилась к нему почти ласково (правый уголок губ остался скорбно опущенным): «Не торопитесь, я не такая уж и страшная». (Что вы, что вы, забормотал Витя).

Когда Аня вернулась *оттуда*, вновь излучая напористое жизнеприятие, Витино благоговение перед подвигом ее высоты и высотой ее подвига протянулось намного выше звезд. Но вместе с тем жить, вытянувшись в струнку, — таким ли мы хотели бы видеть *родной дом*? В силу Витино простодушия даже наглец в нем не догадывался, отчего он с таким удовольствием отправляется по утрам на работу. При том, что работа ему действительно нравилась — и люди (он теперь сочувствовал всем, кому не так

посчастливилось, как ему, — то есть именно *всем*), и сама «трудовая деятельность». Хоть и на производстве, а творческая. Да и производство было почти хирургическое — яркий свет, ряды столов, белые халаты, в лицах ни единого алкоголического пятнышка, и он, Витя, спешащий сквозь это сияющее женское царство существом высшего порядка — *разработчиком*.

Когда Вите открылось, какие роскошества материалов и комплектующих судьба совершенно бесплатно разложила на здешних прилавках, он понял, куда всю жизнь тайно стремилась его душа. Витя с таким азартом совал свой гоголевский нос во всякое новое дело, что довольно скоро начальство стало брать его под свою опеку при попытках свалить на него как наименее зубастого разные неурядицы, всегда сопутствующие поисковым работам. Да и всем было ясно, что он не карьерист, а чудак: начертит — и не в силах дотерпеть, пока спаяют монтажницы, примется лепить что-то сам, не в силах дожидаться температурных испытаний, начнет совать свою поделку то в обычный холодильник, то к лампочке... Так что, превратившись в небольшого начальника, Витя уже обладал своими симпатизантами. Покрикивать он, конечно, не умел, а если кто-либо из подчиненных слишком уж нагелл, брал только октавой выше и... но тут уж кто-то из женщин непременно напускался на зарвавшегося. Правда, Вите, чтобы окончательно успокоиться, требовалось все пересказать Ане, чтобы она выдала ему окончательную справку о его полной правоте. Аню, кстати, оставили в аспирантуре, она много времени проводила за книгами, но, если ей что-нибудь требовалось спаять, настроить, Витя с большим удовольствием отправлялся к ней в лабораторию. Общаться с нею за пределами дома было для него каким-то еще не испытанным счастьем, сочетающим несочетаемое — радость и покой.

Влекущую силу этого счастья не могли экранировать даже неродные стены. Воспитанник бебельского двора и студенческой общаги, Витя считал глубоко аморальным делом не поддержать какую бы то ни было мужскую выпивку, и Аня тоже поддерживала его в этом благородном принципе: женщины, которые хотят превратить мужчин в баб, потом первые же их и презирают. Но явиться в поддании в чужой дом, в котором еще так болезненна память о его великом закладывавшем предшественнике... Обычно в нетрезвом состоянии Витя отправлялся ночевать в родительский дом — и каждый раз убеждался, что за это время и тот сделался неродным: его невыносимо тянуло назад к Ане, и постель была до инвалидства неловкой, урезанной, приходилось по десять раз шлепать на кухню, глотать для успокоения холодную воду, а проснувшись ни свет ни заря, лететь до начала работы опять «домой», чтобы успеть прижаться к ней, горяченькой со сна, посидеть хотя бы минутки три за крепким кофе, скороговоркой все пересказать и тогда уже с легкой похмельной душой катить к новым будничным радостям.

Ревновать Ане, разумеется, не приходило и в голову, она прекрасно понимала, что Витя говорит правду: если в компании оказывались женщины и в атмосфере начинала потрескивать хотя бы самая минимальная амурность, Витю охватывала такая тоска по Ане, что он тускнел и умолкал среди самого развеселого разговора. А уж если начинались танцы, у него чуть ли не слезы наворачивались на глаза из-за того, что в его объятиях была не она. Вот полумрак — тот иной раз мог подействовать на Витю неподобающим образом: пьянеющий наглец начинал из него высматривать, не чернеет ли где обугленный растрескавшийся лик с зияющими подглазьями. Но, благодарение небесам, женщины в его окружении почти все были довольно молодые, круглолицые и веселые (по крайней мере на вечеринках), а кто поиссохлей, в тех не ощущалось ни капли трагизма, одна озабоченность. Правда, если компанией вываливались в белую ночь и взгляд в конце проспекта упирался в огромное садящееся за трубы солнце, рука его могла беспокойно задвигаться, нащупывая сама не зная что.

В принципе, и такие рудиментарные позывы могут оказаться опасными: семейное благополучие романтика, у которого сигналы воображения перевешивают показания реальности, способна разрушить женщина отнюдь не более красивая, более умная или более богатая — более таинственная. Но, к счастью, истинным романтиком Витя не был: оказываясь за пределами нового дома, он ощущал его слишком родным и священным, чтобы стремиться куда-то еще, а не только назад в его пределы. Лишь очутившись внутри, он начинал чересчур уж все почитать, даже собственного первенца, казалось, явившегося в мир сразу же гораздо более взрослым, чем нянчащийся с ним папа. Когда Витя в ответ на негодующие его крики пытался развлечь младенца погремушкой, тот сурово выговаривал ему: если тебя развлекают подобные глупости, прошу заняться ими за дверью, а мне, пожалуйста, перемени пеленки, ты что, хочешь, чтобы у меня появились опрелости?.. Когда он сделался постарше, Витя попытался заинтересовать его играми собственного детства, рассказал о пампасах и замке Йф, на что бутуз лишь саркастически прищурился: знаешь, папа, на воспоминаниях об ушедшей молодости далеко не уедешь, я, уж так уж и быть, поиграю в машинки, а тебе советую почаще вспоминать, что ты взрослый человек.

Беспроблемный ребенок, мимоходом отрапортовала Вите на первом родительском собрании рыхлая, но энергичная учительница, и Витя тут же ухватил эту формулу на вооружение. И когда ему даже через много лет приходилось высказываться о сыне, всегда именно к ней и прибегал: «Он у нас ребенок беспроблемный». Старший сын действительно без проблем окончил школу, с умом (уже началась перестройка) выбрал вуз, экономический, без проблем его закончил, без проблем женился на девушке с двухкомнатной квартирой близ станции метро «Ленинский проспект», без проблем устроился менеджером к тестю в фирму, занимавшуюся установкой стальных дверей, и первая дверь, которую он установил, была его собственной. Из-за этого стального листа он вместе со своей беспроблемной женой выбирался навещать родителей по всем важнейшим семейным праздникам — и никогда кроме. После того как солидная молодая пара любезно откланивалась, Витя с Аней долго не решались взглянуть друг на друга.

«Может быть, мама была бы довольна...» — наконец высказывала предположение Аня, после смерти матери старавшаяся ей всячески угождать. Мать ее умерла без малейшей подготовки. Утром пошла к себе в институт учить будущих киноинженеров французскому языку, а днем уже позвонили с кафедры: час назад увезли по «скорой», и такое впечатление, что максимум еще через час позвонили уже из морга с просьбой доставить похоронную одежду. Однако Витя даже среди полной очумелости успел испытать облегчение, что Ане не пришлось услышать это мерзкое слово — м-о... — нет, лучше даже мысленно недоговаривать. Занятый похоронно-бумажными хлопотами, Витя и в ближайшие дни мало что соображал, только это в нем и звучало — хорошо, она этого не видит, хорошо, она этого не слышит: Аня как оцепенела над материным темно-синим костюмом, так и не отходила недели две. Если не месяц. Витя пытался оттеснить ее от вещей умершей, но вынужден был признать — маме бы это не понравилось, когда мужчина трогает ее белье. Зато когда в натопленной вроде бы конторе его встретил набрякающий молодой человек в дубленке и пыжиковой шапке, он сразу порадовался, что удалось Аню оставить дома. «Вам ее сервировать?» — деликатно поинтересовался хранитель мертвых, строго глядя на Витю неподвижным стеклянным глазом, вернее, не «сервировать», а как-то иначе... а! «бальзамировать», это слишком уж не вязалось с более привычным выражением «бальзам на душу». Предупредительный молодой человек, «чтоб не было накладок», повел его на склад, где в пяти вершках друг над другом были именно что накладены нечеса-

ные трупы... и все-таки самым содрогательным в них было мягкое «п» в этом мерзком слове.

Никаких накладок не произошло — это была она, Вите сразу бросился в глаза скорбно опущенный правый уголок ее губ, белых, словно руки после стирки, и рассыпавшиеся косички седеющей узбекской девочки. «Я не такая уж и страшная», — плеснулось в Витиной душе, и это была правда. Хотя Витя с детства до гадливого трепета боялся «покойников» (в Бебеле их непременно выносили на табуретки перед домом для последнего прощания), в ту минуту он был до такой степени защищен мыслью об Ане, пребывающей в тепле и ослепленности, что ничего, кроме пронзительной жалости к такой всегда приличной и скорбной, а теперь настолько беззащитной Аниной матери, засунутой в эту жуткую щель, словно тюк в праечной, он не ощутил.

Это уже потом, когда тревога за Аню начала отступать, в нем стало нарастать понимание чудовищной *простоты*, с незапамятных времен поражающей всякого, в ком уже дрожит или еще дрожит что-то человеческое: был человек — и нет человека. Но если смерть — это действительно так просто, то жизнь — самый ужасный из всех аллигаторов, ведь даже в найдичайшие, наисвирепейшие времена люди все-таки понимали, что убить человека — это не хрен собачий, что даже казнить нужно со всякими завитушками — устраивать всевозможные барабанные шествия, городить эшафоты, что-то такое провозглашать... Да и глумиться над жертвой, сколь это ни чудовишно, все равно лучше, чем просто мимоходом ее прибрать, как это делает «естественная» смерть. С совершенно, заметьте, ни в чем не повинными людьми.

Когда до Вити дошло, что и сама Аня, в сущности, подвержена тем же законам, что и ее... — нет-нет-нет-нет-нетнетнет... — его коленопреклонность перед ее жизненным подвигом тоже дошла до апогея, а горестное ее оцепенение заставляло его кидаться исполнять, а главное — разгадывать любое тайное ее желание, поскольку самой ей было не до желаний. Из-за похоронных дел они влезли в серьезные для их доходов долги, чего Аня в принципе не терпела — «нужно жить по средствам», — и Витя очень кстати припомнил, что, будь ее воля, она с удовольствием бы рассталась с половиной собирающего пыль фарфорового народца.

В ее взгляде затеплился интерес, но тут же угас: «Маме бы это не понравилось».

И все же его предложение снова пробудило в ней дар последовательной речи, а не только односложных ответов, когда пристают. Витя всегда дивился ее умению разговаривать не жестикулируя (ему-то, чтобы не размахивать руками на совещаниях у начальства, приходилось сплетать кисти в железный замок), зато теперь она беспрерывно одну за другой наматывала на палец свои русые прядки, испытывала их на прочность и, лишь удостоверясь в ней, бралась за следующую (Витя, леденя, гнал прочь мысли о тех растрепанных холодных космах, которые, вероятно, когда его никто не видел, расчесывал деликатно-строгий молодой человек в пыжиковой шапке).

— Я маму осуждала за жестокость по отношению к папе, — монотонно говорила Аня, переходя от одной прядки к другой, — а сама оказалась в тысячу раз более жестокой по отношению к ней.

— Ну вот и нет, вот и нет, — захопотал Витя, — я много раз видел, как дочери относятся к матерям, и ты обращалась с матерью лучше всех!

— Вот именно что *обращалась*. А мысли мои были ужасно, ужасно жестокими!.. — Натянув прядку до отказа, она справилась с рыданием: — Прости, я терпеть не могу этих бабьих истерик.

— Да нет, пожалуйста, пожалуйста... Хотя вообще-то за отношения двоих всегда и отвечают двое...

— Но человек же отвечает и за свои мысли тоже, ведь правда?..

— Не совсем... Вернее, конечно — только не в том смысле. — Витя уже заранее удивлялся словам, которые еще только собирались родиться в нем. — Он отвечает за то, чтобы не слушаться своих мыслей. Я подозреваю, почти в каждом человеке — ну, кроме, может, совсем уж святых — живет свой наглец, которому приходят в голову самые ужасные вещи, и мы ничего не можем с этим поделать: чем сильнее мы на него жмем, тем нахальней он отвечает. И если мы хотя бы не выпускаем его наружу, нам уже и за это спасибо.

— Я уверена, что в тебе нет никакого наглеца, ты очень хороший до самого дна. То есть, я хочу сказать, тебе, возможно, и приходят в голову какие-то дерзкие мысли, но *подлые*, я уверена, никогда. А вот мне...

— Ого-го, ты плохо меня знаешь!.. — Витя готов был наговорить на себя вдесятеро, лишь бы только перещеголять Аню в низости, однако слова, рождающиеся в нем, он чувствовал, не были полной неправдой. Он ждал их уже с тревогой, ибо понимание шло вслед за говорением. — Я даже боюсь, что ты меня возненавидишь, но я хочу, чтобы ты знала: я намного, намного хуже тебя. Вот. Слушай: это чудовищно, но я без твоей матери чувствую себя свободнее.

Витя увидел, что по Аниному лицу пробежала тень, и заторопился:

— Хотя бы ночью можно в туалет ходить в трусах, я-то знаю, что это чепуха, а вот для него, для моего наглеца, даже и такой мусор имеет значение. Он ужасно мелочный, вот что! Но если мы не даем его мелочности прорваться наружу, значит, мы не такие уж и плохие!

Витя тараторил, со страхом вглядываясь в Анино лицо, и перевел дух, увидев, что оно разглаживается.

— Я теперь не имею права никого осуждать, — помолчав, сказала она, подвергая повторному испытанию какую-то, должно быть, особо ненадежную прядку. — Но все-таки скажу. В последний раз. — (Витя напрягся.) — Ты слишком честный. А это не всегда правильно. Это, извини меня, иногда бывает и глупо. А еще чаще жестоко. — (Витя начал наливать жаром, но понял, что это она о себе.) — Вот я была жестокой, потому что хотела быть слишком правильной. Я думала, что это справедливость, а это оказалась жестокость. И теперь я думаю, что никто никого не имеет права осуждать.

— Прямо никто никого?.. — усомнился Витя.

— Нет, кто-то, может быть, и может. Но не я.

Заключение это показалось Вите еще более сомнительным, чем предыдущее, — однако с тех пор Вите не раз приходилось наблюдать, как при каком-нибудь возмутительном или гадком известии Анино лицо мгновенно обретало былую медальность — и тут же смягчалось, смягчалось... Пока не доходило до пугающе знакомого выражения смирившейся скорби. С безнадежно опущенным правым уголком рта...

А однажды в филармонии он с нежностью покосился на Аню и вдруг осознал, что у нее уже очень давно на редкость мягкое выражение лица и даже сама линия от подбородка до выреза строгого темного платья — пленительная линия зрелой женственности — удивительно мягкая. Он старался, чтобы Аня не заметила его взгляда, — ей не нравилось, когда начинают нежничать в возвышенных местах, — но не мог оторваться, наблюдая, как она с проникновенной серьезностью начинает подпирать подбородок кончиками пальцев, которые, прогнувшись, почти повторили ее божественную гиперболу от шеи к подбородку. И Витя ощутил щекотку умиления и счастья при мысли, что ему предстоит еще долго-долго (и никогда-никогда не надоест!) целовать этот божественный изгиб. При том, что для своих детей они с Аней наверняка такие же взрослые, как их родители для них самих в свое время, — это Витя подумал с гордостью: теперь ответственность за мир лежит на их плечах.

Он, пожалуй, и в самом деле наконец-то сделался сравнительно взрослым.

Он вырослел вместе со своим младшим сыном, опережая его лет на четырнадцать — пятнадцать.

А не почерпнуть ли стойкости в воспоминаниях об их общем детстве? И нельзя сказать, чтобы Витя как-то его особенно желал, Юрку-младшего, — можно ли «желать» того, кого нет, кого не знаешь даже по имени? Вите и с одним наследником было хорошо, но — в подобных вопросах последнее слово должно принадлежать женщине — эта формула пленяла Витин слух еще и потому, что как бы намекала, будто в каких-то иных вопросах последнее слово принадлежит уже ему — при том, что решительно ничего против и даже просто помимо Аниной воли делать ему совершенно не хотелось. И если Аня была убеждена, что единственный ребенок в семье рискует вырасти эгоистом, а кроме того, каждый человек обязан вернуть миру через детей как минимум столько же, сколько сам взял у родителей, — или там подготовить себе смену, не важно, — почему бы и ему не ощутить себя сильным и великодушным, уступая ее высоте, тем более что Анино «интересное положение» («беременность» совсем уж хамское слово) теперь перестало ему казаться чем-то посягающим на ее высоту, а его, Витю, выставляющим пронирыливым пакостником: теперь ее беременность открылась ему чем-то красивым и достойным. И то сказать, иначе бы и детей прятали, а их открыто водят за руку. Витя в некотором даже просветлении клал руку Ане на живот, когда она предлагала ему понаблюдать, с каким упорством пытается разорвать свои узы их грядущий отпрыск, — Вите казалось, сквозь ткань и живую плоть он угадывает то сильный локоток, то коленочку... Но однажды после работы, во время лабораторной попойки на казенном спирту, под охраной самого оригинального Витинога замка в самую экстагическую минуту, когда все были готовы вот-вот принести клятву никогда больше не расставаться, Витей вдруг овладел предательский ужас, что с Аней во время родов может случиться что-то непоправимое... Нет-нет-нет-нет-нетнет!!

В розовом свете торшера Аня тоже светилась ночными кружевами и умиротворенностью, а он покрывал поцелуями ее теплые круглые руки, обливаясь самыми настоящими слезами: зачем, зачем мы это сделали, нам же было так хорошо!.. Бедный мой глупыш, все и будет хорошо, ласково ерошила ему волосы Аня той рукой, которая в данную минуту была свободной, — и все же не переставала прислушиваться к вершившемуся в ней таинству. Ей с ее высоты вновь открывалась какая-то недоступная ему глубина, требующая опять-таки не понимания, которого и быть не могло, а лишь новой коленопреклоненности. Так серьезно относиться к работе в военном училище, так умно и достойно поладить с пятью полковниками и одним генералом — и в двух шагах от доцентской ставки уйти в декрет из-за того, что главное дело женщины — это материнство, — н-да, Аню хватило и на это. Более чем хватило. Свет материнства, пожалуй, теперь сделался главной ее тайной. Она светилась этой тайной, даже занимаясь сосками, пеленками, горшками. Витя тоже не прятался от домашней работы, но чтобы при этом еще и светиться... Нет, было, конечно, очень трогательно проглаженной байкой окончательно стягивать этот вечно сопротивляющийся сверток — кажется, ему так и осталась тесной любая среда, в которую он оказывался заключен. Если чего в нем в ту пору не просвечивало ни клеточки, так это аллигатора — все его силы и страсти были устремлены исключительно на бесполезное.

Юркино сходство с покойной бабушкой, благодаря расширившемуся Витиному кругозору, теперь порождало в нем уже не узбекские, а японские ассоциации; зато губки-бантики у Юрки были просто бабушкины, и правый уголок опускался так же скорбно в редкие минуты уныния: неодолимые препятствия чаще всего возбуждали в нем деятельный гнев. Однако стоило его вынуть из-за барьера кровати (поднятый на руки, он поспеш-

но крутил головенкой, чтобы успеть насмотреться побольше недоступных снизу горизонтов), как он тут же начинал карабкаться обратно: ему требовался полный доступ всюду, а не простое пребывание в более просторной клетке. То же самое происходило и с коляской: стоило отвести глаза — и его уже приходилось ловить поперек тугого щенячьего живота. Но вырваться из плена ему и здесь было недостаточно, ему нужно было еще и восторжествовать над своей четырехколесной тюрьмой: приподнимаясь на цыпочки, он тянулся еще и покатаь ее. При этом к чужим коляскам он не питал подобного интереса — заглянет, констатирует: «Кукка» — и спешит дальше.

Себя он с куклой никогда не путал; когда его спрашивали, кто он, ликующе-звонко выкрикивал: «Я сыночек!!!» И то сказать, сыночек — это было самое ласковое Анино слово, ни солнышек, ни рыбонек по своей ответственности она не допускала, а «мои мальчуганы» начались, только когда у Вити с Юркой возникли общие развлечения. Ты его обожаешь не как отец, а как глупый дедушка, воркующе подтрунивала над ним Аня, когда Витя снова, по ее мнению, перегружал гостей Юркиными словечками и выходками. Кое-какие Юркины словечки и оборотцы благодаря Витиным усилиям даже закрепились в их с Аней внутреннем языке (старший сын снисходительно пропускал это «детство» мимо ушей): «момоз» вместо мороз (произносить, с тревогой показывая на заиндевевшее окно), «циркуль» вместо циркач (со смешком радостного узнавания), «зимнетрясение» (по поводу беспорядка), «помехмахерская» (ах, как прелестно выкруглялись Юркины щечки после стрижки...), «не доводи до белого», «самочувствие пропало», «нашли падчерицу» (взвалили неприятную работу), «пальто с норкой» (с дыркой), «красивая, как новый велосипед» (это по поводу Аниной реплики, что женщин нужно держать в строгости, — «Неправда, женщины красивые, как новый велосипед, и готовят хорошо»), «горячий, как спички», «дрянский»... «Дрянский» относилось ко всему свету как знак всесветной обиженности произносящего.

Сам Юрка переживать обиженность укладывался в кроватку и засасывал до отказа собственный большой палец. «Купи, пожалуйста, на обратном пути сахара», — просила Витю Аня, и из кроватки внезапно раздавалось: «Дрянского». «Чего „дрянского“?» — «Сахара дрянского». — «Так и не клади его в чай, если он дрянский». Озадаченная тишина. И едва слышное: «В этом доме две собаки растут». — «Почему же „растут“?» — «Ну, стареют». Из-за японизированности его светящиеся глазки казались слегка смеющимися и тогда, когда он плакал, — мгновенно заливаясь слезами, словно дождем, и не переставая требовательно следить за производимым впечатлением.

Юрка даже слово «труп» освободил от его осклизлой податливости — объявил, что во время войны он бы набрал оружия и патронов «у трубов». В общем, отпечатков счастливого детства во всех культурных слоях Витиной души хватило бы на десяток археологических монографий. Как-то вечером они с Аней припоминали, что поэт Кольцов родом из Воронежа, — и вдруг почти бессловесный еще Юрка откликнулся жалобным: «Ка-а, ка-а...» — так он изображал воронье карканье. Где он увидел ворону? Ах, *Воронеж!*. А песенка «Я игаю на гамоське у похожис на виду» еще многие годы начинала сама собой звучать у Вити в ушах, когда настроение поднималось еще выше обычного. И когда в рот попадала кофейная гуща, в душе сразу отзывалось ликующе-звонкое: «Гущи наейся!!!» Была у Юрки такая манера — разыскать завалившееся кофейное зернышко и тут же его разгрызть. У него чего-то в организме не хватает, тревожилась Аня, и Витя благодушно возражал: ума не хватает. Уж в чем, в чем, а в смышленности Юрке никто никогда не отказывал, даже воспитатели, которые Юрке тоже были тесны, как и любые границы. Все остальные же Юрку обожали — «мальчишка таким и должен быть».

Индейцы и ковбойцы — так у Юрки говорили не только в садике, но и в младших классах. На гэдээровские и югославские фильмы про индейцев и ковбойцев Витя с Юркой ходили вместе — прерии и каньоны с раздольным струнным сопровождением сделались для него еще одной родиной; по дороге домой они обсуждали кино с такой горячностью, что однажды их сзади окликнул толстый седой полковник: «Извините, это ваш сын?» — «Да», — растерянно ответил Витя. «Замечательно!» — воскликнул полковник.

«Как я буду сейчас играть!» — пританцовывал от предвкушения Юрка, и Вите оставалось только завидовать: не мог же и он самозабвенно скакать верхом на швейной машине, падать, кувыркаться под воображаемую, но оттого не менее громкую пальбу — на Витину долю доставалось лишь подавать советы. Душу он отводил с наступлением тепла, когда они с Юркой вырывались на волю, в пампасы, в сельву и Флориду (замок Иф они не посещали, ибо вошедшие во вкус туареги продолжали там скреплять свою победу полюбившимся им способом). Давиться в метро и греметь в трамвае вдвоем для них было сплошное удовольствие.

Иссохлые серые травы шелестели в черной воде, как первобытные хвощи после атомной войны, если вообразить себя крошечными лилипутами, — в паре с Юркой Витя невольно брал на себя роль Сашки Бабкина (впрочем, Юрка тоже вплетал в игру все, что только читал или слышал: «Муравей беспомощный, как Тарас Шевченко»). Они могли, наоборот, вообразить себя и великанами, а весеннюю пену на затоплениях превратить в слюну динозавров, жука же плавунца в осьминога-мутанта. А крошечное подводное существо, носившее прозвище «сучок», ибо оно не то от природы, не то мимикрии ради было обклеено микроскопическими сучочками, превратить во что-то вовсе несусветное.

Почки на голых кустах были пушистыми цыплятами, только что вылупившимися из коричневых скорлупок, но через неделю они уже оказывались взрывчиками зеленых звезд (и как невероятно *много* их вскипало, этих взрывчиков!). Когда они с Юркой, не в силах прервать захлебывающийся эзотерический разговор, вваливались в Витин родной бибельский дом, мать уже и не отчитывала его за то, что он простужает ребенка, — даже и ей стало ясно, что это бесполезно: слишком уж в глубине души он был убежден, что все будет хорошо. Из-за этого наглого чувства Витя почти не боялся даже школы, в которой у Юрки не переводились конфликты. В Витиной душе, кажется, и сценка-то школьная отпечаталась всего одна, в самом нижнем культурном слое: в гулком вестибюле его встречает *класная* вместе аж с директрисой и объявляет, что Юрка со своим дружкой Лешкой Быстровым пытались поджечь детский сад, из которого и сами, можно сказать, только вчера... Отомстить вчерашней тюрьме — это было в Юркином духе, однако оба преступника — русский Иванушка с японцем — братья навек, — уверяли, что всего только хотели поджечь сухие листья, а садик там оказался совершенно случайно. (Юрка, потупясь с выражением безмерного горя, перевесившего даже смеющиеся глазки, непрерывно щипал себя ноготками за пухленькую замурзанную щечку. «За чем ты себя щиплешь?» — «Стыдно...»)

«В этой жизни ничего из меня не вышло, — грустно рассуждал Юрка по дороге домой. — Но ничего, в следующей я буду человеком. И откуда только учителя все узнают?» — «Это их профессия — все знать». — «Какое коварство!» Сам Юрка с младенчества отличался прямоотой, про какую-нибудь игрушечную машинку так и говорил жалобно: «Мне ее никак не сломать!» — тогда как старший сын непременно сказал бы «не разобрать». Юрка и сердоболен был ко всякой живности — сидит на бетонном крыльце, коленями и грудью обнимая бродячего котенка. «Отпусти его, ты можешь от него блох набраться, от своего кота», — иногда Витя охотно играл в серьезного папу. «Почему ты так грубо его называешь — кот? —

чуть не со слезами. — Надо говорить, — (выражение беспредельной нежности), — „кисюлька-писюлька”. А сколько бездомных котят в Ленинграде?» — «Не знаю, может быть, тысяч сто». — «Хм... Не так уж и много, мы могли бы прокормить». Как-то спросил на Седьмое, взирая на расходящуюся демонстрацию: «А у царя были дети?» — «Да. Их расстреляли». — «А чему же мы тогда радуемся?»

Юрка отличался и широтой натуры. «Плачу́ за всех!» — объявил он в метро Витиным сотрудницам, с которыми только что познакомился у Вити на работе, — они были в полном отпаде.

Да и в школе — что он там, собственно, такого особенного творил, — надерзит, так извинится, сегодня он кому-то поставит *финик*, завтра ему поставят, схватит *парашу*, так тут же исправит, сам читает умные книги, меняет кружки — то шахматы, то гитара, ходит в Эрмитаж — если сравнить с Витей в его возрасте...

Юрка когда-то проявлял и усердие, с невероятной ответственностью укладывал тряпочки для уроков труда, а потом еще и дома усаживался за шитье. «Ты что делаешь?» — «Мышь для дома. У меня все выкройки есть». Ужасно был обижен, когда школьную мышь, забытую им в гардеробе, выбросила уборщица. «Видит же, что *поделка!*..» Да что притворяться, чудесный был мальчишка. А если приставал к учителям с вопросами, так это не от ехидства, а от вдумчивости. И правда, как же так, только что осенью учили наизусть «Здравствуй, гостья-зима», а через полгода уже «Взбесилась ведьма злая»?.. Юрке еще в пятилетнем возрасте случалось задавать и более сложные вопросы: «Что такое генгема?» — с видом величайшей задумчивости. «Такого слова нет». — «А как же я его говорю?»

Короче, чтобы перетерпеть школьные неприятности, Вите было достаточно на родительских собраниях преобразиться в закоренелого шалопаю, каким в собственном детстве он никогда не бывал: пока распекают — сама понурость, но чуть выпустили на волю — тут же бегом вприпрыжку. Ну, а летние каникулы окончательно смывали все следы, каждый раз неопровержимо подтверждая, что норма — это счастье, упоительное безмятежное счастье, а все остальное — досадные, однако не заслуживающие серьезного внимания исключения. Хотя ездили они как бы еще и лечиться, — это в Бебеле ездили просто к родне, а в нынешнем Витином слое полагалось серьезно относиться к здоровью. Сначала считалось, что у старшего сына хронический насморк, поскольку он постоянно саркастически хмыкал себе под нос, так что Вите довелось отведать и Крыма. Но потом у обоих мальчишек обнаружилась дискинезия желчевыводящих путей, коей потребовались друскининкайские воды, — Друскеники, временами оговаривалась Аня, — путаница, уходящая в какие-то гардемариинские глубины.

По прибытии на место Юрка самозабвенно пускался рисовать барочные соборы, являя чудеса терпения и почти виртуозности в отдельных взвихренных святых, а Витя был вынужден ограничиваться нездешностью вывесок «*Kirpiklas*» (парикмахерская), «*Piena*» (молоко, *пенистое* молоко), экзотичностью каменных ящеров и козлов, расставленных по центральному променаду, продольными разрезами катушек, которыми был вымощен тротуар... Тенистые крашеные веранды за верандами — какой-то пионерский лагерь для взрослых. «Со своими мужьями так не смеются», — с толковой брезгливостью определяла Аня женский смех за кустами, и Витя снисходительно улыбался: дети есть дети. Было сладостно чувствовать себя свободным, как взрослый, и беззаботным, как ребенок. Беззаботным, но заботливым.

Вите доставляло неизъяснимое наслаждение вести вверенные ему желчевыводящие пути к *бюветам*, где из кранов лилась холодная либо подогретая минеральная вода, настолько гадкая, что наверняка лишь исключительные целебные свойства могли заставить столь почтенных людей медленно сосать ее из керамиковых и фаянсовых поильничков. Аня уже дав-

но научила его распознавать евреев, и он каждый раз с удовлетворением отмечал их присутствие ничуть не меньшее, чем в филармонической очереди. Витя со вкусом являлся и в диетическую столовую занять для своего семейства очередь пораньше (для *всего* семейства, ему и в голову не приходило заботиться о Юрке больше, чем об остальных: за то, что Юрка преобразал обыденность в праздник, ему ничего не полагалось — если не считать блаженной улыбки, когда одними губами несколько раз подряд прошлестит его имя). И с огорчением констатировал, что и здесь постоянно прорывалось опасение, что кому-то чего-то сейчас не хватит, кто-то пристроится сбоку, а кто-то, наоборот, уйдет с раздачи — ну так и что? Куда спешить, если ты все равно уже в раю? А приглядываться, что тебе там положили, это уж вообще!.. Все равно ведь все нездешнее — холодный борщ, к которому картошка подается отдельно, *цепелины* — длинные картофельные клецки с вареным фаршем внутри...

Взбитые сливки с капнутой в железную вазочку из-под мороженого янтарной ложечкой абрикосового повидла были столь важным знаком нездешности, что не приедались за все волшебные три недели: Вите все-таки не хотелось тратить на родимый Друскининкай *весь* отпуск, надо было немножко помяться и в Ленинграде, чтобы уже захотелось и на работу. Он и сегодня бы мог сантиметр за сантиметром припомнить и воссоздать и влажные лиственные кущи, и просторные солнечные колоннады сосен, спускающихся по шелковому золоту хвои по песчаным откосам, и элегантнейшие особнячки вдоль улицы Первый Гегужес (по-видимому, Первомай) — но какой же безумец станет добывать из собственного распоротого живота кусочки разорванной печени? И так-то не знаешь, как освободиться от все вырастающей и вырастающей перед глазами стройной кирпичной друзы собора (острый шпиль, окруженный шпилечками поменьше, — король с королятами, все в коронках), надвигающегося на озеро, по которому творили свое фигурное скольжение лебеди под освежающий шумносимых добрым ветром двух фонтанов, бьющих из озера на озеро же: все нежное, сложное делает тебя нежизнеспособным. Это сколько же должны были снести аллигаторы, чтобы сделаться такими бездушными гадами?..

В Друскининкае не было обид. За озером из-за оштукатуренной кирпичной стены с чудными воротами поднималось в гору кладбище настолько нездешнее, с саженными крестами и крашеными статуями, что это перешибало всякие помыслы о его реальном назначении. В Друскининкае не было смерти. Потому что был Юрка. И с Юркой в мире было все, кроме страданий и исчезновения. Был волейбол, были наброски на песке совсем уж небывалых замочных конструкций, были книги из библиотеки, представлявшей собой словно бы один элегантный застекленный чердак (Витя уже давно полюбил скучноватые, всегда имеющиеся в достатке книги, после уединения с которыми вместе с уважением к себе приобретаешь и право на некоторое легкомыслие), был огромный кинотеатр, куда билеты требовалось брать с утра — праздность порождала массовую нетребовательность. И плохой погоды для счастливого человека тоже нет. Подумаешь, дождь — зеленые купы только удваиваются, отражаясь в лужах, которые в свободных от зеленого океана местах серебристы, как полиэтиленовые накидки с ку-клукс-клановскими куколями, — Друскининкай переполнялся такими куклуксклановцами, когда лужи на целые дни покрывались игольчатой кольчугой. Витя помнил все до последней капельки, не помнил только себя, своего тела с его страданиями и отправлениями — Юрка как будто превратил его в бесплотный дух. Это, должно быть, и есть формула счастья — забвение себя. Когда Витя с Юркой пролетали над выходящей по горам, по долам асфальтовой дорожкой на прокатных велосипедах (нужно было уложиться в час, чтобы не платить за два), из всего тела у него оставались лишь приятно ноющие бедра. Приятно — потому что полезно. Особенно Юрке. Витя обожал это мелькание — сначала мимо

озера, меж мачтовых сосен, утопающих в хвойных шелках, затем сквозь юную еловую чашу, потом снова золотые коридоры, а вот уже мелькнула и пропала стальная полоска Немана, слишком мелкого для купания, но быстро и способного удержать на своей груди опасные суда на подводных крыльях. И снова просвеченные солнцем золотые сосновые вестибюли, а за соснами — внезапный провал в плоскую зеленую долину, Райгардас... А вот уже и нездешний кладбищенский косогор, перекрученная выжатой тряпкой сосна на повороте — скоро финиш... И Юрка все это время летит рядом, рядом...

Любовь к ребенку приносит больше счастья, чем любовь к женщине, потому что ничего для себя не требует, позволяет глубже забыть о себе.

В Друскининкае их всех связывало нечто большее, чем неразборчивая родственная любовь, — дружба, когда они, не исключая даже старшего сына, студента и ухажера, в одно и то же время стягивались к уютной, несмотря на очередь (в ней уже был свой человек, папа или мама), кафешке для традиционного кофе с пирожными. Ужасно нездешней там была творческая с коричневой «паланга», чей секрет так и остался неразгаданным: Анины имитации тоже были вкусные, но — другие. *Здешние*. Витя испытывал гордость, что эта красивая дама, манерами не уступающая москвичкам, — его жена, и он единственный имеет счастье видеть ее по утрам, хоть и недолго, растрепанной, престонародной и оттого невыносимо трогательной. Тот же факт, что у него столь серьезный взрослый сын, несколько смущал его, был ему как-то не по чину. Зато Юрка — при взгляде на него Витя просто переставал соображать, теплая нега разливалась от живота к груди, растягивая лицо глуповатой блаженной улыбкой. Витя даже прикрывал губы рукой, пока снова не привыкнут, что да, строен и плечист, детски пухлогуб — это при открытом, смелом и одновременно дружелюбном лице с немножко смеющимися глазами, — им часто любовались.

В какую же щель проникла эта чума?.. Будь Витя склонен к философствованиям, он сказал бы, что щелью этой было презрение к обыкновенности, к норме. Юрка настолько обожал всяческие игры — в пиратов, в индейцев, в ковбойцев (он и в футбол, и в волейбол дулся отменно — ладный, быстрый), — что уже скучал в обычной жизни, ему все требовалось во что-то играть — то в хиппи, то в проклятого поэта, хоть стихов и не пишущего, но все равно отвергнутого учителями и обывателями. Впрочем, с учителями все было не так просто — кто-то из них непременно Юрку обожал и даже ловил Витю в коридоре, чтобы поделиться, какой Юрка одаренный и вообще славный. «Я знаю», — смущенно кивал Витя, и он действительно знал Юркину отзывчивость и душу нараспашку по отношению ко всем, кого Юрка считал друзьями, — друзьями же он считал всех, кто не выказывал ему специальной неприязни. Но жить, просто жить, вкушая повседневные маленькие радости, присоленные умеренными неприятностями, и предаваясь благородным увлечениям — музыка, математика, химия, — от этого он начинал впадать сначала в скуку, потом в тоску, потом в бесшабашность — безбашенность, как выражался он сам.

Это и было, что ли, настоящим именем чумы — Скука? Но мир ведь прожил века, тысячи и тысячи лет, и миллионам, миллиардам людей их жизнь вовсе не казалась скучной — почему же нынешним вдруг стало скучно? Что им такое показали, какую такую игру, в сравнении с которой сделалась убогой обычной счастливая жизнь? Чем их таким поманили, что рядом с этой приманкой сделался пресным даже Бетховен, потребовалось истошно вопить и бесноваться в прожекторных лучах, словно спасаясь от зенитного расстрела? Бессмертие им, что ли, посулили — так нет же, у них высший шик — огрести три чемодана долларов и «передознуться» насмерть. Или «вскрыться» самому; не дожидаясь «передозняка». Культ

смерти? Но его отправлять слишком уж легко — возьми да и повесься, не тяни за собой других. Тех, кому за это не платят, тех, вместе с кем расплачиваются их близкие. Вот, вот что было истинной чумой: люди вообразили, что они рождены для чего-то более пышного, чем реальность, какой она только и может быть, что кто-то им что-то задолжал, и если они станут уродовать все в себе и вокруг себя, то этим как-то отплатят обидчику — так распущенный ребенок колотится об пол, чтобы досадить перепуганной бабушке. Успокойтесь, никто ниоткуда на вас не смотрит и не ужасается, до чего вас довел, никакой верховной бабушки у вас нет. Зато мать имеется у каждого... Да и отец, между прочим.

Юность всегда влечет к чему-то необыкновенному, вздыхала Аня, когда Витя сетовал, что Юрку тянет к каким-то уродам — тот отсидел за хулиганство, невольник чести с рубцом поперек губы, на зоне глотал шурупы, чтобы не работать, теперь играет желваками даже в чужой передней — в собственном доме жуть берет, когда пробираешься мимо; другой — шут гороховый, издевательски-преувеличенно рассыпается мелким горохом; третий — самый большой знаток рока, владелец самой полной коллекции «пластов», — тут и Юрка признает, что отмороженный: большой, угловато-мосластый, все время полуотворачивается, кося диким конским глазом, — вот он таки и впрямь понюхал психушки, оказавшейся, к Витиному изумлению, невероятно престижным учреждением. Может, и правда, иной раз чуть ли не верил Витя, миром незаметно правят сумасшедшие — придумывают какую-то игру для своих, а в нее втягиваются и здоровые... И заигрываются так, что нормальная жизнь начинает казаться недостаточно праздничной, недостаточно бурной, недостаточно черт их знает какой, но — недостаточной. Человечество переиграло лишнего, поверило в собственные выдумки и заболело презрением к норме, к реальности — презрением баловня к кормилице: Витя сам додумался, что все необыкновенное живет за счет обыкновенного.

Тянет, видите ли, к необыкновенному... — если бы не Юрка, Витя бы и не догадывался, какой паноптикум можно собрать из его подъезда... Но Вите ли не знать, к чему тянет «Юность» — к подвигу. Трудовому, а если понадобится, то и к боевому. «Ты же когда-то мечтал о подвиге...» — недавно горько пеняла Юрке Аня, и тот проникновеннейше заверил: «Я и был уверен, что совершаю подвиг. Иду на риск, чтобы приобщиться». — «К чему приобщиться?» — «Не знаю. Может быть, к образу жизни. К презрению к заурядной жизни заурядных буржуа. Куда входят, конечно, и рабочекрестьяне. И даже прежде всего». — «Но тогда и мы с твоим отцом входим». — «В вас еще сохранилась — извините, конечно, за откровенность — какая-то наивность юности. (Или «Юности»?) А в остальном — м-да, увы... Я бы не хотел прожить вашу жизнь».

Дважды сломанный мягкий нос делал его еще более похожим на симпатягу японца, готового в любой миг залучиться беззвучным смехом.

«Хорошо, ты презираешь наш образ жизни, но...» — «Почему презираю — просто не хочу». — «...Но презирают всегда во имя чего-то более высокого. Где твое „во имя“, как говорил Блок». — «Пусть грядущего не видя, дням настоящим молвить нет, — с долей шутовства продекламировал Юрка. — Это тоже Блок». — «Спасибо, я знаю. Ты не хочешь говорить серьезно, но на самом деле ты просто *подражаешь* чужому образу жизни, а сам не знаешь, что образ жизни всегда выбирают так, чтобы лучше делать какое-то дело. — С тех пор как Аня вела лекционные курсы, она выражалась еще более ясно и четко. — А вы форму хотите взять без содержания, понимаете?» — «Понимаю. А помните, какие были военные формы двести лет назад — с плюмажами, шелковыми шнурами, разноцветные... Абсолютно бесполезные, только целиться помогали. Я, может, и хотел бы вернуться в те времена, когда форма и была содержанием». — «Такого никогда не было — чтобы ставили прихоть выше дела». — «Вот-вот, этого бы

мне и хотелось. Чтобы прихоть ставили выше дела. Правда, у нас умная мама? Мне уже с детства казалось, что жизнь такая драгоценная штука, что ее жалко тратить на обыкновенную жизнь».

Может, в этом и был источник заразы — в переоценивании человеческой жизни.

— Уже из одного того, что вас так много, — подытожила Аня, — видно, что вы избрали легкое, а не трудное.

Для Юрки, кстати, в буржуа попадают не только обыкновенные инженеры, но и обыкновенные министры.

Когда-то Витя уважал людей со странностями: знают, стало быть, что-то, с высоты чего нашего им кажется мало, — теперь все непонятное вызывало у него отчетливую враждебность: кто покушается на привычное, покушается на самые основы жизни. Вите теперь не нравились даже новые слова — жили же как-то без них. Хотя вроде бы не так еще давно гордился, что Юрка уже в восьмом классе с пониманием произносил слово «экзистенциализм». Существование предшествует сущности — эта скороговорка казалась Вите почти бессмыслицей, но Юрка явно умел извлекать из нее какие-то следствия. Опасные следствия. И сам, и его учителя из «Иностранной литературы» — вот она, иностранная литература, мало нам было «Юности», стучалось в Витино сердце. Но — он вынужден был признать, что экзистенциалисты кое-что понимали. Вернее, умели. Уже в перестройку Юрка притащил от Лешки Быстрова «Иностранку» с романом старого Витиного знакомого Сартра — герой там ужасно мучился от Тошноты с большой буквы. Разумеется, Витя понимал, что речь идет не о заурядной желудочной тошноте, и страшно сочувствовал герою — пока тот не принялся с непонятной ненавистью описывать в музее портреты предпринимателей, которые превратили город в лучший морской порт, увеличили набережные и тому подобное, — хотя они были виновны только в самодовольстве, в уверенности в своем праве жить так, как они живут. Столь неадекватная ненависть могла быть продиктована и завистью — это подозрение постепенно разрослось до почти уверенности, что к чуме приложило руку и завистливое желание тех, кого тошнит, испортить аппетит тем, кто ни малейшей тошноты не испытывает. Какой-то установился в мире невиданный порядок — стало модно пользоваться его плодами и презирать тех, кто его поддерживает, — причем те, кто поддерживает, готовы первыми аплодировать плюющим: изучать их плевки, увенчивать их нобелевскими премиями...

Абсурд... Само слово нелепое — бсрд... Главное, что по-настоящему абсурдно, понял Витя, — это думать, будто у людей, считающих жизнь абсурдом, можно чему-то научиться.

(Окончание следует.)



ТАТЬЯНА МИЛОВА

*

НЕ ДОВЕРЯЙСЯ ШТИЛЮ

* *
*

Слепая девочка, душа моя, пойдем.
Закат приблизился, и облачко алеет,
И все живущее идет своим путем.
Подъем, душа моя, нас ждут и вожделеют;

Тут справа пруд, и слева сад, и всюду свет,
И чаши, полные вина и винограда,
И нам достанется по вере или сверх.
Ну вот и ладно, и расслабилась, и рада,

И упиваешься музыкой жестяной,
И с козлоногими проходишь хороводом —
Так мы гадали бы по звукам за стеной,
Какие гости там, какое торжество там.

Когда, душа моя, уладишь здесь дела
И влажной бабочкой покинешь этот кокон —
Что ты почувствуешь, увидев, где была?
Что ты — увидишь?.. Или вид, как ни убог он,

Вдруг встрепенется — жалкий, радужный, живой —
Урок, закончившийся вечной переменной, —
Все совпадет, все обернется лицевой?..
...О, взгляд единственный, о, взгляд недоуменный.

* *
*

...Почему так узко хожу в широком строю, —
Честно хожу, хоть иной раз могла бы и слечь, —
Только тесно хожу, боком, зигзагами; окончательно отстаю;
Столько раз пересекала собственный след! —

Сколько воздух трещал и ломался; или искрил контакт;
Или взглядом натягивали проволоку в два ряда:

Вроде пахнет озоном, кожу покалывает... как бы не так,
Уж кого однажды пробило, тот более никогда —

Никогда, никому, о Господи, не могу объяснить,
Почему прижимаю локти и дергаюсь на пустом, —
И как повсюду дрожит Твоя вольфрамова нить,
Как порой ее замыкает над ближним кустом.

* *
*

Как-то щедро мы разбредались, расплескивались по городам,
Статусам, даже занятиям, — так ничего и не сделали плечом к плечу;
Разве что сталкивались нос к носу («...Нет же, совсем не изменилась,
клянусь!..»),

Называли пароли юности: *Копакабана, Яма, Сайгон*;
Начинали *отсчет утопленников* (тоже масонский знак)
В разных водоемах: кто в Америке, кто в Крыму —
Через Канаду транзитом; четверых уже нет
(«Двое с международного, рыженькая с литкритики, кто еще?..»);
Трое вышли в главреды (...и восемнадцать совсем спилось, —
Я могла бы добавить)... вот только тут,
Как бы всем помахов, оставались как бы вдвоем:
«Срочно вызвали в командировку, всего-то пара недель, —
Говорил Сергей, переминаясь, — не смог позвонить,
Вот тогда у нас начало расклеиваться...» — «Да нет, —
Возражала Марина, — намного раньше; уже забыл,
Как меня бросил, в Тарту?.. — поеживаясь, — ...я едва добралась?..»
— «Просто много выпила». — «Да уж, на слайдах как помидор...»
— «У тебя еще жив проектор?.. А пригласи!..» — «А легко —
Скажем, послезавтра; запиши мобильный, — дернув плечом, —
Восемь — девятьсот три —...»

...Тут наконец встревала и я:

— Вы увидите, Марина, спустя четыре года и восемь дней,
На бегу, на станции «Академическая»; он уже будет лысоват,
Ты — в цейтноте, спешить в поликлинику с дочкой; будет просто

ни до чего
(Да и не для чего — как уже станет ясно...); так что «привет!» —

«привет!..».

...А с тобой, Сережа, мы встретимся через семнадцать лет, два месяца
и три дня,

После работы, — лето, август, пыль, жара, духота,
Воздух мутен, рубашку хоть выжимай, но закат —
Необыкновенный; ты знаешь, ты следил несколько раз,
Как уже из-под занавеса реденьких облаков
Прорывается залп лучей; в каждом битом и небитом стекле
Разражается солнце; пойманный тысячами зеркал,
В самом фокусе, — я повторяю: август, конец рабочего дня,
Через неделю в отпуск, оглушительный птичий гвалт,
Вспышка солнца на бампере — ты понял, Сережа?.. —

это — пароль.

* *
*

Живу в рубле. Под сводами рубля
Легко и гулко дышится...

«Рубль», 1988.

старые деньги плохо пахнут
старые деньги кишат микробами
старые деньги плохо помнят
новые деньги еще не распробовали

новые деньги нуждаются в защите
чем они моложе тем неудержимее
я еще застала три тополя на Плющихе
когда деньги были большими

всякая копейка выпендривалась из кармана
на нее вода текла газированная
а на мне еще юбка была плиссированная
великоватая мамина

старые деньги ходили медленно
дикция была не очень отчетливой
золотой червонец лучше медного
зеленая сотня лучше черной

новые деньги такие бешеные
новые риши так бесстрашны
старые деньги такие бедные
старые деньги совсем истрачены

* *
*

вот сейчас когда уже в курсе что сколько стоит
и уже по фене кто сколько тратит
все отлично сложится только надо самой и в столбик
в крайнем случае вдвоем и в квадратик

в правом верхнем углу ставим имя и год рожденья
остальное уже процент с капитала
скажем первый курс неделя в Крыму пара дней рожденья
эту сумму я вчерне подсчитала

эту букву я когда-то пыталась прихлопнуть точкой
не исчезла но стала очень короткой
эту клетку уже можно заполнять птичкой
галочкой сорочкой воронкой

обо мне отзывались два поэта и один критик
даром что я знаю ихнюю братию
там и сям уверенно ставим крестик
вместе получается сушей гладью

остается какая-то мелочь вполне по средствам
глубоко подышать забыть один телефонный номер
высморгаться газ ключи посмотреться
вырез блузки красные глазки и сбоку нолик

что ли зачеркивай

* *
*

...Если хочешь, после мы удерем
за оставшимся где-нибудь сентябрем;
ближе к морю, в какой-нибудь Севастополь, —
там, где день не кончается к четырем.

Или просто выйдем в больничный двор
поглядеть, как слоится дымный раствор
ранних сумерек в нездешнем фонарном
свете, сочащемся сквозь забор.

Мир существует, пока разъят.
Остановка, разряд, разряд —
линия спотыкается, дышит,
веки приподнимаются, взгляд

бродит по тумбочке: стопка книг,
яблоко, люминесцентный блик
на черенке кривоватой ложки —
взгляд покачулся, вернулся, вник

внутри свеченья, в итог труда;
горы, моря, сады, города
ткуются сплошным восточным узором,
день не кончается никогда.

* *
*

Берег исчез — или из вида, или исчез,
Все умерли, тает след за кормой, тает сама корма,
Странно, не правда ли, думать, что и сейчас
Где-то носятся ветром мосты, фонари, дома.

Не доверяйся штилю, ищи иную твердь, привяжись,
Что ли, к обломку мачты — он уже ноздреват, —
Все умерли, началась новая жизнь,
Поздно вглядываться, тем более — прозревать.

Странно, — пока земля и море были юны,
Мы ходили над ними по плетенью словес.
...Еще плещется, еще есть вершка два глубины,
Петоропись, подбери колени, плыви, пловец.

* *
*

Главное в катастрофе — что все закончится хорошо.
То есть, конечно, взорвется бензин в двенадцатой бочке,
не раскроется парашют,
винт рассыплется в порошок,
двое-трое неглавных умрут —
но никак не больше.

Главные герои выживут; крупный план,
монологи главных героев в мраморных стенах,
посещение вдов и сирот, врачеванье ран,
скупая слеза по щеке.
Но пять-шесть второстепенных,

вероятно, умрут. Ну еще десяток умрет
из дублирующего состава; тридцать — сорок статистов,
две-три сотни массовки, — в общем, народ,
так что, впившись ногтями в ладони и зубы стиснув,

ты тоже погибнешь, зритель; но все равно
это хороший финал, без чувствительного занудства, —
слишком душно уже смотреть это кино,
слишком много гнева, чтобы не задохнуться.

21 августа 2000.



ВЯЧЕСЛАВ ПЬЕЦУХ

*

ТРИ РАССКАЗА

РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

У нас во дворе уже третью ночь подряд сумасшедший Турчанинов говорит со своего балкона речи о международном положении — значит, пришла весна.

Не знаю, где как, а в нашем богоспасаемом городе что ни весна, то обязательно приключается что-нибудь из ряда вон выходящее, например, в позапрошлом году вдруг исчезли из обращения бумажные деньги, в прошлом году бастовали дворники и улицы пришли в такое запустение, что ни автомобилисту было не проехать, ни пешему не пройти. Думалось: что-то нас ожидает в этом году, наверное, что-нибудь совсем уж безобразное, предположительно случится землетрясение, вообще немыслимое в средней полосе России, или на город нападёт повальный панкреатит.

Но действительность, как говорится, превзошла все ожидания, чего, живучи в нашем городе, как раз и следовало ожидать. В один прекрасный день, именно 14 апреля, во вторник, внезапно повсюду выключилось электричество, некоторым образом безнадежно выключилось, точно оно иссякло, кончилось, как у кормящих матерей кончается молоко. Сидели себе по домам несметные тысячи горожан, таращились в телевизор — и вдруг нá тебе! — сами собой погасли голубые экраны, потух свет, остановились стиральные машины, перестали работать микроволновые печи, холодильники, электробритвы, кухонные комбайны, фены и утюги. Сразу какая-то странная тишина прошла по этажам, от которой делалось жутко, что-то зашевелилось в мусоропроводе, и тараканы повывлазили из щелей.

Сейчас трудно сказать, что именно подвигло на эту мысль, но тогда подумалось: электричество выключилось не случайно, а закономерно, и не на время, а навсегда. Что-то могло произойти с магнитным полем Земли, допустим, сместилась ось нашей планеты по отношению к перпендикуляру, а то случилась бурная гравитационная интервенция со стороны галактики Большие Магеллановы Облака, и электроны потеряли способность приходить в целенаправленное движение под воздействием внешних сил. Тут же пришло в голову — это сколько солярки сейчас сжигается понапрасну на тепловых электростанциях, сколько гидротурбин крутится впустую по великим рекам, не в силах заставить электроны работать хотя бы на фены и утюги. И такая картина вставала перед мысленным взором: матушка-Волга, как и встарь, катит свои воды в Каспийское море, по-прежнему стоит поперек течения Куйбышевская ГЭС, а Поволжье коснеет в холодной мгле.

Прошло, наверное, с полчаса, как жизнь пресеклась из-за отсутствия электричества, когда на нашу лестничную площадку высыпал народ и загомонил на разные голоса. По голосам, впрочем, никого нельзя было

узнать, потому что жильцы на нашей лестничной площадке сроду между собой не общались и знали друг друга только по фамилиям и в лицо. Но и по лицу никого нельзя было узнать, ибо темень стояла непроглядная, как если ладонями нарочно закрыть глаза. Априори же можно было утверждать, что на лестничной площадке собрались: холостяк Митя Смирнов, маленький, круглоголовый толстяк Тушканчик Владимир Иванович, его жена Клара Ивановна, дама в годах Ольга Сергеевна Адинокова и ее сожитель Иннокентий, он же Кеша, молодой господин с глазами навыкат и такой идиотской дикцией, словно он вечно пьян.

Когда голоса соседей несколько угомонились, я несмело предположил:

— По-моему, это обещанный Судный день. Ну когда такое было, что-бы во всем городе на полчаса отключили электричество, — никогда! Сейчас четыре всадника проскачут по улице Ленина, и будем отвечать за помыслы и дела...

— Да бросьте вы наводить тень на плетень! — оборвала меня, скорее всего, Ольга Сергеевна Адинокова. — Это все проделки Чубайса, которого, по-хорошему, надо четвертовать на Красной площади, чтобы он знал, как обижать народ!

— Действительно, — согласился с ней, кажется, Тушканчик, — то по его милости электроэнергия дорожает чуть ли не каждый месяц, а то он свет окончательно отключил!

Вроде бы Митя Смирнов сказал:

— Вполне может быть, что Чубайс в данном конкретном случае ни при чем. Просто кончилось электричество, вот и все! Должно же оно когда-нибудь кончиться по той простой причине, что все кончается и ничего нет вечного под луной...

— Ну, философия пошла, — точно съязвил Иннокентий, он же Кеша, — тушите свет!

Поскольку электрическое освещение уже с полчаса как потухло само собой, мы все как-то замолчали, и в воздухе распространилась немая грусть. Митя Смирнов вернулся в свою квартиру и через минуту появился со свечой в руках, которую он с непривычки нес предельно осторожно, с опаской, как носят взрывчатые вещества. Силы небесные! какое это было волшебное освещение: лестничная площадка окрасилась в томно-огненное, как бы доисторическое, по стенам и потолку зашевелились громадные тени, во всем появились симпатичные акварельные оттенки, а в лицах значительное, даже загадочное, и почудилось соединение знакомого с вроде бы знакомым, но не вполне. Так, у Мити Смирнова резко обозначилась нижняя губа, как будто набухла кровью, и он стал похож на крупного чиновника времен заката империи, от которого сбежала молоденькая жена; Владимир Иванович Тушканчик словно бы спал с лица, и у него в глазах появилась мысль; правда, с его супругой Кларой Ивановной заметной перемены не произошло, и у нее на лице по-прежнему значилось некое печальное беспокойство, какое бывает, когда человек думает, не забыл ли он выключить газовую плиту; Ольга Сергеевна Адинокова вдруг приметно помолодела; наконец Кеша всем своим обликом явил сложный симбиоз самодовольства с затаенным, выжидательным выражением, какое еще встречается у собак. Однако и то было не исключено, что все эти трансформации, вызванные свечным освещением, только почудились из-за оригинальной игры светотени, и наши жильцы сохраняли свое обличье в неприкосновенности, поскольку мы ничего не знали друг о друге, даром что жили бок о бок десятый год.

— Ну и что будем делать, господа-товарищи? — сказал я.

— Действительно, — отозвался Тушканчик, — это будет нонсенс, если мы сейчас разойдемся по своим квартирам сидеть впотьмах. Ни тебе телевизор посмотреть, ни любимую музыку поставить... радио послушать — и

то нельзя! Прямо пещерная жизнь возвращается, неолит какой-то, когда наши отдаленные предки вечера напролет сидели вокруг костра.

Клара Ивановна Тушканчик объявила:

— С другой стороны, можно взять в руки книжку и почитать.

— Вот еще, глаза портить! — сердито сказала Адиноква. — Хотя, конечно, можно и почитать... Но только, боюсь, это будет слишком резко и опрометчиво — как бы не наступил психический дисбаланс...

Митя Смирнов предложил, то ли в шутку, то ли всерьез:

— Еще можно танцы устроить под какой-нибудь дедовский инструмент, если, конечно, из этого тоже не получится нервный срыв.

— Самое безопасное для психического здоровья, — съязвил Кеша, — это ограничиться картинками, скажем, из эпохи Людовика Бьянамэ. В старые годы люди действительно вот так собирались вместе и смотрели картинки при помощи «волшебного фонаря».

— Еще в старые годы, — добавил Тушканчик, — была такая смешная игра — лото!

— Ну как же! — сказала Адиноква. — Я отлично помню эту игру, мы еще на целине постоянно резались в это самое лото, потому что у нас моментально выгоняли из комсомола за «бутылочку», «железку» и преферанс.

— Хотите верьте, хотите нет, — продолжал Тушканчик, — а у меня где-то на антресолях до сих пор валяется коробка со всеми принадлежностями для лото! Если кто не помнит, как в него играть, я в два счета растолкую и научу.

Предложение было несколько неожиданным, но и обстоятельства выдались экстраординарными, и соседи, помявшись, в конце концов стоворились идти всем скопом в гости к Тушканчикам, чтобы засесть за игру в лото.

Ольга Сергеевна Адиноква со своим Кешей принесли початое блюдо студня и корзинку пирожных; Митя Смирнов захватил старинную спиртовку, на которой можно было заварить чай; я разорился на коробку шоколадных конфет, лежавших у меня в холодильнике с самых новогодних праздников; Тушканчики в свою очередь выставили кастрюлю салата и бутылку армянского коньяку. Мы уселись за стол, хозяева зажгли свечи в двух бронзовых канделябрах, и гости стали глазеть, как это бывает обыкновенно, по сторонам. Квартирка у Тушканчиков оказалась симпатичная, сплошь уставленная мелкими предметами, которые приглушенно окрасились от свечей в приятные, умиротворительные, точно задумчивые, тона. Куда-то девался этот мелкотравчатый реализм, обстановка стала похожа на декорацию, и чудилось, что за окнами не две тысячи второй год бесчинствует, а действительные статские советники прогуливаются, постукивая тросточками о торец, стоят на углах неподкупные городовые, в воздухе пахнет пирогами, матерная брань еще считается правонарушением, которое преследуется в уголовном порядке, и в природе не существует звуков грубее, чем стук копыт.

Между тем Владимир Иванович Тушканчик раздал собравшимся по три карты и взял в руки фланелевый мешочек с фишками, а Клара Ивановна разлила коньяк по миниатюрным рюмочкам из фразе — мы чокнулись, выпили, и наша игра исподволь началась. Почему исподволь — потому что мы ни с того ни с сего разговорились, да так содержательно, живо, заинтересованно, что первое время забывали выпивать, закусывать и играть в лото. Этот разговор развивался так...

МИТЯ СМИРНОВ: Кто знает, почему корова лучше человека? Никто не знает... Потому что она его проще в пятнадцать раз.

КЕША: Это вы к чему?

МИТЯ СМИРНОВ: К тому, что человек поразительно несовершенен, хотя считается, что он царь природы, чудотворение и венец. Я уже не говорю о человеке как о носителе несовместимости двух начал!

Я: Вероятно, имеются в виду начала животное и духовное, или, сказать иначе, — добро и зло...

МИТЯ СМИРНОВ: Совершенно верно, но речь в данном конкретном случае не о том. Возьмем человека просто как машину, так сказать, вырабатывающую жизнь, — ведь это халтура, сплошная недоработка, верх несовершенства, да чего человек устроен грубо и примитивно, если принять в расчет его метафизическую ипостась! Он творит новые миры, способен поворачивать реки вспять, мысль его всемогуща, а между тем он может загнуться от инфузории, которая меньше его в два миллиона раз. А отходы пищеварения?! Ведь человек сочинил «Героическую симфонию» и знает о существовании галактик, которые ни в какой телескоп не увидишь, а гадит, как та же корова или какой-нибудь паучок!.. Это, конечно, миль пардон, мадам!

КЛАРА ИВАНОВНА: О! Вы говорите по-французски! Какой Версаль...

МИТЯ СМИРНОВ: Это зависит от настроения. Есть настроение — говорю.

ТУШКАНЧИК: Вот тоже непонятно: вроде бы человек — венец мироздания, а ведет себя как форменный сукин сын!

КЕША: Все дело в том, что человек именно слишком сложен, и чем он со временем становится сложнее, тем несовершеннее, и чем несовершеннее, тем сложнее. Вот рекомая корова, по плану, только ест, удобряет и дает молоко, больше ничего, она даже не бодается, потому что есть такая поговорка: «Бодливой корове бог рог не дает». А человек может пожертвовать последнюю рубашку, забить ногами до смерти, построить вечный двигатель, жениться, украсть, выкопать яму и донести. Кроме того, он способен на такие дикости, которые не позволяет себе ни одно природное существо...

Я: Например?

МИТЯ СМИРНОВ: Сейчас приведу пример. Не хотел я про этот дикий случай рассказывать, но, видимо, придется все-таки рассказать.

АДИНОКОВА: Если что-нибудь ужасное, то, пожалуйста, без меня!

МИТЯ СМИРНОВ: Да нет, ничего особенного, хотя в этой истории всего намешано понемногу: и то, что ужасно, и поучительно, и смешно. Ну так вот... Примерно за полчаса до того, как у нас вырубилось электричество, позвонились ко мне трое мужиков якобы из нашего жэка, — ну я с похмелья их и впустил. Они сразу меня скрутили и говорят: «Деньги давай, — говорят, — а то мы сейчас разрежем тебя на маленькие куски». Я ни в какую, и тогда эти гады стали меня пытаться. Вернее, они только собрались меня пытаться: нашли на кухне утюг, включили его в сеть, подождали, пока он нагреется, и только нацелились выжигать на мне узоры, как у нас вырубилось электричество — раз, и все! Таким образом, утюг как орудие пытки утратил всяческое значение, и даже у этого невинного домашнего прибора появилась какой-то опешенный, грустный вид. Стало быть, в данном конкретном случае мы имеем право говорить о гуманистической функции электричества, вернее, его отсутствия, поскольку это внезапное отсутствие так напугало налетчиков, что они посоветовались-посоветовались и ушли.

КЕША: Именно поэтому я больше всего на свете боюсь Пулитцеровскую премию получить.

Я: А что это такое?

КЕША: Это такая американская премия, которая присуждается лучшему журналисту за каждый истекший год.

КЛАРА ИВАНОВНА: Так вы, значит, в газетах пишете?

КЕША: Я вообще довольно видный литератор и журналист. А Пулитцеровскую премию я потому боюсь получать, что у нас электричество отключают не каждый день.

ТУШКАНЧИК: Скажите пожалуйста, а мы и не знали про это дело! Десять лет живем на одной лестничной площадке и даже не подозревали, что наш непосредственный сосед — видный литератор и журналист!

АДИНОКОВА: А все электричество! То есть сколько интересного можно узнать, если его почему-то нет. Ну просто оно разобщает человечество, способствует росту индивидуалистических настроений, замыкает людей в себе. Я даже считаю, что, если бы не электричество, тоталитарные режимы были бы невозможны, потому что до Фарадея люди были более или менее заодно.

ТУШКАНЧИК: Вообще, это, конечно, нонсенс, до чего мало мы знаем друг о друге. Например, кому-нибудь известно, что я — единственный человек в мире, который ел мясо мамонта?! Я так думаю — никому!

Я: Как это вы сподобились?

ТУШКАНЧИК: Да работал в Якутии, в геологической партии, лет тридцать тому назад — там и сподобился отведать эту доисторическую еду. Искали мы в недрах кимберлитовую трубку, а отрыли, представьте себе, мамонта в натуральную величину, совершенно целого, как будто он вчера умер, потому что там кругом вечная мерзлота. Как раз нам закусить было нечем: накануне завезли в партию два ящика питьевого спирта, газеты месячной давности и переходящее Красное знамя, а в смысле провизии — ни шиша! Ребята, честно сказать, побрезговали ископаемой закуской, они так пьянствовали, под рукав. А я отрезал от филейной части кусок килограмма с полтора, поджарил его на примусе — и срубал!

МИТЯ СМИРНОВ: Ну и что? Съедобное оказалось мясо?

ТУШКАНЧИК: Ничего, на телятину похоже, которой, между прочим, в ту эпоху питались только члены Политбюро.

АДИНОКОВА: Между прочим, в эту самую эпоху у нас половина деревень еще сидела без электричества. И что же вы думаете: отлично жили — устраивали танцульки, в театральные кружки ходили, собирались в красном уголке посумерничать, а то обшивали свою семью. А какие у людей были подробные отношения! Из-за того, что телевизоры еще не появились, моя родная тетка три года переписывалась со своим женихом, который жил в соседнем колхозе, потом два года лично его мурыжила, наконец, вышла замуж и развелась. Говорит мне потом: «Вот что значит скороспелые браки! Как-то я впопыхах не обратила внимания, что он всю дорогу выговаривает — «магазин», а не как нормальная публика — «мага́зин»...

Я: Я бы еще добавил, что именно в доэлектрическую эпоху появилось это понятие — русский интеллигент.

КЕША: А что такое, по-вашему, русский интеллигент?

Я: Наверное, это такая степень любви к самому себе, которая обеспечивает почтительное отношение к последнему паучку.

КЛАРА ИВАНОВНА: Вот вы все про коров и насекомых, а я вам сейчас докажу, что в вопросах семьи и брака электричество ни при чем. Ты не возражаешь, Владимир Иванович, если я про нашу Танечку расскажу?

ТУШКАНЧИК: Валяй рассказывай, только, пожалуйста, в двух словах.

КЛАРА ИВАНОВНА: Видите ли, наша с Владимиром Ивановичем дочь Танечка много лет тому назад уехала в Америку к жениху. Она с ним познакомилась по Интернету, завязались отношения, взаимная симпатия, и вскоре дочка поехала в Атланту к своему драгоценному жениху. Он происходил из очень состоятельной семьи, у них в доме даже была новинка — какой-то особенный спутниковый телефон, по которому можно было хоть с Марсом поговорить. Этот телефон так понравился Танечке, что она по нему трезвонила день и ночь.

Ну, в июле они поженились, и все бы хорошо, но вот не сложились у Танечки отношения с ее американской свекровью, и хоть ты что! Все было не по ней, все не так: и зачем Танечка чад напускает на кухне, если можно сходить поужинать в ресторан, и почему полочку отбирает у супруга вплоть до последнего цента, и как она смеет говорить про него — козел... Терпела наша Танечка, терпела, но вот как-то раз не выдержала, схватила сгоряча трубку от этого самого спутникового телефона и как даст этой

американской стерве по голове!!! До суда, правда, дело не дошло, но семейной жизни настал конец.

КЕША: Этот случай нам точно говорит о том, что человечество — такая непобедимая дурында, что его никаким электричеством не проймешь! И это, конечно, сравнительно ерунда, что, будучи венцом мироздания, хомо сапиенс гадит, как паучок... Настоящее горе вот где: нету в нем этого положительного заряда, этой заложенной способности к совершенствованию, недаром он и развивается-то как-то наоборот! Наверное, вы согласитесь со мной, что телевидение, вычислительная техника, кино, компьютер и прочее баловство больше соответствуют тому состоянию человека, когда он еще не умел читать...

Вдруг из кухни до нас донесся пронзительный, дикий вопль.

— Не пугайтесь, товарищи! — поспешила успокоить нас Клара Ивановна. — Это холодильник включился, у нас из-за него вообще не квартира, а Байконур.

Митя Смирнов сказал убитым голосом:

— Значит, врубили свет.

Владимир Иванович Тушканчик поднялся со своего места, ткнул пальцем в выключатель, и комната озарилась холодным, искусственным сиянием, чем-то похожим на порошковое молоко. На лицах у всех были такие удрученные выражения, точно нас самым бессовестным образом провели.

ВИСЯК

Этим неблагозвучным словом у наших сыщиков называется нераскрытое преступление, из тех, что вообще редко поддаются расследованию, отягчают отчетность, но почти не влияют на профессиональное реноме.

Именно такое преступление в прошлом году было отмечено в одном небольшом селе на северо-западе одной нашей центральной области, в окрестностях одного великорусского городка. Географические названия повествователь вынужден опустить, ибо еще здравствуют люди, так или иначе причастные к прошлогоднему случаю, еще память о нем не остыла и страсти не улеглись. Правда, у нас обожают беречь свежие раны, но эту конкретную рану, честное слово, лучше не беречь.

Итак, в прошлом году, весной, незадолго до Пасхи, которая тогда выпала, помнится, на 17 апреля, в нашу сельскую церковь повадился злоумышленник — дерзкий и, по общему мнению, из чужих. Церковь наша, заметим, — сравнительно новострой, сооружена она была на трехсотлетие дома Романовых, когда множество храмов *под византию* понастроили на Руси; в двадцать седьмом году ее закрыли большевики, предварительно осквернив гробницу знаменитого святителя Леонида Оптинского, который был похоронен в правом приделе, в девяносто втором открыли, но без причта, и только на двенадцатые праздники сюда приезжал служить о. Владимир, молодой попик из Костромы. Однако церковный сторож, и штатный, был, поскольку из епархии в наш храм завезли драгоценную утварь чуть ли не из электрона¹ и московская таможня по случаю подарила десятка три дорогих икон. Подрядился в церковные сторожа наш бывший сельсоветский Сергей Христофорович Свистунов.

Эта мера предосторожности была потому не лишней, что народ у нас в округе встречается зlostный, оторванный, хотя можно и помягче выразиться — боевой. Межевых войн или массовых драк стенка на стенку даже и старики не помнят, но вот краткий перечень происшествий, которые случились в нашей округе за прошлый год: Ванька Попов из Новоселок

¹ Сплав золота и серебра. (Здесь и далее примеч. автора.)

задушил портянкой родного брата и закопал его в хлеву, где у них содержалась только одна курица и овца; в деревне Хрушево прапорщик пограничных войск Семушкин утонул в пруду, скорее похожем на большую лужу, в котором на трезвую голову затруднительно утонуть; у одного знаменитого композитора-песенника трое братьев Шуваловых дотла разграбили дачу, за то что он как-то не дал им опохмелиться и обругал; отец и сын Лафетниковы насмерть забили свою хозяйку, правда, она была пьяница, склочница и зуда; в колхозе «Восход» угнали зерноуборочный комбайн, который потом нашли под Каунасом, но так и не вернули из-за непреодолимых разногласий между литовским и нашинским МВД²; по слухам, бригада плотников из Новоселок же сожгла дачный поселок на озере Малое Неро, дабы обеспечить себя работой на жизнь вперед.

В общем, по причине такой избыточной и прихотливой витальности, которая отличает местное население, того оказалось мало, что один Сергей Христофорович Свистунов охранял по ночам церковное имущество, ибо кто-то безнаказанно обкрадывал наш храм с середины апреля по Духов день. Первая покража, впрочем, прошла незамеченной, так как Свистунов поначалу ночевал не в сторожке, а у себя дома, за пять дворов. Как раз приехал о. Владимир проверить, все ли в порядке в храме накануне пасхальной службы, и видит, что в иконостасе зияет пустое место, издали похожее на дыру. Тогда он спрашивает Сергея Христофоровича, куда подевалась икона Иоанна Предтечи, которому по чину полагается быть ошью от Христа. А Свистунов ни сном ни духом не ведает, куда она могла подеваться, потому что висячий замок на воротах храма цел, окна целы, ход на колокольню заколочен еще в двадцать седьмом году. Поразводили о. Владимир с бывшим нашим сельсоветским руками, и на том дело о пропже сошло на нет.

Между тем слух о ней в мгновение ока распространился по селу, и общественное мнение сразу назвало подозреваемых: пастух из ссыльных Борька Воронков, у которого ничего святого не было за душой, ремонтники на газопроводе Уренгой — Ужгород, которые с месяц безобразничали в нашей округе, цыгане Смирновы, которые промышляли цветным металлом, поклонялись идолам и уводили чужих детей. Уж очень у нас был силен местный патриотизм, не то первым молва обвинила бы церковного сторожа Свистунова, — видимо, из-за укоренившейся в народе антипатии ко всякой власти, какая она ни будь. Сергей Христофорович к тому же, как назло, перекрывал свою избу об ту пору и многим жаловался на то, что ему не хватает шифера, рубероида и гвоздей. Следовательно, кому, как не ему, было украсть из церкви образ Иоанна Предтечи, продать его дачникам и на вырученные средства докупить шифера, рубероида и гвоздей.

Мужики рассуждали так:

— Если у человека с потолка капает, то он не захочет, а украдет.

— Так-то оно так, да только практика показывает, что ворованное не впрок.

— А наш прежний глава администрации, который продал народную лесопилку и понастроил себе дворцов?!

— Ничего, бог-то — он есть, найдется и на этого жулика укорот.

— Бог-то есть, да не про нашу честь!

— Вот опять же эти самые чечены: сколько они у государства денег наворовали, а их все равно привели к нулю. Вот тебе и аллах акбар!..

— Бог сам по себе, но если у человека с крыши капает, он не захочет, а украдет.

Видимо, Сергей Христофорович предчувствовал, что в конце концов народная молва обернется против него, и предпринял кое-какие шаги, с

² Автомобили у нас крадут чуть ли не раз в неделю, но потом возвращают владельцам за умеренный выкуп деньгами и скотом.

тем, чтобы самостоятельно выследить подлеца. Но это уже случилось после того, как нашу церковь обчистили повторно и в третий раз: сначала увели из алтаря дискос, а затем изъяли из иконостаса образ Божьей Матери, который по чину располагается одесную от Христа.

Когда, наконец, слухи и толки о святотатстве дошли до нашего районного городка, под самые майские праздники нас навестил старший лейтенант милиции Косичкин, здешний законодатель и... «пинкерто»³, у которого была замечательно миниатюрная голова. Старший лейтенант осмотрел нашу церковь, зачем-то походил по погосту, а потом пригласил Свистунова в контору агропромышленного объединения «Ударник», и между ними состоялся следующий разговор.

— Что же получается, — сказал старший лейтенант Косичкин. — Три раза подряд залезают на объект, выносят разный антиквариат, а церковный сторож и не чешется, как будто это нормальный факт?!

— А что тут поделаешь, — сказал Сергей Христофорович, — если такая жизнь?! Вон клуб у нас до ниточки обчистили, последнюю пишущую машинку в прошлом месяце унесли, и что же теперь — про это по радио сообщать?..

— Радио тут действительно ни при чем, а вот ключи от церкви только у тебя одного, и никаких следов взлома обнаружить не удалось! Как это прикажете понимать?

— Мне приказывать не приходится, положение не позволяет, а эти три случая изъятия церковных ценностей я вообще отказываюсь понимать! Потому что тут сам черт ногу сломит: ключи я сроду никому не давал, и всегда они у меня висят на кухне под платенцем, двери-окна целы, следов не оставлено никаких... Но, с другой стороны, как будто испарился культовый инвентарь! Конечно, на человека напраслину возвести — это у нас раз плюнуть, но я, как бывший партиец и председатель сельсовета, официально заявляю: за всю свою сознательную жизнь я только раз по молодости снял магнет с трактора «Беларусь»! А то, что я своевременно не сообщил о покраже в органы, — а чего сообщать-то, если вы все равно положите мое заявление под сукно...

— Хорошо: но как же тогда украли церковное имущество, если ключи на месте, окна-двери целы, а преступление налицо?!

— А хрен его знает как!

— Это не ответ. Ты давай рассуждай логически: как хочешь, а главное подозрение падает на тебя. Ты, кстати, куришь?

— Курю, а что?

— А то, что нижеследующую улику я обнаружил в церкви, на полу, немного левее от царских врат.

С этими словами старший лейтенант Косичкин вытащил из кармана небольшой полиэтиленовый пакетик, в котором виднелся заскорузлый окурок папиросы с изжеванным мундштуком. Оба склонились над уликой и с минуту подробно ее рассматривали, словно опасное насекомое либо какой-нибудь раритет.

— Совсем оборзел народ! — сказал Свистунов. — Они уже в церкви курят, как будто это танцплощадка или буфет.

— А может быть, ты сам эту папироску и искурил?

— Во-первых, я курю сигареты «Прима», это вам всякий подтвердит, а во-вторых, по всему видно, что эта папироска старинная, и, наверное, ее искурил какой-нибудь воинствующий атеист еще в двадцать седьмом году.

³ У старшего лейтенанта было такое прозвище — Пинкерто, но поскольку у нас считается, что это не имя собственное, а существительное, на каком-то чужом языке обозначающее профессиональную принадлежность, то и затрудняешься, как сие слово правильно написать.

— Я гляжу, тебя голыми руками не возьмешь. Ну ничего, я это дело выведу на чистую воду, дай только срок времени...

— Выводи.

Однако в действительности старший лейтенант Косичкин скоро позабросил дело о тройной покраже в нашей церкви, поскольку оно было незарегистрировано и малоперспективно, но прежде всего по той причине, что в Марфине пятеро огольцов изнасиловали старуху и это происшествие получило в районе слишком значительный резонанс; главное, заводилой у этой пятерки оказался внук областного прокурора, и привлечь юных преступников к ответственности было исключительно тяжело.

Тогда Сергей Христофорович Свистунов решил самостоятельно разоблачить злоумышленника, ибо, с одной стороны, он был человек настырный и принципиальный, а с другой стороны, отлично знал повадки нашей милиции, то есть он предугадывал, что если не будет обнаружен настоящий преступник, то старший лейтенант Косичкин его самого для порядка привлечет к следствию и суду.

Дело было 2 мая; темнело уже в одиннадцатом часу вечера, и Сергей Христофорович засветло забрался в церковь, предварительно побывав для храбрости на именинах у шурина и запасшись немецким тесаком, который давным-давно принес с фронта его отец. Приладилась он за стойкой свечной лавочки, подстелив под себя ватник без рукавов. Скоро свет в узких окошках церкви совсем померк, внутри сгустилась темень, какая-то материальная, казалось, поддающаяся осязанию, и в щель между северной стеной и основанием купола, которую по небрежности не заделали реставраторы, заглянула, точно из любопытства, мерцающая звезда. Где-то слышно осыпалась новая штукатурка, гуляли сквозняки, то и дело принимался свиристеть сверчок и, как будто опомнившись, затихал.

Примерно до часу ночи Сергей Христофорович еще бодрствовал, напрасно вглядываясь в темноту, к которой у него уже по привычке глаз, и он различал даже узоры на царских вратах, прислушивался к звукам и время от времени раздувал ноздри, как бы принюхиваясь, но затем сказался самогон, выпитый на именинах, и он заснул. Наутро обнаружилось, что исчезли серебряные ризы с иконы Богоматери и Младенца Иммануила, старинная хоругвь на древке из красного дерева и, что самое загадочное, его ватник без рукавов. Врата церкви были по-прежнему заперты изнутри на большой висячий замок, окна целы и, хотя день накануне был промозглый и дождливый, на полу не осталось ни одного явственного следа. Выйдя наружу, Сергей Христофорович обошел храм кругом: ничего сколько-нибудь примечательного он не увидел, и ход в подвал, видимо, очень давно был заложен еще жиздринским кирпичом. Он вернулся в храм и прилежно осмотрел каменные плиты пола, полагая, что вор мог как-то проникнуть в церковь через подвал: плиты были как влитые, и ни один шов его на подозрение не навел. Он в который раз поднялся по витой лестнице, ведущей на колокольню: дубовый щит, перекрывавший ход, мало того, что был намертво заколочен, его еще и запирали преогромный амбарный замок с секретом — замок этот действовал без ключа.

В общем, нужно было готовиться к следствию и суду. В памяти Сергея Христофоровича еще был свеж случай с пожаром на зерносушилке, когда в нее угодила шаровая молния, но под следствием полтора года просидел уважаемый человек, завклубом и киномеханик Василий Иванович Петраков. Только на то и оставалась надежда, что еще несколько ночей подряд высидеть в церкви на трезвую голову и, коли поможет провидение, выследить подлеца.

В другой раз Свистунов отправился ночевать в храм, будучи ни в одном глазу, да еще кроме подстилки и отцовского тесака прихватил с собой электрический фонарик. И опять его одолела дрема, сколько он ни тшилсь ей противиться, то натирая руками уши, то дословно припоминая указ

об усилении борьбы с пьянством и самогонварением на селе. Но вот что-то около часу ночи его взбудрил непонятный звук, — словно кто нарочно шаркает по каменным плитам пола или от нечего делать полирует сырой кирпич. Он некоторое время прислушивался, потом приподнял голову над стойкой свечной лавочки, засветил фонарик и обомлел: старик с предлинной седой бородой, как у пушкинского Черномора, сидел на краю саркофага, сложив руки на коленях, склоня голову, и дышал. Лицо его было закрыто черным капюшоном схимника с эмблемой казней Христовых, но отчего-то было понятно, что у него темное, продолговатое и как бы высушенное лицо. Крышка саркофага оказалась сдвинутой примерно наполовину, и чудилось, что из образовавшегося отверстия исходит тяжелый, щемящий дух. Свистунов не своим голосом окликнул старика, и тот поднял в его сторону темное, продолговатое и как бы высушенное лицо. На Сергея Христофоровича напало что-то вроде обморока; предметы поплыли перед глазами, ноги сделались точно ватные, даже дыхание пресеклось.

Наутро Свистунов отправился с восьмичасовым автобусом в наш городок, прямехонько в районный отдел милиции, где он надеялся найти старшего лейтенанта Косичкина и доложить ему свежие новости по делу о святотатстве в родном селе. Он не учел, что день-то стоял — 9 мая, праздник Победы, и даже в дежурной части не было ни души. Свистунов порасспросил прохожих о месте жительства старшего лейтенанта, с четвертой попытки получил ответ, что-де живет тот на улице Комсомольской, № 16, в собственном доме, и направился по адресу докладывать свежие новости по делу о святотатстве в родном селе.

Старший лейтенант Косичкин сидел во дворе под яблоней, за низким столом, покрытым синей клеенкой в горошек, на котором стояла кое-какая снедь. На голове у него красовалась русская каска времен войны, ржавая, с большой пробоиной посередине, видимо, от осколка, которая по миниатюрности головы была ему уморительно велика. Косичкин был уже на первом взводе⁴: он сидел, подперев щеку ладонью, и громко пел:

Враги сожгли родную хату,
Убили всю его семью...

Сергей Христофорович присел рядом на валяющееся полено, снял с головы кепку и начал:

— Послушай, начальник, что я скажу!..

— Не мешай, — отговорился Косичкин и продолжал:

Куда теперь идти солдату,
Кому нести печаль свою?..

— А ведь я выследил, кто у нас крадет церковное имущество, — сказал Свистунов и пристально посмотрел Косичкину в левый глаз, так как правый был закрыт каской, съехавшей набекрень.

— Ну и кто?

— Вот даже не знаю, как этого деятеля обозвать!.. Дух не дух, призрак не призрак, а так скажем, что это дело рук нашего мертвеца!

— Какого еще мертвеца?!

— Да похоронен в нашей церкви один святой, что ли, который жил аж в девятнадцатом веке и умер задолго до Первого съезда РСДРП. Звали его Леонид Оптинский⁵, был он монах и вел совершенно святую жизнь. Вот этот-то самый покойник и таскает к себе в гробницу разный культовый инвентарь.

⁴ Замечательна этимология этого выражения: у замков кремневых ружей и пистолетов было два взвода — предохранительный и боевой.

⁵ Отметим, что имя этого праведника упоминается в анналах нашего литературоведения в связи с работой гр. Льва Николаевича Толстого над повестью «Отец Сергий».

— Я вижу, ты, Свистунов, с утра пораньше залил глаза.

— Это ты с утра пораньше залил глаза, а я ни синь порошу не пил, по той простой причине, что село нынче в финансовом отношении на нуле.

— Ну тогда выпей на мой ответ!

Сергей Христофорович нимало не возражал: он выдул граненый стакан водки, который щедрой рукой налил ему старший лейтенант Косичкин, захрустел соленым огурчиком, и, долго ли, коротко ли, они хмельным делом сговорились ехать в наше село, там отоспаться и ночью непременно застать на месте преступления мертвеца, который крадет культовый инвентарь. На трезвую голову Косичкин точно прогнал бы Свистунова, но, будучи, как говорится, под градусом, наш человек способен на самые отчаянные дела.

Проспать им, однако, не довелось, так как по пути они застряли в чайной в Новоселках, потом пьянствовали у свистуновского шурина и добрались до нашей церкви уже затемно, когда откричались первые петухи.

Одно время только где-то слышно осыпалась новая штукатурка, гуляли сквозняки и то и дело принимался свиристеть сверчок, но, как будто опомнившись, затихал. А около часу ночи сама собой стала отодвигаться плита саркофага, и хмель с мужиков как рукой сняло. Старый монах, кряхтя, вылез из своей гробницы, увидел Свистунова с Косичкиным и было полез назад.

— Стоять! — закричал ему старший лейтенант и выхватил пистолет.

Монах рассмеялся.

— Ну и дурак же ты, братец! — сказал он Косичкину совсем молодым голосом. — Как же ты хочешь меня заарестовать, если я невещественное и дух?

— А вот мы сейчас увидим, какой ты дух! — ответил Косичкин, приблизился к монаху и рванул того за рукав рясы, но его пальцы сомкнулись, ухватив только темную пустоту.

— И правда дух... — согласился старший лейтенант в растерянности, однако тут же взял себя в руки: — Но сути дела это не меняет, потому что правонарушение налицо. Ты зачем, старый хрен, ворует церковное имущество, — а еще монах!

— А на что это имущество вам сдалось?

— Ну как же... все-таки народное достояние, за которое приходится отвечать. Потом, у нас сейчас кругом храмы восстанавливаются, идет возрождение религиозного сознания, то да се... А тут здравствуйте, я ваша тетя: разные духи воруют культовый инвентарь!..

— Во-первых, я его не ворую, а изымаю на сохранение в слабой надежде на лучшие времена. А то, леший вас не знает, опять явятся ваши башибузуки и разнесут храм Божий на щепы, как в двадцать седьмом году...

— А что во-вторых?

— Во-вторых, вот что: не нужно вам ничего, ни «самодержавие, православие, народность», ни «пролетарии всех стран, соединяйтесь», ни этот самый культовый инвентарь, потому что не в коня корм!

С этими словами призрак, кряхтя, залез в свой саркофаг, и плита с противным скрежетом, точно кто от нечего делать полировал сырой кирпич, задвинулась за монахом сама собой.

Старший лейтенант Косичкин символически сплюнул на пол и сказал сквозь зубы:

— Опять всяк!

— То есть? — не понял его Свистунов.

— Я говорю, опять всяк. Ведь этого старого хрена на допрос не вызовешь, подпису о невыезде не возьмешь. Я вот чего думаю: и зачем я пошел в милицию служить, раз все равно ничего нельзя поделывать, раз сплошной кругом рост преступности, мизерная зарплата и всяки?!

Так дело о покраже в нашей церкви действительно и повисло в воздухе, благо оно оставалось незарегистрированным и по епархиальной линии

дальше о. Владимира не пошло. Он вообще отличался чисто христианской снисходительностью, отчасти потому, что сам был не без греха: так, однажды он засиделся у своей приятельницы, редакторши районной газеты, и не явился на отпевание одного известного скрипача.

ВОПРОСЫ РЕИНКАРНАЦИИ

Давно установлено, что, живучи в России, не пить нельзя. В силу неполной занятости, имеющей исторические корни, и утомительной склонности к умствованию без особой даже на то причины, у нашего человека почти постоянно работает мысль, причем больше мучительная, смахивающая на боль. Например, думаешь: зачем существует смерть, если твое сознание ориентировано на вечность, или отчего цены растут не по дням, а по часам, меж тем как достатков не прибавляется, или почему я не генерал, или какого черта твое сознание ориентировано на вечность, если, как ни крути, существует смерть? Понятное дело, единственное средство заглушить эту головную работу — выпить водки, сколько утроба примет, и переключиться на созерцание явлений природы, которые происходят вокруг тебя. Вот молодая яблонька отряхает последний нежно-розовый цвет — прекрасно, вон галка села на конек твоей избы — села, и хорошо.

Однако, если накануне выдался трезвый день, — силы небесные! до чего же хорошо бывает проснуться с незамутненной головой, совестью, точно умытой, и печенью, отнюдь не напоминающей о себе. Правда, в голову немедленно полезет соображение: почему я не генерал, — но в другой раз от него спасает обыкновенная утренняя церемония, общая для всех цивилизованных народов, бытующих на Земле. Именно: пойти на двор умыться и почистить зубы, хорошенько рассмотреть себя в зеркале, принять столовую ложку меда (это в качестве предварительного завтрака) и выкурить наедине с собой первую сигарету, прикидывая тем временем, чем бы занять предстоящий день.

Время — начало седьмого часа утра, солнце едва взошло, туман цвета обраты еще висит над сочно зеленеющим ржаным полем, слоясь и малопомалу тая, все покуда серо и сонно, но березы на взгорке уже сияют, ударяя в золото с примесью настоящего, старинного серебра. Трава еще мокрая, соседние избы, крытые рубероидом, страшно дымятся под косыми солнечными лучами, тихо до одури, как будто безжизненно, только скворцы заливаются да высоко над деревней ястреб делает фальшиво-меланхолические круги, высматривая утят. Эта картина возбуждает не мучительную, а, напротив, благостную мысль: все-таки у нас сравнительно человеколюбивое государство, поскольку редкая семья в России не имеет своего клочка земли на каком-нибудь 45-м километре или в каких-нибудь Малых Нетопырях.

Вода в рукомойнике, приколоченном к шесту у забора, до того холодна, что оторопь берет и дыхание несколько раз пресекается где-то в районе десятого позвонка. Лицо и торс после умывания горят, но, если вместо того, чтобы утереться платенцем, подставить себя под косые солнечные лучи, усевшись, скажем, на раскладном стульчике у калины, то жаркие волны света моментально высушат и разглядят кожу на груди, плечах и твоём многодумном лбу. За лобовой костью между тем совершается такая работа: нашему государству все можно простить за «шесть соток», даже то, что оно государственно не вполне. Мысль, спору нет, неглубокая, но радостная по сравнению с думами о ценах и бренности личного бытия.

После того как съедена столовая ложка меда и он начинает живительно плавиться в животе, опять усаживаешься на раскладной стульчик у калины — развалиться, закуриваешь первую сигарету, и она кажется причудливо-сладкой, как экзотическое кушанье, и кружит голову, как порция

первача. Безветрие полное, ни один лист на калине не шелохнется, и дым сигареты висит плоским облачком на уровне головы, еле заметно и как-то сам по себе расплываясь вширь. В такие минуты хорошо бывает подумать о чем-нибудь особенно приятном, к примеру, о том, что, прослышав о твоих исключительных умственных способностях, Президент прислал за тобой вертолет. Но вместо этого в голове только почему-то слоги цепляются друг за друга и выстраиваются в чудные, неслыханные слова. Как-то: ли-ли-по, ква-дис-ти-фак-ция, апо-кавк. Разве пойти посмотреть в энциклопедическом словаре, не означает ли чего сочетание слогов, дающее это самое «апокавк»? Так оно и есть: Алексей Апокавк был премьер-министром Византии в четырнадцатом столетии, делал оппозицию императору Иоанну VI и за несговорчивость был убит... Вот откуда мне знакомо это имя?! Историю Византии я сроду не изучал, о греческом языке понятия не имею, рыцарских романов терпеть не могу, на Балканском полуострове не бывал. Из этого логически вытекало, что в какой-то прошлой жизни я, видимо, был византийским греком, ненароком попал в Россию, допустим, с посольством от царьградского повелителя, и застрял. То ли приглянулась мне какая-нибудь Маруся из Коломны, не идущая в сравнение с вялеными гречанками, то ли понравилась широкая великорусская кухня, то ли вообще пришлось по сердцу московская атмосфера, располагавшая к размышлению и тоске. Судя по тому, что я люблю тесные помещения, тишину и думать, судьба моя была стать монахом и до «ныне отпускающи» существовать в каком-то подмосковном монастыре. Так и видится: крошечная келья, свежевывеленная известкой, перед образом Богоматери с Младенцем Иммануилом горит изумрудная лампадка, за маленьким слюдяным окошком потухает вечерняя заря, свеча в кособоком медном подсвечнике потрескивает и шипит. Тихо на Москве, только вороны кричат да кое-где колокола отбивают часы, печные дымы строго вертикально поднимаются в небо, предвещая непогоду, а я (в черной суконной рясе и клобуке, с кипарисовыми четками в руках) умильно размышляю о будущем России, когда тончайшая металлическая проволока будет давать обильное освещение, а люди бесповоротно предадутся изящным искусствам, огородничеству и любви...

Вдруг в мою келью входит отец келарь Серафим, в миру Сергей Ефимович Стрюцкий, и говорит:

— Кто-то стяжал у меня бутылочку деревянного масла, — говорит он и подло-вопросительно заглядывает мне в глаза. — Совсем изворовался народ, даже по обителям спасу от него нет.

— Чья бы корова мычала, — бурчу я себе под нос и делаю отсутствующее лицо.

Однако же самое время прикинуть, чем занять предстоящий день. Покуда докуривается первая сигарета, в голове складывается такой план: во-первых, хорошо бы сегодня выкосить лужок перед уборной, во-вторых, взбодрить грядку под шпинат, в-третьих, починить забор, в-четвертых, натаскать плоских камней для дорожки от крыльца до калитки, в-пятых, позавтракать, в-шестых, наколоть дров для камина, в-седьмых, привести в порядок кое-какой инструмент, как-то: грабли, совковую лопату, тяпку для окучивания и колун, в-восьмых, заменить треснувший лист шифера на крыше баньки, в-девятых, сгрести в кучи прошлогоднюю листву и после снести ее в ящик для перегноя, в-десятых, сварить на обед уху. Порядок этих дел не обязателен и, несмотря на то что перечень их насыщен, его бывает легко уладить, если только не выпадать из насущной жизни в мечтательность и тупую истому, которая отбивает охоту даже передвигаться и навеивает подозрение, что все зря. Положим, ты направил свою литовку, отложил в задний карман оселок, хорошенько приладился и пошел класть перед собой ровными рядами осоку, медуницу, крапиву, сныть; пять минут косишь, десять, двадцать, чувствуя, как руки и поясница точно нали-

ваются чугуном, и естественным образом захочется объявить себе перекур; сядешь на складной стульчик у калины, закуришь сигарету, и как раз на тебя невзначай нападет мечтательность, тупая истома, которые отбивают всяческую охоту и навевают подозрение, что все зря. Это немудрено, поскольку тишина вокруг стоит такая, что отчасти бесит тюканье топора, доносящееся далеко из-за реки, верно, из деревни Петелино, что за четыре километра от нас и даже относится к чужому району, солнце уже не на шутку припекает, над ухом музыкально зудит комар. Небо, впрочем, холодно-синее, совсем как наша река, и даже его рябит от редких перистых облаков, вороны неслышно проносятся над головой, от куста сирени тянет одеколоном, бабочка-лимонница покружила-покружила возле и безбоязненно села на кисть руки. Вот уже до чего дошло: видимо, такой я стал благостный, что на меня бабочки садятся как на нечто родственное их насекомому естеству. Или, может быть, в какой-то прошлой жизни я был бабочкой и это как-то чувствуется, несмотря на время протяженностью в тьму веков. А поди, хорошо быть бабочкой, порхающей с кашки на одуванчик и представления не имеющей о том, что впереди тебя ожидает бесконечная череда превращений через смертные муки и предчувствие небытия, если, конечно, случайно не впасть в нирвану, которая обрывает реинкарнационную череду. Нирвану тоже легко представить: вот как сейчас, сидя на раскладном стульчике у калины, ни о чем не думаешь, ничего не чувствуешь, единственно сознаешь, что не думаешь и не чувствуешь и что никакой Стрюцкий не может выбить тебя из назначенной колеи.

Не то чтобы я слепо верил в переселение душ, однако же живет во мне нечто такое, отчасти даже физиологическое, что намекает на множественность, рядность феномена бытия. То иной раз во сне заговоришь на неизвестном языке, то ни с того ни с сего что-нибудь чужое и незнакомое пахнет на тебя родным и до изумления знакомым, то вдруг откроется верхнее чутье, и ты за двадцать километров чуешь, что где-то у обочины притулился патрульный автомобиль. Кроме того, мне ничего не стоит почувствовать себя камнем только из-за того, что бывшая теща неодобрительно отзовется о моих способностях к сопереживанию, или деревом, когда напьешься воды в жаркий-прежаркий день.

Вдруг из-за реки потянуло прохладным ветром, полудрема рассеялась, и стало болезненно ясно, что время идти копать. Впрочем, это открытие только в первое мгновение чувствительно ранит душу, потому что оно предусматривает мучительный переход от состояния блаженства к состоянию занятости, а после психика входит в норму, когда тобою овладевает обреченность и лопата уже в руках.

Если лопата уже в руках, на передний план всегда выходят иные чувства, и прежде всего чувство редкого, царственного наслаждения от кропотливой работы по преобразованию природы как средства производства сорняков в благородного посредника между Богом и человеком, постигшим Его волеизъявление как любовь. Первым делом вонзишь лопату в землю на полный штык, перевернешь добрый шмат грунта и принимаешься извлекать из него бесчисленные корешки, как гречку выбирают, то похожие на бледных червяков, то на спутанный клубок ниток, то на формулу какого-нибудь органического соединения, то на видение из кошмара, предвещающего болезнь. Потом мельчишь землю руками, доводя ее до консистенции муки грубого помола, и особенно прилежно трактуешь засохшие комья навоза, которые нужно растирать в пыль. Потом делаешь ямку, засыпаешь ее иссиня-черным перегноем, смешанным с золой, и, наконец, внимательно опускаешь деревянными пальцами семя — этакую едва осязаемую хреновинку, в которой непостижимым образом заключено будущее воскресение, всход, рост, плодоношение и любовь. Занятно, что человеку представляется, будто он так или иначе организует ход исторического развития или по крайней мере самосильно строит свою судьбу, а

на поверку между ним и кустом шпината только та и существует принципиальная разница, что куст шпината не способен выйти за рамки программы, например, он не может себя убить. А человек — может, и на этом основании полагает, что он высшее из существ. После подумается: а что, если в какой-то прошлой жизни я был кустом шпината? недаром же я так полно чувствую неспособность себя убить...

Тем временем солнце уже указывает на полдень, пора завтракать, и от предвкушения этого приятного занятия на душе становится как-то заманчиво и тепло. На завтрак еще с раннего утра были задуманы яйца всмятку, чашка бульона с гренками, салат из зеленого лука и свежих огурцов под сметаной, английский чай. За банькой, между здоровенным тополем и древней яблоней, давно не плодоносящей, приспособлен стол с дощатой столешницей и при нем четыре массивные чурки со спинками из гнутого орехового прута. Завтракается, обедается здесь чудесно, особенно завтракается, когда трудовой день еще в самом начале, ты полон сил, мысль остра, и на деревне стоит послепотопная тишина. Солнце пятнисто пробивается сквозь листву, парит, в воздухе от жары чуть припахивает паленым, тучный шмель тяжело кружится над салатницей с салатом, деревенские яйца с темно-оранжевым желтком кажутся такими вкусными, что скулы сводит, чай благоухает и отдает в смесь лондонской осени с молоком, сигарета умиротворяет и на пару с полным желудком вгоняет в сон.

Но не время спать (это привилегия послеобеденной поры), а, преодолевая себя, нужно потушить сигарету, убрать окурки в специальную жестянку из-под сгущенного молока и идти починять забор. Таковой давненько-таки кланяется в обе стороны, штакетник местами держится на честном слове, калитка не запирается, в воротах образовалась значительная дыра. Стало быть — молоток в руки, клещи за пояс, холщовый подсумок с гвоздями через плечо. И минуты не проходит, как сытой апатии точно не бывало, гвозди пронзают дерево, будто смазанные, молоток работает увесисто, хотя из-за грамотной хватки он почти не чувствуется в руке. Наслаждение от такого занятия может быть отравлено только внезапно явившимся вопросом: почему я не генерал?

После того как с забором покончено, идешь на речку таскать плоские камни для дорожки от крыльца до калитки, потом с полчаса колешь колун дрова для камина, потом занимаешься починкой садового инвентаря, прохуdivшейся крышей баньки, прошлогодней листвой — и так до четвертого часа дня. В перерывах хорошо бывает усесться на раскладном стульчике у калины и выпить стакан охлажденного красного вина, наполовину разбавленного водой, которое производит в тебе такое действие, словно девушка влепила тебе нечаянный поцелуй.

Солнце по-прежнему припекает, но уже не жестоко, а как будто из симпатии обволакивая тебя жаром, который бывает в баньке на другой день после того, как ее по-настоящему протопить. Облака зачарованно плывут по слегка выгоревшему небу и точно думают, с речки доносятся прохлада и аптечные запахи, от земли тянет прелью, словно она потеет, слышно только, как в Петелине за четыре километра тюкают топоры. Занятно, что в этот период дня ни одной мысли не забредет в голову и некогда подумать о смысле жизни за самой жизнью, из чего логически вытекает, что все высокие идеи суть следствия неполной занятости, и ежели ты с утра до вечера трудишься как проклятый, то вопрос о смысле жизни снимается сам собой. Впрочем, он и так теряет свое мучительное значение, затем что ответ на него ясен как божий день.

В пять часов у меня обед. На закуску предполагается салат оливье, на первое блюдо — уха из головизны, на жаркое — вареная телятина с картофелем, хреном и маринованным огурцом, на сладкое — желе, которое готовится из черничного киселя. Настоящая русская уха из головизны делается так: отваривается в кастрюле полкурицы, которая после идет в

салат; в бульон запускается нечищенная рыбная мелочь в кульке из марли, как-то: пескари, плотвица, окуни и ерши — впоследствии они идут в дело, отделенные от костей; после в кастрюле варятся картофель и две-три головы судака, которые затем дотошно разбираются на лотке; наконец, в уху добавляются тушенная морковь с луком, столовая ложка томатной пасты, лавровый лист, душистый перец, корень петрушки и сто граммов водки из дорогих. Готовое блюдо до того хорошо на вкус, что забываешься за едой, и если обедаешь в компании, то, словно пьяный, мелешь всякую чепуху.

Из этого следует вывод, что в какой-то прошлой жизни я, видимо, был поваром, может быть, даже учился в Париже (у меня на удивление раскатило получается французская грассировка, хотя по-французски я, что называется, ни бум-бум) и всю жизнь кормил своих господ, пока не помер и был похоронен на деревенском кладбище в каком-нибудь Никифоровском Столыпинской волости Зубцовского уезда Тверской губернии, что в двухстах километрах северо-западной от Москвы. И вот уже такая видится мне картина: старый барский дом, весь почерневший от времени и дождей, темный коридор, пропахший кошками и уборной, который заканчивается кухней, на кухне — я. На мне высокий поварской колпак и зеленый шейный платок, завязанный по французскому образцу. Я стою за столом из мощной сосновой доски, шинкую лук и время от времени прикладываюсь к водочке на том основании, что давеча барину не понравилось мое бланманже, он обозвал меня сукиным сыном, и эта аттестация пришлась мне сильно не по душе. Вдруг на кухне появляется наш управляющий Сергей Ефимович Стрюцкий, глядит на меня, на кухонного мужика, растапливающего печь, на двух моих подручных и говорит:

— Чтой-то господского керосину у нас выходит чуть ли не четверть в день. Должно, вы его пьете, земляки, иначе понять нельзя.

— Чья бы корова мычала, — бурчу я себе под нос и делаю отсутствующее лицо.

После обеда всегда хорошо соснуть. Идешь на свою застекленную веранду подальше от комаров, забираешься в гамак из брезента наподобие корабельной койки, берешь в руки потрепанную книгу, читаешь: «Обычно утверждается, что *пракрити*, или *акаша*, — это *кшатра*, или основа, которая соответствует воде, а *брахман* — это зародыш, *шакти* — сила или энергия, которая вызывается к существованию при их соединении или соприкосновении...» — и глаза мало-помалу набухают тяжестью, сознание приятно мутнеет, и скоро ты проваливаешься в какое-то инобытие, приторно-сладкое, как сгущенное молоко. Приторно-сладкое именно потому, что, когда солнце склоняется к западу, спать вообще нездорово, даром что упоительно и снятся большие сны. В частности, мне снится, что в какой-то следующей жизни я превратился в рекламную вывеску, существую на Манежной площади и день-деньской таращусь на ближайшую рубиновую звезду.

Подниматься мучительно не хочется, ты весь оцепенел от истомы, в голове стоит ядовитый туман, точно с похмелья, но, с другой стороны, непереносимо противно снится себе рекламной вывеской, которая таращится на рубиновую звезду. Однако же поднимаешься, суешь ноги в шлепанцы и неверным шагом идешь к умывальнику почистить зубы, умыться, причесаться и в конечном итоге прийти в себя.

Заметно свечерело, смотреть на солнце уже не больно, тени сделались длинными и фиолетового цвета, на что ни глянешь, на всем увидишь знак приятной утомленности, и даже птицы, кажется, пересвистываются и порхают исключительно оттого, что еще не вышло время им пересвистываться и порхать. Откуда-то волнующе потягивает дымком, — видимо, это где-то жгут прошлогодние листья, у соседа слева начал было кричать петух, но словно соскучился и замолк.

В эту пору хорошо бывает посидеть за столом между здоровенным тополем и древней яблоней, выпить стаканчик водки с лимонным соком и

призадуматься над тем, зачем существует смерть, если твое сознание ориентировано на вечность, отчего цены растут не по дням, а по часам, меж тем как достатков не прибавляется, почему ты не генерал и какого черта твое сознание ориентировано на вечность, если, как ни крути, существует смерть? Однако же водочка исподволь делает свое дело, и думается совсем о другом, а именно: видимо, души точно имеют свойство переселяться из тела в тело, по той простой причине, что от человека всего приходится ожидать, но что до меня, то цепь моих реинкарнаций определенно пресеклась на последнем теле, то есть на мне нынешнем, поскольку моя жизнь — своего рода нирвана и я несомненно живу в раю. Эта мысль мне до того нравится, что я весело оглядываюсь по сторонам и убеждаюсь, что точно живу в раю. Думается: какие же мы все неисправимые идиоты, если никак не поймем, что живем в раю!

Вдруг из-за забора вырастает мой сосед справа, Сергей Ефимович Стрюцкий, и говорит:

— Опять кто-то увел у меня мою любимую канистру и порядочный куль гвоздей. Ну до чего же вороватый у нас народ!

— Чья бы корова мычала, — бурчу я себе под нос и делаю отсутствующее лицо.



КИРИЛЛ КОВАЛЬДЖИ

*

СМЕНА СВЕТОТЕНИ

1 января 2001

Белое утро.
В снежном сугробе бутылка из-под шампанского.
Пустые почтовые ящики,
непечатый,
еще ничем не заполненный век.
Холодок пустоты.
Чистый лист новогоднего снега...

* *
*

Что в сердце прозвучало,
когда вокруг темно?
От Господа — начало.
Гадай: к чему оно?

С небес перо уронит,
как молнию в ночи;
замороженно гонит
вперед себя лучи,

сияет, но при этом
неуловима суть...
Конец обратным светом
преображает путь.

От смены светотени
безжалостен итог.
Уборщики на сцене;
вот Бог, а вот порог,

и сердце забывает
свой собственный секрет.
Зачем конец бывает?
К чему обратный свет?..

* *
*

Кто переступил порог смертельный,
не вернется, говоришь, оттуда?

Может быть, в другой сосуд скудельный
перельется влага из сосуда?
Жизнь моя подключена к потокам
вечного космического света, —
трепещу, вибрируя под током
галактического Интернета.

Может быть, покорны общим срокам,
мы избегнем воцаренья мрака:
саваном прикидывался кокон,
выпорхнула бабочка, однако...

* *
*

И солнечно, и холодно —
черемуха цветет
в укор тому, кто хлопотно
живет, как серый крот.
Какое небо синее!
А ты седой как лунь.
В черемуховом инее
пронзительный июнь.

* *
*

Все не то, не то, не то,
жизнь шагреновая.
Происходит черт-те что —
обесценивание.
Сто рублей уже не сто,
вместо крыши — решето:
у никто в руках ничто, —
где любовь сиреновая?
Мир не храм, а шапито —
обесценивание...

Беспредельный Интернет —
он пованивает,
наводнение газет —
оболванивание.
Наркотический укол —
обезболивание,
сыр и масло, сытый стол —
обезволивание,
Виртуальный вольный секс —
обезлюбливание.

В небоскребах взрывов треск —
обезумливание.
Если мир вопит и врет,
если слов невпроворот
и тотальное грядет
обесмысливание,
лишь поэзия спасет
от инфляции и от
обезжизнивания.

* *
*

Опять перестрелки и взрывы,
опять в тупике мудрецы.
История несправедлива —
границы горят, как рубцы.

И, если врачующий раны,
от нас отвернется Христос,
столкнутся народы и страны
и пустят себя под откос...



ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

БОРИС ЕКИМОВ

*

ОСТАВЛЕННЫЕ ХУТОРА

Весной, словно перелетную птицу, тянет меня из городского жилья в родное гнездовье, на Дон. Прошлая зима кончилась рано: в середине февраля сошел снег. Чего ждать, в календарь заглядывая: пора — не пора? «Не для меня придет весна, и Дон широко разольется...» — пусть по тюрьмам поют, а мы, слава богу, казаки вольные.

Поехали. Наскучав за зиму по земле и людям, ездил и ездил: Ярки-Рубежные, Бузиновка и, конечно, к Виктору Ивановичу Штепо, в Береславку, близкие Ильевка да Мариновка, а потом — Задонье. Станица Пятиизбянская с просторной округой: хутора Светлый лог да Гремячий лог, Липов лог, Ложки, Кумовский, могучие, а местами глухие, Грушевая да Петипская балки. Станица Голубинская. Старинные казачьи Голубые городки с хуторами и вовсе — край немереный: Большая Голубая да Малая Голубая, Большой Набатов да Малый Набатов.

На исходе второй недели оказался я в Большом Набатове, довольно далеко от районного центра, отрезанный от него бездорожьем и распутицей.

Пора было прибываться к дому. Но как выбраться? Моя многострадальная «Нива» сломалась неделю назад. Сюда я добрался попутно и нелегко. А вот выбраться... Земля обтаяла, раскисла, чуть не каждый день шел дождь. На хуторе 26 дворов, 3 «Нивы» и «УАЗ». Но ехать сейчас на них — лишь машину губить. «Подожди, может, обвэнется, день-другой...» Но этого «обвэнется» можно долго ждать.

Прошел день, другой, третий... На хуторе я все новости собрал. На речке Голубой порыбачил, окуней дергая возле Львовичевой горы да на Устье и в Затоне ловя красноперку с плотвой. Дважды успел на непрочном льду провалиться и как следует накупаться. «Кулугуром стал, — смеялся мой хуторской приятель. — Мы ведь все староверы. В Голубой крещенные». Сходил на оставленные людьми хутора: Евлампиевский да Картули. Дон вскрывался, очищаясь без ледохода: ширились и сливались промоины, майны, окраины. Того и гляди, придет верховая полая вода. Пора было уходить. И я, оставив лишние вещи, ушел налегке, пешком.

День разгулялся солнечный, ветреный, хотя обещало радио ненастную погоду и дождь.

От хутора Большой Набатов, что прячется в укрыве холмов, от воды отступив, путь мой — берегом. Слева Дон плещет волною, шуршит сизыми льдинами, справа — высоченные кручи холмов. Узкая полоса меловой гальки, белого обмытого плавника. Солнце, вода и ветер.

Когда по Дону «скачешь» на моторной лодке, «бежишь» на теплоходе, окрестные холмы, балки, берег луговой с густым займищным лесом медленно, но все же плывут и плывут мимо, быстро уходя.

В походе пешком иное. Белая гора, балка Узкая, Красный створ, балка Трофей, Желтый мыс... Глянешь — все будто недалеко. Но шаг за шагом идешь и идешь, а Белая гора, крутой обрыв ее, тянется и тянется.

Большая у нас земля, просторная.

Над Доном шел я до хутора Малооголубинского, после него в гору поднялся и там, спрямляя путь, пробирался к Городищу, к станции; добрел туда уже в сумерках. На пути ни единой живой души не встретил.

Степь да степь. Давно не паханные поля. Балки, заросшие шиповником, тернами, бояркой. Ветер в сухих травах. Близкая река, дух ее. Высокое небо. Редкий коршун. Безлюдье на многие десятки верст.

В одиноком пути хорошо думается. Уехав из города, две недели провел я в дороге.

И теперь вспоминались дни прошедшие: дороги, хутора, люди.

Но порою словно обжигало глухое безлюдье. Над головой изредка хоть ворона хрипло, но каркнет, косо, под ветром, пробираясь в холодном небе; на воде — сизые льдины; на земле — лишь ветер шарит в сухой траве. Шагаю час, и другой, и третий. Порою встану, гляжу. Но сколь ни озирай, от близкого придорожья до самого горизонта — степь да степь, холмы, падины, балки. И немое безлюдье. Ни гурта скотины, ни овечьей отары, ни черных пашен, ни зеленых озимей. Нет даже следа людского, тележного, машинного ли. Лишь волчий, четкий, порою наискось пересечет дорогу. Им тоже несладко: ни падали, ни животные.

Да и кому тут ходить ли, ездить, скотину водить, землю пахать?..

Хутор Большой Набатов, от которого держу я путь, и ныне лежит просторно. Еще в далекие годы протянулся и раскрылился он от донского берега, от лесистого займища до заливного луга и Лысого бугра, таким и остался, в прежних размерах. Просторная долина справа и слева прикрыта от ветров Белой горой, Львовичевой, Прощальным курганом, Маяком, Белобочкой. Место для жилья укромное и приютное. Земли — много, рядом — вода и лес.

Когда-то в Большом Набатове был колхоз, потом, при всеобщей «объединилровке», — отделение совхоза «Голубинский» с пашнями, бахчами, попасами, санными угодьями, тракторной бригадой, огромным животноводческим комплексом; теперь же — просто глухое селенье, вымирающий хутор.

Остался он вроде в прежних размерах, но умирают и уходят с хутора люди; одни дома разбираются и увозятся, другие ветшают и рушатся, валится городьба, за ней — базы, сараи, разрезая былую тесноту дворов. Соседства давно уже нет. Дома и поместья стоят вольно, будто чураясь друг друга; меж ними — пустоши, руины, заросли дурной травы или задичавшего сада.

Всякий раз по приезде поднимаюсь я на Белую гору, которая прикрывает хутор от ветра, к Дону обрываясь отвесной кручею. Оттуда, словно с высоты горней, далеко видать: речные воды, придонские займища, просторная долина и, конечно, хутор как на ладони. Все дома и подворья — вот они.

Нынче на хуторе жительствоуют 26 семей ли, хозяйств. Совсем рядом, под горою, просторное подворье, на котором стоит дом и жалкие остатки сараев, базов, катухов. А ведь это подворье знало иные времена. Когда-то жил здесь Павел Алексеевич Соболев. Имел он кроме огорода хороший сад с виноградником. Конечно же, корова с приплодом, куры да утки, пара свиней, овечки — все как положено, чтобы прокормиться с семьей, не надеясь на скупые колхозные трудодни. Для заработка, для денег он имел 100 пуховых донских коз, каждая из которых давала 400 — 500 граммов пуха, килограмм которого стоил от 100 до 200 рублей. Получалось примерно 5 — 6 тысяч рублей, то есть тогдашняя цена легкового автомобиля. Позднее Соболевы переселились в районный центр. Никто из них на хуторе не остался.

На самом краю хутора стоит деревянный флигель, окна-двери в нем целы, но забора нет. Подворье — заброшенное и разбитое. На нем просторная, когда-то жилая, летняя кухня, кладенная из дикого камня и глины, погреб с широкой каменной лестницей, хоть на тройке въезжай, дубовый накат. Базы, сараи — все это нынче разбито, разрушено, заросло бурьяном. Это поместье Трофила Аникеевича Жармелова, а потом — его сына Филиппа Трофиловича.

Всегда у них было 2 — 3 коровы, лошади, козы, овцы, сад, огород — словом, дом — полная чаша. Трофил Аникеевич здесь умер и похоронен. Сын со своими детьми переехал в Волгоград.

Рядом когда-то жил не тужил Василий Васильевич Марченко, по прозвищу Дадека. Его сад и огород славились на всю округу. Василий Васильевич имел мотоцикл и возил на продажу в Голубинскую станицу груши, виноград, картошку, чеснок. На его подворье все строения были крыты шифером. Держал скотину и птицу. Жил хорошо. Со всей семьей переехал на жительство в районный центр.

Дальше дом знаменитого Дорофеича, у которого в 1991 году на сберкнижке пропало 50 тысяч рублей. Пять «Жигулей» по тем ценам. Калинин Василий Дорофеевич с семьей кроме коров, свиней, птицы и прочего держал 15 пуховых козлов. Тоже свой расчет. Не было у него охоты возиться с матками и малыми козлятами. А хороший козел дает 1,5 — 2 килограмма пуха. Занимался Дорофеич и рыбой, благо Дон под боком, и, конечно, сад был с огородом. Свою артезианскую скважину пробурил, что для хутора редкость. Сначала он детей отправил на жительство в Волгоград, а теперь и сам уехал.

Через прогон жила бабка Евлаша. Маленький флигелек, но огород просторный. Забрали ее с хутора в 90 лет. И до последнего года столько родилось у нее картошки, свеклы, тыкв, что не в силах была собрать. «Помогите тыквы свезть... Помогите картошку свезть...» Она и продавала, и раздавала выращенное, и, конечно, самой хватало.

Василий Макарович Калинин с женой Степанидой Артемоновной картошку телегами продавали. Огромное у них было поместье, своя вода. Они сначала дочь устроили в Волгограде, потом сами переехали в райцентр, в Калач.

Самуил Иванович Спиридонов, Савва Никифорович Пристансков, Василий Андреевич Вьючнов, немец Геккель... У всех были домишки не больно видные, но просторные подворья, огороды, сады, скотина, птица. Василий Андреевич на хуторе умер, остальные уехали.

У старого Кравченко, который теперь в райцентре, а усадьба его осталась, разваливается... Так вот, у старого Кравченко коз было за сотню, гусей, индюков — полторы сотни, кур — не считано, коровы, овцы. Он одного козьего пуха каждый год продавал на легковую машину.

Это, как говорится, — былье: Жармелов, Спиридонов, Пристансков... Умерли и ушли, уже не вернуть их. А вместе с ними не вернуть былых колхозных времен: колхоз им. Буденного, совхоз «Голубинский» — еще и потому, что Савва Никифорович да Самуил Иванович, Трофил Аникеевич да Филипп Трофилович, Василий Васильевич да Евлаша, Дорофеич, Кравченко, Вьючнов и даже однорукый Евсеев, у которого огород был аж до Лысого бугра, — потому что все они, вместе с женами, детьми, стариками родителями, были великими, неутомимыми тружениками не только на своем подворье, но и на колхозных полях и фермах.

Все это было. А что же осталось в году 2002-м? Подворье Жармеловых заброшено и разбито. Недолго здесь пожил молодой Чоков с женой. У них ни скотины, ни огорода не было. Разошлись, уехали. Окна-двери выбиты. Все заросло бурьяном.

В доме Соболева до последнего лета жила Наталья Чокова с мужем. Огорода и хозяйства они не имели, как и брат ее, сидели на шее отца-тракториста. Теперь они дом бросили, перешли в другой, получше. Добро что выбор есть. Один лишь случай: Наталья свекровь, которая в райцентре живет, дала денег, чтобы купили корову. (Как без коровы на хуторе!) На эти деньги Наталья с мужем купили старую легковую машину, которая проехала по хутору лишь однажды, до горы, и там заглохла; притянули ее на буксире во двор, здесь ржавеет.

В доме Дорофеича, после ухода хозяина, поселилась молодая пара. Прожили они год ли, два, живности и огорода не имели. Теперь — разошлись, уехали. В доме выбиты окна и двери.

На подворье В. В. Марченко жила Наталья Дворецкая, развеселая бабенка. Конечно, ни о каком хозяйстве у нее и мысли не было. Но сумела даже шифер с крыши пропить. Хутор она не покинула и сейчас, просто перешла в другой дом, который целее.

Флигелек бабки Евлаши купили приезжие люди, беженцы. Они даже забор, которым подворье было обнесено, сожгли. А что до огорода... Говорят, что «земля плохая». А у бабки Евлаши, даже в 90 лет, была хорошая земля.

В доме Василия да Степаниды Калининских вперемешку кто-то живет, но никаких огородов и картофельников и в помине нет.

У Геккеля на усадьбе — бурьян, хотя там жили до прошлого лета молодые, Сергей Стишенков да Наталья.

У Вьючнова покойного в доме непонятно кто поселился: то они есть, то их нет. Но везде — бурьян, а ведь сад был — просто рай земной. Войдешь — душа радуется. Хозяина нет, заборов нет, все скотина погрызла и вытоптала.

Нынешней весною подсчитали мы, что в Большом Набатове 26 дворов ли, хозяев. Для дальнего хутора вроде немало. Но что это за дворы...

Дед Федор, Наталья Дворецкая, Сашка Марадона, Савушка, Федя-суслик, тетка Ксения, чеченка Полина, Нюся Татарка — все они люди немолодые, живущие одиноко и кое-как, на невеликую пенсию. Здесь, на хуторе, им горевать до смерти. Бывший бригадир Гаврилов с женою, Павло Попов, Александр Адининцев с женой Катериной, вдовая Паня Стишенкова, Эдвард Панкратьевич с женой Машей — тоже люди пенсионного возраста, но иного склада; у них пока силы есть, и они держат понемногу коров, мясной скот, овец, кур да уток, сады, огороды. Но все это в невеликих размерах, лишь для себя и родных, в прибавку к пенсии. Это народ — серьезный. Почти все они вот-вот с хутора уедут; жилье в районном центре и в областном у каждого из них есть. Эти люди пока еще держатся на хуторе по привычке, по сердечной привязанности, но их поджимают годы, болезни, житейские неудобства, которых на селе с каждым годом все больше: давно закрыт магазин, хлеб привозят лишь в летнее время, и то раз в неделю, больница и врачи далеко, тем более что дорога грунтовая, плохая: ее обрезают и дождик, и снег. Пока писались эти строки, уехала в райцентр Паня Стишенкова. У нее был хороший огород, куры, две дойные коровы, два быка; умела она и рыбу ловить получше мужиков; в этом году скупали по весне какие-то заезжие живых сусликов, змей, черепах, так Паня сразу же приловчилась и на две тысячи рублей этой живности поймала и сдала. Словом, на все руки. Нынче она уже зимует в райцентре. И Шура Попова в райцентре, Павел один мыкается. Гаврилова жена говорит: «Уедем». Панкратьич все лето ездил, искал дом в Калаче, чтобы возле Дона, он — рыбак. Катерина Адининцева мужику своему сказала: «В зиму уеду в город. А ты как хочешь...» Еще одну Катерину, но Одининцеву, родную тетку Александра, осенью перевез в город сын Петро.

Юрий Стариков — хуторской рожак, ему сорок пять лет, он жил и работал в городе; там — квартира, там дочка в школе учится. Теперь — здесь. На подворье у Юрия — коровы, мясной скот, лошади, свой трактор. Летом Юрий на хуторе живет, почти безвыездно, вместе с женой и дочерью. Зимой — враскорячку: город, хутор. В его отсутствие за хозяйством присматривает сосед и родственник Михаил Стариков, вдовец, возраста пенсионного.

Еще один бывший городской, вернее, райцентровский житель — Виктор Кравченко. Тоже здешний рожак. На хутор вернулся в новые времена, потеряв в райцентре работу. Ему — под пятьдесят. Силы много, умения — не занимать. И начал он хорошо: поставил подворье, скотьи сараи, базы, огород завел, сад — все как положено. Есть у него трактор, косилка, машина, две артезианские скважины пробурил. Были и есть: коровы, мясной скот, свиньи, гуси, куры. Но... на хуторе ему не жить. Жена окончательно постановила: буду жить в райцентре — и устроилась там на работу, сыновья ее поддержали. Значит, и Виктор с хутора уйдет.

Семейство Шахмановых. Эти никуда не уйдут. Когда-то приехали они на хутор переселенцами, вроде из России: старый Шахман с женою и два сына. Сейчас их 30 душ. Лишь у Юрия десять детей. Из этого немалого семейства только один человек работает трактористом на соседнем хуторе, летом всякий день туда ездит. На 30 едоков лишь 2 или 3 головы скотины, причем у старых Шахмановых, а не у молодых. Огорода, сада нет ни у кого. И не было. Но от голода никто не помер. Растут, женятся, плодятся, заселяя брошенные дома, каждый из которых становится точь-в-точь как родительский: пустой двор, пустой баз, поваленный забор, который зимой в печку уйдет, у порога — лужа помоев, немытые окна без занавесок. Чем живет эта великая орда? Не один раз попадались они на краже скота (прежде — колхозного, нынче — частного). Но если старый Шахман за такие дела даже тюремный срок отбывал, то нынче за это толком и не судят. Кто-то из Шахмановых и нынче с «подпиской о невыезде» за краденый скот. (А они и не собираются «выезжать». Их колом не выгонишь.) Пропадают на хуторе куры, утки, гуси, какие-то вещи со двора, из домов. Порою Шахмановых ловят, даже протокол участковый составит. Но проку... Шахмановы живут и множатся, именно они — сегодняшний день и не больно надежное будущее хутора Большой Набатов.

Все остальное: одинокие старики, да бедолажная голь и пьянь, да еще — Юрий Стариков, живущий враскорячку между хутором и городом.

Другое будущее — чеченцы. Их три семьи. У каждой — гурт скота в полсотни голов и более, пуховые козы, обычно — под сотню. Прежде, при колхозах, чеченцы своего сена не заготовливали, пользуясь колхозным. Теперь у каждой семьи — колесный трактор. Они, как и прежде, стараются пасти скотину круглый год, добро что зимы у нас малоснежные. Но учены уже горьким опытом. В прошлом году у Алика, того, что живет за речкой, от бескормицы, когда снег все завалил, погибло десятка два голов. Нынче он сена поставил три скирда. Научились чеченцы доить коров, делать творог, сметану, масло, домашний сыр. Еще десять лет назад в Калаче на базаре, в молотном ряду, про чеченок и не слыхали. Теперь их — больше, чем русских. Жизнь научила.

Даже не три, а уже четыре чеченских семьи. Вспомнил, что нынешним летом Алик из Малого Набатова, за речкой, забрал у Сашки Марадоны дом и отделил женатого сына.

Так что хутор Большой Набатов становится аулом, а вся округа уже — не Тихий Дон, а вольный Кавказ со своими обычаями и законами. Конечно же — РФ, но вряд ли Россия.

В Москве, в Историческом музее, бродя по залам его, увидел я старинную карту России, начала XVIII века. На ней — нечаянная радость! — отыскал родные места: вот он, «калач», поворот Дона, на котором живу. «Калачинская пристань на калаче Дона», — объясняет В. Даль. А вот и места задонские — синие жилочки-речки: «Больша Голуба», «Мала Голуба»; и нынешняя станица Голубинская — «Городки Голубы». О чем карта умолчала, подскажет память: вот здесь, в истоке речки, хутор Большая Голубая, рядом — Тепленький, по речке же, вниз по течению, Горюшкины хутора или Евлампиевский, садами, левадами, казачьими куренями они почти смыкаются, влево по притоку — Сухая Голубая, ниже на самом устье — Большой да Малый Набатов, вверх по Дону — Каргули, Лучка, Екимовский. А вот здесь — Липологовский хутор, через перевал — Зоричев, за ним — Осиновский, потом Осинологовский...

Старинные же записи путешествующего европейца: «Здесьние казаки живут богато. Имеют много скота, табуны лошадей...»

Вернувшись домой, не сразу, но собрался я в Большую Голубую. Поутру заехал в районную администрацию, застав всех начальников на планерке. Спросил громко: «Кто в Большой Голубой был в нынешнем году, в прошлом или когда-нибудь?..» Переглядывались, пожимали плечами. Ну ладно... Глава администрации района недавно избран... Заместителю по экономике вроде там делать нечего... Заместителю по строительству тоже нечего строить... Здрав-

охранение? Фельдшерский пункт давно закрыт. Образование?.. Забыли про школу. Заместителя по сельскому хозяйству спрашиваю: «Но ты-то хоть когда-нибудь был?» — «Чего там делать?» — слышу в ответ.

Федор Иванович Акимов, долгие годы проживший на хуторе Большая Голубая, говорил в те времена: «Мы в нашей глухомани помрем все — и никто не узнает». Но тогда еще в силе был совхоз «Голубинский», на хуторе были школа, медпункт, магазин, клуб и работа в поле, на фермах — не такая уж глухомань. А вот теперь...

Я и собрался к Федору Ивановичу; он хоть и живет в райцентре, но в тамошней округе сено косит. «Где-то в Голенской балке, — сказала его жена. — У Любани на хуторе спросите, она знает». — «Какая Любаня? Фамилия-то есть?» — «Какая там фамилия. Любаня, да и все».

Но до Любани еще доберись.

Опытный шофер и охотник Петрович объяснил, как говорится, на пальцах: «По шляху идешь, ты же знаешь, слева у тебя — Осиновка, первые столбы, бывший полевой стан слева, Белый родник, Пономаревы поля, потом свернул, там балка глубокая, с родником... Ну, едешь... Влево не бери... А то уедешь... Потом — дубнячок в балке... Потом — первая дорога, это где вторые столбы... Но по ней не ездят, надо подальше взять... Я и сам там не был сто лет...»

Словом, объяснил.

Ладно, поехали... Время — летнее, август. С мая месяца — ни одного дождя. Так что застрять трудно.

Асфальта двадцать верст, потом — Гетманский ли, Клетский шлях, который когда-то действительно был «шляхом», ныне — обычный заброшенный проселок.

Десять, и двадцать, и тридцать, и более километров. Ни машины, ни живой души... Лишь небо, да облака, да дикое поле, забывшее про людской голос и скотий мык. Это — нынешнее Задонье.

До поворота к Осиновскому хутору я еще как-то соображал, где и как еду. А потом — лишь дорога, развилки ее да объезды. Вроде — туда, а может, и вовсе не туда. Но выбрался, вовремя повернул и, отмахав шестьдесят верст, стал спускаться в просторную долину речки Большая Голубая.

Белью сияющие обрывы меловых холмов, меж ними — глубокий Гайдин провал, Каменный провал, ниже — Церковный да Чернозубов; над речкой, охраняя воды ее, свежая зелень тополей да верб. Просторная земля и — безлюдье.

В 1994 году еще надежда была, что хутор уцелеет: в подмогу местным жителям приехали двадцать семей беженцев, переселенцев из Киргизии. Им обещали работу и нормальную жизнь.

Год 2002-й. Спускаюсь к приметному кладбищу. Ищу глазами людское жилье. Один домик, другой, третий... Кладбище большое, а хутора, считай, нет. Остановился у неказистого подворья: дом, скотий баз, две собаки лают.

Просторная долина, речка, зелень прибрежной уремы: старые вербы, тополя; просторное кладбище...

Два порядка домов — улица, когда-то совхозом построенная. Была улица, были дома... Теперь — коробки с пустыми глазницами да руины. На одной стороне, в самом конце, живет В. С. Косогоров, на другой стороне — В. Дьяченко, последний из двадцати семей киргизских беженцев. Поодаль, за речкой, — домишко Н. В. Крачковского, недавно к нему перебралась на житье Н. И. Горелова, ее домик вовсе на отшибе. Ну и, конечно, Любаня Цыганкова ли, Рожнова, у подворья которой остановил я машину. Вот и весь народ «голубской», весь хутор Большая Голубая, в котором когда-то было более двухсот дворов. Во времена вовсе старинные — пять водяных мельниц. В близкие, колхозно-совхозные, — шесть тысяч гектаров пашни, более одиннадцати тысяч овец, молочный гурт, до пяти гуртов мясного скота, косяк лошадей буденновской породы.

Из века в век здесь жили люди. Одного из них в Калаче, на рыбалке, порой встречаю: зимой — на льду, летом — в затоне, с удочкой.

Александр Рубцов — мой ровесник, может, чуть посверстнее, за шестьдесят, но крепок еще: телом плотен, кубоват, морщинист. Он — коренной «голубской» (в отличие от «голубинских», какие родом из Голубинской станицы); тридцать семь лет прожил он в Большой Голубой и потому говорить о ней спокойно не может.

— Какой хуторина был — цены не установишь! — жить да жить... Охота какая. По пороше любил на зайца. Как пороша: иду, двух-трех обязательно. А речка... Какие там заводи... Какая рыба... Язи, голавли, щуки. Зимой и летом ловил. А красноперка, серушка... Слаже ее нет. В русской печи запаришь... Господи... — вздыхает он и причмокивает, вспоминая далекое, с того края жизни. — К жинкиному деду на гости ездил, он — с верхов, с Подпешинского, тоже — рыбак, дал мне вентерь. Я его поставил, на другой день прихожу — и поднять не могу. Веришь, три линия по три килограмма с лишком — каждый. Я таких сроду не видал... А какие там попасы, какие травы! На Теплом, на Крутоярщине — там раньше не пахали. Там скотину водили, лошадей. Круглый год паси. И мельницы там были. И все было. Для жизни, для работы. Да сплыло... Раз в год наезжаю, на Троицу, могилки проведываю. Лишь — покойнички, а живых — никого. Последний наш, голубской, Сметанкин Николай Пантелеевич к сыну ушел в Малую Голубую доживать, но помер враз. От родной земли, как от титьки... Какой хуторина был..

Еще один коренной голубской — Федор Иванович Акимов, бывший тамошний агроном, крепкий казачина, ныне житель райцентровский. Соседям своим, какие каждый год ездят на заработки в края северные, внушает и внушает:

— Зачем он нужен, ваш север? Поехали в Большую Голубую. Будем водить скотину, лошадей. Там такие попасы, зимой из-под копыта скотина будет кормиться! Можно заработать больше, чем на вашем севере! И здоровью полезней.

Федор Иванович не только агроном, он водит любую машину, на тракторе пашет, сеет, косит и охотник — редкостный: на птицу, на зверя, из засады, с облавы, на лошади, гоном лису, волка. Федор Иванович еще в детстве, по несчастному случаю, потерял левую руку. Но и с одной рукой он стоит пятых рукастых.

Большая Голубая — его родина. Там он жил, работал, женился, сыновей народил. Но ушел. Теперь бывает лишь случаем да летом косит там сено для своей скотины и на продажу, для заработка. И так же, как Рубцов, горюет: «Какой хуторина... Жить да жить...»

И нынче горюют, но ушли.

А. Рубцов:

— Ушел я с хутора при Ускове, неплохой был председатель, до него сменилось одиннадцать. У меня сынок четыре класса кончил здесь, на Большой Голубой, отправили его на центральную усадьбу в интернат, за сорок один километр. Учится, живет там, на выходной — привозят. Встренешь его да проводишь, а душа болит. Как-то приезжаю на центральную, а мне говорят: «Твой сынок к технике прислоняется, он не в школе, а в мастерских торчит». Я все понял и решил: надо уезжать, иначе — загублю детей. Написал заявление, а председатель не хочет подписывать. Я ведь и на тракторе работал, и на комбайне, и на машине. Квартиру мне сулит на центральной усадьбе. А я сказал: «Нет. Если уж со своего хутора уйду, то центральная мне не нужна». Ушел в Калач. И правильно сделал. Сынок в люди вышел, офицер. И дочка выучилась, неплохо живет. А я и ныне горюю по хутору. Но годы уже не те. Да и хутора нет. Лишь могилки. А какой хуторина...

Федор Акимов толкует о том же:

— Вроде и глухомань, и от властей далеко, а жить не давали. Там — не коси, там — не бери. Откуда зерно взял? Откуда сено? Помню, это был семьдесят девятый ли, восьмидесятый год. Вызывают меня в милицию, аж в райцентр. Немедленно явиться. Приказывают. Как сейчас помню, женщина, при

погонах, фамилия у нее... Помню, но господь с ней. У тебя, говорит, превышение по скотине. К такому-то числу ликвидируй и приведи поголовье к норме. Я кручусь, как ужака: виль да виль, мол, жена, двое детей, тетка престарелая, а я — инвалид, сами видите. Она толочит свое: «Приведи поголовье к норме». Держал я трех ли, четырех коровенок, конечно, был и гуляк, коз под сотню, конь. Была возможность. Попасы — вольные. Сено косили. Почему не держать? Для жизни. А она свое: «Давай подпись. К такому-то числу ликвидируй, приведи к норме. Иначе будем привлекать». — «Среди белого лета как я буду ее ликвидировать? Резать и под яр кидать?» — и теперь, через столько лет, с горечью спрашивает Федор Иванович.

И это ведь не тридцать седьмой год, не пятидесятый, это — рядом.

Юрий Васильевич Кравченко с Большого Набатова, нынче — житель районного центра:

— К нам как-то косвенно власти относились. Мы сколько раз просили: «Разрешите нам лошадку держать». С лошадкой такая легость. С ней и огород вспашешь, и картошку под плужок — сподручно, чего привезть, отвезть по хозяйству, в станицу съездить. Просили слезно: «Разрешите лошадку держать». Ни в какую! Ответ один: «Лошади — только для кочевых народов. Вы — не кочевые». А получилось — кочевые, — вздыхает Юрий Васильевич. — С хутора все откочевали.

Откочевали... Рубцовы, Акимовы, Сметанкины, Цыганковы... В Калач, в Голубинскую, в Волгоград и далее.

Им на смену привозили переселенцев из Тульской области, с закрываемых шахт, из Чувашии, из Мордовии, где жилось хуже. Косоруковы, Шахмановы, Стариковы, Крачковские... А уже в 90-х годах приехали те самые русские люди из Киргизии, двадцать семей, которым здесь обещали работу, жилье, спокойную жизнь. А еще — асфальтовую дорогу и даже плавательный бассейн. Могучая была организация «Сельхозводстрой», задумавшая создать в Большой Голубой агрофирму с «производством и переработкой продукции». Но гладко было на бумаге... тем более что пришли новые времена, которые докончили хутор.

Здесь старожил — Любаня: новоиспеченный пенсионер Любовь Васильевна Рожнова родилась в Большой Голубой, безвыездно живет здесь.

Возле ее поместья остановил я машину: неказистый домишко, сарайчики, скотий баз, лепленный из всякой всячины. Собаки лают, а вот и сама хозяйка, впрягшись в тележку, тянет какой-то хлам к своему гнезду. Рядом брошенные, разбитые дома, подворья. Чем-то, но можно пожить: старая доска, моток проволоки, железяка — все в дело пойдет.

Любаня встречает нежданного гостя радушно, предлагая чаю попить. Крепкая еще казачка: говорливая, улыбчивая, румянец на щеках, правда, зубов почти не осталось.

— Про хлеб мы и не поминаем. Джуреки печем. Муки привезем... Это уж сколько лет-годов. Волки нас одолели... Спасу от них нет. На той неделе прямо возле двора, еще светло было. Пришел, зарезал козу. Собаки лают, я шумлю, палкой на него: «Кыш-кыш». А он и не глядит... Пока не нажрался.

Про двуногих «волков» рассказывает Любаня с горечью, со слезой, потому что это для нее — жизни крушение. Хутору пришел конец. Как доживать старому человеку? Любаня, надеясь лишь на себя, довела свое поголовье крупного скота до восьми голов. Каких это трудов стоило!.. Бабы руки. Но как еще денег заработать, чтобы хатку купить в станице.

Вырастила восемь голов. Уже хотела продать. Но ее опередили: угнали, украли весь скот. «Волков» нашли. Они из соседних уже не хуторов, но аулов. А оттуда, по кавказским обычаям, выдачи нет. И никакие суды не помогут.

Вот и рухнуло все. Теперь здесь придется доживать, сколько бог даст. Тянет всякий хлам с пепелищ. Авось пригодится.

На другом конце хутора подворье Валентина Степановича Косогорова: домик, огород, корова. Невеликая пенсия, и никаких надежд. Уехать некуда и не на что. Потому он не больно разговорчив: курит, ругает власти, машет рукой.

Поодаль, за речкой, стоит домишко Николая Крачковского. Он был механизатором, даже техникум кончал. Пятьдесят лет. В кармане — пусто. Податься некуда. Перешла к нему в дом шестидесятилетняя Надежда Горелова, она совсем на отлете жила. Теперь бедуют вдвоем.

Вот и все жители еще недавно людного хутора — Большая Голубая.

Есть еще семья Дьяченко, единственная из киргизских переселенцев. Но они нынешним летом купили дом в райцентре. Переедут туда.

А еще — чеченцы. Хамзат Брачешвили уже лет двадцать живет здесь. Руслан Дадаев в этой округе родился, вырос. Он был последним управляющим от «Сельхозводстроя» на Большой Голубой. Работал недолго, но когда все кончилось, то остатки немалого имущества — техника, помещения, скот — оказались в его личном владении. Видимо, выкупил. И сказал: «Здесь теперь все мое, даже любой ржавый гвоздь».

Часть животноводческих ферм Дадаев разобрал и увез в станицу. Там он достраивает дом. На Большой Голубой у него гурт крупного рогатого скота: 300 ли, 500 голов... Кто их считал? Работников откуда-то привез, две семьи. Бедолажные, нерусские, вроде из Дагестана.

Вот и вся жизнь Большой Голубой. Чтобы купить муки, крупы, других харчей, надо нанимать машину и ехать в станицу за 50 километров. Машина у Дьяченко, пока не уехали. 300 — 400 рублей отдай. А какого-либо попутного транспорта нет. Сюда редко кто забирается. И зачем? Электричества на хуторе порой не бывает месяцами. В этом году целую линию столбов спилили и увезли хозяйственные люди. Правда, их отыскали, потому что они не больно и прятались. Связи телефонной зачастую нет. У Любани в прошлом году умер кто-то из родных в Волгограде. Телеграмма шла долго. Любаня, слава богу, успела на девятый день. А вот из Германии родственники успели с покойным проститься. (От Волгограда до Большой Голубой — 150 километров, до Берлина — наверное, 3 тысячи.)

Такая вот жизнь на хуторе, где еще недавно хлеб растили, пасли и стригли овец, доили коров. Разводили мясной скот, лошадей. Работали, жили. Так было в XVII веке, в XVIII, в XIX и в XX.

Теперь XXI. Любаня Рожнова — на пенсию пошла. Косогоров, Горелова — тоже пенсионеры. Крачковский работал у Дадаева, тот платил скудно. Курева привезет, муки. Потом скажет: «Ты все забрал. Я тебе не должен». Сейчас, в августе, Крачковский работает у Федора Ивановича Акимова, косит сено. Но это — ненадолго. А дальше? До пенсии — далеко. До станицы Голубинской — полсотни верст. Но там и своих лишних рук много. В райцентре — та же песня. Да и куда поедешь. Здесь хоть крыша над головой.

Походил-побродил я по хуторским пепелищам. Тишина и покой. С пустыми оконными проемами — клуб, но крыша и стены целы. Бывшие медпункт и школа заперты на замок и, слава богу, не тронуты. Но кому нужны?

Двинулся я в путь. «Ферму проедешь и на правую руку, после балочки, — объясняла мне дорогу Любаня, — по-над посадкой, тама сколько лет-годов трактора ездили. По следу, по следу на правую руку, и тама — Голенская, Федора найдешь, перекажи, мол, Любаня велела...»

Сколько езжу, всем объяснениям: «Тама балочка... И на правую руку...» — им одна цена. Тем более, что тракторные следы давно заросли, а иных нет.

Ехал я, ехал, пока не понял, что заблудился. Оставил машину и стал подниматься на курган, чтобы оглядеться и, может быть, услышать голос трактора, которым косят траву. Но степные курганы сторожат безмолвие. Шелест травы под ногами, посвист ветра, стрекотанье кузнечиков. И огромный простор земли, который неволею завораживает. Стоишь и глядишь. Стоишь и чувствуешь, как душа твоя принимает этот простор и становится частью его. Ничего уже не надо, все есть: небо, земля, ветер, горчица и сладость уже переспевшей травы, негромкий посвист степной вольной птицы.

В этот летний день, порядком по степи поблужав, я все же отыскал приют Федора Акимова, в тени дубков, на взгорье, возле бывшего хутора Теплый. Обычное становье: стол, скамейки — под легким навесом; шалаш из тюкового сена, степного сенца, до одури пахучего; тут же — наковаленка, молот, куча «сегментов» травоскопки.

Случайно наткнулся я и на полевой стан Пушкиных — считай, единственных землепашцев в этих просторных краях. Отец и четыре сына. Сергей Сергеевич возился возле трактора. Вид у него не больно богатырский: небольшого росточка, худощавый, носатый. Тоже из Киргизии переселенцы. Прежде глава семейства, как говорит он, на тракторе и пассажиром не ездил. Теперь вот почти десять лет крестьянствуют: пашут, скотину держат, своя маслобойка, рушилка для проса, тракторы, автомобили, производственные помещения. Конечно, это еще — не настоящие крестьяне; но энергии и сметки хоть отбавляй. На них и держатся, слава богу. Землю Пушкины брали сначала возле станции Голубинской, где живут, потом — у Евлампиевского хутора, теперь перебрались сюда — на Крутояршину, в далекий от дома край. Ищут где лучше, добро что свободной земли нынче вволю. Но в конце концов когда-нибудь поймут, что в Задонье много веков и до них жили люди и кормились они, а порой богатели мясным животноводством. Это понимание у Пушкиных еще впереди; может быть, старшему сыну — тоже Сергею Сергеевичу — окончившему сельхозинститут и аспирантуру, наука и опыт чужой будут в помощь.

А пока слава богу, что Пушкины живы, здоровы, работают. Потому что в этой округе в 90-х годах прошлого века было много желающих «фермерствовать»: пахать ли, сеять, коней разводить. Где они нынче: Караваев, Найденов, Рукосуев, Каледин, Бударин, Коньков, Карасевич, Камышанов, братья Пономаревы, Лысенко, Чернов, Комаров... Им счету нет. И памяти о них уже нет. А Пушкины работают. Нынче у них было хорошее просо, рожь. Сейчас сеют озимую пшеницу.

От духовитой, сеном пропахшей обители Федора Акимова пытался я спуститься вниз, в долину Большой Голубой, чтобы вдоль речки, торной дорогой, ехать на Евлампиевский. Но полевая колея понемногу стиралась, словно иставивая, и наконец вовсе исчезла, затравев возле поросшей кустарником глухой балки. Пришлось назад возвращаться.

А от стана Пушкиных провожал меня хозяин, объясняя, как удобнее проехать: «Левей и левей от посадки, там колея, только вправо не бери... Левей, и там летний лагерь был для скота, от него опять левей бери. А потом...»

Поехал. И, конечно, заблудился. Потому что скотий лагерь сто лет назад был, еще при совхозе. О нем и знака теперь нет. Попал я на дорогу вовсе не езженую. Еле заметные светлые меловые колеи. А меж ними — трава выше капота машины. Помаленьку ехал и ехал. Солнце уже клонилось к далеким холмам. Вышел я из машины.

Немереный простор открывался на многие километры. Холмленая степь. Пологие и крутые курганы, глубокие балки, словно морщины на челе вековом; просторные долины, стекающие к живым и пересохшим речкам и далее — к Дону. На взгорьях — рыжие, выгоревшие от зноя травы, в низинах — луговая зелень, гущина кустарника, в местах укромных — купы одичавших яблонь да груш, знак былого жилья. Молчаливое царство земли, неба, диких трав, вечного ветра. Стоишь о времени забыв. Да здесь и нет их, часов да минут, одна лишь вечность, которую душа не вмещает, но пьет и пьет.

Вечер. Красное большое солнце лежит на холмах. Редкие высокие облака розовеют, потом смуглеют. В долине смеркается. Под кручами и в приречной густой уреме густеют синие тени. Воздух заметн холодает, волгнет, и чуется острый дух скотий от далекого ли хутора, а может, просто от века прошлого. Долго здесь жили люди. Муковнин хутор, Найденов хутор... Горячев, Митькин, Таловое... Бурова да Мужичьи балки.

Начинает быстро темнеть и здесь, на холмах. Пора пробираться к ночлегу. Звезды — огни небесные — уже загораются. До огней земных еще ехать и

ехать. Но дорога — вот она, у подножья кургана, так и бежит вместе с речкой, петляя, до Евлампиевки, до Набатова, к Дону.

Не люблю машин. Лишь терплю их, когда нужно ехать далеко. Завидую не «мерседесам», а крепким молодым ногам. Походы пешие — такая радость. Каждая пядь земли, дерево, куст, цветок ли, травинка не мимо проносятся, а встречают и провожают тебя. Разве не радость? А на машине пропылил, просвистел — и ничего не увидел, кроме дорожных колдобин.

В Набатове переночевав и оставив машину, поздним утром отправился я в поход пеший на Евлампиевский хутор и на Сухую Голубую, прихватив с собой для компании хозяйских собак Жульку и Тузика, которым на цепи скучно сидеть.

Поджарый Тузик по далекому родству вроде овчаристый, но статью тоньше, элегантнее, в кофейной короткой шерсти, молодой наш Тузик ветром летел впереди, обнюхивая и осматривая все возможные пути следования, будто старательный охранник — «секьюрити» при высоких особах, какими являлись мы с Жулькой — кудлатой коротконогой старушкой; она тоже спешила, высунув язык. Но у нее — возраст и хвори. Выйдя за околицу, мы сразу свернули с дороги проезжей, к речке. Берегом идти веселее, в тени тополей да верб, хоронясь от жаркого августовского солнца. Деревья тут старые, развесистые. Речка — обычная, степная, с глубокими омутами да заводьями. А порой с каменистыми бродами, перекатами. На первом из них, отмахав от хутора пять-шесть километров, устроили отдых, который Тузику был вовсе не нужен. Шумно воды полакав, он умчался вперед, по своим охотничьим делам. Жулька шарилась в густой сочной траве, сладко чамкала, выгрызая под корень сочный пырей; она хворает, ей надо.

По каменистой россыпи светлой водой журчала и позванивала речка; мешались на земле свет и тень от листвы и ветвей, легким ропотом отвечали высокому ветру макушки деревьев; над ними — хрустальный перезвон золотистых щуров и вовсе далекая молчаливая небесная синь. Время летнее — золотая пора.

Но расслаживаться не резон, путь наш — неблизкий. Тузик уже занудился, кружится, повизгивает, торопя в дорогу.

Оставив речку и прибрежные кущи, стали мы подниматься изволоком на Евлампиевскую гору, которая надежно прикрывает хутор от суровых зимних ветров и летних суховеев. Вернее сказать, прикрывала, потому что хутор Евлампиевский остался лишь на картах. Последним его жителем, правда не коренным, был Борис Павлович Лысенко. Четыре года назад он покинул хутор. Тогда же, по осени, кто-то спалил два пустых дома, последнее жильё хутора. И теперь с высоты кургана открывается вид приглядный: речка, прибрежная зелень, сады. Но нет ни домов, ни людей. Зеленая пустыня.

«Хутора умирают, как люди, горькой болью на сердце ложась», — строчки стихов моего земляка Николая Милованова из хутора Павловский.

Людская смерть приходит по-всякому: после долгой жизни или подкосит неизлечимая болезнь. Но можно и расстрелять или уморить голодом человека во цвете лет. Тоже — смерть. Ныне широко известно, что Россия потеряла в годы репрессий миллионы человеческих жизней. Сколько хуторов и сел погублено бездумно ли, злою силою уже в новейшие времена, не считал никто. Людские селенья, полные сил и жизни, расстреливали в упор.

Вот он, один из убиенных хуторов, — Евлампиевский, или Горюшкины. Поистине Горюшкины.

Это был огромный просторный хутор, на несколько километров протянувшийся вдоль речки Большая Голубая. Здесь разводили скот, сеяли хлеб, сажали бахчи, овощи. Овощная плантация была немалая, поливная, с чигирем; который приводил в движение верблюдов — редкость для здешних мест. Колхозная плантация лежала за речкой. На заливной земле, возле хутора, располагались свои огороды. Здесь даже без полива хорошо росла картошка, морковь, свекла, другие овощи. На всю голубинскую округу славился хутор Евлампиев-

ский своими садами. Груши, яблоки, сливы, даже виноград телегами увозили отсюда в районный центр, про окрестные хутора и станицы не говоря.

Впервые я попал на Евлампиевский в середине 70-х годов. Это было горькое время, когда многие и многие хутора и села объявляли неперспективными, с применением мер карательных: закрытие школы, медицинского пункта; бывало, электричество обрезали, чтобы скорее понял народ: власти не шутят.

Дело было в августе. Машины я в ту пору не имел, ходил пешком. Остановился возле колодца воды попить. Старинный был колодец: с журавцом, выложен диким камнем — все по-хозяйски. У колодца — всегда народ. Разговорились. Как раз в ту пору закрыли хуторские школы. И здесь, в Евлампиевском, и по соседству, в Большом Набатове. Люди ходили как пришибленные. Помню, одна из женщин сказала, вздохнув: «Через два года нас никого здесь не будет».

Признаюсь, я не поверил. И как было поверить, когда вокруг стояли дома и дома. И не какие-нибудь мазанки да землянки, а старинной постройки казачьи курени, рубленые, из дубовых пластин, порою с каменными низами, крыши — тесовые, железные. Хутор тонул в садах, в сладком запахе спеющих груш. Нарядные стояли деревья, в желтых и алых плодах.

Как тут горьким словам поверить. Они — лишь слова...

И вот год 1978-й. Старый мой блокнот. Записи еще прежними чернилами, которые долго хранят написанное. Всего лишь четыре года минуло. Хутор еще живой.

«Курган. Осень. Ветер свистит в травах. Светло и просторно. Белое нежаркое солнце.

Внизу, у подножья кургана, — колхозное гумно: желтые скирды соломы, темные — сена. Скотьи базы, овечьи. С яслями, кормушками. Баба подъехала на арбе с сеном, разложила в ясли корм, крикнула на какую-то скотиняку: „Геть-геть!“ — и уехала.

На речке утки и гуси белыми табунками. На той стороне два огромных ломтя вспаханной земли.

Ниже гумен дом под железной крышей, крашенной ярким оранжевым суриком. Возле дома — сараи, крытые и выгульные базы, забор из горбыля. В огороде мужик в синей выцветшей рубашке копает картошку. Разогнетса, поглядит вокруг, снова копает. Рядом — пустые подворья, брошенные дома. Щитовые, сборные, которые колхоз строил для переселенцев, и старинные казачьи дома-курени, крытые тесом, шифером, железом.

Спускаюсь с кургана, брожу по хутору. Он безлюден.

Вот школа, которую закрыли четыре года назад. Просторное деревянное здание, два высоких крыльца. Старинная школа, вековая. (Она сгорит через пять лет.)

Сады и сады. Развесистые яблони. На них — плоды: зеленая, крепкая крымка, которая висит на дереве до морозов; янтарная алимонка, румяное павловское, поповка. Могучие вековые груши: дули, бергамоты. Сладкие плоды, сладкий дух. Падают, лежат на земле, гниют.

Брожу по хутору. Какие дома... Хоромы. С верандами, со старинными «галдареями», где спали в летнюю жару, с чуланами, кладовыми. Еще не облезла синяя краска со ставен, дверей, еще не обсыпался мазанный ярко-желтой глиной (для красоты «мазикали») коридор. Рубленые амбары с огромными «амбарными» замками. Колодцы с деревянными да каменными срубами, с журавцами, с долблеными дубовыми и каменными колодами, в которых скот поили.

Еще стоят заборы, плетни, не щерятся стропилами крыши, но дикая трава, конопля да татарник, полонила подворья.

Тишина. Безлюдье. Словно царство заколдованное. Все осталось: дома, сады, сараи, колодцы, скамеечки у двора... Только людей нет».

Всего лишь четыре года прошло с того дня, как хутор объявили неперспективным, закрыли школу, медпункт. По «мудрым» задумкам преобразователей

население хутора Евлампиевский должно было чуть ли не строем направиться в «агродорог», то есть станицу Голубинскую, центральную усадьбу совхоза, где есть школа, больница, пекарня, водопровод и даже двухэтажные дома.

Но хуторяне, минуя станицу, подались в районный и областной города. Они рассуждали здраво: «Ныне Голубинка — центральная, а завтра — печальная. Город надежнее!» И оказались правы. Нынче, в 2002 году, в станице нет работы, а двухэтажные дома чернеют выбитыми окнами.

А на хуторе Евлампиевский и чернеть нечему. Теперь здесь зеленая пустынь, с одичавшими садами и следами былого жилья.

В начале 90-х годов, когда в стране начались перемены: развал колхозов, фермерство — на пустом уже Евлампиевском хуторе взяли землю люди приезжие: Караваев и Лысенко. У Караваева было много фантазий, поддержанных, морально и материально, властями. Замышлялось разведение лошадей, создание конноспортивной школы. «Седлает коня есаул», — сообщала областная газета. Но «есаул»-горожанин заседлал заграничный автомобиль и пропал, оставив ржаветь и гнить тракторы, строительные материалы. Борис Павлович Лысенко продержался на хуторе почти десять лет. Он пахал, сеял, разводил скотину и просил господ бога: «Мне бы хоть одного соседа...» Когда я заезжал к супругам Лысенко летней порою, Борис Павлович просил: «Через газету... сколько беженцев... Дом есть, пусть приезжают, будем работать». Жена его лишь вздыхала: «На наше место. А мы уедем. Хватит. Как волки...» В конце концов Лысенко уехали и живут теперь в райцентре.

Евлампиевский хутор как приют человеческий кончился. Один из многих.

Ухожу на Сухую Голубую. Это и речки приток, и когда-то жилье казачье. Про него и нынче вспоминает Федор Артемонович Леонов: «От Евлампиевки и аж за Грицкову балку хаты тянулись. Мы там хорошо жили». Еще один свидетель, старая Катерина Одининцева: «Быков брали в колхозе и ездили на Сухую Голубую за яблоками. Арбами возили. Такие там сады были могучие, с виноградом...»

Идем с Тузиком по руслу Сухой Голубой. Жаркое лето, исход его. Наша спутница Жулка, виновато повизжав, повернула к дому, долгой дороги не выдержав. Мы идем по сухому песчаному и каменистому руслу. Кое-где встречаются бочаги ли, омуты с темной водой. Берегут их старинные развесистые вербы. Тузик жадно лакает, а то и плещется. День жаркий. Русло прихотливо вьется. Вот здесь было подворье и здесь, напоминают куртины вконец одичавших яблонь и груш. А здесь — заливной огород.

Вчера я глядел с кургана на просторную ложбину, в которой был хутор Тепленький, потом проезжал мимо останков Найденова хутора, теперь вот Евлампиевский да Сухая Голубая, а рядом и возле — Синов лог, Картули, Лучка...

Лет десять назад в новомирском очерке «Последний рубеж» писал я, повторю и сейчас: «Каждый погибший хутор, селение — это наш шаг отступления с родной земли. Мы давно отступаем, сдавая за рубежом рубеж. Похоронным звоном звучат имена ушедших: Зоричев, Березов, Тепленький, Соловьи, Вороновский. Края калачевские, голубинские, филоновские, урюпинские, нехаевские — донская, русская земля».

Прошло десять лет. Похоронный список продолжен: Евлампиевский, Большая Голубая... А кто теперь живет в Синовском, на Калиновом ключе, на Фомин-колодце, на Осиповом, в Ложках, в Гремячем логу? Почему Светлый лог именуют Урус-Мартаном, а Камышинку — Камыш-аулом?

«Уходим. Бросаем за хутором хутор, оставляя на поруганье могилы отцов и дедов».

Внучка Трофила Аникеевича Жармелова пожаловалась: «Мы раньше ездили на могилку к дедушке, прибирали ее. А потом приехали — ровное место».

«Не провели семь ли, двадцать километров дороги... Закрыли магазин. Не захотели возить детей в школу... И вот уже разошелся хутор».

Зима 2003-го. Собираюсь на хутор, звоню. Сначала спрашиваю о дороге, малом отрезке ее, в десяток верст, который строители десятый же год никак не осият. Это вам не Московская кольцевая! У нас — по-иному, тем более что 2002 год был особенным: по-новому дела пошли, с «конкурсом», и потому вперед не продвинулись вовсе.

Слушаю, мотаю на ус:

— На Сралях не пройдешь, и не суйся. Езжай через мехдвор, но влево не бери, где мы весной застревали, а возьми на правую руку. Там получше... И в Малооголубой, когда к бараку спускаешься, напрямую не лезь, а попытай справа, там вроде... В гору поднимешься... А может, через Рыбачий...

— А чего вам везти? — спрашиваю напоследок, хотя ответ мне известен.

— Хлеба...



ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

ЮРИЙ САККОВ

*

ДВА УПУЩЕННЫХ ПОЛУГОДИЯ

Об одном краткосрочном увлечении Голливуда

Что означают эти два раза по полгода? К сожалению, даты эти — совершенно конкретные. Первые по времени полгода длились с февраля по август 1942 года. Но к ним мы вернемся позже. А пока проследим, что происходило между 13 октября того же 1942-го и 13 марта 1943 года. И выясним, кстати, почему конкретность этих дат вызывает сожаление...

Контроль Москвы необходим!

К такому выводу приходит уполномоченный ВОКСа (Всесоюзное общество культурных связей с заграницей. — Ю. С.) Бузыкин в своем письме от 13 октября 1942 года на имя председателя ВОКСа Л. Кисловой.

«Сейчас в Голливуде производится несколько картин об СССР, — сообщает уполномоченный. — Люди, связанные с производством картин об СССР, испытывают большие трудности, так как они не знают советских людей, их быта, привычек, психологии и т. д. Сценаристы, пишущие сценарии, тоже нуждаются в советах компетентного советского человека, который мог бы подметить не только неправильности в сценариях, но помог бы подсказать, как нужно правдиво отразить то или иное явление советской жизни.

Голливуд в прошлом производил только антисоветские фильмы, и сейчас, когда студии хотят делать лояльные по отношению к СССР картины, нам нужно всемерно помочь им в осуществлении этого. Следует учитывать, что, какие бы прекрасные фильмы мы ни производили в СССР, как бы энергично мы ни добивались их широкого показа в США, мы никогда не сможем нашими фильмами охватить столько же американских зрителей, сколько могут охватить фильмы, сделанные в Голливуде. Почему это так?

1. Американцы выпускают так много своей продукции, что все кинотеатры США могут снабжаться ею бесперебойно. Поэтому всякий иностранный фильм вытесняет с экрана американский, что противоречит интересам американского кино.

2. Большие кинотеатры не хотят демонстрировать фильмы с английскими надписями, так как они портят внешний вид кадров и вынуждают отвлекаться зрителя от игры актера для их прочтения.

3. Многие американцы идут в кино не только потому, чтобы увидеть новую картину, но чтобы полюбоваться на своих любимых „звезд”.

4. Картины, сделанные в Голливуде, имеют много сентиментального, индивидуально-любовного. Это импонирует вкусам американцев, поэтому театры предпочитают брать для показа не наши фильмы, а американские.

Сакков Юрий Суменович — режиссер телевидения. Родился в 1937 году в Москве. Окончил ВГИК. Автор книги «Любовь Орлова. Сто былей и сто небылиц» и многочисленных публикаций в журналах, посвященных искусству кино и киноведению. В «Новом мире» печатается впервые.

Публикуемые документы хранятся в Российском государственном архиве социально-политических исследований (РГАСПИ), ф, 17, оп. 125, ед. хр. 214.

Картины об СССР найдут широкий отклик не только в США, но и в Англии, Канаде, странах Южной Америки. Поэтому нужно шире использовать интерес Голливуда к СССР и не только помочь ему в постановке уже намеченных картин о Союзе, но и выдвинуть с нашей стороны идеи о других фильмах, помочь в составлении либретто и разработке сценариев.

Проведение в Москве конференции по американскому и английскому кино (август 1942 года. — Ю. С.) сыграло свою роль в привлечении общественного мнения Голливуда и его симпатий к СССР.

Голливуд готовит ряд фильмов на советские темы, но съемки начались только по экранизации книги Денниса „Моя миссия в Москве”. Фильм снимается в студии „Уорнер бразерс”, причем Ирскому (руководителю делегации советских киноинженеров в США. — Ю. С.) не удалось ни проникнуть в студию, ни поговорить с постановщиком фильма. Не удалось это также и тов. Литвинову во время его пребывания в Голливуде (посол СССР в США. — Ю. С.). До нас дошли сведения, что в фильме возможны антисоветские выпады, о чем было сообщено т. Литвинову для возможного дипломатического вмешательства. Однако т. Литвинову отказался это сделать и дал указание советским работникам держаться подальше от всех дел, с этим связанными. Товарищ Ирский привез только один из первых вариантов первой половины сценария. Знакомство с которым показывает, что отсутствие контроля со стороны советских людей может повести к появлению в фильме ряда сцен, искажающих историческую действительность.

Предполагается поставить также „Россия”, сценарий Л. Хельман¹ (в советском прокате фильм назывался „Песнь о России”. — Ю. С.), „Русская девушка” (по мотивам советского фильма „Фронтовые подруги”), „Сожженная земля”, „Партизаны” и др. Знакомство с этими сценариями показывает настоятельную необходимость советских консультантов для того, чтобы эти фильмы были нам пропагандистски полезны.

Консультация необходима во всем — в сценариях есть и исковерканный русский язык, и многочисленные элементы „клюквы” (самовары, бороды) и т. п. искажения советской действительности (в одном из сценариев председатель сельсовета перед приходом в деревню немцев делит население на две части — одним приказано идти в партизаны, другим — оставаться „под немцами”), и преувеличение роли Америки и симпатии к Америке в советской жизни (Калинин в фильме „Миссия в Москве” курит только американские папиросы), главный герой в фильме „Русская девушка” — американский летчик, затмевающий своими подвигами советских воинов, героиня фильма „Русская земля”, трактористка и талантливая музыкантка, влюбляется в американского дирижера, гастролирующего по СССР, уезжает с ним в Америку и т. д.).

Снег... вместо пуль

В качестве наиболее серьезного аргумента в пользу советского контроля над голливудскими фильмами о России уполномоченный Бузыкин прилагает аннотацию сценария одного из них: «Русская девушка».

«Это переделка советского фильма „Фронтовые подруги”, имевшего большой успех в США под названием „Девушка из Ленинграда”.

Внешне в американском фильме сохраняется линия „Фронтowych подруг”, характеры действующих лиц и даже последовательность действия. Только оно переносится в обстановку Отечественной войны (вместо бело-финской. — Ю. С.), и один из героев фильма — лейтенант Морозов — заменен американским летчиком Джимом Смитом. Но по существу эти, казалось бы, чисто формальные изменения исказили идею и тенденцию фильма.

¹ Лиллиан Хелман (1905 — 1984) — американский драматург. (Примеч. ред.) В ряде других случаев написание собственных имен также сохраняется в соответствии с принятым в публикуемых документах.

Во „Фронтowych подругах” Морозов попадает в госпиталь, где работает сандружинница Наташа и ее подруги, в почти безнадежном состоянии. Врач говорит Наташе, что спасти Морозова может только воля к жизни, и Наташа делает все, чтобы возбудить у Морозова стремление выжить. Она достигает цели, но Морозов влюбляется в нее. Наташа не замечает этого. Все ее мысли поглощены ее женихом Дмитрием Коровиным. Когда приходит весть о гибели Коровина, Морозов становится ясно, что Наташа не любит и не полюбит его. Они расстаются друзьями. Известие о смерти Коровина оказывается ошибочным. Он и Морозов встречаются у постели раненой Наташи по-товарищески, просто и сердечно.

В американской „Русской девушке” Смит, подобно Морозову, попадает в госпиталь в безнадежном состоянии. Он ранен во время боя, который вел на американском самолете с немецкими бомбардировщиками, бомбившими госпиталь.

Смит испытывал новую американскую машину, предназначенную для Красной Армии, когда немцы напали на госпиталь. Вступив в бой, Смит сбил два немецких самолета, но был тяжело ранен, а его спутник по полету Коровин, жених Наташи, убит.

Так же, как Морозов, Смит утратил волю к жизни. Наташа всеми силами старается вернуть ему жизненный стимул. Как и Морозов, Смит влюбляется в Наташу. Она об этом случайно узнает и сначала не верит. И хотя об этом нигде прямо не говорится, ясно, что Наташа отвечает Смицу взаимностью. „Она почувствовала себя не в силах причинить ему горе, т. к. внезапно поняла, что чувство ее к Джиму глубже и серьезнее, чем она предполагала”, — пишут американские сценаристы.

Коровин, который во „Фронтowych подругах” действует и сражается, в „Русской девушке” сведен до эпизодического персонажа. Герой фильма — Джим. Он единственный показан в бою героически атакующим (один против пяти!) вражеские бомбардировщики. Ни один советский человек не показан в боевой обстановке, атакующим, отбивающим врага. Лишь одна сцена, кроме упомянутого воздушного боя, — собственно боевой эпизод. Саперы готовятся подорвать немецкий дзот. Это очень опасное задание. Несколько кадров показывают саперов, ползущих к дзоту, Наташу, спасающую раненого, взрыв дзота. Но это действие массовое — то, что называется „батальной сценой”. Инициатива, воинское умение и знание советских людей здесь не видны. Создается впечатление, что русские храбры и преданы долгу до жертвы (отправляясь взрывать дзот, саперы-красноармейцы по приказанию командира принимают „общепринятый в армии” обряд „прощания с жизнью”, сознательно идя на смерть во имя Родины), но активных боевых действий вести не умеют, активная роль на Восточном фронте принадлежит Америке. Наташа говорит Смицу: „Спасибо, что вы приехали помочь нам!” На ящиках с динамитом, которым взрывают немецкий дзот, надпись: „Сделано в США”. А Смит пилюрует прибывший из Америки самолет и инструктирует русского летчика.

Русские готовы на любые жертвы и подвиги во имя Родины, но это все, что они могут противопоставить фашистам. Для активных действий, для разгрома фашистов нужны американские самолеты, боеприпасы и Смиты в качестве инструкторов.

Эта идея о военной беспомощности русских особенно ярко выступает в двух следующих эпизодах. Машина, эвакуирующая раненых, идет по горной дороге. Внезапно начинается снегопад. Девушки-дружинницы и раненые бурно радуются этому событию. Все эти восторженно поющие девушки думают о том, как благословенный снег поможет России изгнать врагов... „Снег — это пули по немцам!” — в восторге кричит Тамара, одна из дружинниц.

Второй эпизод происходит в госпитале. Характерно, кстати, что советские бойцы показаны лишь ранеными или выздоравливающими. Один из больных, раненый красноармеец, восклицает, полный ненависти и презрения к врагу: „Будь они прокляты! Не они одни могут убивать! Когда я вернусь на фронт, я

проткну штыком их грязные глотки, я вырву им горло!» Он вскакивает на ноги и поднимает руки, будто готовясь нанести удар... Но у него нет рук!

Ненависть к врагу, воля к борьбе, но НЕТ РУК...»

Никуда не спешащий ВОКС

Письмо Бузыкина, напомним, написано 13 октября 1942 года. Казалось бы, куй железо, пока горячо, пока американцы не остыли к советской теме. Тем более после Сталинградской битвы: она уже не позволит им изображать русских только как героических, но неумелых воинов, которые могут противопоставить врагу лишь жертвы и подвиги во имя Родины. Шестисоттысячную группировку врага только жертвами и подвигами не окружают!

В любом случае в Москве должны бы тут же ухватиться за столь неожиданную тенденцию Голливуда и выжать из нее все возможное.

...Но только полгода спустя, 13 марта 1943 года, та, кому адресовано столь озабоченное письмо Бузыкина, председатель ВОКСа Л. Кислова, дает ход этому делу и обращается с «секретным» письмом к начальнику Отдела пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) Г. Александрову:

«Во исполнение плана работы ВОКСа на 1943 год вносим на Ваше усмотрение следующее предложение:

В Голливуде, по сообщению уполномоченного ВОКСа Бузыкина, на 1943 год намечено 8 — 10 фильмов об СССР. Ряд фильмов (экранизация книги Дэнниса „Миссия в Москве“) уже находится в производстве. Учитывая огромную пропагандистскую силу американского кино (если фильм идет большим экраном, его смотрят 30 — 40 милл.), созданные в Голливуде фильмы об СССР могли бы стать одним из наиболее мощных средств нашей пропаганды.

Однако эти фильмы могут быть полезной для нас пропагандой только при условии советского контроля над сценариями и производством фильмов. В этом убеждают и просмотренные в ВОКСе сценарии некоторых фильмов. Вот один из них, наиболее характерный в этом смысле.

<...> Его авторы П. Фрико и Р. Коллинз, начинают сценарий с конца: только что вернувшийся из воюющей России крупнейший американский дирижер Джон Мередит дает концерт в Карнеги-Холл. В программе — произведения русских и советских композиторов. Весь сбор идет в фонд помощи России.

<...> Аудитория Карнеги-Холл переходит в толпу в московском аэропорту полугодичной давности. Июнь 1941 года. В Москву прилетел Джон Мередит в сопровождении антрепренера Ханка. Он совершит гастрольную поездку по СССР.

Среди встречающих Мередита восхищенных зрителей — трактористка Надя, которая одновременно учится в музыкальной школе. Она приехала, чтобы добиться согласия Мередита дать концерт в селе Чайковское, на колхозном музыкальном фестивале. Мередит не имеет такой возможности, он полностью загружен. Однако Надя, с ее великолепными музыкальными способностями, производит на него большое впечатление. Но Надя внезапно уезжает в Чайковское. Влюбленный Мередит следует за ней и попадает в село в разгар весеннего сева. Наконец после долгих споров, сомнений и переживаний Надя соглашается стать женой Мередита и уехать с ним в Америку. После свадьбы (в церкви!) супруги отправляются в концертное турне.

Война застает их в Керчи. Надя хочет немедленно возвращаться в Чайковское. Мередит возмущен этим, заявляя, что он бросит концерты и поедет за ней. Он считает, что Надя должна остаться с ним. Возражения Нади о том, что каждый из них ЛИЧНОСТЬ и каждый поэтому должен занять соответствующее место, воспринимаются Мередитом как личная обида, и Надя наконец сдастся.

В конце спора они слушают речь Сталина (знаменитую речь о „выжженной земле“, которая должна достаться немцам в оккупированных ими районах. — Ю. С.). Сталин говорит, Надя переводит его Мередиту.

Мерedit говорит Ханку: „Мы продолжаем турне, но одни, Надя возвращается домой”.

Мерedit продолжает концерты по охваченной войной стране. Тур закончен, но Мерedit не хочет уезжать в США — он обещал дать еще один концерт в селе Чайковском. Его удерживает представитель Комитета по делам искусств, его не пускают в Чайковское, и Мерedit в отчаянии. Американское посольство ничем не может ему помочь. Но его выручает Ханк, который приносит ему командировку от Союза композиторов.

Мерedit попадает в Чайковское в момент наступления немцев — село окружено, колхозники сжигают урожай, разбивают машины. Здесь дан чрезвычайно сильный эпизод — прощание старого колхозника Степанова с трактором, который он должен уничтожить: „Когда я был мальчишкой, отец использовал меня как тягловую силу, так же как мою мать и сестренку. Мы впрягались в плуг, и наши кости трещали. Когда пришла революция, я подумал: теперь я заживу как дворянин — каждый день буду есть мясо, и ботинки у меня будут, как розы (?). Но все это было не так просто. Чтобы купить тебя (трактор. — Ю. С.), мне все-таки пришлось ходить без ботинок... И кушать щи три раза в день, и я работал, как собака, с утра до ночи... Только так мы смогли приобрести тебя... А теперь, когда ты начал приносить пользу, я должен превратить тебя в бесформенную массу. Теперь, когда мы стали жить как люди, я должен уничтожить тебя! Почему мир не оставляет нас в покое?”

Колхозники формируют партизанские отряды, и Мерedit заявляет, что он остается. Надя доказывает ему, что он не прав: „Сталин тоже хотел бы быть на передовой линии фронта. И Шостакович тоже. Но они полезнее там, где находятся. Если ты останешься здесь, будет одной винтовкой больше. Но если ты уедешь, твоя музыка вдохновит на подвиги миллионы”.

В это время налетают немецкие бомбардировщики. Надя должна поджечь урожай. Она бежит по открытому полю. Выстрелы из пулемета — и Надя падает навзничь. Она умирает. Мерedit подымает выпавшую из ее рук головешку и поджигает урожай. Вместе со всеми Мерedit повторяет слова партизанской присяги...

Фильм заканчивается концертом в Карнеги-Холл. Мерedit дирижирует. Буря аплодисментов. Слушатели требуют выступления Мерeditа. „Говорить нечего, Америка и Россия — союзники и друзья. Вместе мы одержим победу и выиграем мир!”

Сценарий сделан очень квалифицированно, с прекрасным знанием материала и даже мелочей советского быта. Тем важнее отметить проходящую красной нитью мысль об огромной роли Америки в войне советского народа. Все американское всячески подчеркивается. Надя и Джон гуляют по парку культуры и видят афишу Чаплина. Надя спрашивает Джона об Америке.

Джон. Это большая страна.

Надя (*подразнивая его*). Но не такая же большая, как Россия.

Джон. Такая большая, какой она захотела быть. Если бы Америка захотела быть такой же большой, как Россия, она стала бы такой.

...Мерedit дает последний концерт. Выступает председатель Комитета по делам искусств Фрумкин со следующей речью:

— Четыре трудных месяца ездил г-н Мерedit из города в город, отдавая свой гений нашему народу. Когда нацистские варвары напали на нас, мы предложили г-ну Мерeditу расторгнуть контракт. Но он остался. Он сказал, что надеется, что его музыка будет маленьким вкладом в наше дело. Я хотел бы сказать г-ну Мерeditу, что его вклад не маленький, а огромный. Я хочу сказать, что мы ставим его музыку наравне с танками и самолетами, которые уже начали (в сентябре 1941-го? — Ю. С.) доходить до нас из его замечательной родины. Я хочу сказать ему, что мы защищаем не только наши дома, но музыку и культуру, которую он представляет.

Этот же Фрумкин, отговаривая Мерeditа от поездки в Чайковское, возмущен тем, что Надя остается и не хочет ехать в Америку. Он заявляет: „В

конце концов, она жена Джона Мередита!" Последние слова умирающей Нади таковы: „Когда ты вернешься домой, ты должен играть... Ты должен говорить... Скажи своим соотечественникам, что мы их друзья, что мы не грустные..."

Исход внутреннего конфликта Нади и Джона — спор о том, кто ГЛАВНЕЕ, который, казалось бы, разрешается в пользу Нади-СССР, так как Джон остается и приезжает в Чайковское, — тоже символичен. Надя умирает, а Джон остается жить, возвращается в Америку, дирижирует, побеждает...

Таков лучший на сегодняшний день американский сценарий о России.

Но разве не станет эта и другие американские картины еще лучше, если их проконсультируют, а если нужно, и поправят наши компетентные представители?

Вопрос о работе в Голливуде назрел и потому, что Литагентство при ВОКСе продолжает получать ряд запросов на всемирные права таких произведений, как „Падение Парижа" И. Эренбурга, „Машенька" Афиногенова, „Рузовский лес" Е. Финна, „Белые мамонты" С. Полякова.

Принимая вышеизложенное во внимание, считаем необходимым созвать в ЦК ВКП(б) совместно с Комитетом по кинематографии и Союзом советских писателей совещание писателей и сценаристов. На котором поставить информацию об интересе в Голливуде к Советскому Союзу и обсудить практические возможности по написанию специальных сценариев для Голливуда.

В случае Вашего принципиального согласия ВОКС подготовит для этого совещания все необходимые информационные материалы и разработает темы сценариев.

Жду Ваших указаний.

И. о. Председателя правления ВОКС

Л. Кислова».

Малый Гнездиновский — на бульваре Сан-Сет?

Характерно, что все, что предлагает Кислова, делается только «в исполнение плана ВОКСа на 1943 год», а не потому, что в этом еще вчера назрела необходимость. Разве тяга американцев к русской тематике возникла «во исполнение плана Голливуда на 43-й год»? Но в СССР все плановое, даже сотрудничество с Голливудом в просоветской кинопропаганде.

Тем не менее на столь экстравагантное предложение, как написание советских сценариев для Голливуда, Г. Александров дает, видимо, согласие, и уже 22 марта 1943 года составляется:

«План совещания сценаристов в ВОКСе:

1. Информация представителя „Фокса" (Либензон) о повороте американской интеллигенции к Советскому Союзу и советской культуре под влиянием борьбы Красной Армии.

а) В частности, эволюция крупнейших деятелей американского кино в сторону активной симпатии к СССР (Чаплин)».

Не знаем, конечно, как тов. Либензон характеризовала «советскую» эволюцию Чаплина, но подобную эволюцию известного американского писателя Альберта Мальца она подвергла немалым, судя по информации ВОКСа на этот счет, сомнениям:

«Сценарий Альберта Мальца „Сыновья 'Потемкина'" представляет собой, как об этом говорит особый титр в начале картины, модернизацию классического фильма С. Эйзенштейна „Броненосец 'Потемкин'"».

<...> Сюжет фильма несложен. Осенью 1941 года один из отрядов рабочего ополчения Одессы получает задание остаться за линией фронта наступающих немецких войск. И в назначенный час поддержать с тыла атаку Красной Армии. В ожидании назначенного времени отряд расположился в полуразрушенном здании школы, где командир группы Николай рассказывает собравшимся о восстании на „Потемкине". Весь рассказ занимает 4/5 сценария и проходит на слегка переозвученных (перемонтированных, наверное, ибо кар-

тина немая. — Ю. С.) кадрах из фильма Эйзенштейна. Рассказ окончен, раздаются выстрелы, шум начавшейся красноармейской атаки, бойцы отряда выбегают из школы и идут выполнять задание.

«„Сыновья 'Потемкина'» — не первый опыт построения американского фильма из советских кадров. В этом сценарии можно найти и отражение того голода на советские киноматериалы, который существует в США. Встречаются такие авторские ремарки: „Я чувствую, что придется срезать половину этих кадров (из 'Потемкина'). Они были потрясающими в 1925 году, потому что были новыми. С тех пор Голливуд слишком часто им подражал. И это будет очень скучно”.

Основная идея фильма заключается в том, что теперешняя борьба советского народа с фашизмом — есть продолжение борьбы русских революционеров с царским режимом за свободу и демократию. Ее выражает герой фильма, Николай, говоря: „Почему я сражаюсь? Чтобы не вернулось прошлое”. Петр (*не поняв*): „Прошлое?” (советское, значит?!). Но Николай дипломатично обходит непонимание Петра: „Да, прошлое, о котором вы только слышали. Ты думаешь, что можешь представить, на что была бы похожа жизнь при фашистах? Но мы, старики, узнали об этом кое-что на собственной шкуре. Потому что нам пришлось жить под властью наших собственных фашистов”.

Автором сценария не случайно взята революция 1905 года, буржуазно-демократическая, а не революция 1917 года. Хотя по ситуации это было бы естественнее. Но это дает А. Мальцу возможность формулировать лозунги восставших чернофлотцев в привычной для американца демократической фразеологии. В подтексте все время проводится идея, что борьба черноморцев (а следовательно, и Красной Армии, так как преемственность здесь все время подчеркивается) есть борьба за демократию, уже давно завоеванную западными народами. „Россия была большой тюрьмой, — говорит командир отряда 'потемкинец' Николай, — но даже царь не мог держать нас в заключении долго. Мы хотели свободы, которой обладал французский народ, английский, американский”. И в другом месте: „Настанет русская республика. Мы будем свободным народом в свободной стране, как народ Франции, Америки, Англии”.

Очень большое количество срывов (в их числе заглавие, помимо воли автора звучащее двусмысленно) в изображении слов русской истории дает основание предположить, что такая концепция возникла не случайно, а явилась следствием сознательной пропагандистской обработки на американский лад советской темы.

Следует, правда, отметить живость и остроумие языка сценария, который вряд ли можно достигнуть при переводе его на русский».

По поводу чего собранные на совещание сценаристы-профессионалы, видимо, искренне сожалеют...

Впрочем, вернемся к тому, как тов. Кислова планирует дальнейшую информацию ее представителя на совещании.

«б), — продолжает она перечень ее тезисов („а”, как помним, — эволюция Чаплина), — большой интерес в Голливуде к фильмам на советскую тематику».

И в подтверждение этого тов. Либензон зачитывает, видимо, выдержки из газеты «Ивнинг стар»:

«Вы этого, конечно, не заметили, но тем не менее Голливуд открыл второй фронт. Открыл его с помощью магии оптических стекол и кинотрюков.

Чародеи по военным делам в киностолице не столкнулись с серьезными проблемами, которые мучают военных экспертов Объединенных наций при составлении плана помощи сражающейся России. В Голливуде чародеи просто отдали приказ, и — гляньте! — второй фронт открыт всего за несколько часов. Голливудский второй фронт — это русский фронт. Действия на этом фронте развиваются в таком темпе, что в первые месяцы 1943 года фильмы на советскую тематику будут преобладать на наших экранах. Для того чтобы высадить десант на каком-нибудь намеченном берегу Голливуда, нужно только иметь

правильное описание этого берега. Киноразведчики прочесывают окрестности в поисках похожей местности, а если таковую найти не удастся, маги и чародеи ударом бича вызывают на сцену поразительно схожий макет такой местности. Следующий шаг — подборка актеров на главные роли. Тамошние ребята поставят под ружье целую армию, и десант будет проведен раньше, чем у всех занятых на съемке работников начнутся сверхурочные часы.

...Кажется, всего только несколько недель назад в Голливуде с легкой душой высмеивали Советский Союз. Все, что касалось России, должно было быть смешным. Вспомните хотя бы такие фильмы, как „Ниночка” с Г. Гарбо в главной роли (фактически пародия на александровский „Цирк”. — Ю. С.) или „Товарищ Экс” с Габль и Ламарр.

Что же происходит теперь? Великолепное сопротивление нашего русского союзника поставило его на одно из первых мест в голливудском списке тем.

Сейчас буквально все ринулись снимать кино, в котором серьезно и с достойным уважением рассказывается о советской стране.

Открыла сезон фирма „Уорнер бразерс”, купившая права на экранизацию сверхходовой книги бывшего посла в России Джозефа Денниса „Миссия в Москве”.

Э. Колдуэллу, автору четырех книг о России, был заказан киносценарий по этим книгам, который будет экранизировать Роберт Бакнер, корреспондент лондонского „Дейли мейль” в Москве в 34 — 35 гг. Фирма „Метро-Голдвин-Майер” разрабатывает планы фильма „Выжженная земля” (цитируя, опять же, призыв И. Сталина. — Ю. С.), прославляющего самопожертвование советского народа, который встретил гитлеровское нашествие своей собственной тотальной войной.

По последним данным, МГМ стирает пыль с полки, на которой несколько месяцев пролежала без движения картина „Песня о Красной Армии”. „20-й век Фокс” объявила недавно выпуск фильма „Дорога в Москву». Так же, как роман, приобретенный МГМ, этот фильм повествует о русских партизанах и великой битве, которую они ведут в тылу врага.

Следует учесть, что упор в партизанскую тематику объясняется не только привлекательностью ее экранизации с точки зрения зрительной. У партизан нет танков и самолетов типа принятого на вооружении в Красной Армии, к которым привыкли американские зрители. В Голливуде их тоже нет. Отсюда и партизаны, оружие которых настолько же легко приобрести, насколько оно примитивно.

<...> Фирма „Рипаблик” снимает фильм „Те, кто громят фашистов”, который почти переносит зрителей в Россию. Тема этого фильма, рассказывающая об американском конвое от США до Мурманска, — острая потребность сражающейся Красной Армии в боеприпасах. Но действие фильма оканчивается, когда конвой приходит в Мурманск.

„Двор нашей студии, — заявил один из чиновников 'Рипаблик', — не подходит для воспроизведения русского пейзажа. Поэтому, чтобы снимать сухопутные сражения, мы ждем, когда война передвинется в Турцию. Наш двор носит явный отпечаток чего-то турецкого”.

<...> Из крупных фирм только „Парамаунт”, „Коламбия” и „Юниверсал” не имеют в своих планах фильмов на русскую тематику. Но кто может поручиться, что Абоут и Кастелло или Боб Хоук и Бинг Кросби через месяц-другой не станут в своих картинах снимать самовары».

Можно представить, как смешила советских «классиков» (кроме разве И. Эренбурга, не вылезавшего из Европы) совершенно непривычная для них «развязность» американской прессы. И одновременно как импонировало мало кому из них доступное им умение говорить с юмором о самом важном.

Впрочем, последний раз вернемся к кисловскому плану совещания писателей в ВОКСе:

«1. Краткий обзор уже написанных американских сценариев на советские темы. (Момент американской пропаганды в этих сценариях, увеличение роли „генерала-зимы” в успехах Красной Армии, беспомощность русских и роль

Америки в боевых операциях.) Необходимость использования интереса к советской тематике в Голливуде при создании советских либретто и сценариев для экранизации их в Голливуде и громадные пропагандистские возможности этой работы.

2. Обсуждение и утверждение плана сценариев.

3. Создание Бюро из представителей ЦК ВКП(б), ВОКСа и Комитета по делам кинематографии для централизации работы над сценариями для Голливуда.

И. о. Председателя правления ВОКСа

Л. Кислова».

Тут же приложен внушительный — цвет, можно сказать, советской литературы! — список приглашенных на совещание писателей и сценаристов.

«Писатели:

М. Шолохов, К. Симонов, А. Корнейчук, В. Василевская, И. Эренбург, А. Фадеев, Л. Гроссман, Л. Леонов, К. Финн, А. Арбузов, Ф. Гладков.

Сценаристы:

Е. Габрилович, Е. Помещиков, Е. Виноградская, И. Прут, М. Блейман, М. Большинцов, П. Павленко, А. Довженко, В. Кожевников».

Здесь же список предполагаемых тем сценариев:

«1. Экранизация лучших произведений советской литературы:

а) „Падение Парижа”.

б) „Дом без номера” (чье это „лучшее произведение”? — Ю. С.).

2. Биографический фильм о героине Отечественной войны Зое Космодемьянской (вскоре сняли сами, без Голливуда. — Ю. С.).

3. Фильм о патриотах Урала (тоже сняли — „Простые люди” Г. Козинцева и Л. Трауберга, — но, раскритиковав в постановлении ЦК вторую серию фильма „Большая жизнь”, не выпустили на экран. — Ю. С.).

4. Фильм о боевом командире Красной Армии.

5. Фильм о медсестре.

6. Жизнь одной семьи.

7. Музыкальные фильмы:

а) „Ленинградская симфония”.

б) Путь композитора или исполнителя (Сталинского лауреата)».

То есть переваленный практически на плечи Голливуда тематический план советского кинематографа. Не проще было бы советским кинематографистам не ютиться в провинциальных студиях Ташкента и Алма-Аты, а целиком перебраться в Калифорнию и там, без неизбежной в американских картинах «клюквы», все это снять? Собственно, такая бредовая идея тогда действительно витала в воздухе. «Дело дошло до того, — докладывали прознавшие про это органы НКВД, — что одна группа (не назвали, слава Богу, какая и спасли уважаемых, видимо, даже ими мастеров экрана. — Ю. С.) подала в Комитет кинематографии предложение уехать в Америку и делать советскую кинематографию оттуда».

Все зависит от М. Калатозова

На совещании в ВОКСе было зачитано и такое сообщение вернувшегося из США Ирского:

«Учитывая огромную пропагандистскую силу американского кино (10 милл. зрителей ежедневно), все страны, кроме СССР, имеют своих представителей в Голливуде. Английский представитель проводит громадную работу, и Голливуд уже выпустил ряд английских фильмов. А когда на экраны США вышел фильм „Это превыше всего”, содержащий критику английской демократии, английский представитель сумел добиться того, что он прошел лишь на второстепенных экранах. Даже представитель Франко не без успеха подвигается в Голливуде. В частности, он добился того, что задержал выпуск фильма о борьбе испанского народа по роману Э. Хэмингуэя „По ком звонит колокол” <...>».

— Безобразия! — возмутились, видимо, участники совещания. — Страна, к событиям в которой Голливуд особенно равнодушен, не имеет в нем своего представителя! И решили (не без ЦК партии, конечно) немедленно отрядить в Калифорнию в качестве такового кинорежиссера М. Калатозова.

А собравшиеся на воксовской сходке писатели готовы были хоть сейчас завалить Голливуд своими предложениями. Но проходит еще три месяца, прежде чем на этой их готовности тот же Г. Александров ставит резолюцию:

«Разрешение этого вопроса отложено (в ЦК, конечно. — Ю. С.) до тех пор, пока наш представитель в США режиссер М. Калатозов не ознакомится на месте с потребностями советских сценариев и не информирует нас по этому вопросу. Часть сценариев (наспех написанных после совещания. — Ю. С.) тов. Калатозов повез с собой в США.

1 июля 1943 года».

Дорого можно было бы отдать за возможность ознакомления с отвезенными Калатозовым в Голливуд предложениями. Как и за то, насколько детально ознакомил Москву будущий автор ленты «Летят журавли» с потребностями Голливуда в советских сценариях и устроило ли американцев то, что он им привез.

Как бы то ни было, деятельность Голливуда по производству фильмов о России (шедших по крайней мере на советском экране) ограничилась, насколько нам помнится, двумя картинками: «Северной звездой» и «Песней о России» по сценарию Л. Хелман. Ни один из прочих фильмов, о работе над которыми сообщал Бузыкин, — «Миссия в Москву», «Русская девушка», «Сожженная земля» и др. — не был, видимо, доведен до конца, или они осели на пыльных, как писала «Ивнинг стар», полках сделавших их студий.

Если бы со скоростью Сталина

Трудно, конечно, судить об истинных причинах такой голливудской «неисполнительности», но одной из них наверняка стали те долгие полгода, пока Москва в лице ВОКСа и других организаций раскачивалась, прежде чем придать голливудским симпатиям к советской тематике нужное ей пропагандистское направление. И тут, для объяснения такой московской «неповоротливости», мы обращаемся к другому «полугодию», о котором заявили вначале, — с февраля по август 1942 года.

О нем рассказал в феврале 1943-го тот же руководитель делегации советских инженеров в Голливуде Г. Ирский:

«Советская хроника приходит в США с огромным опозданием. Особенно характерна история с фильмом „Разгром немцев под Москвой“. В январе 1942 года он вышел на советский экран, и в США было передано сообщение, напечатанное в „Правде“ и в „Известиях“, что копия фильма отправлена в Америку. Сообщение вызвало в США громадный интерес. Крупнейшая студия „Коламбия пикчерс“ решила показывать фильм в лучших кинотеатрах. Фирма брала на себя все расходы и шла на любые условия, выставив со своей стороны только одно: получение фильма не позже февраля.

Картина, однако, не была получена ни в феврале, ни в марте, после чего интерес к ней упал. Премьера фильма состоялась только 15 августа! Зимний фильм пришел летом и вследствие этого прошел на второстепенных экранах, потеряв миллионы зрителей».

Надо, однако, отдать должное американцам: они сделали документальный «Разгром немцев под Москвой» первой советской картиной, удостоенной «Оскара». Но и «Оскар» не утешает, когда думаешь о том, как эти полгода отечественной, столь чреватой в условиях войны, неторопливости похожи на полгода, которые отделяют сообщение Бузыкина из Америки от действий его шефа Кисловой в Москве.

Не эти ли полгода стали причиной того, что из восьми — десяти фильмов, которые американцы задумали о России, они, не замечая особого интереса

тех, кому эти фильмы посвящались, осуществили только два? И как, наверное, потом М. Калатозов ни воодушевлял своих заокеанских коллег на возобновление интереса к войне в России, как ни расписывал им прелести привезенных им из Москвы и присланных вслед советских «голливудских» сценариев, американцы, как всякие спонтанно увлекающиеся люди, уже остыли, и момент дальнейшей «советизации» Голливуда был безвозвратно упущен. А не нужного, видимо, за океаном М. Калатозова вернули в Москву и сделали аж начальником Главка по производству художественных фильмов Комитета кинематографии.

...И все это при том, что Сталин, когда ему захотелось в 1942 году с помощью комедии «Волга-Волга» с ее «Америка России подарила пароход... но ужасно, но ужасно, но ужасно тихий ход» намекнуть Ф. Рузвельту на совершенно непозволительную затяжку с открытием второго фронта, сделал это, по сравнению с той же Кисловой, моментально. На следующий день после того, как побывавший у Сталина специальный помощник Рузвельта Г. Гопкинс вылетел из Москвы на родину, копия «Волги-Волги» оказалась в просмотровом зале американского президента.



ВРЕМЕНА И ПРАВЫ

ЮЛИЯ УШАКОВА



АТИПИЧНАЯ РЕЛИГИОЗНОСТЬ В ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИИ

До недавнего времени наше общество имело весьма смутное представление о сектах. Когда речь шла о русском дореволюционном сектантстве, понятие «секта» прилагалось к религиозным группам, которые некогда откололись от Православной Церкви, что с точки зрения ее догматики является «ересью» — учениями, расходящимися с церковным Преданием. Логично было бы предположить, что для коммунистической идеологии «опиум народа» одинаково вреден в любой упаковке: будь то ортодоксия (Православие) или ересь. Однако отношение к сектантам за семьдесят лет советской власти резко колебалось вместе с колебаниями линии партии. Эта кривая линия вычерчивалась не по доктринальному принципу, а по беспринципному постулату «цель оправдывает средства».

О печальном романе большевиков с сектантами в 20-е годы сегодня широкая публика слабо осведомлена. Совершим краткий экскурс в прошлое. Сектантство на территории России возникло давно: уже в XII веке в Киевской Руси известна секта богомилов, в XIV — стригольников, в XV веке в Новгороде появляется так называемая «ересь жидовствующих», но относительно заметным явлением русской жизни сектантство становится в конце XVII — начале XVIII века, когда из среды раскольников выделились две секты, отличающиеся ярко выраженным асоциальным и изуверским характером, — хлысты и скопцы. Затем стали появляться и другие секты. Длительное время имперское правительство пыталось «локализовать» и изолировать это болезненное явление народной жизни, прибегая к жестким репрессиям по отношению к сектантам (аресты, ссылки). Логика действий правительства в отношении сект диктовалась преимущественно прагматическими соображениями. Так, имперская элита могла одновременно ассимилировать «наиновейшие» идеи, идущие с Запада (вольтерьянство, масонство) и жестко поддерживать вероисповедную однородность на территориях, заселенных православными¹.

Начиная со второй половины XIX века позиция правительства в отношении сект становится дифференцированной, определяясь степенью лояльности последних по отношению к государству и обществу. Дело в том, что для значительной части русских сект был характерен религиозный нигилизм, то есть отвержение государства, общества, светских законов и даже религиозных заповедей как утративших силу для тех, кто имеет «личное озарение». Вот что, к примеру, заявляли сектанты-духоборы: «Никакой земной власти не признаем... Всякую организацию, установленную насилем, почитаем незаконною; такова

Ушакова Юлия Вячеславовна — лингвист, педагог, церковный публицист. Окончила Воронежский педагогический институт; кандидат филологических наук. В настоящее время преподает сектоведение и сравнительное богословие в Воронежской духовной семинарии; выступает со статьями в журналах «Альфа и Омега», «Новая Европа», «Исторический вестник» и др. изданиях.

¹ К чему приводит утрата этой однородности при единой этнической основе, демонстрируют недавние события в бывшей Югославии, где сербы-мусульмане и сербы-православные взаимно истребляли друг друга, и перспектива на их мирное сосуществование пока не просматривается.

власть земная и человеческие установления, законы; повиноваться им не желаем, они учат людей убийству... Земля — Божия; она создана для всех равно... У христиан все должно быть общее, ни у кого своего ничего нет... Отечества на земле не знаем... стремимся к отечеству небесному, а земным не дорожим и охранять его не хотим»².

Подобные установки делали сектантов естественными союзниками революционеров всех мастей (народников, анархистов, социалистов). К этому альянсу частично примыкали и сектанты, не исповедующие радикально нигилистические верования: баптисты, штундисты, адвентисты седьмого дня (последние появились в России с 90-х годов XIX века). Эти сектанты надеялись, что смена государственно-политической системы позволит им расширить сферу своего влияния и вытеснить в конечном итоге Православную Церковь на обочину общественной жизни. Соблазн был велик, но соблазнитель был намного умнее и сильнее в закулисных играх. Ленин в своей известной книге «Что делать?» обращал внимание на то, что сектантами необходимо *воспользоваться* — как их настроениями, так и фактами их преследования со стороны властей. Воспользовались умело. На II съезде РСДРП была принята специальная, написанная Ульяновым-Лениным, резолюция о необходимости социал-демократической работы среди «вольнлюбивого» сектанства, а вскоре стал издаваться особый «социал-демократический листок для сектантов» — «Рассвет».

Точную численность сектантов дореволюционной России установить трудно. Согласно данным переписи 1897 года, общее число раскольников и сектантов составило 2 137 738 человек. Радикалы считали, что в России не менее 6 миллионов только одних сектантов³. Цифра, очевидно, весьма завышена, но если учесть значительный прирост баптистов после правительственного манифеста 1905 года, организационное оформление адвентистов седьмого дня (Всероссийский Союз с централизованным управлением), появление пятидесятников («христиан веры евангельской»), то можно предположить, что число сектантов (за исключением старообрядцев) могло превышать миллион. Израильский советолог Михаил Агурский отмечает, что русские сектанты внесли «свою лепту в процесс разрушения „старого мира“, носивший для них мистический характер»⁴.

О своих революционных заслугах сектанты напомнили большевикам в 1925 году. В газете «Безбожник» (!) было опубликовано открытое письмо под названием «Социально-революционная роль сектантства»⁵. Письмо подписали руководители крупнейших сектантских общин России, и адресовано оно было ВЦИК, на предмет получения от большевистской власти льгот для сектантов.

Придя к власти, большевики использовали сектантство прежде всего в борьбе с Православной Церковью. По замечанию того же Агурского, «гонения на церковь, начавшиеся после Октября, нельзя списывать на одних лишь большевиков, которые были их инициаторами. В них проявлялась также долго удерживаемая ненависть сектантской России к Православия»⁶.

Секты, практиковавшие общинную жизнь, в начале 20-х годов были включены в план «социализации села». При Наркомземе была создана даже специальная комиссия для устройства сельхозкоммун и образцовых колхозов из числа сектантов — «Оргкомсект». Религиозные радикалы демонстрируют большевикам-атеистам свое полное одобрение. Так, члены молоканской коммуны «Новая жизнь» пишут в Центральный Совет секты в марте 1925 года: «Коммуна просит, чтобы Советскую власть поддерживали всеми силами и средствами... Ибо власть Советов поставлена и утверждена самим Богом. Партию большевиков-коммунистов считать благословенной Богом, члены их верные слу-

² Цит. по кн.: Бонч-Бруевич В. Д. Избранные сочинения. Т. 1. М., 1959, стр. 171 — 172.

³ Там же, стр. 174 — 175.

⁴ Агурский М. Идеология национал-большевизма. Париж, 1980, стр. 27.

⁵ «Безбожник», 1925, № 49 (150)-50 (151); републиковано в альманахе «Воронежская беда», Воронеж, 1995, стр. 136 — 139.

⁶ Агурский М. Указ. соч., стр. 27.

жители Божии; это верно, аминь! Мировая революция быстро приближается и исчисляется не годами, а месяцами, Бог ускоряет Свое дело»⁷.

Мировая революция не состоялась, и большевики, упрочив свой режим, с конца 20-х годов стали освобождаться от попуток. Открытые массовые репрессии против сектантов начались в эпоху коллективизации, когда уничтожалась одна сектантская коммуна за другой. «Умеренные» сектанты: баптисты, евангелисты («пашковцы»), адвентисты, вероучение которых не включало радикальных социальных идей, рисовались Агитпропом как скопище «буржуазных», «антисоветских», «антисоциалистических» элементов. Новая власть прошла по сектантам таким катком, что к знаменательному историческому моменту «гласности и перестройки» о них практически забыли.

Изю всех дореволюционных сект только баптистам удалось частично выжить и даже легализовать свое существование в 1944 году в качестве религиозной организации «Союз евангельских христиан-баптистов СССР». Под свое крыло баптисты приняли поредевший (впрочем, и до сталинских репрессий сравнительно малочисленный) отряд пятидесятников при условии, что последние откажутся от практики «говорения на языках» (глоссолалии)⁸.

Узаконенное существование сопровождалось жестким прессингом власти, и баптисты оказались в своеобразной резервации, о них много писали «научные атеисты», сами баптисты вынуждены были молчать, «миссия» (распространение своего учения), что вменяется в обязанность каждому члену баптистской общины, каралась по действующему закону о религиозных объединениях от 1929 года.

Сектанты изначально составляли замкнутую референтную группу, стоящую в оппозиции к исторической России, к ее культурной традиции. Историко-культурная беспочвенность русского сектантства облегчала использование его в политических интересах. И большевики здесь не исключение. Гитлер в годы войны, по свидетельству его собеседника Г. Пикера, рассчитывал воспользоваться сектантством для расчленения и дезинтеграции России: «В любом случае следует избегать создания единых церквей на более или менее обширных русских землях. В наших же интересах, чтобы в каждой деревне была своя собственная секта со своими представлениями о боге. Даже если таким образом жители отдельных деревень станут, подобно неграм или индейцам, приверженцами магических культов, мы это можем только приветствовать, поскольку тем самым разъединяющие тенденции в русском пространстве еще более усилятся»⁹. Такое вот неожиданное предвосхищение стратегии «религиозного плюрализма».

Распад СССР и смена политической системы в одночасье изменили не только привычные для большинства социальные устои, но и основательно перепахали ниву «научного атеизма».

Обнаружилось, что, несмотря на все старания идеологической машины, нива эта не принесла запланированного урожая. Убежденные материалисты составляли отнюдь не «подавляющее большинство» советского общества. Стоило «руководящей и направляющей силе» (ст. 6 Конституции СССР) сдать свои позиции, как атеизм вышел из моды, а табуированное слово «духовность» вернулось в наш лексикон — с исключительно положительной коннотацией, но с весьма размытым значением. Массовое стремление к неопределенной «духовности» за пять-шесть лет радикально изменяет ситуацию на постсоветском пространстве. В истории русского сектантства наступает «новая эра».

Старорусские секты, точнее, те осколки, что уцелели в подполье за годы советской власти, возродиться уже не смогли. За 12 лет действия нового зако-

⁷ Цит. по кн.: Клибанов А. И. Религиозное сектантство и современность. М., 1969, стр. 244.

⁸ «Говорение на языках» — отличительная черта пятидесятников («христиан веры евангельской»), утверждающих, что во время молитвенного экстаза на них (как на апостолов в день Пятидесятницы) сходит Святой Дух, видимым доказательством чего является дар говорения «ангельскими языками» — непонятными звукосочетаниями (глоссолалии).

⁹ Пикер Г. Застольные разговоры Гитлера. Смоленск, 1993, стр. 198.

на «О свободе совести» не объявились ни молокане, ни духоборы (до революции значительные по численности). Место сибирских хлыстов стараниями западных миссионеров заняли «харизматики». Старые «локальные секты» сегодня являют собой замкнутые маргинальные группы в пределах своей исторической «малой родины». Например, «федоровцы» и «субботники» в трех селах Воронежской области. Короче, старые русские ереси оказались неконкурентоспособными и не востребованными в постсоветском обществе — не тот менталитет, не те финансовые и организационные возможности.

Возродились и значительно приумножили свои ряды лишь секты, принадлежащие к международным организациям с зарубежными центрами управления: баптисты, адвентисты седьмого дня, пятидесятники. Но изменилось наполнение понятия «секта». Если в дореволюционной литературе слово «секта» употреблялось в том значении, в котором оно вошло в обиход на Западе с XIII века¹⁰, то в сегодняшней России секты (известные, малоизвестные и ранее неизвестные) пополняются и формируются преимущественно за счет бывших «условных атеистов», что возвращает слову *секта* его изначальную этимологию: сектой в античном мире назывались последователи нетрадиционных (не вписывающихся в культурную парадигму) философских учений.

Выбор — на любой вкус. По численности лидируют секты (де-юре — «религиозные организации»), которые можно было бы объединить под маркой «made in USA», — заокеанский экспорт «духовности». В 1992 году на территории СНГ высадился первый десант американских миссионеров, за первой волной «евангелизаторов» последовали представители тех религиозных организаций, которые на их исторической родине — США — именуются «культами» (что соответствует по смыслу нашему понятию секты). Самый большой успех выпал на долю «свидетелей Иеговы», второе место делят между собой адвентисты седьмого дня и «харизматики» (неопятидесятники). Бостонское движение, возникшее в США в 70-е годы, «Церковь Христа», работает исключительно в молодежной среде, но, очевидно по этой причине, оно достигло меньшего, чем вышеназванные культы. В наших либеральных СМИ иногда утверждается, что членами различных сект стали 2 миллиона молодых людей. Кто вбросил эту цифру, неизвестно, но она высосана из пальца. При всех стараниях «западных культов» их улов в молодежной среде невелик. Молодое поколение — от шестнадцати до двадцати — воспитано телеэкраном, у него сформировались свои представления о «свободном мире» и «правах человека», в духовном плане ценностную ориентацию значительной части нашей сегодняшней молодежи можно было бы выразить одной фразой: «Не в правде Бог, а в силе» — прискорбный перифраз слов св. князя Александра Невского. Это для наших предков правда Божия была одна на всех, а в «плюралистическом обществе» правда у каждого своя, зато сила — понятие универсальное. Поэтому подростки и молодые люди устремились в восточные единоборства, припудренные дзэн-буддизмом, в оккультные сообщества — от «Нового акрополя» для «высокособых» до сатанинских культов для «узколобых».

Западные культы притягивают по преимуществу «тех, кому за тридцать» (в меньшей степени тех, кто еще не достиг тридцати). Стало быть, приверженцы западных сект вошли в постсоветскую историю не в детском возрасте.

Ситуация с нашествием западных, преимущественно американских, миссионеров и небезуспешная, надо признать, их деятельность в постсоветской России имеет ряд черт, сходных с историей рационалистических религиозных движений на Юге России во второй половине XIX века: с историей южнорусской штунды и баптизма. Тогда немецкие миссионеры не имели успеха у своих бывших соотечественников — «русских немцев».

Из немецких колоний (Екатеринославской, Таврической, Павлодарской, Киевской губерний) проповедников нетрадиционной веры выдворяли незамедлительно, духовный урожай они собирали на ниве крестьянства окрестных селений.

¹⁰ Повторюсь: *секта* — группа, исповедующая учение, не согласное с церковным Преданием, и отделившаяся от Церкви по этой причине.

Церковные авторы, исследовавшие эту волну сектантства, единодушно утверждали, что «штундо-баптизм» был средством германизации русского населения.

Маловероятно, что германские власти планировали «идеологическую диверсию». В те времена такими приемами еще не пользовались, не было понятия об «информационных войнах» или «духовной агрессии». Но то, что на первых порах распространения баптизма руководителями общин, проповедниками и учителями были немцы, исторический факт. И то, что обращенные в новую веру с большим пиететом относились к «немецкому образу жизни», к самой Германии, тоже факт¹¹.

Похожее явление мы наблюдаем и в сегодняшних западных сектах. Религиозная доктрина, соединяясь с жизненными установками заокеанских проповедников, приводит к убеждению, что «свет пришел с Запада». И далее новообращенные проповедники из русских не только используют заученные приемы агитации за «истинную веру», но и внешне подражают своим учителям. Конечно, комично слышать русскую речь с американским акцентом у молодых людей из «Церкви Христа», которые вообще не говорят по-английски (с иностранными языками и в новой России дела обстоят не лучше, чем в старой). Или читать приглашение на лекции, организуемые «Заокской духовной академией», кою малосведущие люди принимают (по аналогии с Московской Духовной академией) за православную: «У вас не ладится семейная жизнь? Вы хотите добиться успеха в делах? Сложные отношения с детьми? — Приходите к нам, вы узнаете, как можно разрешить ваши проблемы. Есть удивительная книга, в которой вы найдете ответы на ваши вопросы». Это типичная реклама адвентистов седьмого дня — не только по стилю, но и по образу мысли. В жизни все должно быть о'кеу, «книга» (Библия) поможет снять все проблемы. «Успех в делах» получает религиозную санкцию — кальвинистская закваска американского образа жизни. Нашим неофитам хочется если не стать американцами (что удастся не многим), то хотя бы в этом походить на заокеанских собратьев по вере.

Не будем наивно полагать, что на исходе XX века религиозная жизнь стоит вне политики. Приписываемая Гитлеру идея насаждения конфессионального плюрализма в России многим пришлась по вкусу.

Деятельность миссионеров в России сегодня поддерживается США на государственном уровне. Это не обвинение «в идеологической диверсии» — знакомое нам клише с советских времен. Но политический интерес в религиозной «плюрализации» российского общества налицо (причем объектом «евангелизации» стали русские; в регионах с традиционно исламской ориентацией активной деятельности зарубежных «евангелизаторов» не наблюдается).

Пусть читатель поразмыслит, с какой целью создана комиссия по соблюдению свободы совести, отчет которой заслушивает Конгресс США (соответственно и финансирует ее деятельность). Речь идет не о защите прав американских граждан. Цель комиссии — наблюдать за положением дел в других странах, однако и тут объекты наблюдения избираются по весьма странному принципу: в центре внимания Россия (с большой осторожностью упоминается Китай), но Саудовская Аравия, Пакистан, Израиль остаются вне поля зрения борцов за свободу совести, то есть стратегические союзники США, как жена Цезаря, «вне подозрений». Такие мелочи, как запрет открыто исповедовать христианство или отказ в гражданстве «выкрестам», не следует принимать в расчет, когда речь идет о национальных интересах Америки. Воспитание же в россиянах «толерантности» к иноземным религиозным учениям — задача, очевидно, первостепенной важности. В 2002 году вышеуказанная комиссия рекомендовала Конгрессу учредить специальный фонд для поддержки российских журналистов, которые отстаивают права религиозных меньшинств и способствуют развитию толерантности в общественном сознании¹².

¹¹ См., например: Алексей (Дородницын), еп. Религиозно-рационалистические движения на юге России во второй половине XIX столетия. Казань, 1909.

¹² Филип Уолтерс. Фактор внешней политики. — «НГ-Религии», 2000, 17 мая.

О каких правах идет речь? По новому российскому закону юридически уравниваются все религиозные организации: формально нет различий между Русской Православной Церковью и другими организациями, будь то «свидетели Иеговы», адвентисты седьмого дня или «харизматики» (неопятидесятники). Никого, слава Богу, не преследуют: по улицам бегают, останавливая прохожих, «свидетели Иеговы», «Заокская духовная академия» (адвентисты седьмого дня) арендует бывшие дома культуры, приглашая всех желающих прослушать цикл лекций «о семейном воспитании детей», «о том, как добиться успеха в делах и счастья в личной жизни»; раздают комиксы на сюжет, каким плохим я был раньше и какой я стал хороший, когда начал изучать Библию и убедился, что вот-вот наступит конец света и единственное спасение — примкнуть к «истинной церкви» (к адвентистам) или незамедлительно вступить «в организацию Бога» («Свидетели Иеговы»), — каждый рекламирует свой товар, вкладывая в рекламу, по нашим меркам, огромные деньги.

Так в чем же дело? Ради чего Мадлен Олбрайт, в бытность свою госсекретарем, во время официального визита в Москву встречается с Патриархом Алексием II? Главую государственной Церкви, как английский монарх, она не является, что же привело г-жу Олбрайт в патриаршую резиденцию? Из информированного источника доподлинно известно, что г-жа Олбрайт настойчиво призывала Патриарха соблюдать права религиозных новообразований. Напрасно ей пытались объяснить, что Православная Церковь от государства отделена и по закону имеет статус «религиозной организации» наравне с другими. Но госсекретарь, казалось, не слышала слов собеседника. Она продолжала настаивать: «Вы должны предоставить (!) всем равные права». О каких правах говорила Олбрайт? Очевидно, о праве на равное общественное признание.

На пике «евангелизации» России, в 1994 году, диакон Андрей Кураев писал об опасности «духовной катастрофы в России», которую «перестраивают на американско-протестантский лад». По словам Кураева, «если это удастся, это будет другая страна, не имеющая уже ничего общего со своей тысячелетней историей»¹³.

Однако ко времени визита г-жи Олбрайт дело забуксовало. Приток неофитов в западные секты сокращается, общественного признания миссия «евангелизаторов» не получает, несмотря на информационную поддержку либеральной прессы. Напрасно г-жа Олбрайт усмотрела в этом происки Московской Патриархии. У Православной Церкви не было ни опыта, ни фондов, которыми располагают американские антикультуговые центры и миссии, публикующие ежегодно десятки изданий против «культов», по тем или иным причинам не вписавшихся в традиционный истеблишмент протестантских конфессий США: это «свидетели Иеговы», адвентисты, «церковь Христа», «харизматики», мормоны и проч. (мы упоминаем лишь те культы, которые в России лидируют по активности, численности миссионеров и новобранцев).

«Крестовый поход» (так называлась одна из миссий американских «евангелизаторов») не нашел поддержки в достаточно широких кругах российского общества. Западные культы привлекли к себе лишь ограниченное число тех людей (далеко, кстати, не худших) из определенного социокультурного слоя, которых в прежнее время именовали «простой советский человек». Попытки западных социологов проанализировать первоначальные успехи зарубежных миссионеров на постсоветском пространстве не проясняют сути дела и ведут к ошибочным прогнозам. Так, не оправдалась надежда Айлин Баркер на «толерантное» поведение лидеров-миссионеров с Запада, которые на собственном отечественном опыте знают некоторые опасности и заблуждения, связанные с членством в религиозных меньшинствах, и будут стараться их избегать. По мнению Баркер, «они, скорее, будут советовать местным обращенным поддерживать отношения со своими семьями, чем порывать с ними... Разграничение

¹³ Диакон Андрей Кураев. Все ли равно, как верить? Сборник статей по сравнительному богословию. Клин, «Братство свт. Тихона», 1994, стр. 9 — 10.

между членами движения и остальными людьми навряд ли будет столь резким, каким оно было на заре движения»¹⁴. В постсоветской России об этом прогнозе можно сказать: сбывся с точностью до наоборот.

Если в пореформенной России XIX века распространение штундо-баптизма в крестьянской среде раскалывало сельскую общину, но никогда — семью, то сегодня религиозные новинки часто становятся причиной расторжения семейных и родственных связей. И это вполне объяснимо. При патриархальном укладе жизни (не только в крестьянской, но и в мещанской, и в купеческой среде) все обстояло просто: если «сам» менял веру, то перед домочадцами вопрос о свободе совести не вставал. А вот на исходе XX века в постсоветской России этот вопрос стоит — и очень остро, вплоть до полного разрыва с семьей. Что касается разграничения между членами американских (по происхождению) религиозных группировок и остальными людьми, то оно в России принимает не менее, а более резкий характер, чем на заре этих движений на их родине, в США. Здесь речь не идет только о вере и неверии. И в советскую эпоху зачастую жены офицеров потихоньку захаживали в церковь, а матери партработников тайком крестили внуков, однако различное отношение к религии по преимуществу не вызывало острейших семейных конфликтов и трагических коллизий. Если на партийно-государственном уровне атеизм был обязательным показателем «советскости», то в домашнем кругу присутствовала толерантность.

Семейная свобода совести интерпретировалась официально как «пережиток прошлого», но все-таки допускалась. Во всяком случае, такое положение вещей установилось с Отечественной войны, когда идея классовой солидарности пролетариата оказалась нежизнеспособной, а национально-историческая память востребованной. Вера и неверие могли ужиться под крышей одного дома, потому что это был свой дом, с привычным укладом жизни и ценностными ориентирами. Но совсем иное дело — иноземные гости, которые появляются у вас в доме и начинают внушать вашим близким, что у вас все не так, как у людей, и что все надо менять — и лицо, и мысли, и чувства.

Если новообращенного сектанта ранее связывали с семьей теплые отношения, он/она поначалу стремится привлечь родных к своей вере и ввести в свое новое «духовное братство». Семья же действует в противоположном направлении. За ценой не стоит ни та, ни другая сторона. И здесь ситуацию можно прокомментировать словами Л. Н. Толстого: каждая несчастная семья несчастна по-своему. Волею судеб мне часто приходилось быть вовлеченной в семейные коллизии, когда кто-нибудь из домочадцев попадал в ту или иную секту. В финале бывает: либо победа, либо поражение. Победа, если удастся перетянуть семью на свою сторону. Поражение, если не удастся. С такой развязкой я столкнулась дважды.

Как-то к нам в Воронежскую семинарию пришла женщина и попросила поговорить с ее дочерью, примкнувшей к «свидетелям Иеговы». Мать со слезами на глазах объясняла, что ее дочь была «такая верующая, никогда в праздники не занималась домашними делами и матери не позволяла». Показательны доводы матери, которая пыталась убедить дочь не менять веру. «Как же так, — говорила она, — ведь это все чужое. Все равно, как у тебя взяли бы твоего ребенка и дали другого». Как выяснилось, ни мамаша, ни ее «очень верующая дочь» не были, что называется, «церковными людьми». Принадлежность к православным ограничивалась соблюдением праздников, освящением куличей на Пасху и, конечно, походом в Церковь за крещенской водой, но тем не менее для матери все это было свое, а «свидетели» — чужое, уводящее дочь и маленькую внучку не только от нее, но и от всей родни. Наша богословская дискуссия с новообращенной закончилась ничем. Дочку не смутило, что присутствовавшие при разговоре «свидетели» не могли

¹⁴ См. ее статью «Кто же победит? Национальные религии и религиозные меньшинства в посткоммунистическом обществе», перевод которой опубликован в издании Библейско-богословского института св. апостола Андрея — «Страницы» (2000, т. 5, вып. 1, стр. 105 — 136).

объяснить ни одного из тех библейских текстов, которые они «не проходили» по номерам их журнала «Сторожевая башня». Аргументы братьев по вере: «Мы не пьем, не курим, не блудим, не воюем» — ее вполне удовлетворяли. А муж ее прямо заявил: «Мне это все (ссылки на Писание) ни к чему. Они люди порядочные, плохому не учат, предложили мне хорошую работу, а мать ее (теща) пусть к нам не лезет». Финал истории по-русски прост: зять спустил тещу с крыльца, на этом родственные отношения прервались.

Сюжет другой истории гораздо сложнее. Участницы — опять мать и дочь, обе с высшим образованием: мать — экономист, дочь — врач, замужем за офицером, двое детей, живет в Подмоскowie. С матерью я познакомилась в Воронежской областной думе на слушаниях о деятельности так называемых деструктивных культов. Из зала поднялась женщина и обратилась к депутатам с вопросом: «Почему не запрещают организацию „Свидетели Иеговы“?» Объяснить тому, кто привык мыслить категориями советского общества, что времена уже не те и что у нас, дескать, свобода совести, было нелегко. «Какая совесть, — гневно вопрошала женщина, — если моя дочь три года трудилась, чтобы скопить деньги на репетиторов для поступления в мединститут, сама (в смысле без протекций) поступила, стала врачом, хорошо работала, а теперь ушла с работы, потому что эти мракобесы запрещают переливание крови, с мужем раздор, свою дочку-третьеклассницу не пускает на школьные утренники, отвадила всех ее подруг...» Заметим, что свою работу новообращенная «свидетельница» оставила вполне благоразумно. Будучи врачом-гинекологом в роддоме, она понимала: если роженица по ее вине погибнет от потери крови, никто не станет вникать в религиозные убеждения врача и она окажется на скамье подсудимых. С мужем отношения складывались не очень счастливо еще до того, как она прибилась к секте. Возможно, будь молодая женщина счастлива в браке, не было бы нужды в поисках «иной правды».

Я встретила с Людой-иеговисткой (фамилию, естественно, не называю), когда она вскоре после думских слушаний приехала к родителям. Сама неофитка, ожидая очередной «разборки», была, что называется, комок нервов. Но мне удалось ее разговорить. Видя, что никто не собирается обличать ее в ереси, Люда первая коснулась болезненной темы. «Вам интересно, как я пришла к «свидетелям Иеговы»?» (Мне это было действительно интересно, так как я уже несколько лет занималась исследованием мотивации выбора в открывшемся «супермаркете» религиозных новинок.) «Я всегда верила в Бога, — продолжала моя собеседница, — иногда ходила с матерью в церковь, и мне хотелось знать, есть ли где-нибудь люди, которые живут по-божески». Я не удержалась от провокационного вопроса: «А почему вам не приходила мысль начать с себя?» Провокация не удалась, вопрос остался без ответа. Далее последовал рассказ о случайно услышанном разговоре у железнодорожной кассы. Ее не агитировали, она сама включилась в беседу двух женщин и от них узнала, где найти людей, которые живут по-божески, «по Библии». Логические неувязки в религиозной доктрине «свидетелей Иеговы» ее нисколько не беспокоили. Характерная черта новообращенных «свидетелей». Я коснулась лишь вопроса о переливании крови, того, что понудило ее уйти с работы и, как мне кажется, более всего настроивало мать против единоверцев дочери. На мой вопрос, откуда такой запрет, Люда ссылается на Библию (Лев. 17: 10). Я пытаюсь обратить внимание собеседницы на то, что речь там идет о крови животных, мясо которых разрешено употреблять в пищу (Завет с Ноем, Быт. 9). И религиозный смысл запрета «есть кровь» ясно выражен в библейском тексте: плоть животных дана в пищу человеку, потому что первородный грех огрубил человеческую телесность, не может она насытиться «плодами и злаками», как то было заповедано в Раю; но в крови душа тела, «душа» же в древнееврейском тексте означает жизнь, а жизнь дана Богом и принадлежит Ему. Какое отношение эта библейская заповедь имеет к переливанию крови? Ответ привел меня в изумление: «А человек тоже животное». С точки зрения материалистической теории эволюции это так, но, говоря ей, голубушка, вы же «свидетельница Иеговы», как же быть с библейским сказанием, что Бог сотворил человека по образу Своему?! Моя реплика была пропущена мимо ушей, разговор на библейскую тему исчерпался. Каждый раз, когда приходится полемизировать с сектантами, становится очевидным, что выбор новой веры

идет не от ума, а от психологического настроения. Что можно жить «по-божески» и не в специфической группе, моей собеседнице на ум не приходило. Личный опыт нравственного самоопределения не вписывался в общий «коллективистский» настрой советского воспитания. Эта ориентация на «коллектив» унаследована не только старшим поколением, но и многими, кому к моменту революционного слома устоев «советского образа жизни» было за тридцать (или, как моей героине, около тридцати). Новообращенная «свидетельница» обрела то, к чему подсознательно стремилась: малый коллектив, члены которого, как они сами утверждают, «живут по Библии» и служат Богу, а все остальные, сами того не подозревая, — дьяволу. Степень возникшего отчуждения между новоиспеченной «праведницей» и остальными членами семьи определялась их отношением к ее секте (в терминах социальной психологии — к ее референтной группе).

Муж к религиозным убеждениям жены интереса не проявлял, но, когда она бросила по этим убеждениям работу, наложил «экономические санкции»: стал выдавать ей весьма скромное ежедневное довольствие на пропитание детей (что страшно возмущало мать Люды). Отец смотрел на дочь как на «ненормальную», брат сказал мне, что разговаривать с сестрой бесполезно, она «фанатичка». Не смирилась только мать, которая считала дочь «невинной жертвой коварной секты», винила зятя, который своим равнодушием как бы подтолкнул туда жену, а теперь только углубляет семейный разлад и тем самым «играет на руку сектантам». Может быть, доля истины в этом и была. (Во всяком случае, я дважды встречалась с благополучными семейными парами, в которых жены увлекались «изучением Библии», но угроза развода быстро охлаждала их пыл.) Дальнейшие события разворачивались как психодрама с детективным сюжетом.

Через месяц после нашей встречи мне позвонила мать Люды и сказала, что дочь устраивается на работу в женскую консультацию по месту жительства. Собрания «свидетелей» дочь посещает уже не так часто: домашние заботы, дети, муж — до Москвы на электричке больше часа езды; а когда начнет работать, времени на встречи с московскими сектантами будет еще меньше. По тону матери я могла заключить, что пик напряженности в отношениях с дочерью преодолен. Но гром грянул, как говорится, среди ясного неба. Приехав повидаться с родителями, «жертва» нанесла такой сокрушительный удар по родительскому дому, что трудно было даже предположить, что эта простушка с виду способна раскрутить интригу, которой позавидовал бы Талейран. Каким образом ей удалось раскопать историю двадцатилетней давности о любовной интрижке своего родителя (о чем мать и не подозревала), остается тайной. Но как бы то ни было, Люда изблещила отца, естественно, в присутствии матери в грехе прелюбодеяния и при этом так приперла его к стенке подробностями и неопровержимыми доказательствами, что родитель «раскололся», хлопнув дверью перед носом ошарашенной жены и обличительницы дочки. И бросив под занавес: «Что же мне теперь — повеситься?» Мать только и могла спросить: «Зачем ты мне все это рассказала, когда прошло столько лет и мы состарились?» Ответ дочери был ей непонятен: «Чтобы ты знала». К вечеру отец так и не вернулся, утром встревоженная мать позвонила старшему сыну и поведала ему о том, что произошло, повторяя все тот же вопрос: «Зачем она это сделала?» Сыну, не вдаваясь в психологические тонкости поступка своей сестры, рассудил по своему: «Скажи этой мерзавке, что, если с отцом что-то случится, я сверну ей шею». С отцом, к счастью, ничего не случилось. (Самоубийства, разумеется, никто не предполагал, но инфаркт по состоянию сердца не исключали.) Родитель явился не домой, а к сыну, твердо заявив, что видеть свою дочь больше не желает; отношения ее с отцом и братом были разорваны окончательно. А мать так и не смогла постичь, зачем дочери понадобилось вбить клин между родителями и зачем она еще и мужа своего посвятила в эту историю. К душевной боли прибавилось чувство женской униженности. Когда мать напомнила Люде известное евангельское изречение о грешнике, который видит сучок в чужом глазу, а в своем бревна не замечает, дочка, не смутившись, парировала: «А я покаюсь!». Подробности происшествия я узнала от матери через два дня после того, как Люда, оставив внучку бабушке, с чувством исполненного долга покинула родительский дом. Снова и снова потрясенная мать задавала все тот же вопрос: зачем? Ее поразила не столько дав-

няя измена мужа, сколько необъяснимый поступок дочери, омрачивший отношения между пожилыми супругами. Главную вину женщина возложила на «американскую секту». В чем-то она права. Психология сектантства в большей или меньшей степени (в зависимости от религиозной доктрины) порождает двойной этический стандарт: библейские заповеди в отношениях с «внешними» не работают, у сектантов формируется сознание своей избранности ко спасению, отсюда возникает эмоциональная тупость в контактах со всеми, кто не входит в их группу. Если не удастся вовлечь родных в свою организацию, семейный союз обречен.

Но не надо быть ученым-психологом, чтобы понять, зачем иеговистка Людочка попыталась разрушить отношения между родителями. Чтобы увести за собой самого близкого ей человека — мать. Зачем посвятила мужа в семейный скандал? Очевидно, подтекст был таков: «Все вы, мужчины, одним миром мазаны, добродетельными становятся только в нашем братстве».

Нет, не всегда новообращенный разрывает отношения с семьей. Но всегда изменяется характер этих отношений: близкие становятся для сектантов «дальними», а сам новообращенный, если он по житейским обстоятельствам не может, как Авраам, «пойти из земли своей, от родства своего и из дома отца своего» (Быт. 12), уходит во внутреннюю эмиграцию. И таких «эмигрантов» за десять последних лет в каждом регионе набралось немало. Однако динамика роста западных сект к концу 90-х, как уже говорилось, пошла на спад. Они подобрали всех, кого смогли, и на сегодня их задача — удержать завоеванные позиции и вписаться в российское общество. Последняя цель, судя по общественному настроению, в обозримом будущем вряд ли достижима. Я намеренно употребляю слово «секта» (не в уничижительном значении!) для разделения двух понятий, оформившихся в сознании нашего общества: это «религиозные меньшинства» и секты. Религиозными меньшинствами в Центральной России считают мусульман, иудеев, а все религиозные новообразования (независимо от их типа и времени появления на мировой сцене) у нас воспринимаются как «секты», стоящие вне культурно-исторической традиции. По сути — это *контркультура*, но не молодежная, из которой выходят по мере взросления, а духовная, меняющая систему мировосприятия и ценностей.

Первоначальный успех западных миссионеров определялся не уровнем их богословского образования и методической подготовки, как полагают не только западные социологи (та же Баркер), но и некоторые наши публицисты, а психологическим настроем и ментальностью аудитории. Ментальность же аудитории была вполне адекватна ментальности миссионеров — обе стороны, мягко выражаясь, чужды какой бы то ни было умственной рефлексии; на том же уровне находится общегуманитарное образование; обе стороны существуют вне исторических границ православной духовной традиции: миссионеры — будучи американцами, аудитория — по причине религиозного одичания простого советского человека (и в этом аспекте принципиального различия между бывшими атеистами и теми, кто в душе верил в существование «неведомого Бога», нет).

Психологический настрой у примкнувших к западным сектам определяет «групповым инстинктом» (неизбежная потребность к существованию в коллективе, унаследованная от советского прошлого). А также — потребность в «руководящей и направляющей силе», я бы сказала, в отвращении к самоопределению (исключение — лидеры сект). «Религиозный бум» в постсоветской России многие объясняют «духовным голодом» эпохи «научного атеизма». Возможно, это и так, но, заметим, рекрутируются те, кто привык к тому, чтобы кормили его с ложки разжеванной снедью. В секте (узкой референтной группе) под руководством старшины (или пастора) человек чувствует себя комфортно, уверенно — никаких «проклятых» вопросов, никакого «самокопания», никаких заоблачных высот.

Однако выбор не ограничивается западными сектами, так же как нельзя подвести всех бывших граждан РСФСР под единый тип «простого советского человека».

Как-никак в советские времена мы имели самого «массового читателя». наших начитанных сограждан не возьмешь описанным выше тактическим приемом, стандартным для большинства западных миссионеров (и их русских учеников): «Раньше я был плохим, вел нездоровый образ жизни, поэтому и в семье, и на работе не ладилось. А теперь я стал верующим, и жизнь у меня изменилась: в семье мир, по службе повышение, здоровье отличное» и т. п.

Начитанный человек убежден, что он и так неплох, журналы «Сторожевая башня», «Пробудитесь», комиксы адвентистов — не для него. Благо стала доступной ранее не допускавшаяся литература о «древней мудрости Востока», о «духовных практиках», которые пробуждают таинственные способности, делая человека сверхчеловеком.

«Мудрость Востока» пришла в Россию с Запада, где с 60-х годов начинается широкомасштабная кампания индийских гуру. Почему именно Новый Свет стал плацдармом индийской духовной экспансии? Думается, стратегия была верной. Лидер западного мира, США исторически никогда не несли «бремя белого человека» в Индии, и американскому обществу были в новинку религиозные идеи этого рода, особенно молодежи, не остывшей от протестного настроения.

Мода на восточную мистику быстро перебарщивается в Старый Свет, и потомки белых «сагибов» устремляются в Ауровиль — «город будущего», основанный француженкой Мари Ришар, подругой популярнейшего теоретика неоиндуизма (интегральной веданты) Ауробиндо Гхоша, поклоняются «верховному Гуру шивантов западных стран» Шиваи Субрамуниясвами, становятся «возлюбленными Кришны» в лоне Международного общества Сознания Кришны, основанного Абхаем Чараном Де (скромно именовавшим себя «Его Божественная милость» Свами Бхактиведанта Шрила Прабхупада, что означает «господин — тот, у чьих ног [сидят все] могучие», то есть учителя). Выбор все расширяется, так как гуруизм становится очень прибыльным бизнесом.

В России первые ласточки восточных культов появились еще в 70-е годы, но свободная деятельность «посвященных» миссионеров начинается с 1989-го. В таком мегаполисе, как Москва, труднее проследить процесс «приливов» и «отливов» той или иной восточной «духовности». В провинции волнообразное движение индуистской (или псевдоиндуистской) экспансии бросается в глаза. Первыми на авансцене появились кришнаиты. Приглашения на их собрания были расклеены практически во всех высших учебных заведениях, по улицам бродили стайки бритоголовых молодых людей, завернутых в простыни, с бубенчиками на ногах, распевających «харе Кришна», их сопровождали миловидные (не бритоголовые!) девушки с бубнами. На улицах красовались цветные расклеенные плакаты: «Бхагават-гита как она есть» с изображением Кришны на боевой колеснице.

Надо отметить, что кришнаиты (Международное общество Сознания Кришны) были единственной организацией, которая зарегистрировалась как религиозная, — все остальные восточные культы выступали под вывеской «общественных», как-то: «духовно-просветительных», «экологических», «миротворческих» и т. п. Мода на кришнаизм продлилась до 1996 года, адептов «Господа Кришны» набралось в два-три раза меньше, чем в любой из западных сект, но поначалу они по активности не уступали самым деятельным западникам — «свидетелям Иеговы». Однако через три года кришнаиты сворачивают публичную деятельность и потихоньку сходят со сцены. Учение Прабхупады, надо полагать, не отвечало честолюбивым амбициям молодых людей: каждый стремился попасть если уж не в когорту русских гуру, то в касту «брахманов» непременно. Ходить долго в учениках и на сто процентов быть уверенным, «что он должен отдавать духовному учителю все, что у него есть, и быть при этом очень смиренным»¹⁵, — не та установка, которая влечет молодых людей к «мудрости Востока». Общество Сознания Кришны — жесткая тоталитарная секта (по

¹⁵ «Прабхупада-сумухасам». Вып. 1. М., 1997, стр. 19, 35, 36, 40.

американской терминологии — деструктивный культ). «Свидетелей Иеговы» тоже относят к тоталитарным организациям, но по своему характеру тоталитаризм «свидетелей» очень напоминает привычную простому советскому человеку КПСС: их собрания — партийку, старосты собраний — секретарей местных парторганизаций, а Бруклинская Правящая Корпорация — Политбюро. И секретарь партийки — это все-таки не гуру, который, по учению Прабхупады, «является воплощением энергии Господа Кришны».

Зависимость от своей референтной группы обнаруживает каждый сектант, но полное порабощение ума и воли одному конкретному «учителю» — это уже иной тип зависимости, и он скорее относится к области психиатрии, чем религиозной психологии. Очевидно, среди молодых людей очень немногие склонны к такой всецелой зависимости от лидера группы, и через какое-то время увлечение кришнаизмом стало проходить.

Более стойкими оказались другие направления гуруизма, где отсутствует иерархическая вертикаль; хотя зависимость от обожествляемого гуру и здесь налицо, но поскольку этот гуру находится далече, то адепты его учения составляют группу с более «демократичными» отношениями. Главное отличие от кришнаизма в таких группах — акцент на самообожение («самореализацию») через «духовную практику», которую открыла «примитивным» европейцам древняя мудрость Востока.

Служение какому-либо божеству (культ в религиозном смысле) в таких учениях отсутствует. Все «просвещенные» учением очередного гуру заняты проблемой, как перекачать духовную энергию «кундалини» из области копчика по «чакрам» (невидимым для анатома спецканалам) в голову. И тогда наступает просветление, или «реализация», — в зависимости от принятой терминологии; просветленный обретает сверхзнания, сверхмудрость, способность влиять на окружающий мир, духовная энергия, исходящая от него, прямо-таки творит чудеса. Таковы заманчивые обещания «Сахаджи-Йоги» (учение Нирмалы Шривасты, включившее в себя элементы гностицизма). Вербовка происходит следующим образом. Дама с европейским образованием использует перетолкованный евангельский сюжет, усыпляя бдительность тех, кто причисляет себя к православной традиции, но хочет «развить свои духовные способности». Те, кто потом сумел разобраться в сути дела, рассказывали, что сначала были уверены: «Сахаджа-Йога» — это «метанаука», а не религиозный новострой. «Как же, — недоумевали мои собеседницы, — мы же там призывали имя Христа!» Стало быть, им, преподавателям и музыкантам, не приходило в голову, что коллективно медитируя перед портретом *Нирмалы*, призывать Христа не стоит.

Но слова «метанаука», «энергетика» сбивают с толку очень многих, что и обеспечивает приток в секты восточных толков. Таковы Общество Шри Чинмоя («бегущего гуру», как его называли в США, поскольку чинмоевцы медитируют на бегу, умиротворяя окружающих своей духовной энергией, что способствует укреплению мира и доброжелательности между народами), Трансцендентальная медитация (ТМ) Махариши, Медитация Раджнеша, или культ Раджнеша, организация Сатъя Саи Бабы. Несколько особняком стоит Рэйки (кадуцей) — орден «эзотериков-целителей» японского происхождения, а также «тантра-сангха», основанная русским «гуру» Сергеем Владимировичем (1968 года рождения), который в 1989 году получил в Индии посвящение одной из парампар тантрического шиваизма «левой руки». После посвящения Сергей Владимирович стал гуру Шрипада Садашивачарья Ананданатха. Это те восточные культы, что известны в Центральном Черноземном регионе. Тяготеют они преимущественно к крупным промышленным центрам: Воронеж, Липецк, Курск.

Если судить по численности этих групп, то можно заключить, что индийские гуру собрали под свои знамена не так уж много адептов. Так, в Воронеже Международное общество Сознания Кришны насчитывало на пике подъема не более шестидесяти человек, «Сахаджа-Йога» — около восьмидесяти, культ Сатъя Саи Бабы — двадцать пять; ТМ и культ Раджнеша на статус юридического лица не претендовали, просто время от времени появлялись объявления, при-

глашавшие на лекцию по ТМ или на медитирующих по Раджнешу. Культ Шри Чинмоя привлек тридцать человек в Воронеже и около сорока в Липецке. Это те культы, которые прошли перерегистрацию как «общественные организации». Судить о численности незарегистрированных групп трудно, но с уверенностью можно сказать, что организованных «неоиндуистов» у нас мало, во всяком случае, в Центральном-Черноземном регионе и в Придонье ашрамы не сколачивались. Однако псевдоиндуистские¹⁶ секты берут не числом, а умением быстро и капитально перестраивать сознание новообращенных на свой лад.

Даже те, кому удалось покинуть группу, не могут изжить суеверных представлений, усвоенных ими в секте. Два года тому назад ко мне обратилась молодая женщина, которая в течение пяти лет была ревностной поклонницей Шри Чинмоя. Воронежских чинмоевцев она оставила после самоубийства молодого человека, входившего в группу. Возможно, это самоубийство глубоко задело ее лично. Женщина умная, интересная, с двумя высшими образованиями, уйдя из организации Шри Чинмоя, возвращается, как нынче принято говорить, «к вере отцов», в православие, причем радикальным образом — принимает твердое решение уйти в монастырь. Попытки убедить ее повременить с этим решением не увенчались успехом. Она оставила мне письмо для передачи в газету, заявление в Генпрокуратуру, отосланное год назад, отписку из канцелярии генпрокурора, полученную ею через полгода. Генпрокуратура предлагала ей обратиться в местную прокуратуру по поводу «деятельности воронежского отделения общественной организации Шри Чинмоя». Обращение же ее в Генпрокуратуру было попыткой доказать, что культ Шри Чинмоя — деструктивная тоталитарная секта, а не общественная организация. Самоубийство в Воронеже — не единственное в истории этого культа. Подобный случай имел место в Германии (к заявлению прокурору прилагалась вырезка из немецкой газеты, а также подробности самоубийства молодого воронежца). Но я не стала бы торопиться с обвинением Генпрокуратуры в халатности. Надзор за соответствием деятельности организации с ее уставом по закону возложен на прокуратуру, это так, но прокурорский надзор практически не осуществляется из-за отсутствия соответствующих структур. Однако не менее важно вот что: в материалах заявительницы присутствовал момент, который мог свести на нет все ее аргументы против Шри Чинмоя. Справедливо доказывая, что организация Шри Чинмоя является религиозной по сути, она обвиняла гуру в том, что он «способен физически уничтожать своих противников». Не думайте, что речь шла о вульгарном «заказе». Несчастливая женщина уверовала и продолжала верить в мистическую энергетику Чинмоя, который, сидя в Америке, контролировал мысли своих адептов и мог на расстоянии повергнуть неугодных в депрессию и даже понудить к самоубийству. Как должен был отнестись к такому обвинению чиновник Генпрокуратуры, если сам он еще не уверовал в магическую силу различных гуру?

Восточные секты, несмотря на свою относительную малочисленность, оказали значительное влияние на окружающих. Во-первых, они распространили большое количество сочинений своих «божественных гуру». Спрос на «таинственные» учения, открывающие человеку «новые возможности», подогревался СМИ. Возможно, для газетчиков и тележурналистов это было только погоней за сомнительными сенсациями, но присутствовал здесь и элемент протестного поведения: если советская власть это запрещала, значит, мы станем широко информировать о не познанных наукой, но известных древним чудесных способностях йогов, прорицателей и шаманов.

Одним словом, появившиеся восточные культы если не преуспели в умножении своих последователей, то способствовали приобщению широких масс к

¹⁶ К традиционному индуизму неоиндуистские культы относятся примерно так же, как фруктовая вода «Груша» к натуральному вкусу груши дюшес.

«древней мудрости Востока». Слова «карма», «энергетика», «реинкарнация» вошли в наш обиход вместе с понятиями, которые они обозначают. Понятия приспособились к нашей действительности, и сегодня кто только не вспоминает, кем он был в прошлой жизни (преимущественно персоной значительной), «диагностика кармы» претендует на законное место в медицине, раскрытие в себе «духовной энергетике» стало массовым явлением.

В сентябре 1995 года в Институте им. Сербского прошла научно-практическая конференция, участники которой обратились с письмом к правительству. Пресса в целом проигнорировала это событие, хотя содержание письма заслуживало серьезного внимания¹⁷. Психиатры, собравшиеся на конференцию, выразили озабоченность «поворотом общественного сознания к мистике, что таит опасность возникновения коллективных психозов».

О массовых психозах говорить пока преждевременно, но то, что восточные культы всколыхнули мутные воды оккультизма, магии, языческих суеверий, получивших как бы законную санкцию «древней мудрости», — неоспоримый факт. То, что мы наблюдаем, можно назвать «Нью Эйдж по-русски», где всегда бытовавшая на селе вера «в порчу» и «сглаз» сплетается с «кармой», «духовной энергией», «колдовство» — с «эзотерикой», с мифическими «велесовыми книгами» древних славян. Откровенные шарлатаны делают моду на оккультизм доходным бизнесом, а те, кто клюет на эту приманку, нередко теряют разум. Вот одно из типичных объявлений, которое появилось 20 марта 2003 года в Воронеже: «Доктор нетрадиционной медицины, профессор Белой магии, член-корреспондент общества ведической культуры г. Санкт-Петербурга в Центре раковой профилактики г-н Чужков Митрофан Игнатьевич». Исцеляет профессор Белой магии, естественно, от всех болезней, а также от бесплодия, венца безбрачия (?!), фригидности. Происходит все это контактным путем «в кабинете Белой магии и Психоэнергокоррекции». Кроме того, «предлагается пройти курс оздоровительно-профилактического исцеления от рака и очистки души в течение пяти-семиразовых целебных сеансов с помощью ритуалов священной магии на основе древнеславянских текстов (?), молитв и древнеиндийских мантр на санскрите».

Почем «снятие венца безбрачия» — не знаю, а вот таксу за «очищение души» г-н Чужков сообщил (разговор шел по телефону) — 400 руб. за сеанс. Без гонораров «профессор Белой магии» не остается. Из пятнадцати телефонных номеров под объявлением четырнадцать было оторвано. И еще важно подчеркнуть, что наши чиновники, возможно, не слишком различают, что есть медицина, а что — магия. Объявление г-на Чужкова завершает ссылка на свидетельство № 16-297213002, выданное городской администрацией.

Мода на мистицизм порождает не только массовое шарлатанство, теснящее медицину, но открывает широкие возможности для изобретателей новейших религиозных гибридов.

«Ноу-хау» заимствовано опять же с Запада, из США. Там появилась дианетика Рона Хаббарда и его «Церковь сайентологии», там же раскрывали «преподобного» Сан Мен Муна, основателя «Движения объединения»¹⁸.

«Преподающий» Мун стал известен в Москве еще в эпоху «перестройки и гласности». Пик активности мунизма пришелся на 1994 — 1995 годы. Сайентология появляется в России с начала 90-х годов как «новая научно-философская дисциплина». Первые шаги мунизма и сайентологии были многообещающими: в 1995 году по мунистскому учебнику¹⁹ преподавали более чем в двух тысячах российских школ, в начале 90-х в России была издана «Дианетика» и прошла очень шумная презентация ее в Кремлевском Дворце съездов, далее сайентология начала обосновываться в медицине (в психотерапии) и в науке управления (Хаббард-колледж). Эти две модели нового «религиозного» творче-

¹⁷ «Труд», 1995, 6 октября.

¹⁸ Официальное название — Ассоциация Святого Духа за объединение мирового христианства.

¹⁹ «Мой мир и я. Пути любви». М., 1994.

ства были очень быстро заимствованы нашими отечественными умельцами, и в жесткой конкурентной борьбе отечественное производство новых культов оттеснило и мунитов, и сайентологов. Рынок есть рынок.

«Преподобный Мун» привязывал свое учение к христианству, объявляя себя новым мессией, кому надлежит принести людям «царство Божие», объединив всех в качестве детей под эгидой истинных духовных родителей — Муна и его третьей жены. Дальше фантазия Муна не шла. Но в противовес Муну появляется нашумевшее «Белое братство», где в роли мессии выступает бывшая комсомольская активистка, член КПСС Марина Цвигун, в которой, как выясняется, воплощается вначале Богородица, но затем она становится Богом Отцом, Богом Сыном и Богом Святым Духом по имени Мария Дэви Христос. Затея принадлежала Юрию Кривоногову, кандидату технических наук, сотруднику киевского Института неврологии и психиатрии. Как видим, человек небесталанный и начитанный. Сначала он попытался прибрать к рукам кришнаитов, но предпочел организовать собственное дело — «Великое Белое братство». Название заимствовано у Рерихов, кое-что — из теософии, — все варится в одном горшке, по принципу испанской кухни. О гастрономических вкусах, как известно, не спорят, но в сфере религиозной соединение взаимоисключающих понятий образует в горшке (в голове неопита) гремучую смесь, которая раньше или позже неизбежно взорвется (либо по персональному, либо по коллективному приказу, что имело место в Киеве, когда «Белое братство» готовилось к кульминации мировой истории).

Чуть утихла буря, поднятая «Белым братством», как на авансцену вышел новый «мессия» — Виссарион. «Слово Виссариона» (Сергея Торопова), обращенное к соотечественникам, строилось по той же кривоноговской модели; Виссарион, правда, оказался скромнее — объявил себя реинкарнацией только Иисуса Христа. Но с коммерческой стороны «Церковь Третьего Завета» стала предприятием куда более доходным, чем «Белое братство». Идея спастись вокруг Сухой горы в тайге под Минусинском принесла группе, раскрутившей Виссариона, очень солидные барыши. Деньги от продажи квартир и всего имущества новообращенные виссарионовцы отдавали «мессии», на содержание таежных коммунаров уходили крохи, поскольку питаться они должны были только корнеплодами. Команда Виссариона получила от красноярских властей 200 гектаров леса под строительство «Города Солнца» на Сухой горе. Дело ограничилось возведением четырех коттеджей для Виссариона и его ближайшего окружения, остальные виссарионовцы снимают каморки в прилегающих деревнях; на отведенном лесном массиве организована лесоразработка (рабсила, естественно, дармовая, из числа спасающихся), «левый» сбыт древесины приносит дополнительный доход команде Виссариона. Инициированное депутатами Госдумы расследование после гибели, при неясных обстоятельствах, депутата Савицкого было тихо свернуто. Единственным положительным его результатом стало послабление агрессивного вегетарианства для детей (до четырнадцати лет разрешено вкушение молока) и согласие на регистрацию новорожденных (до этого младенцы появлялись на свет в бане как бы «инкогнито», факт рождения нового человека в актах гражданского состояния отсутствовал). В настоящее время руководство секты ужесточило режим изоляции сектантов от внешнего мира. Переписка с родственниками строго контролируется: родные могут писать только по указанному адресу в Минусинске, откуда по усмотрению руководства письма доходят либо не доходят до адресата. Коммунарам предложили самим изыскивать себе пропитание, не рассчитывая больше на «общак», последнее нововведение в секте — свободная любовь между братьями и сестрами. Поскольку братьев меньше, чем сестер, верующие сестры должны делиться своими мужьями или сожителями. И никакой ревности — это эгоизм несовершенной веры²⁰. Приток в «Церковь Третьего Завета»

²⁰ Я пользуюсь информацией из первых рук — от тещи «главного священника» Редькина (бывшего участника воронежской рок-группы).

иссяк к концу 90-х; экологическая катастрофа не наступает, конец света все еще не просматривается; негативные публикации о секте тоже сделали свое дело. Я не удивлюсь, если в недалеком будущем Виссарион «вознесется к отцу своему небесному», прихватив ближайших апостолов, а в таежных лесах Красноярского края останутся выброшенные из жизни люди, многим из которых некуда возвращаться. Можно, конечно, сослаться на свободу сделанного ими выбора, но как быть с детьми, которым обезумевшие мамы выбора не оставили?

Место гибридных сект занимают сегодня ориентированные на языческий натурализм отечественные движения. Изобретательность и коммерческий талант организаторов массовых мистификаций превосходят всю «древнюю мудрость Востока».

Речь идет о публикации серии книг под псевдонимом Мегре (Пузаков). Первая, «Анастасия», стала буквально бестселлером. Примечательно, что сюжет автор позаимствовал у Куприна — из повести «Олеся», приправив его космической мистикой. Очевидно, что к 2000 году Россия перестала быть «самой читающей страной». Плохую беллетристику приняли за реальные события. Далее все шло по плану. Свое сочинение Мегре-Пузаков начал с описания «звенящих кедров», которые за 500 лет накапливают «положительную энергетику» и по этой причине не только звенят, но и обладают целительной силой. Вскоре после выхода в свет «Анастасии» появилась общественная организация «Звенящие кедры» со своим печатным органом под тем же названием. Стали продаваться амулеты из кедра (звенящего), кедровое масло, кедровые орехи — продукция рекламировалась как чудодейственное средство от всех недугов, телесных и душевных. Затем дошел черед и до Анастасии. Живущая в тайге чудотворица почему-то стала обзывать всех по телефону и приглашать к себе на поселение — в сибирскую тайгу, к «звенящим кедром» (не знаю, как дело обстояло в других городах, но в Воронеже это происходило именно так). Культ Анастасии распространился во многих областях, в 2002 году в Москве прошел всероссийский слет анастасиевцев. Интерес подогревался серией книг, которые Пузаков выпускал одну за другой, переходя от лирического романа Мегре с Анастасией к мистическим откровениям о таинственных силах земли и неба. Что же привлекает молодых людей к «Анастасии»? На эту приманку улавливаются простодушные мечтатели, по-своему протестующие против «телевизионного» воспитания и ценностей шоу-бизнеса. Не все стремятся на «фабрику звезд» и «балдеют» от ток-шоу «Большая стирка». Приток молодежи в «Анастасию» (появилась еще и «Лада»), бегство к мунитам можно считать протестным поведением: не нравится этим молодым искателям «жить играючи», неодухотворенно. Но поскольку они «без роду, без племени», не укоренены в русской культурно-исторической традиции, религиозно невежественны, то с легкостью принимают дешевую поделку за «духовное ведение». Наши отечественные «крысоловы» оказались умнее своих западных коллег, потому что лучше понимают психологию тех, кого можно заполучить в ловушку, и лучше знают, на какой дудочке сыграть, чтобы увести людей из реальности в утопию. Потому-то отечественные «мистики» обошли зарубежных изобретателей новых религий.

Сайентология тоже не выдержала в России долгой конкуренции. У них сайентология, а у нас «белые экологи» «духовного учителя» Владимира Иванова, у них Ширли Мак-Лейн, а у нас Евдокия Марченко с «Радастеей». Причем наша Дуся, в отличие от американки, не какая-то там актриса, а закончила Уральский университет по специальности астрофизика да еще пятнадцать лет проработала вольнонаемной в ракетных войсках стратегического назначения. После увольнения Дуся стала «ученым философом», учредителем очередной общественной организации «Радастея». «Ученый философ» Евдокия Марченко открыла новый путь к интеллектуальному совершенству — «ритмологию», что превосходит хаббардовский «клиринг» по силе «промывки мозгов». Поведение, целевые установки, мировоззрение радастейцев определяются «ритмами», которые Дуся заготовила на все случаи жизни. Ритмы — это такое рифмоплет-

ство, где нет явного смысла, но есть терминологическое обобщение космических откровений Марченко. Радастейцы должны все время твердить Дусины ритмы (принцип нейролингвистического программирования). В истории «Радастей» много темных пятен, как-то: на каком основании Марченко по указанию из Москвы откупила за 7 миллионов у оборонного предприятия детский лагерь, стартовая цена которого на аукционе была 40 миллионов?²¹ Хотя Марченко издала сорок книг и брошюр в своем собственном издательском комплексе (на территории приобретенного детского лагеря), вряд ли доходы от продажи этой письменной продукции могут покрыть все расходы «Радастей»: форумы (радасты), представительства за рубежом, выездные конференции в Венгрии, Бразилии. Все не ближний свет. Из-за Уральского хребта «Радастея» достигла и наших краев. Где уж тут удержаться «дианетике», когда высадился «космический десант» — так Марченко именует своих последователей.

Итак, «наши» потеснили новые религии, пришедшие с Запада. Но это обстоятельство не вызывает у меня прилива патриотических чувств. Отечественный «Нью Эйдж» во всех его проявлениях преследует ту же цель, что и западный: вытеснение христианства, в России — православия, на обочину истории.

В упомянутой статье Айлин Баркер утверждает, что неправомерно связывать национальную самобытность исключительно с какой-то одной религией, а другие верования рассматривать не как альтернативные религии, вносящие свой вклад в богатство культуры нации, а «как вероломные идеологии»²², отсюда можно ожидать «предубежденной дискриминации» и прочих неприятностей. У английского социолога весьма своеобразный взгляд на природу национальной культуры. Какой вклад в нее следует ожидать от темного мистицизма, древних языческих суеверий и «плюрализма» деструктивных культов? Ничего, кроме одичания, интеллектуальной и культурной деградации. Если я не права, пусть мне назовут хотя бы одно имя ученого, значительного писателя, композитора из числа кришнаитов, «свидетелей Иеговы», вассарионовцев и тому подобных. Если говорить о гражданском мире и согласии, то агрессивны по отношению к окружающим, к отечественной истории, культуре, религии именно новые культы.

«Кто победит?» Было бы отрадно надеяться на здравый смысл, который подвигнул бы наших чиновников серьезно подумать о концепции национального и общегуманитарного образования. Незнание, непонимание своей духовной традиции, религиозное невежество, по сути, лишают молодого человека свободы выбора. Свободным ведь может быть только осознанный выбор.

Подогревать же нездоровое любопытство к оккультизму и магии ради торжества либеральной идеи — о других мотивах умолчу — дело неблагодарное и неблагодарное. В своем кратком перечне совершенно новых для России сект я не упомянула сатанистов. Где гарантия, что кто-либо из защитников «плюрализма» без границ или кто-то из их близких не станет ритуальной жертвой таковых?

Вера, по словам Антония Великого, «есть свободное убеждение души». Психологическое порабощение группой или одним лицом лишает сектанта именно этого необходимого признака веры — «свободного убеждения души».

Воронеж.

²¹ Лихачев С. Площадка для зомби. — «Челябинский рабочий», 2002, 5 декабря.

²² Баркер А. Кто же победит? — «Страницы», 2000, № 5, стр. 135.

Священник ВЛАДИМИР ВИГИЛЯНСКИЙ



СМИ И ПРАВОСЛАВИЕ

Информационные войны вокруг «Основ православной культуры»

За последние десять лет все информационные войны в СМИ Церковью были проиграны. Можно много говорить о причинах поражения. Но в основном победители видят их в слабости церковной позиции, а побежденные — в слабости информационных средств, отстаивающих эти позиции. Последние основываются на том, что не раз бывали случаи, когда аргументы религиозных деятелей были тщательно блокированы ведущими СМИ, тогда как оппонентам были предоставлены все возможности для нападков.

Приведем красноречивый пример. В 1997 году по НТВ был показан фильм Мартина Скорсезе «Последнее искушение Христа», против демонстрации которого выступила церковная общественность. В защиту либерально-атеистических ценностей от «цензурных» требований Православной Церкви раздался мощный хор либеральных СМИ: «Известия» и «Независимая газета» — каждая опубликовала за короткий срок более 20 материалов; «Московский комсомолец», «Сегодня», «Московские новости», «Общая газета», «Новая газета», «Комсомольская правда» — каждая более 10 материалов. При этом ни одно из светских изданий не опубликовало ни обращения Патриарха Алексия II, ни решения Синода по этому вопросу, что дало повод превратно интерпретировать позицию Церкви (см.: Священник Владимир Вигилянский. Последняя грань. «Последнее искушение Христа» и споры вокруг него. М., 1998).

Такие же мощные залпы информационных орудий звучали по поводу строительства Храма Христа Спасителя в Москве, закона «О свободе совести и религиозных объединениях», канонизации царской семьи, возвращения церковных ценностей, «захоронения останков царской семьи», несостоявшейся встречи Патриарха Московского и папы Римского, расширения католических епархий на территории России и др. Во всех этих кампаниях присутствовала предельная концентрация негативных в отношении Церкви публикаций в одно и то же время и в одних и тех же изданиях, жесткая цензурная политика в отношении оппонентов, «демонизация» жертвы, использование услуг «перебежчиков», жонглирование политическими обвинениями, откровенная клевета, замалчивание реальных фактов и применение способов полемики, находящихся за гранью этических журналистских норм.

При этом надо учитывать одно важное обстоятельство: ни один священнослужитель никогда, ни при каких обстоятельствах не может подать в суд на журналиста о защите своей чести и достоинства хотя бы потому, что по церковным канонам, как правило, не судятся у «внешних». Тем более ни в какие судебные разбирательства не может вступать и Церковь. Таким образом, издания и журналисты, участвующие в информационных войнах против Церкви, работают в самых что ни на есть тепличных условиях.

Вигилянский Владимир Николаевич — священник храма мчц. Татианы при Московском университете. Родился в 1951 году. Член Союза российских писателей. Преподаватель факультета церковной журналистики Российского православного университета им. ап. Иоанна Богослова. Первая публикация в «Новом мире» — 1969 год.

За это десятилетие флагманами мощной эскадры, ведущей войну с Православной Церковью, а иногда вообще с религией, были разные издания. Одно время это был «Церковно-общественный вестник», приложение к парижской «Русской мысли», печатавшийся и распространявшийся в России пятидесяти-тысячным тиражом (см. об этой газете: «Для новых гонений на Церковь уже все подготовлено». М., 1997). Затем — газеты «Московский комсомолец», «Сегодня», «Общая газета», «Новые известия» (отчасти «Новая газета», «Известия», «Итоги», «НГ-религии», «Московские новости», «Огонек», «Новое время», «Комсомольская правда»), то есть наши самые тиражные издания.

До поры до времени напору этих газет и журналов никак не могли противостоять ни провинциальная пресса, в массе своей лояльно относящаяся к Церкви, ни тем более «бумажные» церковные СМИ, не имеющие достаточных средств для своего распространения. Однако с 2000 года, с бурным развитием информационных агентств (в силу своей журналистской специфики они опираются на реальные факты, а не на мнения о них, так что они менее оценочны и более объективны), а также отечественных интернет-ресурсов, ситуация начала меняться. Церковный голос наконец может быть услышан благодаря сравнительно дешевому Интернету (более 200 православных интернет-изданий). Кроме того, стали доступны электронные версии региональной прессы. В таком контексте уже затруднительны обычная для антирелигиозной публицистики манипуляция фактами, намеренное сокрытие значимых для общества событий и диффамация.

Последняя информационная война в сфере религии, связанная с введением в общеобразовательной школе факультатива по «Основам православной культуры», показала, что испытанные антицерковные ресурсы столкнулись с мощной информационной обороной. Это не значит, что Церковь не проиграла, но это и не значит, что либерально-атеистическое лобби, как в прошлые годы, полностью одержало победу. Показательно, что Патриарх Алексей II только два раза за 14 лет своего патриаршего служения отреагировал на массивные антирелигиозные нападки прессы, хотя поводов были сотни. Последний раз это было осенью 2002 года, когда «Известия» в почти неприличной форме обсуждали проблему преподавания «Основ православной культуры».

Для обзора прессы мы воспользовались информационно-поисковой системой *Integrum.com*, вбирающей в себя все электронные версии российских СМИ. Запросы «*Основы православной культуры*» и «*Закон Божий*» дали нам возможность ознакомиться с 1310 и соответственно с 3596 документами, упоминающими сочетания этих слов за период с начала 2000 и по март 2003 года, то есть всего с 4906 документами (из них 204 документа из журналов, 505 — из интернет-изданий, 1133 — из региональной прессы, 762 — из центральных газет и т. д.).

Этот огромный массив журналистских материалов, с одной стороны, отражает, с другой — формирует общественное мнение. В большинстве случаев мы столкнулись с положительной оценкой введения факультатива «Основ...», однако это чаще связано с публикациями информационных агентств и региональной прессы. Столичные же телекомпании и центральная «бумажная» пресса высказали в основном отрицательную оценку факультатива. Но именно эти СМИ и влияют на верхние эшелоны власти, на законодательные и исполнительные органы. Многие из перечисленных выше изданий очень бурно отреагировали на «Основы...»: «Независимая газета» — 48 документов, «Известия» — 40, «Комсомольская правда» — 32, «Московский комсомолец» — 16, «Огонек» — 15, «Ъ Daily» — 13, «Московские новости» — 7.

Главными орудиями в руках противников «Основ...» было утверждение, вопреки всем документам и высказываниям представителей Министерства образования и церковных деятелей, что преподавание основ православной культуры обязательно для школьников. Очень долго морочить голову читателям этим утверждением не получилось — пришлось на ходу перестраиваться и внушать, что в российских условиях добровольные факультативы на деле будут

принудительными. К этому же разряду относятся доводы относительно нарушения Министерством образования Конституции РФ и некоторых законов. Однако правове­ды, вооружившись законодательными актами, эти доводы опровергли.

Кроме этого был выдвинут аргумент, делающий акцент на многоконфессиональности и многонациональности России: православная культура как школьный предмет якобы посеет рознь между гражданами. В ответ на это раз­дались объяснения, что в местах компактного проживания иных национальностей, кроме русских, может изучаться исламская, буддийская, иудейская культура. Некоторые резонно спрашивали оппонентов, почему православная культура, которая лежит в основе истории нашего общего государства и является живительным истоком значительного большинства его населения, может быть оскорбительной и враждебной для жителей, исповедующих иную религию и культуру. Ответа на этот вопрос так и не последовало. К тому же практика преподавания «Основ...» во многих регионах пока не привела ни к одному национальному и межконфессиональному конфликту, да и многие лидеры религиозных объединений в конце концов поддержали православную общественность в желании обучать детей своей культуре.

Другой довод противников факультатива основывался на том, что православно ориентированных граждан у нас очень мало — 1 — 8 процентов. Но все социологические опросы категорически опровергали это утверждение. У нас граждан, идентифицирующих себя с Православием, по самым скромным подсчетам — более 50 процентов, а тех, кто с той или иной степенью регулярности участвуют в православных церковных таинствах, — 18 процентов (об этом см.: Священник Владимир Вигилянский. Новое исследование по старым рецептам. — «Новый мир», 2001, № 4). Даже специфическая аудитория «Свободы слова» (НТВ) в конце передачи, отвечая на каверзный вопрос Савика Шустера (о введении «факультативного курса православной культуры в школах по согласованию с родителями, но за счет налогоплательщиков»), в большинстве своем проголосовала «за».

Самый «трудный» и самый распространенный аргумент связан с тем, что преподавание «Основ...» отвратит детей от Бога. При этом говорится, что до 1917 года Закон Божий входил в обязательную программу, но это не спасло Россию ни от революции, ни от безбожия. К сожалению, ни одного вразумительного ответа в печати на этот аргумент (хотя такой ответ, конечно, есть) мы не нашли. Особенно любопытны заботы безбожников о чистоте веры и христианского учения.

Среди многих сотен откликов, исходящих, по-видимому, от атеистов, есть один уникальный; его автор, православный священник, считает, что «все, что касается веры в Бога, — это очень личное, интимное... о Нем нельзя рассказывать на уроках». Это неожиданное размышление пастыря не только противоречит заповеди Иисуса Христа: «Итак, идите, научите все народы... уча их соблюдать все, что Я повелел вам...», многим высказываниям апостолов о миссионерском служении христиан, но и ставит под сомнение подвиг миллионов христианских мучеников и исповедников.

Особенно много критического было сказано в СМИ об учебнике А. В. Бородиной «Основы православной культуры». На этот учебник нашими правозащитниками даже был подан судебный иск с обвинениями в «разжигании межнациональной ненависти и религиозной вражды». Дело разбиралось дважды, но в обоих случаях судьи не нашли эти обвинения доказательными.

Между первым и вторым судом над учебником прошел инцидент в правозащитном Центре Андрея Сахарова в Москве. В информационно-поисковой службе Integrum.com мы обнаружили 214 документов о выставке «Осторожно, религия!». Почти все СМИ, печатавшие статьи против учебника, грудью встали на защиту художников, оскорбивших, по мнению религиозных деятелей, «чувства верующих». Сопоставление оценок и интерпретаций двух этих событий со всей остротой ставит перед аналитиками, изучающими современные

СМИ и состояние нашего общества, вопрос: какова же функция наших правозащитников? Что именно и чьи права они защищают?

Василий Розанов в «Опавших листьях» ссылается на одно из писем Ф. М. Достоевского, в котором с удивительной прозорливостью описываются сегодняшние «правозащитные» времена: «И вот, в XXI столетии, при всеобщем реве ликующей толпы, блудник с сапожным ножом в руке поднимается по лестнице к чудному Лику Сикстинской Мадонны: и раздерет этот Лик во имя всеобщего равенства и братства». Кстати, весьма показательно, что мимо правозащитников прошло печатное высказывание о том, что «если священнослужители заявятся в школу», то автор «возьмется за оружие» («Известия», 2002, 31 августа).

Итак, спор о введении в школе факультатива по «Основам православной культуры» практически выигран его противниками. Глас родителей, желающих, чтобы их дети изучали родную культуру, не был услышан ни Президентом, ни премьер-министром, ни Государственной Думой. Работники Министерства образования говорят, что вопрос о преподавании «Основ...» откатился на три года назад. Министр В. Филиппов не на шутку испугался — пообещал прислать новые инструкции, разработать новую факультативную дисциплину по истории религий, отстранил своего заместителя от кураторства по этому вопросу...

В нашей подборке материалов мы преследовали одну цель — дать представление читателям обо всех нюансах информационных баталий, развернувшихся на страницах СМИ за последнее время. Материалы печатаются в хронологическом порядке. Иногда *полужирным курсивом* мы отмечаем особенно примечательные высказывания.

«Версты», 1999, 11 сентября.

<...> 51 процент жителей Самары, по данным последнего соцопроса, высказываются за введение в школе нового *обязательного предмета* — Закон Божий <...>.

«Отечественные записки», 2001, № 1, Николай Митрохин, «Государство в государстве».

<...> Поскольку количество систематически посещающих храмы («воцерковленных») людей остается весьма незначительным (по разным подсчетам — от 1 — 2 до 6 — 8 процентов от общего числа граждан России), то Церковь списывает это на удачки атеистического воспитания и надеется, что новое поколение россиян удастся воспитать «в вере». Своих сил на это, как говорилось выше, у РПЦ нет, и единственным выходом из этой ситуации стало обращение Церкви к государству. Именно за счет его средств и возможностей РПЦ надеется получить молодых прихожан. По замыслу активистов церковного образования, первым серьезным шагом на этом пути должно стать *обязательное введение* в средних школах Закона Божьего <...>.

«Коммерсантъ», 2001, 30 января. Оксана Алексеева, «Закон Божий не всем писан».

<...> В разговоре с корреспондентом «Ъ» ответственный секретарь отдела религиозного образования и катехизации Московской патриархии Валерий Шлёнов внес некоторые уточнения и пояснения, сообщив, что речь не идет о введении обязательного урока Закона Божьего — *он будет факультативным*, для желающих православных (иноверцы и до революции освобождались от такого урока. — «Ъ»). Церковь же имеет в виду необходимость такого предмета в школьной программе, как история православной культуры. «Это необходимый предмет на всей территории России, чтобы наши ученики не были дикарями. Они должны знать историю православия, потому что живут в России и говорят на русском языке <...> Это не помешает в отдельных регионах и республиках изучать также историю, скажем, ислама или буддизма».

«Обозреватель», 2001, № 7-8. Ю. Борисов, доктор исторических наук, профессор Дипломатической академии МИД РФ, заслуженный деятель науки России, «Кесарю — кесарево, а богу — богово».

<...> По данным одного из последних по времени всероссийского социологического опроса общественного мнения, проведенного ВЦИОМом, 55 процентов

россиян верят в Бога, но 33 — не верят, а 12 затруднились с ответом. Разве атеисты в нашем обществе исчезли? Они живут, работают и имеют такое же право на свободу совести, на свой мировоззренческий выбор, на свои взгляды, как и верующие: православные или католики, мусульмане или иудеи... *Светскому образованию в России угрожает полное подчинение религиозному мировоззрению <...>.*

«Независимая газета — НГ Религии», 2001, 26 сентября. *Алексей Лампси*, «Будет ли „министерство веры“?».

Андрей Евгеньевич Себенцов — председатель Комиссии по вопросам религиозных объединений при правительстве РФ:

<...> Итак, обучать детей религии в школьных помещениях можно, если об этом просили их родители, если это происходит вне школьных занятий и если обучение ведет религиозная организация. Это существенно отличается от того, что делается в Германии, на опыт которой часто ссылаются священники РПЦ: конституция данной страны предусматривает обязательность религиозного образования в государственной школе! Реализация этого положения идет в законодательстве земель. Например, в Баварии, если в школе есть 12 учеников одного вероисповедания, школа обязана принять на работу (и платить ему жалованье) представителя соответствующей религиозной организации для обучения этой группы детей <...>.

«НТВ — Новости», 2002, 12 февраля. «Ирина Хакамада против обязательного изучения православия в школе».

Введение *обязательного* изучения основ православия в средней школе может привести к тому, что через 10 лет мы получим поколение «зомбированных, серых людей, способных выполнять команды, но не способных формировать новые идеи». Об этом 11 февраля на пресс-конференции в пресс-центре РИА «Новости» заявила заместитель председателя Госдумы РФ, курирующая в нижней палате вопросы образования, депутат от фракции Союза правых сил (СПС) Ирина Хакамада, сообщает агентство Благовест-инфо.

По словам Хакамады, прозвучавшие на Рождественских чтениях тезисы о необходимости изучения православия как обязательного предмета в средней школе, совпавшие по времени с «законодательными инициативами» депутата Александра Чуева, предложившего проект «О традиционных религиозных организациях», являются «опасными». Они не только противоречат Конституции РФ и закону «Об образовании», гарантирующим светский характер государства и светскость образования, но и препятствуют формированию свободной личности в нашей стране. Кроме того, введение основ православия как обязательного предмета может привести к «межконфессиональному взрыву», что совсем не благоприятствует развитию России <...>. Если в таких условиях будет внедряться «имперская идея», полагает депутат, то это будет означать *«возврат в тоталитарное общество»* <...>.

Радио «Свобода», 2002, 4 февраля. «Предложения Московского Патриархата по преподаванию в российских школах „Основ православной культуры“».

Участствуют бывший первый заместитель министра образования России Александр Асмолов и международный обозреватель РС Джованни Бенси.

Александр Асмолов: <...> Что же касается стандарта школьного образования как обязательного компонента, то в нашей полиэтнической, поликультурной, межконфессиональной стране попытка ввести жестко курс, отражающий лишь одну из конфессиональных ориентаций, — эта попытка чревата взрывами и приведет к очень тяжелым последствиям. Что же касается истории православной религии как факультативного курса или введения к другим курсам, то, я думаю, это вещь важная, поскольку без истории православной культуры немислима история современной России.

Джованни Бенси: <...> Никто не станет отрицать, что в истории и культуре России, в самом становлении этой культуры, православие сыграло выдающуюся роль. Несомненно тоже, что моральные ценности, действовавшие в историческом российском обществе, выводились из православия и вообще из христианства. Некоторые из этих ценностей были затемнены в советское время, и все видим, как

сегодня трудно их восстанавливать. Поэтому предложение Патриарха Алексия II можно считать вполне закономерным, тем более что он говорит об «основах православной культуры», а не просто о традиционном Законе Божьем. Но Россия — многорелигиозное государство: такое же право надо признать и за другими вероисповеданиями.

Радио «Свобода», 2002, 17 февраля, «Лицом к лицу». Гость программы сегодня — Митрополит Римско-католической церкви Тадеуш Кондрусевич, глава католиков России.

Андрей Шарый: <...> Как вы относитесь к инициативе Русской Православной Церкви ввести в средних школах предмет под названием, по-моему, «Основы православной культуры», так сейчас это называется. В принципе? Какова ваша точка зрения?

Тадеуш Кондрусевич: Да, в принципе... А что говорить об основах ислама тогда, об основах протестантизма, скажем, об основах католицизма? То есть, я понимаю, у каждого своя рубашка ближе к телу, как говорится. Я понимаю заботу Русской Православной Церкви и разделяю ее. Но как обеспечить другим это, если мы все поставлены в равные условия? Это тоже надо подумать, потому что потом, действительно, можно будет говорить о прозелитизме, но с другой стороны.

Андрей Шарый: Но в других же странах существуют элементы, скажем, в Хорватии, Боголюб?

Боголюб Лацманович: Да, существуют.

Андрей Шарый: Есть ведь там основы католического вероучения, да?

Тадеуш Кондрусевич: И в Литве есть, и в Польше есть. Есть, да.

Андрей Шарый: То есть теоретически, вы считаете, в этом все-таки здесь есть какой-то вопрос для России или?..

Тадеуш Кондрусевич: Для России с ее спецификой есть вопрос. Но вообще в мире это так существует. В Польше, например, ввели, в Литве тоже ввели в школах, и туда ходят преподаватели: как священники, как и монашествующие, так же и миряне <...>.

«Русский предприниматель», 2002, № 2. Дмитрий Другов, «Атеисты против Патриарха. Народные избранники по-прежнему считают религию „опиумом для народа“».

Как известно, Патриарх Алексий II в своем выступлении на Десятых международных рождественских образовательных чтениях подчеркнул необходимость расширения сотрудничества Церкви и государственной системы образования... Однако именно эти высказывания неожиданно стали мишенью для нападок ряда депутатов либеральных фракций Думы СПС и «Яблока» и поддержавшего их спикера Госдумы Геннадия Селезнева <...>. Один из них, «яблочник» Михаил Амосов, заявил буквально следующее: «Мне представляется, что введение „Основ православной культуры“ оскорбительно для представителей других религий и конфессий, а также для неверующих. Недопустимо с ранних лет „привязывать“ детей к единой религии». С этой позицией, в целом типичной для «западнических» фракций, солидаризировался и спикер Госдумы Геннадий Селезнев. Высказавшись против введения предмета, Селезнев сказал, что «в России Церковь отделена от государства и в стране много религиозных конфессий», а поэтому «введение в светских школах именно „Основ православной культуры“ неблагоприятно скажется на их взаимоотношениях». Вслед за этими высказываниями последовала целая волна критических публикаций, носивших крайне тенденциозный характер. В них содержался целый ряд принципиальных искажений смысла сказанного Патриархом. Во-первых, все критики «Основ православной культуры» рассматривали этот курс как вероучительный, то есть как аналог Закона Божия. Между тем этот предмет изначально задумывался именно как культурологическая дисциплина <...>. В правовом отношении идея курса опиралась прежде всего на преамбулу Федерального закона «О свободе совести и религиозных объединениях», где признается «особая роль православия в истории России, в становлении и развитии ее духовности и культуры». Таким образом, депутаты явно передергивали слова Патриарха, утверждая, что он якобы «незаконно» хочет поголовно всем «навязать» изучение православной религии. Любопытно, что депутаты из «Яблока» и СПС толкуют принцип разделения

Церкви и государства в откровенно радикально-атеистическом, большевистском духе, полагая, что даже школьники из семей верующих не имеют права изучать «Основы православной культуры» в государственных школах. На самом деле уже действующее законодательство позволяет на добровольной основе изучать в светских школах не только «Основы православной культуры», но и Закон Божий <...>.

«Русский Дом», 2002, № 3. Из Слова Святейшего Патриарха Алексия II на открытии X Международных Рождественских образовательных чтений, «Не препятствуйте детям приходиться ко мне».

Школа, выпавшая из традиции, школа, в которой не соблюдают преемственности поколений и не передают нравственных начал, способствует только дальнейшему разрушению общества, а не созиданию его. Взрывчатое вещество растления, будучи заложено в школу, может оказаться для народа более губительным, чем любые теракты. Думается, что пора распространить опыт преподавания «Основ православной культуры» на все государственные школы России. И не нужно бояться того, что среди учеников могут оказаться дети мусульман, иудеев, буддистов. Ведь достижения русской православной культуры суть неотъемлемая часть мировой духовной сокровищницы, а тем более нашего образа мысли и жизни, веками объединяющего народ. Православие — вовсе не идеология, не набор абстрактных убеждений. Это жизнь, наполненная любовью ко Господу и к людям, добрым отношением ко всему творению Божию <...>.

«Независимая газета — НГ Религии», 2002, 17 апреля. «Москвичи за Закон Божий».

Введение в программы средних школ России предмета «Закон Божий» в той или иной степени поддерживают 59 процентов взрослых москвичей, а не поддерживают 21. 15 процентов жителей столицы РФ относятся к этому вопросу безразлично, а 5 — не имеют на этот счет своего мнения. Опрос проведен в начале апреля социологами Группы компаний monitoring.ru. В нем участвовали 600 взрослых москвичей, проживающих во всех административных округах столицы РФ <...>.

«Lenta.ru», 2002, 28 апреля. «Защитники православия молитвенно постояли на месте свиданий московских геев».

В Москве у памятника Кириллу и Мефодию прошла акция в защиту православия, организованная по инициативе лидера парламентской группы «Народный депутат» Геннадия Райкова Народной партией Российской Федерации и Союзом православных граждан. По данным сотрудников милиции, в митинге приняли участие около полутора тысяч человек <...>. В своих выступлениях собравшиеся призывали к принятию закона о традиционных религиях, к введению в школах предмета «Основы православной культуры» и расширению православного присутствия в российской армии. Выступления с трибуны сопровождались молитвами и песнопениями митингующих. «Эхо Москвы» отмечает, что сторонники православия собрались на Славянской площади, в том самом месте, где обычно гуляют московские геи, против которых начал крестовый поход инициатор акции Геннадий Райков.

«Коммерсантъ», 2002, 17 мая. «Прививка Минобразования православием идет успешно».

<...> Заключен договор о сотрудничестве Минобразования и РПЦ, в котором министерство обязалось содействовать организации преподавания предмета «Основы православной культуры» в рамках учебной программы. В ряде государственных школ Московской, Курской, Смоленско-Калининградской и Кемеровской епархий уже введен *обязательный* предмет «Основы православной культуры».

«Русский предприниматель», 2002, № 5-6. Ксения Чернега, кандидат юридических наук, кафедра гражданского и семейного права МГЮА, «Уроки религии в государственной школе. Что говорит по этому поводу российское законодательство».

<...> Во второй статье Закона РФ «Об образовании» закреплен принцип светского характера образования в государственных и муниципальных образовательных учреждениях. Однако данный принцип вовсе не налагает запрета на религиозное

образование в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, в том числе в школах. Например, в пункте 4 статьи 5 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» говорится: «По просьбе родителей или лиц, их заменяющих, с согласия детей, обучающихся в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, администрация указанных учреждений по согласованию с соответствующим органом местного самоуправления предоставляет религиозной организации возможность обучать детей религии вне рамок образовательной программы». Более детально эта процедура решения вопроса о религиозном образовании в государственной школе закреплена в письме Министерства образования РФ от 4.06.99 № 14-53-281ин/14-04. Согласно данному документу, для решения этого вопроса требуется заявление родителей школьников в том случае, если они не достигли 14 лет. В заявлении помимо просьбы родителей фиксируется согласие самого ребенка на обучение религии. В соответствии с законом ребенок старше 14 лет может самостоятельно решать вопрос о своем отношении к вероисповеданию. В связи с этим он вправе оформить свою просьбу о религиозном обучении в виде приложения к заявлению родителей (законных представителей) или в виде самостоятельного заявления. Такие заявления оформляются на имя администрации образовательного учреждения и рассматриваются органом школьного самоуправления (совет школы, попечительский совет или иной орган, записанный в учредительных документах школы). Важно отметить, что для решения вопроса о религиозном образовании в заявлениях родителей или детей должно содержаться указание на ту религиозную организацию, которая будет заниматься религиозным обучением. В свою очередь руководитель или полномочный представитель этой организации должен приложить к заявлениям свое ходатайство. К нему также должны быть приложены копии устава и свидетельства о государственной регистрации этой религиозной организации. Последнее требование существует для того, чтобы оградить школу от вторжения нетрадиционных религиозных объединений (сект).

«Еженедельный Журнал», 2002, № 23. *Яков Кротов*, «Церковный покров над светской школой».

<...> Призывы воспитывать в детских душах терпимость не мешают автору учебника А. В. Бородиной откровенно поносить гуманизм — за «признание самценности человека» и противостояние христианству. «Православной культурой» признается лишь культура России, где якобы и каноны иконописания сформировались <...>. Средневековые басни о реликвиях и хранящихся где-то дарах, которые волхвы принесли младенцу Христу, воспроизводятся как аксиома, без всяких комментариев <...>. Учебник нафарширован неомонархизмом: оказывается, Россия — «удел Богоматери», Она «замещает императора» <...>. Не обошлось и без вулгарного антисемитизма... Классическая средневековая юдофобия, соединенная с конспирологией в духе «Протоколов сионских мудрецов» <...>. Конечно, учебник Бородиной — досадное недоразумение. Только не надо думать, что достаточно сочинить что-нибудь получше, и тогда вводи ОПК спокойно. Даже если ОПК станут преподавать по книгам Александра Меня, но в «сетке часов», «принудительно-добровольно» и с «поощрениями» в виде заграничных поездок, в душах школьников удастся заложить основы вовсе не православной культуры, а совершенно безрелигиозного цинизма, агрессивности и лжи. А уж этого добра, кажется, и так выше крыши. Выше даже церковных куполов.

«Известия», 2002, 23 июля. «Два единственно верных».

Отец Владимир Вигилянский:

<...> Жить в стране, чья история и культура целиком замешена на проблемах православия, и ничего не знать об этом — дикость <...>. Не учитывать это — значит встать вровень с большевистской пропагандой, вымарывавшей любое упоминание о православии из учебников истории и литературы. Я не понимаю людей, протестующих против изучения какой-либо культуры, — как они не боятся встать рядом с известным деятелем, хватавшимся за пистолет при упоминании о культуре! <...> Даже при советской власти в 60-е годы дипломатам и переводчикам

МГИМО преподавали церковное Писание — чтобы те не попали впросак, общаясь с иностранцами. Великие богословы протоиерей Георгий Флоровский и протоиерей Сергей Булгаков с успехом преподавали предметы, связанные с церковью, в светских учебных заведениях США и Европы. Почему-то тех, кто их приглашал, совсем не волновал вопрос о «яблоке раздора» между учащимися. Ведь речь шла об образовании! <...>

Сергей Капица, ученый:

<...> Религиозный взгляд на устройство мира — это этап, который остался в прошлом. Невозможно принимать достояние современной науки и совмещать его с догматическим взглядом на устройство мира и божественное происхождение человека. После открытий Ньютона и Галилея, эпохи Просвещения и Дарвина религиозное мировоззрение отошло в прошлое <...>. Религия — вещь довольно сложная, ее поверхностное изучение может привести к путанице в головах детей. И, повторяю, нельзя покушаться на Конституцию. Ее неукоснительное соблюдение — основа единства и здоровья нашего общества. *Норма об отделении церкви от государства далась обществу совсем недешевой ценой.*

Радио «Свобода», 2002, 24 июля.

<...> Закон Божий — обязательный школьный предмет в 13 из 16 земель Германии <...>.

«Новое время», 2002, № 2963, 8 сентября. Борис Туманов, «Диверсанты в рясе».

<...> Обосновывая необходимость введения в государственных школах и вузах обязательного курса «Основы православной культуры», митрополит Ташкентский и Среднеазиатский Владимир утверждал, что православие является основой российской государственности и российской культуры. По его словам, без православия нет ни культуры, ни самой России, тем более что светское государство, каким является Российская Федерация, вовсе не означает, что оно должно быть атеистическим. Митрополит Владимир движим, вне всякого сомнения, добрыми намерениями, однако при ближайшем рассмотрении они сильно смахивают на идеологическую диверсию, поскольку объективно толкают российскую государственность к очередному краху.

«Независимая газета — НГ Религии», 2002, 16 октября. «Русский человек без Бога дрянь».

Священник Владимир Вигилянский:

<...> Закон Божий давно уже преподается в православных гимназиях и воскресных школах при храмах. Дискуссия сейчас ведется относительно введения в общеобразовательных школах факультативного предмета «Основы православной культуры». Уже слово «факультатив» говорит о необязательности этого предмета, однако как «правые», так и «левые» буквально завопили о навязывании Закона Божьего <...>. Один из участников дискуссии в «Известиях» даже пригрозил, что он возьмется за оружие, если священнослужители заявятся в школу (Александр Кудинов: «Любой грамотный человек знает, что бога нет... Мне 48 лет, я всегда презирал тех, кто разрушал храмы. Но если священнослужители заявятся в школу, то я возьмусь за оружие» — 2002, 31 августа). <...> Когда-то Федор Достоевский сказал, что русский человек без Бога дрянь. Известный поэт и чудный человек, чрезвычайно уважаемый мною, Семен Израилевич Липкин недавно мне сказал, что Россия может выжить, только став православной страной. Он же мне рассказал о том, что, поступив до революции в одесскую гимназию, он, как еврей, мог не посещать Закона Божьего, но тем не менее добровольно ходил на эти уроки и даже получал похвалу от законоучителя за знание предмета. Он не только не чувствовал себя ущемленным, но считал правильным изучать тот закон, по которому живет его страна. Прислушаемся к мудрому человеку, многое повидавшему за свои более чем 90 лет.

«Журнал Московской Патриархии», 2002, № 10. «Посещение Святейшим Патриархом Алексием православной гимназии „Радонеж”».

<...> Обращаясь к собравшимся в храме, Святейший Патриарх подверг резкой критике появившуюся в газете «Известия» тенденциозно составленную подборку

материалов, направленных против введения в светских школах предмета «Основы православной культуры». Его Святейшество напомнил, что *данный предмет носит не миссионерский, а просветительский характер* и во многих регионах России по просьбам родителей учащихся «Основы православной культуры» уже включены в школьную программу на факультативной основе.

«Gzt.Ru», 2002, 14 ноября. Надежда Кеворкова, Мария Железнова, «Два часа православия в неделю».

Вчера Минобразования разослало письмо министра Владимира Филиппова региональным органам управления образованием о «Примерном содержании предмета „Православная культура“». Чиновники Минобразования и РПЦ утверждают, что «Православная культура» — это светский, а не вероучительный предмет, который не нарушает закона о свободе совести и не требует от учащегося принадлежности ни к православной церкви, ни к какой-либо еще. Предмет проходит (на языке Минобразования) по линии «регионального или школьного компонента» — то есть за него несет ответственность либо сама школа, либо местные РОНО. На деле это означает, что директор школы сможет решать сам, будут ли его подопечные в течение 544 часов (или 612 часов в условиях двенадцатилетки) изучать основы православного образа жизни. Правда, он должен принимать решение на основе желания родителей своих учеников. Но, как показывает практика, в регионах проблем со сбором подписей не возникает. *Так что новый предмет легко может превратиться из факультативного в обязательный <...>*. Несмотря на то что письмо Минобразования совсем свежее, во многих регионах уже идет активная работа по схожей программе. Как стало известно ГАЗЕТЕ, договоры властей с местными епархиями подписаны в 20 регионах: например, в Московской, Смоленской, Курской, Рязанской, Самарской, Белгородской, Владимирской, Омской областях. Сходные тенденции на Дальнем Востоке и в Краснодарском крае <...>.

Вероятно, «Православная культура» станет еще более популярной после неформального одобрения ее президентом Путиным <...>. В июне этого года президент заявил: «Что касается факультатива (по Закону Божьему. — *Газета*), то об этом можно говорить» <...>.

«Профиль», 2002, № 45. Илья Харлашкин, Светлана Перцова, Ирина Шабанова и др., «Факультет Закона Божьего».

<...> После появления официального письма из Министерства образования председатель Верховного управления мусульман России и стран СНГ, верховный муфтий Талгат Таджуддин предложил компромиссный вариант решения проблемы религиозного образования. По его мнению, оно должно быть обязательным, но преподаваться должны не основы какой-то одной религии, а целый курс по религиоведению, охватывающий все традиционные религии России. Также он отметил, что в Татарстане в этом учебном году в ряде школ было введено факультативное преподавание основ ислама.

«Коммерсантъ-Власть», 2002, № 47. «Уроки православного».

Говоря о предмете «Православная культура», чиновники Министерства образования напевают на слово «факультативный», которое все понимают как «необязательный для посещения». Однако здесь и скрывается главный подвох. В письме министра предлагается внедрить курс в рамках так называемого регионального компонента образовательной программы <...>. И на этом «факультативность» предмета заканчивается. Если решение принято, «Православная культура» во всех школах региона попадет в сетку расписания и *станет обязательным предметом <...>*.

Фарид Ассадулин, заведующий отделом науки Духовного управления мусульман европейской части России:

Если это будет факультатив, при условии, что в самое ближайшее время появятся подобные факультативы, посвященные истории ислама и других религий России, к этому факту можно отнестись вполне положительно. 20 млн. мусульман России, их дети и внуки ожидают, что исламская культура найдет свое место в школьном образовании <...>.

Борух Горин, руководитель департамента общественных связей Федерации еврейских общин России:

Мы, безусловно, против обязательного изучения любого религиозного предмета в школе <...>. Мы видели проект учебника по истории православия, он крайне тенденциозен и нетерпим. Если пятнадцатилетнему недотепа, берущему железно и идущему бить кавказцев, сегодня вручить еще и плохо подготовленный учебник, он даст подростку идеологическую базу <...>.

«Эхо Москвы», 2002, 18 ноября.

В прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» **Евгений Ихлов**, аналитик Общероссийского движения «За права человека», участник судебного процесса по факту распространения учебника для общеобразовательных школ «Основы православной культуры» <...>.

Е. Ихлов:

Проблема в том, что многонациональному, многоконфессиональному обществу вбрасывается идея племенного и национально-религиозного содержания, что, с моей точки зрения и точки зрения многих уважаемых экспертов, приведет к развалу РФ в течение ближайшего поколения <...>. Даже Бог с ним, с этим погромным учебником. Я обращаю внимание на циркуляр Филиппова — там даже сказано о недопустимости доктринального образования. Но я хочу обратить внимание — *все эти курсы, все эти планы учат тому, что разделяет*. Я нигде не увидел и намек на то, что основные мировые религии (три авраамические: иудаизм, христианство, ислам — и буддизм) выработали некий общий комплекс духовных, моральных ценностей, кстати, впитанных современной культурой и ретранслируемых в общество. Я нигде не заметил здесь такое общее понятие для западной философии и западной социологии, как иудео-христианская цивилизация. Вся современная западная религиозная традиция, к которой принадлежит и Россия, называется иудео-христианская цивилизация — этого нет <...>.

«Комсомольская правда», 2002, 19 ноября, Андрей Моисеенко, «Станет ли Библия школьным учебником?».

<...> Министерство предполагает разбить предмет «Православная культура» на несколько крупных тем:

1. Православная христианская картина мира.
2. История православной религии и культуры.
3. Православная культура и религии мира.
4. Письменная культура православия (православная словесность).
5. Православный образ жизни.
6. Нравственная культура православия.
7. Художественная культура православия.
8. Православие — традиционная религия русского народа <...>.

«Известия», 2002, 21 ноября.

Александр Адамский:

<...> Введение же преподавания одной из конфессий, фактически Закона Божьего, *препятствует* прежде всего самоопределению личности, создает правовую коллизию относительно прав граждан не православного вероисповедания и уж тем более не адекватно современному уровню знаний и современной картине мира <...>.

«Российская газета», 2002, 21 ноября. Виталий Третьяков, «Внимание, опасность! Об идее преподавания курса „Православная культура в школе“».

<...> Дело слишком серьезное, чтобы решение о таком революционном нововведении решалось одним министром, одним министерством, даже одним Правительством. Это либо дело закона, то есть Думы и Совета Федерации, либо вообще всего народа, что означает проведение соответствующего референдума. Сразу скажу, что моя личная оценка данного нововведения — категорически отрицательная. И это несмотря на то, что содержание курса, опубликованное в ряде СМИ, показывает: курс интересен и имеет полное право на существование. Но вне стен об-

щеобразовательной школы. Ибо этот курс абсолютно клерикален. Я бы рискнул приложить к данному курсу известное изречение о необходимости закрытия факультета философии в Московском университете: польза от преподавания такого предмета не доказана, вред очевиден. В чем же этот вред? Конечно, не в том, что дети, подростки, юноши и девушки будут знакомиться с основами православной культуры и даже изучать их. Это полезно. И даже нужно. Вред в другом. Во многом другом. *Прежде всего такое нововведение есть безусловное нарушение конституционных принципов* светскости нашего государства и светскости нашего образования. А конституционные принципы должны и изменяться конституционно <...>. Пойдем далее. Я бы не видел никаких собственно профессионально-образовательных препятствий к введению такого курса в средней школе даже в качестве обязательного, а не только факультативного предмета (что, видимо, и имеют конечной целью авторы идеи), если бы были соблюдены три совершенно необходимых условия. Первое: курс должен называться честнее, например, «Основы и история русского православия». Второе: вести его должны исключительно светские педагоги. Но главное — третье условие: параллельно и одновременно должен быть введен в школьное образование курс «Основы и история философии» <...>. Чем бы ни руководствовались инициаторы идеи — благими ли намерениями возрождения единой морали и единой культурной традиции в обществе, чисто ли просветительскими соображениями или услужливым знанием о воцерковленности Президента, результат будет ужасен <...>.

«НТВ», 2002, 22 ноября, «Свобода слова».

Савик Шустер: <...> Главные герои программы: дьякон Андрей Кураев, заместитель руководителя аппарата правительства Российской Федерации Алексей Волин¹, ректор РГГУ Юрий Афанасьев и кинорежиссер Никита Михалков... Сегодня аудитории был задан вопрос: «Считаете ли вы необходимым введение в *обязательном* порядке курса православной культуры в средней школе?» И вот какой ответ мы получили: против, подчеркиваю, обязательного курса православной культуры — 65 процентов, за — 35. Мы сейчас, конечно, задали вопрос так, как он был понят в обществе первоначально. После того, как мы сразу узнали о письме, тогда речь пошла об обязательном образовательном курсе, сейчас мы говорим о факультативном. И к концу программы мы поймем, сохранится ли такое жесткое деление при ином повороте вопроса, если мы повернем его в сторону факультативного религиозного образования <...>.

Волин: Правительство и государство в своей деятельности руководствуются исключительно законами Российской Федерации. В законах Российской Федерации записаны две вещи: по Конституции светский характер государства, по закону об образовании — светский характер образования. Согласно закону об образовании, представители религиозных учений в школу приходить и преподавать там не могут.

Кураев: Это ложь! Это просто ложь. В Законе о свободе совести совершенно четко говорится: государство оказывает поддержку религиозным организациям при осуществлении ими культурно-просветительской деятельности, имеющей широкое общественное значение.

Волин: Никто не возражает. Не в рамках государственной школы.

Кураев: В рамках. В законе, в законе есть статья, которая регулирует, как именно и на каком основании в государственную школу может войти представитель религиозной конфессии <...>.

Г. Остер: <...> Пункт 4-й статьи 5 Федерального закона о свободе совести и религиозных объединениях, ясно сказано: «По просьбе родителей или лиц, их заменяющих, с согласия детей, обучающихся в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, администрации указанных учреждений по согласованию с соответствующими органами местного самоуправления предоставляют религиозным организациям возможность обучать детей религии вне рамок образовательной программы».

¹ В июле 2003 года А. Волин ушел в отставку с этого поста.

Кураев: Господин Волин усыновил всех детей России и от имени всех родителей заявляет: не надо преподавать.

Афанасьев: <...> ...Вот здесь говорили так: русская культура — это православная культура. По существу, ставили знак равенства. Ну как же можно? Ведь дело в том, что даже те люди, которые здесь назывались, и автор «Гавриилиады», и автор «Демона», и Достоевский, и Толстой, и такие корифеи русской культуры, как, скажем, Владимир Соловьев, и так далее, мягко говоря, имели касательное отношение к православию, а скорее находились в конфронтационной позиции к нему...

Кураев: Афанасьев в роли патриарха, отлучающего от церкви русских писателей. Гениально...

Шустер: <...> Итак, вопрос. Мы подготовили аудиторию к вопросу. Итак, факультативный курс православной культуры в школах по согласованию с родителями, но за счет бюджета. Пусть он будет региональный, федеральный — не важно — за счет налогоплательщика, всех налогоплательщиков России. Итак, согласны — не согласны. Давайте посмотрим на результат. Сейчас мы его получим. Я думаю, что мы никогда так четко не обсуждали вопрос, который мы дадим в конце, как сегодня. <...> Вот видите, здесь уже совсем иной результат. Можно сказать, почти поровну. То есть за то, чтобы были классы православной культуры в школах даже за счет государства, — больше таких людей <...>.

«Русская линия» (Санкт-Петербург), 2002, 25 ноября. «Открытое письмо студентов Московского педагогического государственного университета».

Президенту Российской Федерации В. В. Путину, Председателю Правительства РФ М. М. Касьянову, министру образования РФ В. М. Филиппову.

В связи с развернутой в российских СМИ массовой кампанией против преподавания в школах России «Основ православной культуры» студенты МПГУ, выполняя свой гражданский долг, считают необходимым заявить свой решительный протест в связи с открытым нарушением прав граждан на образование. Письмо министра образования России В. М. Филиппова по поводу введения в школах факультатива «Основы православной культуры» вызвало форменную истерику, целый шквал антицерковной демагогии, некомпетентных домыслов в ряде средств массовой информации и в высказываниях некоторых чиновников <...>.

Студенты исторического факультета МПГУ обращают самое пристальное внимание на тот факт, что против «Основ православной культуры» выступают именно те средства массовой информации, которые пытались склонить Президента России к «новому Хасавюрту» с террористами, захватившими заложников в театральном комплексе на Дубровке. Тогда «информационные» и прочие террористы проиграли, их адвокаты решили теперь отыграться на Русской Православной Церкви и всей учащейся молодежи.

15 ноября 2002 года сотрудник аппарата Правительства РФ Алексей Волин в интервью газете «Газета» оскорбил религиозные чувства миллионов православных граждан России, сравнив школьный факультативный курс «Основы православной культуры» со «средневековым мракобесием», и призвал к попранию прав православных граждан России на образование, неотъемлемой частью которого является знакомство с великой духовной православной традицией, на которой выросло само Российское государство.

Пошлые эпитеты Волина напоминают тезисы большевиков-пролеткультовцев о том, что «реакционную русскую культуру» следует «сбросить с корабля современности». Заявления Волина отдают банальным обскурантизмом, демонстрируют, что этот чиновник не любит и не уважает историю и традиции государства, которому якобы служит <...>.

По нашим сведениям, сейчас на министра образования РФ В. М. Филиппова оказывается беспрецедентное давление с целью добиться его отказа от введения факультатива «Основы православной культуры» <...>.

«Новые известия», 2002, 26 ноября. Елена Кацуба, «Урок лицемерия».

У Валентина Катаева был в 20-х годах фельетон о том, как в одной деревне половину сельской церкви отдали под школу. И вот в одной половине идет урок

русской литературы, учительница читает басню Крылова: «Попрыгунья стрекоза лето красное пропела, оглянуться не успела...» — «Яко Спаса родила!» — отзывается хор на второй половине храма. Нечто подобное, кажется, грозит теперь нашим школам. *Введено антиконституционное положение* об изучении истории православия с первого до последнего класса <...>.

Нововведение с особым рвением приветствовал Никита Михалков, окончательно вжившийся в роль обер-прокурора святейшего Синода Победоносцева. По его мнению, Россия — страна православная. В Конституции, правда, этого не написано, а написано совсем другое, что, мол, церковь церковью, а государство государством <...>. Хотя мы Катехизис и не проходили, но знаем, что Бог есть Дух. А планомерное изучение Духа, да еще и Святого, в средней школе — дело туманное, сомнительное и бесполезное <...>. Среди десяти заповедей есть и такая: «Не поминай имя Господа твоего всуе». Если введут в школах зубрение православия, эта заповедь будет нарушена. Кстати, прецедент уже был. Закон Божий зубрили в церковно-приходских школах, и в реальных училищах, и в гимназиях, и даже в институтах благородных девиц. Кончилось все семнадцатым годом. Так что предлагаю новую, первую заповедь XXI века: «Не зомбируйте детей!» И незомбируемы будете <...>.

Впрочем, православные обряды, если их не навязывать и не внедрять в массовом порядке, очень красивы и по самой глубинной сути своей интимны. «Где двое во имя Мое, там и Я с вами», — сказано в Евангелии. Жалко будет, если под влиянием школярской схоластики у школьников отобьют всякий вкус к эстетической стороне религиозных обрядов, как отбили его у гимназистов и лицейстов в XIX веке <...>.

Что касается нынешнего запоздалого крещения тысячу лет спустя, то, кроме исконно русской пословицы «Заставь дурака Богу молиться — он лоб расшибет», эта акция никаких других ассоциаций не вызывает. Не получится нового крещения. Скорее всего будет «ни Богу свечка, ни черту кочерга».

«Комсомольская правда», 2002, 26 ноября. Марина Аникеева, «Что я увидела на уроке православия».

<...> Обучение православию длится в городе (Ногинск, Московская область) уже пять лет. Интересуюсь у начальника отдела по делам несовершеннолетних местной милиции Надежды Сорокиной, видны ли результаты.

— Кривить душой не буду. В городе не все благополучно. Но среди малолетних нарушителей очень мало учащихся из школ, где преподают православие. Совпадение или закономерность? Не знаю... Но, на мой взгляд, самые главные библейские каноны — не убий, не укради — преподавателям удается внушить молодежи.

Первые отклики:

Я согласился бы с введением предмета «Религиоведение», на котором дети могли бы узнать о многообразии религиозных взглядов. Но только если предмет будут вести хорошо подготовленные педагоги, а не священники. И в этот курс обязательно должен входить и атеизм.

Юрий Полетаев, Тольятти.

«Независимая газета», 2002, 28 ноября. Протоиерей Всеволод Чаплин, «Школа должна уважать мировоззренческий выбор человека».

<...> Напомню некоторые международно-правовые нормы, в России малоизвестные и откровенно игнорируемые. Конвенция ООН о борьбе с дискриминацией в области образования утверждает, что родители должны иметь возможность «обеспечивать религиозное и моральное воспитание детей в соответствии с их собственными убеждениями». В Протоколе № 1 к Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод говорится: «Государство при осуществлении любых функций, которые оно принимает на себя в области образования и обучения, уважает право родителей обеспечивать, чтобы такие образование и обучение соответствовали их собственным религиозным и философским убеждениям». Однако наша государственная школа по-прежнему основана на безальтернативной доминанте «научного мировоззрения», предполагающего скептический подход к религии, ее ценностям и мировоззренческим установкам. Православный ребенок вынужден выбирать между авторитетами семьи и школы: дома ему говорят, что

мир и человек созданы Богом, а Библия описывает реальные чудеса, но в школе его учат дарвиновской теории, попутно именуя Священное Писание собранием мифов. Дома говорят, что мастурбация — грех, в школе учат, что это «отправление потребностей организма» <...>

Чем мы хуже, наконец, большинства стран Западной Европы, где почти во всех школах в полубязательном порядке преподается учение одной-двух традиционных Церквей? <...>

«Независимая газета», 2002, 29 ноября. Андрей Ваганов, «Култ от культуры будет отделен».

<...> Прокомментировать ситуацию мы попросили министра образования РФ, доктора физико-математических наук Владимира Филиппова.

— <...> Подчеркивается, что программа «Основы православной культуры» фактически совпадает с курсами, преподаваемыми в православных духовных семинариях. Вот о чем речь.

— Это неправда. Абсолютно. Возникает действительно вопрос: какое содержание по этому предмету мы должны давать? Мы знаем с вами, когда какой съезд или Пленум ЦК КПСС был. Но вы мне сейчас не назовете — и никто не назовет! — деятелей православия хотя бы в первые пятьсот лет его существования. Или во вторые пятьсот лет. Поэтому вопрос о необходимости дать знания хотя бы о некоторых элементах православной культуры, ее основных этапах, ее деятелях весьма актуален... Обделенность наша с вами, получивших образование в СССР, в этом плане очевидна. Все наши призывы — давайте отведем детей в Эрмитаж или в Третьяковку — они бессмысленны: большую часть картин классиков мы с вами там не поймем, так как они написаны на библейские сюжеты <...>. Есть хороший зарубежный пример — французский. Французы провели опросы среди детей: что такое Троица? Большинство из школьников ответили, что «Троица» — это станция метро. И только 10 процентов ответили, что это понятие связано с религией. Вот этого не должно быть.

«Вечерняя Москва», 2002, 2 декабря. Мона Платонова, «Три „НО“ на пути религии в школу».

<...> Конечно, любому культурному человеку, верующему или неверующему, необходимо иметь представление о различных религиозных конфессиях, об их влиянии на культуру. Однако вряд ли такой урок, как «православная культура», будет давать ученикам информацию об основах всех мировых религий. Это первое большое «НО» предполагаемого курса. Второе «НО» связано с национальным составом наших школ <...>. Кто вам сказал, что семьи, живущие по законам ислама, буддизма, иудаизма, захотят изучать православную культуру? И третье «НО»: «Кто этот предмет будет преподавать?» Если священнослужители, то где гарантия, что они не станут использовать учебные часы на «обращение» ребят в свою веру? А если «светские учителя», то где их взять? <...>

«Русская линия» (Санкт-Петербург), 2002, 2 декабря. «Представители традиционных религий России поддерживают введение курса „Основ православной культуры“ в российских школах».

В письме министру образования Российской Федерации В. М. Филиппову заместитель председателя Центрального духовного управления мусульман России Фарид Салман выразил поддержку усилиям министерства по оказанию помощи учебным заведениям в области изучения православной культуры. «<...> Некоторые материалы СМИ намеренно создавали у людей ложное впечатление, будто бы Министерство образования РФ вводит изучение учебного предмета „Православная культура“ в качестве обязательного для всех учащихся или ставили под сомнение право российских граждан на изучение своей традиционной религиозной культуры в российской общеобразовательной школе, — говорится в письме. — По нашему мнению, такие выступления являются в лучшем случае некомпетентными заявлениями, а в худшем — ксенофобскими и провокационными выступлениями, направленными на провоцирование в обществе религиозной и национальной враж-

ды». Центральное духовное управление мусульман России выражает заинтересованность в расширении возможностей для российских детей изучать ценности родной для них религиозной традиции в общеобразовательных учреждениях <...>.

Конгресс еврейских религиозных организаций и объединений в России также направил министру образования В. М. Филиппову послание, в котором подчеркивается, что право граждан на выбор образования и воспитания для своих детей в соответствии со своими убеждениями неоспоримо. В документе, подписанном председателем Конгресса раввином З. Л. Коганом, декларируется, что российские дети вправе получать в государственных и муниципальных образовательных учреждениях образование, соответствующее их национальной культуре, реализуемое в соответствии с государственными стандартами, но с учетом ценностей народа, к которому ребенок принадлежит, и страны, в которой ребенок проживает <...>.

«ИТАР—ТАСС». Религия и общество (оперативная лента), 2002, 5 декабря.

<...> Инерция атеистического воспитания — главная причина навязанной дискуссии о введении в школах факультативного курса «Основы православной культуры», — заявил сегодня, выступая перед журналистами, митрополит Кирилл...

«Экспресс» (Казахстан), 2002, 6 декабря. Андрей Доронин, «Нервная система кольчатых червей».

Изображение Девы Марии в качестве иллюстрации к букве «Б» школьного букваря и стало причиной недовольства Русской православной церкви современным образованием. В 1997 году патриарх Алексей II возмутился картинкой, на которой вместо канонического изображения Богородицы школьникам явилась сомнительных намерений обнаженная женщина с признаками макияжа, возлежащая на цветном одеяле. Именно тогда предстоятель РПЦ заявил, что будет бороться за введение православия как предмета школьной программы <...>.

«Новые известия», 2002, 10 декабря. Евгений Комаров, «Клерикалы пошли в атаку на светскую школу».

<...> Парламент Татарстана считает, что «преподавание ОПК в качестве одной из основных учебных дисциплин в многоконфессиональном и многонациональном государстве может привести к дестабилизации в нашем обществе, обострению и без того непростой ситуации в межнациональных отношениях <...>. Российская Федерация — светское государство, поэтому ни о каком преподавании религиозных дисциплин, тем более одной православной религиозной дисциплины, в государственных школах не может быть и речи» <...>. Если в большинстве христианских деноминаций (в первую очередь протестантских) источником вероучения является только Библия (Священное Писание), то Православная церковь выдвигает в качестве равноправного с Библией источника также Священное Предание. В него включается весь комплекс исторически сложившихся форм религиозности и церковной жизни. Фигурально выражаясь, для РПЦ равно святы как Евангелие, так и золотые купола, подсвечники у икон и весь тот своеобразный стиль жизни, который de facto сложился в религиозных организациях. В отличие от мусульманской уммы, которая весьма демократична (ислам не имеет духовенства: имам de jure такой же человек, как и его прихожане), православные приходы строятся по теократическому принципу. Все решает настоятель, слово которого («благословение») — закон. И «послушание» этому слову — «паче поста и молитвы» (одна из любимых поговорок в РПЦ). Эту ситуацию отражают и ведомственные учебные заведения РПЦ: те, кто там учился, знают: обучение проводится на основе «полного пансиона», покидать территорию запрещено, словно в воинской части. На обед и даже на молитву ходят строем и по расписанию. В таких условиях можно воспитать граждан какого угодно государства, но только не демократического. Впрочем, история Российской империи дает тому красноречивый пример. Вот эту-то цель — сделать современную молодежь носителем ведомственной этики и эстетики (если угодно — «прикида») — и ставят перед собой создатели ОПК <...>.

«Комсомольская правда», 2002, 10 декабря. «Станет ли Библия школьным учебником-2».

Читатели «Комсомолки» размышляют: нужно ли вводить новый предмет — «Православная культура»:

<...> Да и как священники могут доступно преподавать религию в школах, когда даже в своей церкви служба ведется на старославянском языке. Апостол Павел говорил, что если он будет говорить на незнакомом языке, то кто его поймет. Он сравнил себя в этом случае с медью пустозвонящей, не имеющей никакой пользы.

С уважением

Борис Фоломеев.

<...> Хотите учить православию — учите! Организуйте вечерние и воскресные школы, печатайте в газетах рекламу этих школ, ходите по домам. Но не трогайте обычные школы, институты. Вам мало Чечни? Вы получите такую проблему в каждой области. *Кто сказал, что православных в России больше, чем мусульман?* Кто реально проводил эти подсчеты?

С. В. Юдин, доцент, доктор технических наук.

Комментарий Минобра:

<...> На днях министр образования Владимир Филиппов пояснил позицию министерства по введению «Основ православной культуры» (так предмет именуется в последних документах).

— В школах этот курс может существовать только как «предмет по выбору» или *факультатив*... Школы, которые вместо «Основ православия» будут вводить у себя уроки Закона Божьего с молитвами и прочими атрибутами религиозной службы, *накажут*. Классы не могут быть превращены в молельни.

«Русская линия», 2002, 19 декабря. «Министр образования отрекается от православной культуры». Комментарий пресс-службы Союза Православных Граждан.

18 декабря министр образования России Владимир Филиппов заявил, что добровольный курс «Основ православной культуры» будет низведен из регионального до школьного компонента. Одновременно будет введен обязательный курс «История мировых религий». Этим заявлением министр Филиппов дезавуировал письмо Министерства образования, регулирующее введение «Основ православной культуры», которое вызвало истерику у антицерковного лобби. Как нам стало известно, зам. министра образования Болотовым готовится новое письмо в регионы, которое окончательно закрепит за «Основами православной культуры» маргинальную роль в системе образования. Обязательный курс «История мировых религий» — это реванш государственного атеизма в системе образования <...>.

Мы поражены тем, что министр Филиппов сделал свое заявление, несмотря на сорок тысяч подписей, собранных в поддержку «Основ православной культуры», несмотря на то, что, согласно социологическим опросам, в тех регионах, где «Основы...» уже введены, их поддерживает до 97 процентов населения! Если сегодня так цинично игнорируют мнение миллионов православных граждан России, значит, завтра возможны новые гонения на Церковь! <...>

«Огонек», 2002, № 49. «Господи, пронеси».

В ответ на общественное недоумение, вызванное нарушением Конституции (как-никак в Основном Законе закреплён принцип светскости государства), Московский патриархат откликнулся в том смысле, что он: во-первых, против религиозного воспитания в школе; во-вторых, не допустит в школе атеистического воспитания, потому что атеизм — это и есть самая настоящая религия. Со стороны государства акт капитуляции перед церковью подписал министр образования Филиппов. Так закончилась начавшаяся примерно десять лет назад клерикализация всей страны, которая оказалась равна электрификации минус советская власть. Что впереди? Церковная цензура?

С этими вопросами атеист Александр Никонов пришел к директору Фонда эффективной политики (ФЭП) Глебу Павловскому.

— Я не вижу ничего худого в том, чтобы в местах доминирования той или иной церкви, в местах компактного проживания людей той или иной религии в

школах преподавали Закон Божий. Главное, чтобы это делалось не в обязательном порядке, а факультативно...

— *А что делать атеистам?*

— Убежденным атеистам, буде таковые найдутся, надо объединиться и разработать свои предложения по преподаванию их веры. И добиваться, чтобы ее начали преподавать. Может быть, если изложить основы научного атеизма, то граждане и не захотят изучать его даже факультативно. Атеизм — такая же вера, как другие. Она распространенная, но не каноническая...

— *Я вообще не понимаю, почему жрецы разных религий должны ходить по современной школе! У нас, слава богу, церковь отделена от государства.*

— Давайте поймем, что это значит! Отделена не значит запрещена. И отделена она не больше, чем бойлерная или АТС. Она отделена потому, что такова природа церкви. Недопустимо, чтобы церковь превратилась в министерство, это будет издевательство над человеческой совестью. Но у человека должна быть возможность удовлетворять свои духовные запросы. А у ребенка, у которого эти запросы только формируются, должны быть поводыри, наставники, учителя...

— *Смысл слова «отделена» (школа от церкви) состоит в том, что эти два предмета никак не соприкасаются. Если же два предмета имеют общие точки, то нельзя про них говорить, что они отделены друг от друга. Давайте играть по-честному, давайте обойдемся без иезуитства... Отделена школа — пусть попы там не появляются и не преподают свою эту...*

— Что значит «пусть не появляются»? Может, им и в государственный магазин запрещено ходить тогда? И почему «пусть не преподают»? Разве у нас священники поражены в каких-то правах? Разве им запрещено преподавать? Что за чушь? Полная ахинея! В конце концов, богословие не церковный, а светский предмет. По нему люди получают такие же дипломы, как по всему другому...

— *Повторяю: принцип светскости образования означает, что церковное образование, управление и так далее — отдельно, а государственное образование, управление и так далее — отдельно.*

— Совсем нет! Это означает другое — граждане, которые веруют в ислам, не обязаны своими налогами оплачивать веру граждан в Христа. И все. Несправедливо, если вы, атеист, станете своими налогами оплачивать обучение религии. Это единственное содержание принципа отделения школы от государства. Мусульман не должны заставлять учить «Отче наш», а православных — суры из Корана... Хотя, если они будут их знать, тоже ничего не отвалится.

— *Может быть, тогда сделать проще — преподавать историю религий?*

— История религий — обычный светский предмет, и он вообще не имеет никакого отношения к Закону Божьему. Его обязательно надо преподавать! Это просто минимум образованного человека, даже атеиста... Важно другое — кто финансирует факультативное преподавание. Бюджет, который формируется на основе налогов граждан всех вероисповеданий, не должен без солидарного решения всех этих конфессий финансировать обучение какой-то из них. Ну а если найдена какая-то иная форма финансирования, то вообще нет никаких проблем.

— *Я заметил, что верующими становятся либо слабые, либо инфантильные люди, которые нуждаются в защите, в любящем отце, хозяине. Иногда это с ними случается после сильных жизненных ударов. А что вас сломало? Когда вы поверили?*

— Это произошло не в один присест, но началось в тюрьме.

— *Может быть, всех неверующих нужно ненадолго посадить, чтобы уверились? Может быть, у Бога такой план?*

— А вы и так сидите. Просто еще не знаете об этом.

Владимир Познер, телеведущий:

Сам я атеист, и разгул поповщины на телеэкранах мне активно не нравится! Об этом настолько всем известно, что патриарх, завидя меня на улице (мы живем неподалеку), отворачивается и не здоровается. Я считаю, что именно на церкви лежит изрядная доля вины за те трагедии и перетряски, которые приключились с Россией в прошлом веке. Но это тема отдельного — большого и доказательного — разговора. Быть может, когда-нибудь у меня дойдут руки.

Виталий Гинзбург, академик:

Я просто возмущен засильем клерикалов! Мое отношение к этому резко отрицательное. Но дело не в моем отношении, в конце концов, это противоречит Конституции! Я, естественно, сторонник свободы совести, религия несет некие благотворные вещи, например, всегда призывает к добру, когда не требует крови неверных, но при чем тут государство? Религия — дело интимное. А одним из самых возмутительных проявлений того средневековья, что сейчас творится, я считаю появление слова «Бог» в нашем гимне. Это ужасно.

«Lenta.ru», 2002, 15 декабря. «У стен Министерства образования прошло молитвенное стояние».

У здания на Чистых прудах состоялось молитвенное стояние Союза православных граждан и Народно-патриотического союза. Демонстранты требовали введения в школах предмета «Основы православной культуры». Митингующие держали в руках лозунги: «Встань за веру, русская земля!», «Верните Отечеству православную культуру!», «Духовное просвещение — в школу», «Основы православной культуры — лекарство от пошлости» <...>.

«NovayaGazeta.Ru», 2002, 17 декабря. Елена Иванецкая, «Закон божий в первом чтении».

Лет десять назад твердили, что «церковь отделена от государства, но не от общества». Эта фраза была ковровой дорожкой на телевидение и в школу служителям культа. Но государство тогда все-таки как-то где-то молча признавало, что церковь от него — да, отделена. А сегодня министр по национальной политике Владимир Зорин заявляет в интервью корреспонденту «Времени МН» (от 16 декабря), что у церкви и государства «общих задач предостаточно». И какая, по-вашему, задача значится первой? «Религиозное просвещение населения». Вот так прямо и сказано. Ничего себе первоочередная задача государства! <...> Понятно, что «Законы Божии» можно преподавать только в том репрессивном духе, как в советские времена преподавали обществоведение в школе или научный коммунизм в институте. Преподавание идет насупленно и серьезно, пока слушающие обреченно молчат, а неудовлетворительная отметка по столь ответственному предмету грозит большими неприятностями <...>. Складывается впечатление, что власти не прочь разжечь «страсти по православию», если уж разожжены «страсти по исламу». Вместо того чтобы тушить там, хотят подпалить здесь. Пока что, слава богу, православные страсти не очень-то разгораются. Впрочем, ревнителю православия вместе (заедино) с Народно-патриотическим союзом уже пикетировали 15 декабря Министерство образования. Зюганов с Союзом православных граждан договорился. Может быть, нам не обязательно стоять с ними заедино?

«Lenta.ru», 2002, 24 декабря. «О введении „Основ православной культуры“».

Резолюция совместного совещания Совета Ваада России, регионального совета еврейских организаций и общин уральского региона и руководителей еврейских национально-культурных автономий России.

Мы, участники совещания, обсудив инициативу министра образования РФ о введении в программу государственной общеобразовательной школы нового предмета — «Основы православной культуры», считаем, что такое нововведение нарушает Конституцию РФ и принципы отделения церкви от государства и школы от церкви. Преподавание «Основ православной культуры» в государственной общеобразовательной школе ставит в неравное положение детей из еврейских семей, а также из семей иных вероисповеданий либо приверженцев светских взглядов и атеизма. Так называемый добровольный отказ детей из вышеупомянутых семей от изучения «Основ православной культуры» выделит их из общего числа учащихся и создаст предпосылки межрелигиозной и межнациональной напряженности. Мы рассматриваем введение курса «Основы православной культуры» как завуалированную форму введения религиозного православного образования в государственной общеобразовательной школе <...>.

«Правда.Ру», 2002, 27 декабря. «Открытое письмо В. В. Путину о введении предмета „Основы православной культуры“».

Уважаемый Владимир Владимирович!

В Вашем лице впервые за последние десятилетия мы видим у власти гражданина России, который вместе с народом разделяет главное — потребность обращения к духовным и историческим истокам жизни нашей Родины, понимание значимости православной культуры для благотворного развития общества и государства <...>. Представляя огромное большинство Ваших избирателей и налогоплательщиков, на чьи деньги строится вся российская образовательная система, мы просим Вас:

ввести в образовательных государственных и муниципальных школах на всех образовательных ступенях и уровнях учебный предмет «Основы православной культуры»;

законодательно закрепить альтернативную возможность преподавания в государственных и муниципальных школах и вузах предметов с учетом православного мировоззрения в соответствии с выбором детей и их родителей, имея в виду, что, согласно ст. 13 Конституции РФ, никакая идеология (в том числе и атеистическая) не может иметь статус государственной <...>.

«Родительский комитет», общественная организация — некоммерческое партнерство в защиту семьи, детства, личности и охраны здоровья.

(Документ к настоящему времени подписали 38 тыс. человек из 43 регионов России. Сбор подписей продолжается.)

«Российская газета», 2003, 15 января. «Один у нас выход — стать богатыми».

<...> Валерий Кичин: На днях ТВ дало поразительную новость: из-за холодов встала котельная, город замерзает. Что стали делать люди — ремонтировать котельную? Нет, они пошли в церковь молиться, чтобы ее исправил бог. Что, снова средневековье? Вообще, как вы относитесь к тому, что наша еще недавно приверженная научному знанию страна теперь идет вспять — к религии?

Эльдар Рязанов: А вы всерьез думаете, что у нас сколько-нибудь значительное число людей верит в бога? Верят единицы, остальные в это играют. Это просто очередная мода — и ношение крестика, и попы, заменившие партийную организацию. Они только публичные дома еще, кажется, не освящали, но когда освящают велогонки, меня берет оторопь. Я с уважением отношусь к праву людей верить, именно поэтому не понимаю, почему Русская православная церковь так агрессивна по отношению к другим конфессиям.

Валерий Кичин: Игра? мода? Но попы уже хотят контролировать школьное образование — религию будут вдальблывать в головы детей, как прежде вдальблывали марксизм.

Эльдар Рязанов: Вспомните, чем это кончилось. Закон Божий преподают в школах или «Краткий курс истории КПСС» — разницы я не вижу. Вдальблывать не надо ничего... Но хватит об этом: религия никогда не входила в круг моих интересов <...>.

«Московские новости», 2003, 28 января. Георгий Чистяков, «Вере учат не в школе».

Отец Георгий Чистяков, священник храма Св. Космы и Дамиана в Москве, настоятель храма Покрова Богородицы в Детской республиканской клинической больнице:

Я предпочитаю, чтобы все, что мои внуки узнают о Православии и о его месте в истории России, они узнавали бы от своих родителей, от меня, в Воскресной школе — но не в школе общеобразовательной. Все, что касается веры в Бога, — это очень личное, интимное. В силу одного этого школа с ее казенщиной — не самое лучшее место для того, чтобы узнавать что-то о Боге: о Нем нельзя рассказывать на уроках. Можно вспомнить и отрицательный опыт преподавания Закона Божьего в гимназиях царского времени: эти уроки зачастую отталкивали детей от веры.

«Новые известия», 2003, 30 января. Зоя Светова, «Учебник только появился. А рознь уже началась...»

<...> На защиту учебника Аллы Бородиной от «воинствующих безбожных» правозащитников бросились неожиданные «борцы» за православие. А именно:

муфтий Фарид Салман, заместитель председателя Центрального духовного управления мусульман России. Ему показалось, что «именно ксенофобная неприязнь к православному христианству движет Л. Пономаревым и Е. Ихловым (сотрудник организации „За права человека“) в их провокационных действиях». Для полемики с правозащитниками муфтий тоже избрал форму письма к генпрокурору Устинову, в котором, заявив, что «не может промолчать... поскольку следующим объектом охоты навязчивых „политкорректоров вероучений“ станут российские мусульмане», потребовал, чтобы прокуратура... возбудила уголовное дело в отношении Пономарева и Ихлова по статье 282 УК РФ («возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды»).

«Парламентская газета», 2003, 30 января. Галина Васина, «Православная культура: нарушение прав? Обретение сокровищ?..».

<...> Из зарубежного опыта

Конституция Австрии (ст. 14, ч. 10) разграничивает полномочия федерального и местного законодательства, «включая преподавание религии в школе».

Конституция Бельгии (ст. 24, п. 1) устанавливает: «Школы, организуемые государственными властями, предоставляют вплоть до конца обязательного школьного обучения выбор между одной из признанных религий и преподаванием неконфессиональной морали». С сентября 1989 года официально разрешено преподавание курса «Православие» в государственных школах Фламандского сообщества Бельгии.

В *Великобритании* в соответствии с Законом о реформе образования 1988 года в программе государственных школ «обязательно должно присутствовать религиозное образование, а также проводиться ежедневные молитвы».

Часть 3 статьи 7 Основного Закона *Федеративной Республики Германии* гласит: «Преподавание религии в государственных школах, за исключением неконфессиональных, обязательно».

Закон № 95 от 1980 года *Арабской Республики Египет* запрещает подстрекательство молодежи к «отказу от религиозных ценностей и преданности отечеству».

Статья 27 Конституции *Ирландии* провозглашает: «Государство признает, что уважение к публичному поклонению является исполнением долга перед Всемогущим Богом. Должно благоговеть перед Его именем, уважать и почитать религию».

Статья 40 Конституции *Литовской Республики* устанавливает: «Государственные учебно-воспитательные учреждения <...> являются светскими. В них по желанию родителей ведется обучение Закону Божию».

В *Норвежском Королевстве*, где евангелическо-лютеранская религия является официальной государственной религией (п. 2 Конституции), норвежские государственные детские сады и школы обязаны по закону преподавать всем ученикам «Мораль и христианское воспитание».

«Консерватор», 2003, 31 января. Егор Городецкий, «Научите Ванечку креститься».

Скандалы начались сразу же после публикации учебника <...>. Правозащитники указывают на пространное рассуждение о психологических причинах, побудивших иудеев требовать казни Христа (оно и в самом деле выглядит странно: простой пересказ Евангелия был бы гораздо убедительнее), и на те места, где монофизитство и несторианство именуется ересями (как будто с точки зрения нормальной, святоотеческой православной традиции это не ереси). По мнению же экспертов-религиоведов, совсем нехорошо, когда о чудесах рассказывается как о достоверных событиях, а не как о мифологии. Увы, ни мифологии, ни даже разжигания и черносотенства, которые, может, и очень плохи, но хотя бы немного интересны, в учебнике Бородиной нет. Скука смертная <...>. Учебник, написанный на птичьем псевдоученом языке, который и взрослому-то не уразуметь без пачки анальгина, дело это не поправит <...>. Поклонившись Алле Валентиновне за благою инициативу, пригласив ее в почетные рецензенты будущего учебника, нужно, конечно же, сдать ее творение в архив: первый блин вышел, как ему и положено, комом. Религия — это сила, а сила не остается без хозяина. Или религиоведение будут преподавать в государственных школах, или детям расскажет о Боге кто-то другой.

«Огонек», 2003, № 5. *Дмитрий Быков*, «Закон — Божий!»

<...> Из этой же области — вопрос о преподавании истории религий или Закона Божьего в школе. Чтобы понять, есть у тебя слух или нет, надо как минимум подойти к инструменту. Чтобы сделать выбор — верить или не верить, — надо как минимум что-то знать о предмете спора. Меня в свое время не учили. Поэтому огромный смысловой слой в книжках, прочитанных в школьные годы, огромное пространство аллюзий, намеков, отсылок, полемических или апологетических диалогов с Библией — прошел мимо моего сознания, как и масса сюжетов классических картин. Никто в школе мне не объяснял, что такое «Притча о потерянной драхме» или «Динарий кесаря», а дома хоть и объясняли, но, конечно, на самом поверхностном уровне. Смысла половины обрядов я не знаю до сих пор. Сведения мои по истории религии крайне скудны, и эта полуобразованность постоянно дает о себе знать. Между тем почитать «В поисках пути, истины и жизни» Александра Меня неврдно и атеисту, даром что там шесть томов, не самых легких для усвоения. «Магизм и единобожие» из этого цикла — книга, попросту необходимая для любого, кто хочет понять нынешнее время. И вообще: дайте человеку самостоятельно сделать выбор, но для этого хотя бы объясните ему, с чем ему вообще предстоит иметь дело! <...>

Либеральный наш гуманизм очень любит побороться за свободу совести. Он только всегда забывает о том, что самые жестокие цензоры, самые яростные ограничители чужих свобод — это именно либералы. Тер-Акопян (Тер-Оганьян. — В. В.) искренне полагал, что, рубя православные иконы, он борется именно за свободу совести и самовыражения. На эту тему есть интересный апокриф. В двадцатые годы один комсомольчик тоже рубил иконы, а потом спросил батюшку: «Что же твой Бог ничего со мной не сделает?» — «А что с тобой еще можно сделать?» — спокойно ответил батюшка <...>.

«Религии в СМИ». Справочно-информационный портал, 2003, 14 февраля. «США: школы, запрещающие ученикам молиться, могут лишиться государственного финансирования».

Отныне администрации американских государственных школ не имеют права запрещать ученикам молиться за пределами классных комнат, а также препятствовать проведению религиозных собраний учителей. В случае, если руководители школ не подчинятся этому правилу, их учебные заведения могут лишиться финансирования из государственного бюджета.

Соответствующее распоряжение, изданное департаментом образования США 7 февраля 2003 года, было встречено с большим энтузиазмом христианами правозащитниками страны. «Новая директива о молитве станет настоящим благословением для школьников и преподавателей, — заявил президент христианской организации „Совет свободы“ Мэтью Стейвер. — Смысл новых правил прост: администрация школ должна прекратить дискриминацию студентов и учителей, которые хотят молиться или участвовать в религиозных встречах».

«Комсомольская правда», 2003, 15 февраля. *Андрей Моисеенко*, «Библия не станет школьным учебником?»

<...> А еще министр сообщил, что в 2003 — 2004 годах будет разработана программа и учебная литература по предмету «История и культура мировых религий», в котором будут представлены все религиозные течения России. Этот курс также будет факультативным <...>.

«Кузнецкий край» (Кемерово), 2003, 20 февраля. *Юлия Дергунова*, «Школа + Церковь = ?».

<...> Так как в 2001 году департамент образования области подписал договор о сотрудничестве с Кемеровской и Новокузнецкой епархией, то сегодня подобные предметы уже введены в 17 городах и 7 районах Кузбасса. В 213 учебных заведениях ведутся факультативные занятия по основам православной культуры, основам религии. Как считает Тамара Фральцова (начальник департамента образования Ке-

меровской области), это в немалой степени способствовало тому, что на 10,2 процента снизилась детская преступность. Кроме того, улучшилось качество общего образования. Вопросы православного воспитания введены в курсы повышения квалификации учителей. Уроки по духовному просвещению есть и в дошкольном образовании. И что бы ни говорили противники подобных программ, светский курс духовного образования может и должен преподаваться в школах (закон этого не запрещает).

«Газета», 2003, 26 февраля. Интервью Надежды Кеворковой с представителем Президента в Центральном федеральном округе Георгием Полтавченко «Иуда „работал“ не в интересах своей страны».

<...> — Именно в ЦФО активно введено преподавание «Основ православной культуры». Вы были на уроках?

— Нет, еще не был, но непременно побываю. Это факультатив, эксперимент проходит абсолютно безболезненно, на добровольных началах. И детишки с интересом занимаются. Те, которые не хотят, — пожалуйста, есть другие факультативы. Я уверен, что если аналогичные уроки будут проводиться в местах проживания представителей других традиционных вероисповеданий, тоже будет нормально.

«Огонек», 2003, № 8. «На стороне непонятого „друга“...»

Борис Коллендер, Филадельфия:

<...> Против чего я возражаю, так это против того, чтобы религиозную муть насильно внедряли в неокрепшие детские умы в школе. Да, религия — часть человеческой культуры, как, впрочем, алхимия или учение о коммунизме. Это и многое другое принадлежит истории человечества, а «из песни слова не выкинешь». Это может быть даже интересно. Но в школе следует преподавать не заблуждения, а науки и искусства.

Алин Гилор, Ванкувер:

<...> Почему надо ставить знак равенства между верой в Бога и церковь? Мне кажется, что в начале третьего тысячелетия, и особенно учитывая историю человечества, уже можно понять, что это разные, часто противоречащие друг другу вещи. Служители всех мировых конфессий, за редким исключением, запятнали себя своими поистине безбожными деяниями <...>. Диву даешься, какие мерзости творятся под прикрытием «Закона Божьего». Сколько разрушено судеб, как мучительно идет процесс восстановления человеческого достоинства, если идет... Увы, часто процесс уже необратим <...>.

«Советская Россия», 2003, 6 марта. Николай и Елена Шульгины, «Молчанием передается Бог».

<...> От введения этого предмета в школах вреда не будет, но и польза видится сомнительная. Вот, к примеру, прослушал ребенок и запомнил 10 заповедей, пришел домой, включил телевизор, а там все заповеди пропагандируются наоборот. И неокрепшая душа будет пребывать в растерянности и смятении <...>. У россиян уже есть желание и основания создать реабилитационный центр для пострадавших от РПЦ <...>. То, что Церковь не до конца использовала предоставленные ей возможности в деле просвещения нашего народа, видно по наполнению воскресных церковно-приходских школ. Они стоят полупустые, а кое-где уже и тихо закрылись, хотя обучение там бесплатное. Поле деятельности у Церкви и на своей территории остается незасеянным, без расширения сфер влияния. К слову сказать, перед революцией все храмы были открыты и содержались в благолепии, кругом преподавали Закон Божий, а на деле, как пишет А. Солженицын: «Перед октябрьскими событиями вера в интеллигенции почти полностью испарилась, а в простом народе была сильно повреждена» <...>.

«Известия», 2003, 13 марта. Елена Яковлева, «Сергий, митрополит Солнечногорский: „Невольник — не богомольник“».

<...> — В чем мы действительно заинтересованы — так это в том, чтобы общество было высокодуховным. Чтобы культура не истощалась <...>. Когда мы предла-

гаем ввести в школе в факультативной форме основы православной культуры, речь идет именно об этом: о восстановлении исторической и культурной роли православия в прошлом страны. Основы православия, с этой точки зрения, сродни основам математики или биологии. Что же касается подозрений в принуждении к вере, то никого не заставишь верить. Вера ведь субъективное чувство, его нельзя пережить принудительно. Ну как можно заставить реально почувствовать присутствие Божие? Неверующего можно пожалеть, но заставлять? Знаете, невольник — не богомольник.

— *В России много конфессий...*

— Было бы неплохо, если бы в школах Татарстана или Башкирии православная молодежь изучала «Основы исламской культуры». Это не значит, что учащиеся должны начать исповедовать ислам, но знать его они обязаны <...>.



ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

АЛЕКСАНДР КУШНЕР



ЗАБОЛОЦКИЙ И ПАСТЕРНАК

Было ли что-нибудь общее у них в 20-е годы? Первые книги Пастернака, при всей их метафоричности, лексической пестроте, речевой раскованности, перебоях ритма и смысла, синтаксической сложности, рискованной рифмовке, футуристической установке на отмену некоторых эстетических запретов, при всем их внимании к современной поэзии, опираются тем не менее на предшественников (прежде всего — Анненского и Фета; Лермонтов и Пушкин тоже просматриваются на их периферии) — и пронизаны лирической влагой. Лирическое «я» заявлено в каждом стихотворении: достаточно посмотреть, сколько стихотворений начинаются с местоимения 1-го лица: «Я был разбужен спозаранку...», «Я вздрагивал. Я загорался и гас...», «Я вишу на пере у творца...», «Я живу с твоей карточкой, той, что хохочет...», «Я и непечатным / Словом не побрезговал бы...», «Я клавишей стаю кормил с руки...», «Я не знаю, что тошней...», «Я понял жизни цель и чту...», «Я тоже любил, и дыханье...».

Вот замечательный способ, даже не читая стихов, по одному оглавлению кое-что понять в устройстве данной поэтической системы, разобраться в ее первоосновах. Чтобы проверить себя, на всякий случай открыл Анненского, — насчитал одиннадцать таких начал, — тоже немало, принимая во внимание небольшое количество написанного им. Подумал, что Фет по таким зачинам, наверное, чемпион. Действительно, 39 стихотворений разбегаются у него с местоимения «я». На всякий случай заглянул в алфавитный указатель Блока — 41 раз начинается он стихотворение с «дикого слова»! (Воистину «трагический тенор эпохи»: «Я люблю вас, я люблю вас, Ольга...») А затем обратился к «Столбцам» — ни одного подобного случая. А ведь следует принять во внимание еще все производные от местоимения 1-го лица: меня, мне и т. д. Наконец, «я» может стоять в середине строки и бесконечное количество раз встречаться в глубине текста. Формальный этот момент говорит о поэтической системе не меньше, чем, скажем, биологу — отличие хордовых от позвоночных. И если заглянуть, например, в Державина, то в огромном корпусе его произведений с личного местоимения начинаются лишь 4 стихотворения, в том числе, разумеется, знаменитый «Памятник». Таким образом, даже ориентация Заболоцкого на XVIII век просматривается безошибочно. Статистический метод может, как видим, оказаться весьма полезным.

Все-таки буду точным: несколько раз местоимение «я» или по крайней мере глагол в 1-м лице («И я на лестнице стою...», «Вижу около постройки...», «Я вынул маленький кisetик...») попадают, но ощущение такое, что они глубоко запрятаны внутрь стихотворения, так же как и производные от местоимения 1-го лица («Разум, бедный мой воитель») запрятаны и не развернуты, тут же сворачиваются, чтобы уступить место «объективной реальности» («Я шел сквозь рощу, Ночь легла / Вдоль по траве, как мел, бела. / Торчком кус-ты под нею встали...»), поэт собой не занят, никак собой не интересуется.

И пожалуй, только в одном стихотворении «Столбцов» их автор на мгновение проговаривается, проявляет «лирическую слабость»:

Кушнер Александр Семенович родился в 1936 году. Поэт, эссеист, лауреат отечественных и зарубежных литературных премий. Постоянный автор нашего журнала. Живет в Санкт-Петербурге.

...Но что был двор? Он был трубой,
он был туннелем в те края,
где спит Тамара боевая,
где сохнет молодость моя...

И этот сгусток традиционного лиризма, эта формула из чужой, едва ли не романтической поэзии преобразует стихотворение. По-видимому, чувствуя это, Заболоцкий в поздней редакции стихотворения лирический мотив постарался усилить: «Где был и я гоним судьбою, / Где пропадала жизнь моя...» Испытываешь умиление и благодарность к поэту, который хоть что-то, одним намеком, сказал о себе. Проснулся, мелькнул в толпе своих фантастических персонажей, заглянул нам в глаза.

И вот что удивительно: именно в этом стихотворении («Бродячие музыканты») совершенно неожиданно и единственный раз Заболоцкий похож на Пастернака, совпадает с ним интонационно, ритмически, лексически и в синтаксисе тоже:

...когда на подоконниках
среди музыки и грохота
легла толпа поклонников
в подштанниках и кофтах.

Здесь и рифмы по своему устройству тоже пастернаковские. И представляется уже отнюдь не случайным в этих стихах появление лермонтовско-пастернаковской Тамары:

И в звуке том — Тамара, сняв штаны,
лежала на кавказском ложе...

Если бы не «Тамара», сходство можно было бы отнести к разряду случайных совпадений: ведь есть же и у Пастернака в «Сестре моей — жизни» «заболоцкие» строфы: «Лазурью июльской облит, / Базар синел и дребезжал. / Юродствующий инвалид / Пиле, гундося, подражал...» («Балашов»).

В том же 1928 году, когда написано это стихотворение, Заболоцкий, по свидетельству Д. Е. Максимова, «говорил, между прочим, о Пастернаке, о том, что с этим поэтом, как бы Пастернак ни был талантлив, ему не по пути, что он не близок ему». Еще один мемуарист, И. Синельников, вспоминает: «В другой раз достал „Две книги“ Пастернака (в этот сборник входили „Сестра моя — жизнь“ и „Темы и вариации“). Но тут же сказал, что отложил эту книгу, пока не закончит „Торжество земледелия“». Однако дальше Синельников уточняет: «Эта боязнь, впрочем, не помешала ему читать мне первые главы „Спекторского“, которые в то время появлялись в журналах». И далее: «Из стихов Пастернака больше всего он ценил „Высокую болезнь“».

Разумеется, Заболоцкий читал старшего современника (строки из «Бродячих музыкантов» — неопровержимое тому свидетельство). Читал и Мандельштама, и Блока, и Ахматову, но, как справедливо пишет Л. Я. Гинзбург, отношение к ним было «настороженным»: стояла задача покончить с доставшимися от прошлого смысловыми ореолами слов, с их установившимися поэтическими значениями, посмотреть «на предмет голыми глазами»¹.

Не эта ли установка, реализованная в «Столбцах», отталкивала от Заболоцкого и Мандельштама, и Ахматову, ни разу не упомянувшую его имени ни в стихах, ни в прозе, отталкивала и Пастернака, тоже обошедшего Заболоцкого в автобиографии, хотя написана она была в 1956 — 1957 годах.

Тот же И. Синельников рассказывает, как Заболоцкий сомневался, стоит ли посылать «Столбцы» Пастернаку — при этом «вспомнил Павло Тычину, который послал свою книгу на украинском языке Ромену Роллану, Рабиндра-

¹ Выражение из декларации обэриутов, принадлежащее Заболоцкому.

нату Тагору и Бернарду Шоу». Здесь смешно все: и перечень адресатов, вряд ли ценимых Заболоцким, и украинский язык. Очевидно, Заболоцкий полагал, что для Пастернака «Столбцы» тоже покажутся написанными «на украинском языке». И наверное, не ошибался. Свидетельство Синельникова в этом отношении сомнений не оставляет: «Однако Пастернак потом прислал открытку с вежливой, но сдержанной благодарностью за книгу».

Наверное, то был едва ли не единственный или по крайней мере редчайший эпизод в его отзывах на чужие книги: известно, что ему было свойственно преувеличенно восторженное изъявление благодарности в подобных случаях.

Они и в жизни были столь разными, что, кажется, невозможно придумать более несхожую поэтическую пару. Пастернак — боговдохновенный поэт, «небожитель», с широко раскрытыми глазами, глядящими исподлобья или косящими из-под челки («Он, сам себя сравнивший с конским глазом» — Ахматова), с захлебывающейся речью, заводившей его так далеко, что собеседник не поспевал за смыслом, — и Заболоцкий, чья внешность едва ли не преднамеренно была лишена каких-либо поэтических черт: очки, галстук, пиджак, зачесанные, зализанные волосы, круглолицый. «Какой-то он странный. Говорит одни банальности, вроде того, что ему нравится Пушкин», — жаловалась одна литературная дама. Но и Давид Самойлов, из чьих воспоминаний я привел эту выдержку, рассказывает: «Почему-то весь этот день мы не расставались. Не читали друг другу стихов, не вели очень умных разговоров». Это поздний Заболоцкий, а что касается раннего, то в своих молодых стихах, говоря о себе, он прибегает к услугам одного-двух глаголов действия и состояния: «...Но я вздохнул и, разгибая спину, / Легко сбежал с пригорка на равнину...» — и это все, что мы узнаём о нем.

С давних пор меня занимает мысль: как посмотрели бы Пастернак и Заболоцкий в молодости на свои поздние стихи? Если бы можно было перевернуть время, предъявить будущее прошлому! (Как смотрели они в поздние годы на свои ранние стихи, известно: исправляли их, переделывали, кое-чего стеснялись и вовсе отвергали.) Что сказал бы молодой Заболоцкий, прочитав, например, такое:

Почему же, надвое расколот,
Я, как ты, не умер у крыльца,
И в душе все тот же лютый голод,
И любовь, и песни до конца!

(«Гроза идет», 1957)

Ведь это же образцовый Фет, которого он, в отличие от Пастернака, если бы и стал читать в молодости, то только в пародийных целях.

Что же тогда говорить про типично «советские», сюжетные, повествовательные, дидактические его стихи, мало чем отличающиеся от среднестатистического газетного стихотворения 40 — 50-х годов, такие, как «Смерть врача» («В захолустном районе, / Где кончается мир, / На степном перегоне / Умирал бригадир...» и т. д. «...И к машине несмело / Он пошел, темнолиц, / И в безгласное тело / Ввел спасительный шприц...») или «Генеральская дача» («В Переделкине дача стояла, / В даче жил старичок-генерал...» — стихотворение как будто специально написано для пьяных вагонных песен со слезой и протянутой шапкой). Хлебников и Филонов, где вы? В лучшем случае — Фатьянов, Щипачев и Ф. Решетников с его жанровым сентиментализмом («Опять двойка!»).

И что сказал бы молодой Пастернак, прочитав свою «Свадьбу» (1953):

Пересекши край двора,
Гости на гулянку
В дом невесты до утра
Перешли с тальянкой.

Может быть, испугавшись, переделал бы четвертую строку, чтобы уж хотя бы рифма была точной: «Принесли тальянку».

И рассыпал гармонист
 Снова на баяне
 Плеск ладоней, блеск монист,
 Шум и гам гулянья.

Чем это отличается от Исаковского? Нет, конечно, от Исаковского отличается: к концу стихотворение взмывает над протоптанным и заезженным сюжетом. Вообще к чести Пастернака надо сказать, что он почти всегда этот рывок из соцреалистических пут делает — и оказывается на свободе: «Жизнь ведь тоже только миг, / Только растворенье / Нас самих во всех других / Как бы им в даренье. Только свадьба, в глубь окон / Рвущаяся снизу, / Только песня, только сон, / Только голубь сизый». Узнали бы мы Пастернака еще и по неправильному, сдвинутому ударению: «в глубь окóн». (И Блок ему не указ: «Быть может, кто из проезжающих / Посмотрит пристальней из окон...») Клюев будто бы говорил Мандельштаму: «Вы, Осип Эмильевич, редко пользуетесь русскими словами, но всегда правильно, а Борис Леонидович — часто, но неверно». Возможно, имел в виду нечто вроде такого: «С тех рук впивавши ландыши, / На те глаза дышав...» («Образец», из книги «Сестра моя — жизнь»).

Тем не менее что же произошло с ними? Что произошло, мы знаем. Проработки 30-х, 1937-й, арест Заболоцкого в 1938-м и лагерные мытарства, война, постановление 1946-го и т. д. Весь ужас советской жизни. Интересней поставить другой вопрос: возникли бы те же перемены, не случись всего того, что случилось? Так или иначе, поворот от революции к реставрации был неизбежен: на смену интернационалу и мировому коммунизму приходил патриотизм, возвращение к народности, «корням», «малой родине» и т. п. Но и перемены в искусстве также были запрограммированы, и не только в силу внешних, принудительных обстоятельств. Поэт не стоит на месте, меняется от книги к книге, в том числе и в силу субъективных причин (нежелание повторяться — и в связи с этим нередко случается, что поэт, начинавший сложно, переходит к простому стиху или наоборот: Мандельштам от кристаллически-четких структур «Камня» переходил к «воздушным, проточным» стихам «Tristia», а затем и вовсе к таким головокружительным опытам, как «Стихи о неизвестном солдате»; а еще возраст; еще желание «быть с веком наравне»). Кроме того, воздействуют детские впечатления, семейные традиции, такие, как бытование толстовских идей в семье Пастернака, крестьянские корни Заболоцкого, сельское, потом уржумское детство, память об отце-агрономе — все то, о чем оба поэта рассказали в автобиографической прозе.

Возвращение к земле (даже в ее дачном, перелескинском варианте), к простоте не только поощрялось советской идеологией 40 — 50-х, но могло быть и противопоставлено ей как выход из ее официальных, парадных рамок, железных тисков. Социалистический реализм в поэзии бытовал в двух ипостасях: как монументальный, парадный, мундирный стиль, на манер «шинельной оды», и как заземленный стиль, который можно назвать советской сентиментальной народностью. «Свадьба», «Смерть врача» — стихи, относящиеся к этому ряду. В том же русле стихотворение «На ранних поездах»: «Превозмогая обожанье, / Я наблюдал, боготворя. / Здесь были бабы, слобожане, / Учащиеся, слесаря. / В них не было следов холопства...» и т. д. Можно подумать, что не было ни паспортных проверок, ни мешков с продуктами из города, ни колхозного труда. А вот «Стирка белья» Заболоцкого: «Я сегодня в сообществе прачек, / Благодетельниц здешних мужей. / Эти люди не давят лежачих / И голодных не гонят взашей. / Натрудив вековые мозоли, / Побелевшие в мыльной воде, / Здесь не думают о хлебосолье, / Но зато не бросают в беде...» — как будто Заболоцкий не знал, что творилось в деревне в Гражданскую войну или как происходило раскулачивание. Но на этом же пути, только отступая от проторенной советской поэзией колеи, возникали и блистательные удачи, такие, как «Стихотворения Юрия Живаго» или «Это было давно...» — стихи с кладбищенским сюжетом и крестьянкой, протянувшей поэту подавание.

Спасением от советской власти и противостоянием ей было и христианство Пастернака, его стихи на евангельские сюжеты («Особенно восхищался он [За-

болоцкий] „Рождественской звездой”, буквально умиляясь, сравнивая ее с картинами старых фламандских и итальянских мастеров, изображавших с равной простотой и благородством „Поклонение волхвов”, — из воспоминаний Н. Степанова).

Здесь позволю себе сделать небольшое отступление. Евангельские стихи Пастернака произвели тогда огромное впечатление на многих. Однако Заболоцкий в своем стихотворении «Бегство в Египет» не повторил Пастернака, преобразовал тему, введя в стихотворение самого себя:

Ангел, дней моих хранитель,
С лампой в комнате сидел.
Он хранил мою обитель,
Где лежал я и болел.

.....

Снилось мне, что я младенцем
В тонкой капсуле пелен
Иудейским поселенцем
В край далекий привезен.

Перед иродовой бандой
Трепетали мы, но тут
В белом домике с верандой
Обрели себе приют...

Думаю, что это — одно из лучших стихотворений Заболоцкого. И весь страшный опыт сталинских лет, вся печаль человеческой жизни отразились в нем не в прямой, а в метафорической, преображенной воображением форме. Оформив сюжет как собственный сон, он, возможно, помнил стихотворение Пастернака «Дурные дни», — там сказано: «И бегство в Египет, и детство / Уже вспоминались, как сон...», — там Бродский в своих евангельских стихах пошел, не отклоняясь, по пастернаковскому пути — стихотворной иллюстрации к евангельским текстам: сегодняшняя жизнь отбрасывает на них свою тень, но непосредственно в сюжет не включена. Таково и одно из поздних его стихотворений, повторяющее пастернаковское название — «Рождественская звезда»:

В холодную пору, в местности, привычной скорей к жаре,
чем к холоду, к плоской поверхности более, чем к горе,
младенец родился в пещере, чтоб мир спасти;
мело, как только в пустыне может зимой мести.

(1987)

Он читал мне «Рождественскую звезду» в Бостоне, на ходу, достав листочек из папки в припаркованной машине. Тогда же сказал, что пишет стихотворение, чтобы посвятить его мне, «но, Александр, оно все время съезжает в твою интонацию, твою ритмику». Показалось, что он готов отказаться от затеи и предложить мне взамен «Рождественскую звезду», но я подумал, что «звезда» не имеет ко мне отношения — и попросил закончить то, начатое стихотворение.

Что касается евангельских сюжетов в стихах, то рискну сослаться здесь и на собственный пример: мне более перспективным и волнующим показался прием Заболоцкого — и в стихотворении «Поклонение волхвов» рождественская тема была вписана в современную Москву, на Волхонку:

В одной из улочек Москвы,
Засыпанной метелью,
Мы наклонялись, как волхвы,
Над детской колыбелью.

И что-то, словно ореол,
Поблескивало тускло,
Покуда ставились на стол
Бутылки и закуска.

Мы озирали полумглу
И наклонялись снова.
Казалось, шурились в углу
Теленок и корова... и т. д.

(1966)

Возвращаюсь к теме. Кто бы мог подумать, что они подружатся? Что Заболоцкий напишет стихотворение, где о Пастернаке будет сказано: «...выкованный грозами России / Собеседник сердца и поэт...» — стихотворение, как все подобные стихи, не избежавшее риторики и шаблонов, но Пастернак смог прочесть его опубликованным в № 10 «Юности» за 1956 год. И Андроников рассказывает, как еще в 1946 году, когда Заболоцкий с середины марта до майских праздников жил в их семье, они вдвоем посетили в Москве Пастернака — и Заболоцкий читал свои стихи.

Сохранилась записка от 12 августа 1953 года: «Дорогие Екатерина Васильевна и Николай Алексеевич! Доставьте нам радость и отобедайте с нами сегодня в 3 часа. Кажется, придет С. Чиковани. Ждем вас обоих. Захватите, пожалуйста, Николай Алексеевич, „Безумного волка“, которого Вы обещали почитать. Сердечный привет. Ваш Б. Пастернак».

Отметим не только переводы с грузинского и дружбу с грузинскими поэтами, но и любовь к пирам и грузинским винам, как было принято в те годы.

Послевоенное время с его усталостью от великих катастроф можно назвать эпохой большого опрошения. И она же возвращала людям вкус к личной жизни; можно сказать, любовью защищались от государства. Цикл стихов Заболоцкого «Последняя любовь» («Отвори мне лицо полуночное, / Дай войти в эти очи тяжелые, / В эти черные брови восточные, / В эти руки твои полуголые...») на удивление вплотную подошел к поздней любовной лирике Пастернака («Внезапно видит всю ее / И плачет втихомолку...»). И даже внешне поэты приблизились друг к другу. Эпоха произвела нивелировку различий: полагалось быть «как все». Пастернак с лопатой, в кепке и рубаше с засученными рукавами — на картофельных грядках; Пастернак в каком-то серовато-белом, мятом, не то чесучовом, не то полотняном пиджачке. Заболоцкий в чем-то примерно таком же, только с большим количеством пуговиц, застегнутых до самого ворота, — на прогулке в Тарусе; он же в пижаме, выглядывающий из деревенского окна вместе с Николаем Степановым (тот все-таки в белой отутюженной рубашке); еще раз — в пижаме, только в более узкую полоску, — в Москве, за письменным столом. Я помню это время (середина 50-х) — в пижамах ходили по дачным улицам и стояли в очередях за хлебом и молоком.

Заболоцкий, воспитанный «природой суровой», с 1946 года несколько летних сезонов проводит на даче в Переделкине, связанном в нашем сознании исключительно с лирикой Пастернака. Вообще не очень понятно, как там могут теперь жить другие поэты и писать стихи: воздух выкачан им так же, как в Михайловском — Пушкиным. Но тогда, в 40 — 50-е, это, по-видимому, еще не ощущалось. Впрочем, мы вообще не связываем поздних стихов Заболоцкого ни с Переделкиным, ни с Пастернаком, в нашем представлении они смотрят в сторону если не державинскую, то, во всяком случае, — Баратынского и Тютчева. Между тем стоило бы учесть еще одну их составляющую — лирику позднего Пастернака. Вопрос о влиянии — сложный вопрос, и Заболоцкий — слишком самостоятельный художник, чтобы просто душно подпасть под влияние своего, пусть и старшего, современника. Может быть, будет правильной сказать так: трагический опыт 30 — 40-х, время, откладывающееся в стихах и диктующее их, зависимость от него и сопротивление ему, а также обмен стихами и подмосковный пейзаж — все это привело к удивительным совпадениям. Скажем еще раз: был создан особый поэтический стиль 40 — 50-х, и, как всякий поэтический стиль в средних (подчеркну: не лучших) своих проявлениях, он имеет общие черты, позволяющие создать контаминацию из стихов Пастернака и Заболоцкого. Ведь то же самое можно сказать, например, о

Пушкине и Баратынском конца 10-х — самого начала 20-х годов, о некоторых стихах Тютчева и Фета и т. д.

По пустынной и голой аллее,
Шелестя облетевшей листвой,
Отчего ты, себя не жалея,
С непокрытой бредешь головой?

Здесь дорога спускается в балку,
Здесь и высохших старых коряг,
И лоскутницы осени жалко,
Всё сметающей в этот овраг.

И того, что вселенная проще,
Чем иной полагает хитрец,
Что как в воду опущена роща,
Что приходит всему свой конец.

Жизнь растений теперь затаилась
В этих странных обрубках ветвей.
Ну а что же с тобой приключилось,
Что с душой приключилось твоей?

Что глазами бессмысленно хлопать,
Когда всё пред тобой сожжено,
И осенняя белая копоть
Паутиною тянет в окно.

Как посмел ты красавицу эту,
Драгоценную душу твою
Отпустить, чтоб скиталась по свету,
Чтоб погибла в далеком краю?

и т. д.

Здесь вперемешку приведены три строфы из «Бабьего лета» Пастернака и «Облетают последние маки» Заболоцкого. Подобные стихи сохраняли поэтическую честь и достоинство в гибельные времена — и не более того. Но и не менее. Таких стихов много у Пастернака: «Весенняя распутица», «Перемена» («Я льнул когда-то к беднякам...»), «Весна в лесу», «Июль», «Тишина», много их и у Заболоцкого: «Неудачник», «Одинокий дуб», «Летний вечер», «Сентябрь»... Все они более или менее повествовательны, рассудочны, ходят, можно сказать, на один и тот же словесный, образный и ритмический склад, хотя, разумеется, время от времени освещаются собственными, опознавательными огнями. Регулярные классические размеры; если строфика, то четырехстрочная с перекрестной рифмовкой, рифмы точные и самые простые. У Пастернака: *всегдашней — пашни, грань — глянь, просторы — горы, вдали — подмели, духом — пухом, борозд — рост, кленах — зеленых, нет — цвет* («Пахота»). У Заболоцкого: *расстоянье — сиянье, листву — траву, заката — утрата, когда — труда, человека — от века, огромны — Коломны, интерес — чудес, блуждала — провожала, полна — она* («На закате»).

Вспомним рифмовку в стихах раннего Пастернака, состоящую сплошь из приблизительных, зато непредсказуемых рифм: *адрес — театре, страшное — спрашивают, лучшее — мучает, слышал — мыши, белокуры — набедокурить, радостно — градусе* и т. п. И строка тогда у него бежала с наклоном вправо, к рифме — маховому колесу захлебывающегося от восторга и спешки стиха. И хотя рифма раннего Заболоцкого была куда более скромной, тем не менее и он позволял себе время от времени знакомить на рифме далекие слова, обращаясь к экзотической лексике: *мамка — полигамка* («Купальщики»), *номер — в соломе, змея — завия, ужас — наружу, баня — хулиганя, одинокая — охая* («Цирк»).

Стиль 40 — 50-х подразумевает также присутствие некоторой примеси дидактики, поучения. «Быть знаменитым некрасиво...», «Не спи, не спи, работай...» (хотя, конечно, «Ночь» — великое стихотворение, и его отзвук слышен

в стихотворении Заболоцкого «Не позволяй душе лениться!», назойливом в своей повелительной модальности), «Старая актриса», «Неудачник»...

Что касается лучших стихов, высших достижений поэтического стиля, каждый безошибочно назовет «Август», «Рождественскую звезду», «Вакханалию», «В больнице», «Свидание» («Засыпет снег дороги...»), «Разлуку» («С порога смотрит человек...»), «Ночь» и «Зимнюю ночь» («Мело, мело по всей земле...»), «Божий мир» («Тени вечера волоса тоньше...»), а Заболоцкий непредставим без «Прощания с друзьями», «Где-то в поле возле Магадана...», «Бегства в Египет», «Уступи мне, скворец, уголок...», «Приближался апрель к середине...», «Чертополоха»...² Назовем здесь еще, вспомнив то, с чего мы начали, и те стихи, в которых местоимение первого лица стоит у него в начале первой строки: «Я воспитан природой суровой...», «Я не ищу гармонии в природе...», «Я твой родничок, Сагурамо...», «Я трогал листья эвкалипта...», «Я увидел во сне можжевельный куст...». Перечень, разумеется, далеко не полон. И подумаешь: несмотря на все издержки и «поражения», имело смысл меняться, уходить от замечательной манеры ранних стихов, столь любимых нами, чтобы были написаны эти стихи.

С.-Петербург.

² Говоря о Заболоцком, опускаю его промежуточный, «холодный», одический период 30-х годов, совпавший с официальной установкой на монументальность, но, конечно, превосходящий все ее искусственные и напыщенные образцы ошеломительным звучанием, обманчивой пластикой, зоркостью, точностью и метафоричностью. Другие примеры того же монументального стиля — поэма «Киров с нами» Тихонова («шаги командора» на советский, партийный лад), мемориальные стихи Берггольц, некоторые стихи 40-х — начала 50-х Ахматовой.



ПРЕВРАЩЕННЫЙ

Дмитрий Быков. Призывник. Стихотворения и поэмы. СПб., «Амфора», «Геликон Плюс», 2003, 421 стр.

О стихах Дмитрия Быкова трудно писать, поскольку то и дело приходится преодолевать устойчивые представления о Быкове, сложившиеся у значительной части аудитории и основанные на внелитературных мотивациях. Постоянная борьба с быковским имиджем изматывает. Тем более, что быковский имидж — цепочка недоразумений и ошибок (если не сказать — цепочка подмен). Вообще стереотипное восприятие поэзии Быкова — одно большое недоразумение. Принято считать, что Быков пишет «журналистские стихи» — легкокрылые, многословные, поверхностные и грубоватые.

Легкокрылые? Пожалуй, да. Можно даже сказать, что этим стихам вредит излишняя точность словоупотребления: между словами и их смыслами нет промежутка, зазора. Быков слишком легко умеет находить нужное ему — здесь и сейчас — слово. Это может вызвать — и вызывает — недоверие: стихи Быкова кажутся чересчур «гладкими».

Многословные? Зачастую — да.

Поверхностные? Нет. Думаю, что на поэзию Быкова по смежности переносятся особенности его публицистики, действительно поверхностной — во многих случаях.

Грубоватые? Нет, нет и еще раз нет!

Сама поэтика Быкова может показаться кому-то и грубой — вследствие своей, что ли, «допотопности». В отличие от многих, Быков — не поэт языка, не поэт отдельного слова, взятого в его неповторимой osobosti, не поэт речи и речевой фактуры; он — поэт мысли, поэт высказывания, сентенции. Быков — автор домандельштамовской эпохи (несмотря на присутствие в его поэзии большого количества цитат из Мандельштама). Он не разлагает текст на составляющие. Для Быкова информация, заключенная в строках, заведомо важнее того, что между строк. На фоне продвинутых коллег, уверенно идущих по пути «лингвистической поэзии», Быков смотрится Надсоном.

Вот тут-то нас и подстерегает подвох...

...В некий момент я вдруг понял, что мы неверно представляем себе психологическую подоплеку процессов, происходивших в литературе на грани XIX и XX веков. Мы полагаем: было типа того, что скучных позитивистов-материалистов-общественников-народников-некрасовцев сменили рафинированные символисты-эстеты-декаденты. Толстокожие носороги уступили место хрупким и нервным мотылькам. В действительности, как мне представляется, все было с точностью до наоборот: надсонов-мотыльков победили брюсовы-носороги. Почти все поколение «позитивистов» и «общественников» спилось, не найдя себе места в российской действительности, а очень многие «декаденты» стали отличными менеджерами (издателями, редакторами и т. д.): для этого требуется весьма здоровая психика. Да и не поверю я никогда тому, что у Брюсова, Вячеслава Иванова и Макса Волошина нервы были менее крепки, чем у Глеба Успенского, Николая Успенского или Гаршина, — все вопиет против этого. Позитивисты-некрасовцы-то и были *истинными* декадентами, неудачниками, слабыми мира сего. Тонкая организация чувств чаще всего не сопутствует использованию тонких технологий (к слову: я всегда ужасаюсь обороту «тонкие технологии»; слова «тонкий» и «технология» сочетаются друг с другом примерно так же, как слова «диагностика» и «карма»).

Закономерность эта работает и в современной литературе. Для меня самый *тонкий* из всех нынешних поэтов — «журналига» Дмитрий Быков, он и есть — главный декадент, а многие из тех, что мнят себя декадентами, — изысканные постмодернисты и метафористы — холодные профессионалы, только и всего. К примеру, я считаю, что стихи Быкова тоньше стихов Владимира Аристового или Аркадия Драгомощенко. Так ли уж тонки хитроумные инсталляции, различного рода

артефакты под музейным стеклом? Я не нахожу в них ничего «тонкого», за исключением пресловутых «тонких технологий».

Дмитрий Быков — по преимуществу поэт *экзистенциального* склада. К сожалению, именно эта сторона его творчества выпадает из поля зрения критиков (ни один из критиков ни разу не упомянул пронзительнейшую поэму Быкова «Памяти Николая Дмоховского» — чудны дела людские). Основная тема поэзии Быкова — отношения между человеком и миром, внутри которого человек пребывает. Человек при этом — чужд миру, не может слиться с ним, стать его частью, а мир — иноприроден человеку. Можно даже сказать, что они враждебны друг другу. «Я и мироздание», «я и Бог», «я и Россия» — варианты одной и той же тематики. В точках соприкосновения «я» и «не-я» возникает несовместимость этих начал. Мироздание, сотворенное не по человеку, жмет, царапает и мучит его, подобно тому, как ботинок, сделанный не по ноге, жмет, царапает и мучит ногу. Мозоли, ссадины, раны, увечья, причиняемые душе чужеродным пространством «не-я», — основной предмет быковской поэзии. Эта поэзия очень противоречива — на уровне осмысления мира, и при этом цельна — на уровне его восприятия. Быков разворачивает веер метафизических вариантов, почти все они не согласуются друг с другом: лирический герой Быкова может представлять атеистом, богоборцем, гностиком, агностиком, позитивистом — кем угодно. Под всем этим многообразием всегда можно найти единую подоснову — мучительное чувство несоответствия с «не-я». Быков как будто бы пытается замять всевозможными словами Гибельную Бездну или по крайней мере как-то объяснить появление Гибельной Бездны (для Быкова как для типичного интеллигента истолковать опасность означает — защитить себя от нее). Стихи Быкова эмоциональны, в них эмоция порождает мысли; именно поэтою мыслям Быкова не очень доверяешь (знаешь, что они — плод паники), зато эмоции Быкова доверяешь в самой высокой степени.

Во все времена существовал тип людей, которому трудно подобрать определение; раньше про таких людей говорили: «Они наделены тонкой душевной организацией». Сейчас в этом слышится что-то смешное. Я не решаюсь дать название людям данного склада — в современном русском языке нет такого слова или словосочетания, которое характеризовало бы этих людей, не унижая их (может быть, потому что подобных людей все меньше и меньше). Так или иначе, но есть те, кто воспринимает все вокруг необыкновенно остро, острее, чем другие. Это свойство, данное от природы. Небезопасное для своих носителей (я склонен считать, что сколько Бог дает человеку, ровно столько же Он у него отнимает — потому талантливым людям так трудно жить). У каждого из нас есть два ума: ум эмоциональный (он улавливает тонкие импульсы, реагирует на обиды, слышит интонации) и ум рациональный (определяющий причины, масштабы и соотношения разных явлений). Чересчур мощный эмоциональный ум может подавить работу рационального ума — и этим осложнить жизнь личности; Быкову, во всяком случае, он осложняет жизнь в значительной степени.

Когда я читаю стихи Быкова, я представляю себе Родерика Эшера, героя рассказа Эдгара По, человека, чьи чувства были обострены настолько, что всякий громкий звук, яркий цвет, сильный запах причиняли ему невыносимую боль. Есть связь между болезненной жизнелюбивостью ранней лирики Быкова и беспросветным ужасом его поздних стихов. Тот, кто мог с невыразимой силой воспринять всю полноту счастья, обречен столь же исчерпывающе почуять черную основу бытия, тютчевскую ночь, скрытую под златотканым покровом дня...

Очередной сборник стихотворений и поэм Дмитрия Быкова «Призывник» по большей части состоит из произведений, публиковавшихся ранее, сборнику можно дать название «Избранное» (новых текстов Быкова в «Призывнике» не очень много). То, что этот сборник, дающий исчерпывающее представление о поэзии Быкова, вышел в свет, — достижение; Быков нуждался в «Избранном». Но — странное дело — сумма не равна слагаемым. «Призывник» не похож ни на элегическое «Послание к юнше», ни на затаенно-трагический (черно-белый) «Военный переворот», ни на огненную, обжигающую «Отсрочку» — хотя составлен «Призывник» в основном из того, что в них печаталось. К слову, отбор текстов осуществлен превосходно. Тексты в «Призывнике» расположены не по хронологическому, а скорее по тематическому

принципу: стихотворения, которые написаны в восьмидесятых годах, соседствуют с новейшими. И это соседство создает стереоскопический эффект — можно отследить состояние духа поэта в разные периоды, сделать выводы...

Я вот почему-то не замечал, как много в поэзии Быкова пейзажей — рассветов, закатов, сиреневых прибрежных гор, осенних полей, московских бульваров, а главное — трепещущей листвы. Самый распространенный эпитет в стихах Быкова — слово «сквозной». Даже Бог для Быкова — «лиственный, зыбкий, сквозной» («Со временем я бы прижился и тут...»). Оказывается, цветовая гамма поэзии Быкова тяготеет к зеленому. Точнее — к соотношению зеленого и черного (различные оттенки зеленого — для ранних стихов, черный — для поздних стихов; чем ближе по времени, тем неукоснительней зеленый цвет сменяется черным). Зеленый (трава, листва) — воплощение неукротимой Жизни. Впрочем, в поздних стихах Быков усомнится в Жизни. «Триумф земли, лиан плетение, / Зеленый сок, трава под ветром — / И влажный, душистый запах гления / Над этим буйством пышноцветным» («Бремя белых»). Иногда пейзаж дается одной строкой, но он неизменно присутствует. Наблюдательность Быкова настолько точна и мучительна в собственной точности, что заставляет вспомнить Бунина; от Бунина — и мгновенные осознания почти непереносимого счастья.

Хочу, чтобы со мной остался этот рай:

Весенний первый дождь, весенний сладкий час,
Когда еще светло, но потемнеет скоро,
Сиреневая тьма, зеленый влажный глаз
Приветствующего троллейбус светофора,

И нотная тетрадь, и книги, и портфель,
И гаммы за стеной, и сборная модель.

(«Преждевременная автозпатафия»)

Но «жизнь не любит жизнелюбов». Естественный для каждого человека процесс отрезвления, избавления от иллюзий молодости принимает в системе мировосприятия Быкова почти апокалипсическое звучание. Так уж устроена эта система, что каждое впечатление, проникнув в нее, усиливается в тысячу раз, счастье становится восторгом, а обида — вселенской катастрофой. Лихорадочное стремление *участвовать* в разворачивающемся спектакле бытия странным образом выносит счастливец за пределы бытия. Карандаш чересчур нажимает на бумагу и прорывает ее. След оборачивается дырой, радость — мукой, любовь — ненавистью, а космическая гармония — мраком запустения и хаосом. Все чувства, все страсти сливаются в единой немислимой боли — боли существования.

О жизнь, клубок стоцветных змей!
Любого счастья сильней
Меня притягивало к ней
Разнообразие муки.

(«Шестая баллада»)

Лев Толстой сказал об одной из своих знаменитых героинь: «Как будто избыток чего-то так переполнял ее существо, что мимо ее воли выражался то в блеске взгляда, то в улыбке». В Быкове есть подобный «избыток чего-то». Он заставляет его гоняться за впечатлениями, сюжетами, славой, проявлять себя на бесчисленных поприщах, иногда — на неуместных поприщах (в последнее время Быков пытается позиционироваться в качестве идеолога; однако эти попытки дают даже не нулевые, а минусовые результаты: Быков-идеолог похож на фольклорного персонажа, который кинул аркан — себя поймал, выстрелил из ружья — в себя попал, поглядел в телескоп — себя увидел). Спору нет, Быков несет ответственность за все приключения собственного имиджа, но в то же время и сложившееся отношение литературной публики к Быкову — удивляет. Глупо требовать от поэта выдержки боксера и тактичности дипломата. Главное в Быкове — его трагический дар, который, как и всякий дар, требует уважения к себе.

Есть одна тема, которая, занимая значительное место в русской классической поэзии, немыслима в поэзии современной; эта тема связана с чувством инакости, непохожести на других, обретенной от природы ли, по воле Всевышнего ли. «С тех пор как вечный судия / Мне дал всеведенье пророка, / В очах людей читаю я / Страницы злости и порока», — эти хрестоматийные лермонтовские строки — о том, как человек внезапно чувствует себя *другим*, не таким, как все. Самый несомненный итог советской эпохи — впечатанный в генетический уровень ужас оказаться *другим* — хоть в чем, хоть в самом малом пустяке. Это — болевая точка современного российского коллективного подсознания, нашего подсознания, больше того, это — точка безумия нашего подсознания. Я знаю верный способ вызвать массовую истерику в российской ноосфере; для этого надо всего лишь намекнуть на то, что в мире, знаете ли, существуют индивиды, которых Бог отмечает особо. Между тем в дореволюционном российском сознании эта мысль считалась банальностью.

Поэзия Дмитрия Быкова не боится поднимать такую опасную тему — в этом одно из главных ее достоинств. Видно, что эта тема чрезвычайно мучительна для него, однако она заставляет Быкова обращаться к себе вновь и вновь.

Быков слишком рано понял, что он не похож на других. «Я не вписываюсь в ряды, / выпадая из парадигмы / Даже тех страны и среды, что на свет меня породили» («Понимаю своих врагов...»). Рифма, кстати, здесь — совершенно евтушенковская. Да и не только рифма. Далеко не случайно я в свое время назвал Быкова «Евтушенко с филологическим дипломом».

Тема собственной инакости (неотделимой от избранничества) проделала в поэзии Быкова множество трансформаций, порою — довольно неприятных трансформаций. Так или иначе, но Быков закономерно (на мой взгляд — закономерно) пришел к сюжету *превращения*.

Этот сюжет проматривался еще в «Военном перевороте» — в прекрасном стихотворении «Кольцо» (первая строфа этого стихотворения, правда, подкачала: о фрейдистах было бы лучше не упоминать, дабы не привлекать их внимание). «Я — дыра, пустота, никем не установленное лицо, / Надпись, выдолбленная в камне, на Господнем пальце кольцо». Чуть позже Быков напишет новые тексты о том же: стихотворения «Мой дух скудеет. Осталось тело лишь...», «Оторвется ли вешалка у пальто...», поэму «Хабанера». Оптимальное же воплощение данный сюжет нашел в «Пэоне четвертом» — центральном, ключевом произведении сборника «Призывник»:

О Боже мой, какой простор! Лиловый, синий, грозовой, — но чувство странного уюта: все свои. А воздух, воздух ледяной! Я пробиваю головой его разреженные, колкие слои. И — вниз, стремительней лавины, камнепада, высоту теряя, — в степь, в ее пахучую траву! Но, долетев до половины, развернувшись на лету, рвануть в подблачье и снова поплыву.

Так Быков не писал еще никогда. Подчеркнутая реалистичность письма, мягкая, «тающая» ирония, социальные и метафизические обобщения, пускай даже черный апокалиптизм «Отсрочки»... Но такой откровенный символизм с фэнтезийной подсветкой!.. Такая ледяная полетность, такая нездешняя отчетливость красок!..

Не может быть: какой простор! Какой-то скифский, а верней — дочеловеческий. Восторженная дрожь черно-серебряная степь и море темное за ней, седыми гребнями мерцающее сплошь. Над ними — тучи, тучи, тучи, с чернотой, с голубишной в разрывах, солнцем обведенные края — и гроздь гроз, и в них — текучий, обтекаемый, сквозной, неузнаваемый, но несомненный я.

Хочется процитировать это стихотворение все — без изъятий, наслаждаясь умопомрачительными эпитетами, хочется распутать все интертекстуальные нити, тянущиеся к «Пэону четвертому» — от гностических преданий, от Ницше, от борхесовского «Дома Астерия». И от пушкинского «Пророка», конечно же...

Так вот я, стало быть, какой! Два перепончатых крыла, с отливом бронзовым, — смотри: они мои! Драконий хвост, четыре лапы, гибкость змея, глаз орла, непробиваемая гладкость чешуи! Я здесь один — и так под стать всей этой бурности, всему кипенью воздуха и туч лиловизне, и степи в черном серебре, и пене, высветлившей тьму, и пустоте, где в первый раз не тесно мне.

Превращение состоялось!...

Лечу, крича: «Я говорил, я говорил, я говорил! Не может быть, чтоб все и впрямь кончалось тут!» Как звать меня? Плезиозавр? Егудиил? Нафанаил? Левиафан? Гиперборей? Калалабот? Где я теперь? Изволь, скажу, таранить облако учась одним движением, как камень из пращи: пэон четвертый, третий ярус, пятый день, десятый час. Вон там ищи меня, но лучше не ищи.

Кирилл АНКУДИНОВ.

Майкоп.

*

SCIENCE FICTION AGAIN, ИЛИ СНОВА НОН-ФИКШН?

Филип Дик. Свободное радио Альбемута. Перевод с английского В. Баканова и В. Генкина. М., «АСТ», 2002, 320 стр.

Знаем ли мы, что такое научная фантастика? Когда-то, лет тридцать с лишним тому назад, — знали довольно определенно. Это были книги Азимова и Лема, Стругацких и Шекли, в которых речь шла о неких событиях, выходящих за рамки повседневного опыта и современных научных теорий. Такая литература называлась *science fiction* — причем второе слово в названии жанра означало вовсе не «фигуцию» (нечто заведомо нереальное), а вообще словесность, любую беллетристику, основанную на вымысле. Собственно, правильнее переводить: «научная ли т е р а т у р а», а не «научная ф а н т а с т и к а», последнее привычное словосочетание — не более чем продукт узаконенной переводческой аберрации.

Да, все это вроде бы хорошо известно читателям со стажем, помнящим, как один за другим выходили в свет красные и серые тома легендарной серии «Библиотека современной фантастики». Эти книги были популярны не только из-за лихо закрученных сюжетов. Читателя давно минувших лет привлекала как раз простота многих романов и повестей *science fiction*, их явная или скрытая оппозиционность на унылом фоне официальной «советской литературы». В те годы по цитатам из Стругацких иной раз узнавали друг друга единомышленники, будущие собеседники по бесконечным разговорам на прокуренных кухнях.

В бесцензурную эпоху восьмидесятых — девяностых все изменилось. Фантастика утратила ореол элитарности и тем более оппозиционности, огромное большинство оригинальных и переводных книг *science fiction* с некоторых пор проходит по ведомству «массовой литературы», привлекающей читателя как раз стандартностью и доступностью сюжетных коллизий, сохраняющих лишь внешние черты неординарности, особой «альтернативной научности» (космические путешествия, пришельцы, борьба сил добра и зла на просторах Вселенной и в параллельных мирах и т. д.).

Редко какая «фантастическая» книга новой волны способна ныне привлечь внимание прежних почитателей *science fiction*, увлеченных в последние годы скорее литературой *non-fiction*, то есть описывающей жизнь реальных людей, под своими подлинными именами участвующих в действительно имевших место событиях. И все же недавно изданный по-русски роман Филипа Дика «Свободное радио Альбемута» достоин внимания знатоков прежней, «подлинной», фантастики — хотя бы потому, что опровергает многие хрестоматийные представления о литературе *science fiction*. Собственно, эта книга совмещает вещи, обычно не то что несовместимые, но вроде бы вовсе несопоставимые друг с другом.

Имя Филипа Дика (1928 — 1982) присутствует в списке классиков фантастического жанра на достаточно спорных основаниях. Многие творческие декларации писателя ясно свидетельствуют о том, что свои литературные произведения он рассматривал не как беллетризованные экстраполяции научных знаний в будущее и не как аллегории современных социальных процессов, но в качестве средства познать сокровенное, подлинное, исподволь присутствующее в нашей обычной жизни. То, что с обыденной точки зрения может показаться нетипичным, даже нереальным, на самом деле с большой степенью вероятности может приблизить читателя

к истине — чем не новый вариант «фантастического реализма» по Достоевскому? Подобные убеждения могли бы показаться вполне банальными, если бы они не были подкреплены многими подлинными обстоятельствами из творческой биографии Ф. Дика. Так, ему удалось в романах и повестях предсказать (а по некоторым мнениям — чуть ли не спровоцировать) многие нюансы контркультурного бунта эпохи шестидесятых, опередить на несколько лет бум психоделической литературы и музыки, популярность Тимоти О'Лири и Кастанеды. Важно (и странно!), что все эти совпадения-предсказания, как правило, не носили характер осознанного, основанного на данных науки «социального прогноза», как это было, например, в фантастических книгах и футурологических трактатах Станислава Лема. Ф. Дик непонятным образом сам неоднократно попадал в истории почти невероятные, а в книгах стремился дать им подлинное, с его точки зрения, истолкование — ну, скажем, объяснить слухи о собственной причастности к попытке обнародования закрытых военных исследований, связанных с загадкой СПИДа. Вот в чем необычность многих книг Дика: перед читателем оказывается вовсе не *science fiction*, а в некотором смысле литература *non-fiction*, опередившая эпоху собственной популярности, беллетристика, описывающая дела и чувства реальных людей в абсолютно реальных обстоятельствах.

Сравнительно поздний перевод романа, впервые увидевшего свет еще в 1985 году, не является запоздалым сразу по двум причинам. Во-первых, многие (в том числе более «своевременные») переводы книг Филипа Дика делались порою на скорую руку, в расчете на быстрый коммерческий успех, и зачастую попросту искажали представление об уровне литературных притязаний автора, ставили его романы и повести в один ряд с поделками ремесленников от литературы. Всего этого в «Свободном радио...» переводчикам, по счастью, удалось избежать. Во-вторых, роман достаточно неожиданно обрел в последние годы и даже месяцы особую актуальность в связи с новой расстановкой сил в мире «после одиннадцатого сентября». Что же — Филип Дик снова оказался в привычной роли провидца? Отчасти так оно и есть, хотя, как это всегда с ним случалось и прежде, писатель в своем последнем романе пытался не более и не менее как оправдать и объяснить некоторые подлинные происшествия, случившиеся с ним в 70-е годы. Реальное здесь, как водится, граничит и неразрывно переплетается с совершенно невозможным и легендарным. С одной стороны, в последние годы жизни писатель во многих интервью говорил о собственном визионерском опыте, о ментальных контактах с неким сверхразумом, вероятно, имеющим внеземное происхождение и призванным избавить мир от угроз и опасностей современной цивилизации. С другой стороны, мистические подробности соседствовали с инвективами в адрес американских спецслужб эпохи президентства Никсона, якобы дважды санкционировавших обыски со взломом в доме писателя, прибегавших к тактике прямого запугивания.

Автобиографические обстоятельства и подробности в романе Дика поделены поровну между двумя героями. Один из них, продавец пластинок в музыкальном магазине Николас Брейди, чувствует свою связанность с неким ВАЛИСом, внеземным сознанием, призванным противостоять несвободе политического режима, навязанного стране президентом по имени Феррис Ф. Фримонт. Другой (родился в 1928 году, анкетные данные совпадают с авторскими!) в молодости покинул из-за антимилитаристских убеждений университет и поступил продавцом в книжную лавку, где проводит время за чтением Пруста, Кафки и Джойса. Его зовут, разумеется, Филип Дик, и, как легко догадаться, он становится известным писателем-фантастом. Филип-персонаж пытается разобраться в сути событий, происходящих в стране и в жизни его друга Николаса, обвиненного в связях с подпольной прокоммунистической организацией под названием Арампров. Под влиянием происхождения Филипа (как, впрочем, и его тезка-прототип) приходит к полному пересмыслению предназначения так называемой фантастической литературы. Поначалу Филип пытается отделаться от настойчивых просьб приятеля о помощи стандартными отговорками: «Я пишу фантастику. Вымысел». Однако постепенно приходит прозрение, Филип понимает, что вымысел в литературе плодотворен только в том случае, когда он реальнее самой реальности, служит средством для обнажения и

объяснения скрытых ее законов, нередко прячущихся под маской невозможного, иррационального. Зримым итогом усилий Дика-персонажа служит роман Дика-автора, так и не сумевшего добиться публикации «Свободного радио...». Слишком прозрачными были в романе многие аллегории и намеки на реалии никсоновской эпохи. Литератор-фантас в романе расстается с амплуа стороннего наблюдателя и аналитика: автора лихо закрученных боевиков, рассчитанных на симпатии массового читателя, либо сценариев глобального развития цивилизации, захватывающих воображение горстки интеллектуалов. Фил изъясняется прямо и недвусмысленно: «Когда ФФФ был избран президентом... мы все стали пленниками, нас содержат в огромной тюрьме, где стенами служат Канада, Мексика и два океана». Никакая, пусть даже самая благая, социальная стратегия, политическая доктрина не может пропагандироваться как единственно возможная, лишённая альтернативы. В противном случае неизбежна несвобода, а там недалеко и до появления карательных организаций вроде той, которая описана в романе Дика под названием «Друзья американского народа». «Друзья народа» заняты не чем иным, как поисками врагов этого самого народа, они поощряют доноительство, устраивают провокации, сталкивают лбами друзей и родных на почве поисков тайных террористов. «Принимаю ли я наркотики? Есть ли у меня внебрачные сыновья-негры, которые пишут научную фантастику? Являюсь ли я Богом, а также главой коммунистической партии?» — примерно такие вопросы содержатся в анкете, предъявленной Филипу «друзьями народа». В конечном счете Дик-персонаж приходит к выводу о том, что в стране возникает «полнокровная, зрелая мания о чудовищной конспиративной организации... безусловно враждебной всему обществу». Некоторым сюжетным находкам автора романа могли бы позавидовать многие «черные» пиарщики эпохи антиглобализма и клонирования. Только в последние годы становится понятно, что высокие технологии позволяют нейтрализовать инакомыслие и инакомыслящих помимо прямого насилия. А между тем вот что слышит Дик-персонаж в ответ на собственные бескомпромиссные декларации о чести и писательском долге: «Мы сохраним вам жизнь, Фил. И будем выпускать под вашим именем книги нашего собственного сочинения... Ваши книги будут выходить одна за другой... и постепенно ваши взгляды придут в соответствие с официальными».

Может быть, «Свободное радио...» и не принадлежит к разряду шедевров, но закономерности развития американской (да, впрочем, и не только американской) фантастической литературы проступают в романе весьма отчетливо, как, впрочем, и многие бытовые подробности и политические реалии 1990-х и 2000-х, предсказанные Филипом Диком за много лет до наступления третьего тысячелетия.

Дмитрий БАК.

*

АРТУР КЁСТЛЕР В РОЛИ ТОВАРИЩА

Артур Кёстлер. Автобиография (фрагменты книги). Перевод с английского Л. Сумм. — «Иностранная литература», 2002, № 7, 8.

Духовный опыт Артура Кёстлера (1905 — 1983) имеет двоякую ценность: в части увлечения заблуждениями века и в части их преодоления.

Жажда абсолюта, — по словам Кёстлера, «стигмат, отметивший тех, кто не способен довольствоваться ограниченным „здесь и сейчас“», — в прежние времена приводившая к Богу, с упадком религиозности стала находить себе иные объекты, в пределах посястороннего горизонта. Для Кёстлера такими подменами стали последовательно сионизм и коммунизм.

Молодой, подающий надежды журналист, «мальчик из хорошей семьи», отправился в Палестину и вступил в сельскохозяйственный кооператив, чтобы обрабатывать землю, с плугом в одной руке и мечом в другой, как в эпоху Ездры (этот опыт отражен в романе «Воры в ночи», который не мешало бы перевести на русский язык). Стоит заметить, что земля, о которой идет речь (долина Изреель, в библейские времена самая плодородная из земель Палестины), оставалась невозделан-

ной в продолжение полутора тысяч лет и в результате стала сухой и каменистой. Все, таким образом, приходилось начинать заново в условиях, как пишет автор, «героической нищеты и жестокой борьбы на грани человеческих возможностей». Впрочем, личное его участие в этой эпопее оказалось относительно кратковременным.

Интересно, что стало причиной разочарования Кёстлера в сионизме: «Я приехал в Палестину юным энтузиастом, поддавшимся романтическим побуждениям, но вместо утопии обнаружил реальность весьма, надо сказать, сложную — и привлекательную, и отталкивающую; но постепенно отталкивание стало сильнее, и причиной тому был еврейский язык — устаревшее, окаменевшее наречие, давно переставшее развиваться, брошенное самими евреями задолго до нашей эры — во времена Христа они говорили по-арамейски, — а теперь насильственно возрождавшееся. Архаическая структура и древний словарь совершенно не годились для выражения современной мысли, для передачи оттенков чувств и смыслов, важных человеку XX века». Как известно, возможна и совсем другая точка зрения на иврит.

Русскому читателю должно быть особенно интересно у Кёстлера все то, что касается коммунизма и СССР.

Путь к коммунизму для интеллектуалов, подобных Кёстлеру, пролегал через теоретическую литературу: «Едва я дочитал „Людвига Фейербаха“ Энгельса и „Государство и революция“ Ленина, как в голове у меня что-то щелкнуло и произошел интеллектуальный взрыв». И у нас многие из тех, кто принадлежит к старшим поколениям и рано приобщился к философской литературе, могут подтвердить эффект, произведенный на их неокрепшие умы по крайней мере первой из упомянутых работ; с той, однако, поправкой, что у нас практически не было соперничающих течений мысли.

Равным образом знакомо старшим поколениям парадоксальное — ибо плохо вяжущееся со свойственным марксизму культом теоретической мысли — стремление к опрощению и «сближению с народом». Кёстлер пишет об этом так: «Достаточно просто объяснить, как человек моего склада характера и судьбы приходит к коммунизму; гораздо труднее передать то особое состояние духа, которое побуждает молодого человека двадцати шести лет стыдиться своего пребывания в университете, проклинать бойкостью своего ума и изощренность речи, постоянно бичевать себя за приобретенные культурные привычки и вкусы и мечтать об интеллектуальной кастрации. Если б эти вкусы и привычки можно было бы удалить как опухоль, я бы с радостью лег под нож...» Интеллектуал под таким углом зрения есть существо с какой-то гнильцой, тогда как пролетарии — сплошь крепкие добрые люди, умственно более здоровые и цельные.

Кёстлер находил, что описанное состояние духа трудно передать даже современникам или по крайней мере некоторым из них («Автобиография» вышла в 1952 — 1954 годах); совершенно непонятным оно становится полвека спустя — это одно из тех наваждений, которые целиком принадлежат своему времени.

Вместе с тем нетрудно заметить определенное сходство между этим настроением и гораздо более широким трендом, который можно назвать ложнодемократическим и который не только не ослабел, но как раз, напротив, за последние тридцать — сорок лет резко усилился. Разница в том, что интеллектуалы с коммунистическими убеждениями жаждали «поглупеть», доверяя строительству «новой жизни» правильному, как им казалось, инстинкту масс, а новейший интеллектуализм определенного сорта пасует перед вульгарной толпой, которая ни к чему не стремится и ничего не собирается строить, но довольна собою, какова она есть.

«Мы обожествляли Волю Масс, — пишет Кёстлер, — а их воля клонилась к убийству и самоубийству». В чистом, так сказать, виде этот эксперимент был поставлен в России. Но сходная до известной степени ситуация наблюдается сегодня и на Западе, только здесь ее развитие осложняется и тормозится действием некоторых культурных и иных факторов.

Оправдание спонтанных действий масс — вот, пожалуй, что принесло коммунистам успех в период Русской смуты 1917 — 1920 годов. Сюрпризом явился для них тот факт, что в дальнейшем массы, или, точнее, выдвинутые ими «элиты», повели себя не так или не совсем так, как им полагалось «по науке». Отсюда — мно-

гослоинность советских реальностей, где сквозь верхний прозрачный слой проглядывали трудноссовместимые с ним второй, третий и т. д.

Кёстлер прожил в СССР с июля 1932-го по конец августа 1933 года, то есть в период непосредственно за «великим переломом», когда все послабления, связанные с эпохой, остались позади и уже дала о себе знать несуразность советских методов хозяйствования, когда ужасающий голод свирепствовал в считавшихся дотоле самыми хлебобродными краях, а вездесущему ГПУ оставалось добавить несколько кирпичиков в здание сталинского «порядка», строительство которого будет завершено в самые ближайшие годы. Общее впечатление от посещений СССР (и в целом от пребывания в рядах коммунистической партии) Кёстлер выразил, прибегнув к образам Ветхого Завета: «Но наступило утро после брачной ночи в сумраке шатра, и Иаков убедился, что целовал на ложе не красавицу Рахиль, а косоглазую Лию. И сказал Лавану: „Что ты сделал со мной? Зачем ты меня обманул?“».

Не все отвратило Кёстлера в СССР. На своем извилистом пути (Украина, Закавказье, Средняя Азия, Москва) он повстречал множество тех, кого назвал «праведниками». Эти люди, принадлежавшие к самым разным профессиям, не были ни противниками режима, ни его фанатичными сторонниками, но: «Каждый из них создавал вокруг себя, в океане хаоса и чудовищной бессмыслицы, островок порядка, нормальных человеческих отношений, достоинства. В какой бы области они ни трудились, их благое влияние распространялось на все окружение. Архипелаг таких человеческих островков, протянувшийся через весь Советский Союз, скреплял страну воедино, спасал от распада».

Другой Архипелаг! Кёстлер отметил, что здесь не было противников режима; более того, с течением времени, а именно со второй половины 30-х годов (когда была достигнута значительная психологическая консолидация советского общества), поддержка режима стала более активной. Советский строй предстал в глазах этих «праведников» как затребованный народом, а разве можно было хоть в чем-то идти против собственного народа?

И что уж тут говорить о «советских людях», обреченных вариться в собственном соку, если даже критически мыслящие иностранцы, такие, как Кёстлер, и даже вплотную столкнувшись с советскими реальностями, продолжали верить, что «в своей основе» СССР остается «последней надеждой» человечества. Они стояли на том, что по своим социально-экономическим параметрам это «государство рабочих и крестьян», а значит, рано или поздно оно вернется на истинно социалистический путь (такова была, между прочим, и точка зрения Троцкого в изгнании).

По всем внешним признакам СССР должен был быть квалифицирован как чудовище, но кто страстно желал, тот верил, что перед ним — заклятая царевна.

Автор «Слепящей тьмы»¹ готов был, как Иаков, еще семь лет «пасти овец», чтобы получить за свой труд «настоящую невесту». И только прямой сговор Сталина с Гитлером и предательство Сталиным немецких коммунистов заставили его окончательно разочароваться в своем кумире — СССР, а заодно и в коммунизме вообще. Хотя многие другие западные обожатели СССР кое-как проглотили и этот вопиющий факт и еще долгие годы оставались в прежней роли.

И вот, может быть, главный вывод из истории этой драматической влюбленности. Чувство справедливости однажды подвигнуло Кёстлера встать в ряды товарищей по коммунистическому делу, чтобы помочь угнетенным и обездоленным, где бы они ни были. Но пришел час, когда, сидя в испанской (франкистской) тюрьме, он вдруг озарился мыслью, что «потребность в справедливости выходит за рамки рациональных построений, она коренится в недоступных слоях психики, прагматической или гедонистической психологии...» (кстати, о рационализме в другом месте: «Если мы принимаем рациональный мир за абсолютную и последнюю истину, мир превращается в повесть, рассказанную идиотом...»). Здесь безусловно верно то, что потребность в справедливости не уместается в рамках рациональных построений, но ведь и в прагматических или гедонистических слоях психологии ей куда как тесно. На самом деле она коренится еще глубже — и выше; и

¹ Этот роман Кёстлера, вышедший в 1940 году, был издан на русском языке в 1989-м и стал у нас заметным событием в ходе «перестройки».

проявляется, добавим, очень по-разному, иногда самым неожиданным образом — в зависимости от конкретных обстоятельств, а не только каких-то изначально заданных установок...

Юрий КАГРАМАНОВ.

*

ПИЛИГРИМ В УТОПИЮ

Манес Шпербер. Напрасное предостережение. Перевод с немецкого, предисловие и примечания Марка Белорусца. — Киев, «Гамаюн», 2002, 368 стр.

Уже первая фраза романа Манеса Шпербера: «Когда 12 ноября 1918 года была провозглашена республика Немецкая Австрия, все знали, чему в этот день пришел конец, но никто не догадывался, чему было положено начало», — своей интонацией и смысловой напряженностью настраивает на встречу с прозой качественной и плотной, в духе Йозефа Рота, из истории «империи времени упадка». Но на следующих страницах понимаешь, что ожидание обманчиво: повествование уходит в даль свободного романа. Точнее, свободного романа-автобиографии. Тут акцент следует сделать на втором слове.

«Человек еще не состоявшийся, идущий по пути становления, человек на мосту, простертом насколько хватает у этого человека мужества, то есть не слишком далеко, стал героем и антигероем всех моих книг», — самоиронично и подкупающе сообщает о себе автор.

Кто он такой, Манес Шпербер, и почему мы о нем ничего не знали до сих пор? Ответ на этот вопрос содержится и в его книгах, и в его биографии.

Он галицийский еврей (1905 — 1984), родом из Заболотова, местечка на задворках Австро-Венгерской империи, граничащей с империей Российской. Уроженцами этого края были Бруно Шульц, Йозеф Рот, Пауль Целан, Вильгельм Райх. (Подбор имен здесь чем случайней, тем вернее. Среди героев книги Шпербера — Альфред Адлер, Роза Люксембург и Вильгельм Райх — психоаналитик и коммунист, пытавшийся воплотить на практике фрейдомарксистский синтез. Йозефа Рота мы уже назвали. Что до Пауля Целана, то его стихи много лет блистательно переводил на русский язык Марк Белорусец.)

Во время Первой мировой семья Шпербера сбежала от наступающих русских армий в обнищавшую и полуголодную Вену. Юный Шпербер увлечен писательством, народовольцами-бомбистами и еврейским движением. Столь же удивительный, сколь и обычный для того времени интеллектуальный набор: еврейская скаутская организация «Шомер» — ученичество у Адлера (основоположника индивидуальной психологии и сподвижника Фрейда) — собственные психоаналитические курсы — увлечение марксизмом. (Мандельштам говорил, что интерес литераторов к психологии — это «роман каторжника с тачкой». Наш герой тоже был таким каторжником.) В конце 20-х Шпербер переехал в Германию, там вступил в компартию, начал сотрудничать в организациях, которые явно или тайно поддерживал Коминтерн. С приходом к власти нацистов арестован и впоследствии выслан из Германии. В конце 30-х с компартией порвал. Оставшуюся часть жизни прожил во Франции. Шпербер первым перевел на французский (с голландского) «Дневник Анны Франк» — именно после этого перевода «Дневник» стал европейски знаменитой книгой. Автор многих романов, эссе и статей.

Это, так сказать, внешняя и краткая канва жизни. Ответ же на вопрос, — по сути, в его сочинениях, в том числе в романе «Напрасное предостережение», который (по словам автора вступительной статьи) является первым переводом Шпербера на русский.

Шпербер захватывает поразительный и почти неизвестный нам пласт европейской культуры XX века — где драматически, нераздельно и неслиянно, переплелись история коммунистических иллюзий и нацистской реальности, история психоанализа, история еврейского движения, история литературы.

Мы не так давно узнали о существовании этой проблематики, этих конфликтов «по другую сторону занавеса», в России, из замечательной книги Александра

Эткинда «Эрос невозможного». В этих двух книгах много — что естественно — пересекающихся героев. Троцкий, Фрейд, Адлер, деятели Коминтерна, писатели и психоаналитики. Вообще в «Напрасном предостережении» есть все, чего читатель ждет от мемуаров, — замечательные личности, яркие события, неожиданность авторских оценок. Но сила притягательности книги — не в этом. А в чем?

Есть у Лидии Гинзбург эссе «Поколение на повороте». Она там делает попытку объяснить психологические механизмы и внутренние стимулы, двигавшие той частью русской интеллигенции, которая принимала участие в революции. Там, среди прочего, вот что она пишет: «Бомба, которую метнул Рысаков, царя не убила (убила следующая бомба — Гриневецкого), но между прочим убила подвернувшегося мальчика с корзинкой. Об этом мальчике можно было бы сочинить новеллу. Как он утром первого марта встал, чем занимался дома. Как его послали с корзинкой — что-нибудь отнести или за покупками? Как ему любопытно было поглазеть на царский проезд. Александра II заметили, заметили Гриневецкого, повешенных первоапрельцев, но мальчика с корзинкой никто не заметил. Между тем он и есть нравственный центр событий — страшный символ издержек истории».

Сокровенный интерес и сочувствие к людям, «растоптанной историей», случайно встретившимся — и так навсегда и оставшимся незнакомцами (к «мальчишкам с корзинкой»), — часто становились импульсом, толкавшим Манеса Шпербера — западного интеллектуала и марксиста — в сторону резких противоречий с самим собой. Он где-то упоминает, что для его учителя — Адлера — сопереживание в глазах слушателей было важнее, чем согласие с его мнением. «Издержек истории» на страницах его книги много — и всегда их появление предшествует началу колебаний во взглядах автора или их резкому повороту.

«Напрасное предостережение» (1975) — это часть автобиографической трилогии «Все минувшее...», куда вошли еще «Божьи водоносы» (1974) и «Пока мне не положат черепки на глаза» (1977). «Напрасное предостережение» — книга идейного ослепления в той же степени, в какой и книга внутреннего прозрения. В центре повествования — послевоенный европейский мир, которому, по словам автора, суждено было очень быстро превратиться в мир предвоенный. Место действия — Берлин, Вена, Москва — далее везде. Время действия — 1918-й, 1927-й «и другие годы». Для Шпербера (как, наверное, для многих людей его поколения) это было время, когда ослепление и прозрение шли бок о бок, уживались и боролись в одной человеческой душе. Применительно к нашему опыту — это как если бы один человек написал «Время больших ожиданий» и «Окаянные дни» в одно и то же время.

Вообще, читая Шпербера, невозможно постоянно не наткнуться на параллели с нашей историей. Вот он описывает в подробностях, как уничтожали частные архивы в Германии в 30-е годы: «Рвать бумаги и бросать в унитаз не годится, соседи обратят внимание, что непрерывно сливают воду. Они поймут причину и побегут в полицию. Сжигать в печке — тоже не очень хорошо, даже зимой, когда дымящие трубы не бросаются в глаза. Дело идет медленно, приходится сжигать листок за листком и разбивать золу, иначе обугленную рукопись можно прочесть». Вспоминается рассказ Тынянова о том, как сжигали архивы в Ленинграде 30-х. В XX веке люди хорошо поняли — им сумели очень хорошо объяснить, — что «не надо заводить архива, над рукописями трястись».

Вот знаменитый эпизод с поджогом рейхстага в феврале 1933-го, который спровоцировал волну террора в Германии (нацисты заявили, что поджог устроила компартия). «Ни один здравомыслящий человек, — пишет Шпербер, — не верил, что коммунисты подожгли рейхстаг. — Многие не сомневались, что это работа наци, им необходима была провокация, чтоб издать уже подготовленный... декрет, практически отменивший гарантированные конституцией гражданские права. Немало нашлось и тех, кто считал, что нацисты сами не поджигали, но они спровоцировали поджог... (О причастных к возникновению этого пожара по сей день существуют различные мнения.) Через неделю, 5 марта, потрясенная страна выбирала новый рейхстаг».

Здесь тоже можно найти рифму из нашего прошлого. В 1977 году власти объявили делом рук диссидентов взрыв в московском метро. Самиздатская «Хроника текущих событий» откликнулась так: «Мы не знаем, кто организовал взрывы, но мы точно знаем, кто использовал эти взрывы для развязывания пропагандистской кампании». Можно и другие параллели провести.

Автор «Напрасного предостережения» страдает от всех страданий, знакомых нашим думающим людям. Для Шпербера увлечение марксизмом было не данью интеллектуальной моде, а глубоко прочувствованным внутренним убеждением (он вспоминает, что он и его друзья, провинциальные подростки-евреи, стали марксистами до того, как прочли Маркса). В другой книге он рассказал о мучительных сомнениях, сопровождавших отход от марксизма. Ведь сталинская пропаганда утверждала, что тот, кто осмелился критиковать коллективизацию, подавление оппозиции, московские процессы, — тот выступает тем самым за Гитлера и против его жертв в Дахау, Ораниенбурге и Бухенвальде. Шпербер вышел из компартии в разгар московских открытых процессов 30-х годов. Позже, в 40-е, написал несколько эссе, отразивших опыт его горестных размышлений и разочарований. Среди них — «Почему Гитлер стал союзником Сталина», «Почему Сталин стал союзником Гитлера», «Петербургская политика 1939 года». Не правда ли, понятно, почему Шпербера не торопились печатать ни в России, ни в Германии.

В конце 20-х годов Шпербер переехал из Вены в Берлин, где продолжил свою психоаналитическую практику и пытался создать новую школу — индивидуальной психологии марксизма. Молодой Шпербер здесь явно идет по стопам Адлера. Адлер еще в 1909 году выступил с докладом «Психология марксизма» в Венском психоаналитическом обществе и вообще был знаком с марксизмом не понаслышке. Он был женат на русской социалистке, близко знал Троцкого, его пациентом был Адольф Иоффе, одна из заметных фигур русской революции, лидер троцкистской оппозиции.

Но были и другие причины, подтолкнувшие молодого интеллектуала к социализму — «со всеми сообща».

Размышляя о степени виновности — во всяком случае, о степени участия западных интеллектуалов в складывании и укреплении мифа о советской действительности, Шпербер описывает случай Ромена Роллана. В конце 20-х годов Роллан получил рукопись книги румынского писателя Панаита Истрати, в котором «советская действительность разоблачалась не слева, а справа». Роллан принял книгу восторженно — и написал автору письмо, которое заканчивалось словами: «Не публикуйте ее! В настоящий момент вам не следует ее публиковать». И это было написано в 1929-м, когда опасности нацистской угрозы еще не существовало! «Французский писатель, ставший моральным авторитетом в годы Первой мировой войны, действовал здесь как один из инициаторов того заговора молчания, который ставил своей целью защитить Советский Союз от любой критики», — горько резюмирует автор.

«Но были и другие факторы, влиявшие прямо или косвенно на то, что я многое в Советском Союзе одобрял и даже принимал с воодушевлением. Какое это было невыразимое удовольствие для нас ездить по стране, где никому не нужно бояться безработицы, — пишет он о своей поездке в СССР. — Именно мы, чье детство и ранняя юность прошли между 1914 и 1924 годами, совершенно по-детски восхищались энергией созидания нового... Надежда, которую я связывал с родиной Октябрьской революции, питалась не утопическим суеверием, а презрительным отвращением к общественному устройству, что 15 лет назад спровоцировало бессмысленную мировую войну, самую массовую бойню в истории, а теперь продлевает свое существование ценой горя и нужды...»

По книге видно, как вместе с писательской зоркостью и человеческими заблуждениями в ней участвует и психоаналитический опыт Шпербера. Вот только один пример.

Однажды на прием к Шперберу в Берлине пришел человек, назвавшийся явно вымышленным именем — Роберт Плонтин. Он — из тех «новых людей», которые не успели вступить в партию до захвата власти, в Гражданскую войну напрямую были связаны с Троцким и командованием Красной Армии и только потом «вста-

ли у руля» в госорганах и партаппарате. В глазах генсека и его приближенных Плонтин и ему подобные выглядели опасными. Их давно собирались устранить, но прежде они должны были еще послужить: изменить Троцкому, провести карательные экспедиции, потом получить назначение на опасную работу за границей, где им будет невозможно уцелеть. Так вот, Плонтин, не по своей воле оказавшийся за границей, постоянно мучается страхом за оставленного в России трехлетнего сына и все время видит нестерпимый сон, где его ребенок находится в шайке беспризорников. Шпербер попытался проследить корни этого страха — и в первый раз услышал от Плонтиня подробности так называемого «раскулачивания», одним из руководителей которого он был. В операциях против кулаков военная жестокость была так велика, что случилось то, чего никто не предвидел: дети, чтоб не умереть с голоду, убегали от родителей, прибывались в города и рано или поздно оказывались в шайках беспризорных. Однажды Плонтин столкнулся на улице с такой шайкой полуголодных, одичавших сирот и увидел, что самый маленький ребенок, одетый в крестьянскую рубашку, плачет. Не в силах вынести этого зрелища, Плонтин отдал приказ, чтоб всех детей немедленно погрузили в товарные вагоны и отправили на Юг.

Во время сеанса Плонтин рассказал психоаналитику, что война отучила его от страдания — его, сына еврея-портного из литовского захолустья, который стал дивизионным генералом и начальником штаба армии. «Если бы не война и революция, — признался он, — то мне при невероятном везении удалось бы закончить частную торговую школу и занять потом место бухгалтера в самом крохотном отделении банка где-нибудь в России». «Так вышло, — пишет Шпербер, — что маленький замерзший беспризорный снова пробудил в нем „отмороженное“ сострадание. Дело было не только в его сыне, но и в его собственном прошлом, в страдании ребенка, каким был он сам... он сам себе должен был объяснить и истолковать, что его, мерзнувшего ребенка из местечка, привело в революцию и в Гражданскую войну. Он и ему подобные боролись за то, чтобы ни один ребенок больше не мерз, не испытывал нужды и лишений. А вот теперь, через столько лет после победы, он внезапно увидел самого себя, трехлетнего, и тысячи других, чье убожество было несравненно большим, чем бедность, которую он испытал в детстве... Прошлое и будущее связались, сплывались воедино в кошмарах сновидца: и маленький мальчик из местечка под Марьямполем в 1893 году, и умирающий от голода крестьянский ребенок 36 лет спустя, и маленький генеральский сын — они слились воедино, стали одним существом».

(Между прочим, о том, как тирания, стремясь заарканить интеллигенцию, манипулирует тревогой и страхом отца за жизнь маленького сына, оставшегося в заложниках у тирана, — один из самых страшных романов Набокова, «Bend Sinister».)

Если первая часть книги посвящена отходу от социализма, то вторая рассказывает о приближении нацизма, о том, как катастрофически быстро менялось общественное сознание в Германии, какую драматическую роль сыграла позиция компартии Германии (руководимая из Москвы) в стремительном продвижении нацизма... и, в общем, о бессилии несогласных одиночек и о тщетности одиноких предостережений. Шпербер много размышляет о том, почему нацизм обладал такой необычайной притягательностью не только для нищих рабочих и обнищавших мелких буржуа, но и для людей думающих, то есть для интеллигенции. И опять — кто же победил и что победило в России 1917-го и в Германии 1933-го? И во что все это превратилось?

Окончание биографической трилогии Манеса Шпербера (как явствует из предисловия к «Напрасному предостережению») — свидетельство об освобождении от иллюзий целого поколения западных интеллектуалов. Как болезненно близок нам этот опыт — и способен ли он помочь нам в преодолении наших иллюзий или предостеречь от будущих ослеплений? Во всяком случае, будем помнить слова Шпербера: «...кто уже в юности одержим стремлением постичь ход истории, того этот процесс приближения увлекает далеко за пределы собственного прошлого».

Ольга КАНУННИКОВА.

КНИЖНАЯ ПОЛКА ПАВЛА КРЮЧКОВА

+9

Михаил Панов. Олени навстречу. Вторая книга стихов. М., «Carte Blanche», 2001, 192 стр.

«Стихи сами пишутся, когда хотят, про них много не расскажешь», — так знаменитый «ученый, учитель, доблестный воин»¹, легендарный филолог-русист Михаил Викторович Панов говорил о своем существовании в поэзии.

Между прочим, появление книги на новомирской полке, а значит, и на полке личной, домашней вполне может быть иррациональным, но все-таки не должно быть случайным. В «свидании» с книгой для меня ценно и то, *от кого* протянулась читательская связь, кто — проводник. Иными словами, я признателен Владимиру Ивановичу Новикову — такому же, каким был М. В. П., неистребимому максималисту-тыняновцу, который передал мне этот маленький сборничек. Кстати, если теперь на моем пути окажется человек с устойчивой аллергией к верлибру, к экспериментальному, *футуристическому* стиху вообще, мне будет чем удивить и порадовать такого читателя. Ибо таинственной свежестью дышат строчки и строфы пановской картины внешнего и внутреннего мира, они совершенно свободны от нарочитых умственных построений и вместе с тем по-обэриутски чудны, словно на пути к листу бумаги поэтический импульс несколько раз преломился через призму сверхнового и вместе с тем наследного зрения.

Созданного в годы войны стихотворения «Ночью» в этой книге нет, но я отыскал его в статье Елены Сморгуновой «Целебное действие звуков (частные заметки о стихах Михаила Панова)», написанной в связи с предыдущей книгой «Тишина. Снег»:

Думаю о судьбе русского свободного стиха:
будущее — за ним. И совсем не бескрылый,
не безвольный, вранье: это стих глубокого дыхания,
яркости, крутизны. Блок давно уже это открыл.

Говоря о феномене стихов Панова, Вл. Новиков отмечает их важнейшее качество: абсолютную самостоятельность существования, независимость от остальных текстов-собратьев, когда определение *свободного* стиха перемещается из терминологического ряда — в образный. В этом есть, наверное, и своя опасность, но, скрепленные единой обложкой или — уже — общим названием (большой раздел здесь называется «В лес за черникой»), стихи все равно вступают друг с другом в сплав по принципу какого-нибудь хлебниковского астрономического созвездия: вроде оно и есть, а вроде его и нету.

А вообще лучшего оправдания (и лучшей защиты) поэтического будетлячества — от почти обожествленного многими Председателя Земного Шара до, скажу от себя, мало кому известного нашего современника Леонарда Данильцева — я и не встречал. Может, это еще и потому, что Панов — действительно вдохновенный учитель? Экспериментально-заумных стихов у него предостаточно, но есть и в них ясная, акварельная прозрачность, зримость картины, сотворенной языком-памятью. А уж — назовем условно — *сатирический* беспощадный посыл многих из них способен тягаться и с всеволод-некрасовской, и с кириловской музой.

Книга завершается большой поэмой «Звездное небо», где, как пишет в предисловии автор, «сделана попытка представить те образные впечатления, которые возникают <...> при чтении русских поэтов». Здесь звук тянет за собой смысл, а интуиция претворяется в определение. Этой поэмой можно заменить любой разговор о поэтическом *вкусе* и *слухе*. Более ста ожидаемых и неожиданных имен-стихов, каждое из которых — законченный портрет своей/чужой музыкально-словесной вселенной.

¹ См. сборник статей к 80-летию М. В. Панова «Жизнь языка» (сост. Л. А. Капанадзе, отв. ред. С. М. Кузьмина. М., «Языки славянской культуры», 2001).

«Жерло пламенеет, сыплет пепел — / под пеплом умирает град. / Тлеет скрытым огнем. / Текут века... В пепле — / пустоты, / где были тела. / Живые пустоты: / страдают, надеются, думают, любят... / Баратынский».

Что же до метрического дыхания, то и оно веет как хочет:

В эту пору расставаний
Так нестрашно умирать.
Только сани — сани — сани
Надо сталью подковать.

Чтобы вынесли с размаха
С этих берегов на те —
Где ни стоны и ни страхи,
Только вихри в пустоте.

(Из стихотворения «Будет зима»)

Поэта и филолога Михаила Викторовича Панова не стало в год выхода этой книжки.

Корней Чуковский. Собрание сочинений в пятнадцати томах. Том шестой. Литературная критика (1901 — 1907). От Чехова до наших дней. Леонид Андреев большой и маленький. Несобранные статьи (1901 — 1907). Предисловие и комментарии Е. Ивановой. М., «ТЕРРА-Книжный клуб», 2002, 624 стр.

Нет, все-таки поразительные настали времена в смысле расцвета «чуковедства и чуковедения»: идет собрание, вышел академический том стихов, полная «Чукоккала» и дневники, издаются эпистолярии и закрываются биографические лакуны. И это при том, что Чуковским-то серьезно занимается совсем небольшая группа людей, их всех можно усадить за один чайный стол. Может, и до «ЖЗЛ» вскоре дотянемся?

Нынешний, шестой, том открывает, как я понимаю, три книги в собрании сочинений, отданные той части литературной деятельности, которую Чуковский считал для себя главной: литературной критике, мыслимой им как часть литературы художественной. Радостное событие по части новой (на новом литературно-историческом витке) встречи с читателем и грустной по части историко-литературных ассоциаций: однажды *шестой* том уже был. Им закончилось шеститомное (1965 — 1969) прижизненное собрание сочинений. Цитирую фрагменты из дневника: «Пришла Софа Краснова (редактор. — П. К.). Заявила, что мои „Обзоры“, предназначенные для VI тома, тоже изъяты. У меня сделался сердечный припадок. Убежал в лес. Руки, ноги дрожат. Чувствую себя стариком, которого топчут ногами. Очень жаль бедную русскую литературу, которой разрешают только восхвалять начальство — и больше ничего» (запись от 24 июля 1968 года). «Я разложил на столе все статьи изувеченного тома. <...> Вообще оказалось все зыбким, неясным, но „Короленко“, „Кнутом иссеченная Муза“, „Жена поэта“ полетели теперь вверх тормашками» (2 августа). «С моими книгами — худо. <...> Шестой том урезали, выбросив лучшие статьи, из оставшихся статей выбросили лучшие места» (17 сентября). И — за неделю до смерти: «Вчера пришел VI том собрания моих сочинений <...> а у меня нет ни возможности, ни охоты взглянуть на это долгожданное исчезновение цензурного произвола».

Теперь с *шестого* все только начинается. Это совсем молодой, двадцатишестилетний Корней Чуковский, тот, про которого — еще не знающий про их будущую дружбу — Блок писал, что у него, Чуковского, нет длинной, фанатичной мысли, что он-де, приехав из Одессы, лезет в «честную петроградскую боль». Это Чуковский *разбега*, хотя сборник «критических рассказов» уже переиздан в течение 1908 года трижды², уже выпущен «Нат Пинкертон и современная литература» (эта

² Недавно О. Г. Чухонцев пересказал мне фрагмент обращенного к нему монолога Чуковского: «Знаете, почему я самый лучший литературный критик? Потому что только у меня книжку о чужих сочинениях переиздали трижды!» Кстати, при одной из первых встреч с А. И. Солженицыным Корней Иванович немало подивился тому, как высоко оценивает А. И. сборник «От Чехова до наших дней». Насколько я знаю, он получил от Солженицына и письмо на сей счет.

публикация будет по второму изданию, 1910-го, в следующем томе). Он еще нащупывает свой стиль, ищет интонацию, подбирает инструментарий. Конечно, многое здесь наивно, скороспело, поверхностно и отдает лихорадочным журнализмом. Но уже здесь эти недостатки выглядят лишь тонкими подгорелыми краями того славного литературного пирога, который замешивал и трудолюбиво-любовно пек Чуковский в течение почти тридцати лет (примерно до 1930 года).

«Есть такое мнение», что критический стиль «раннего» Чуковского замешен на фельетонности, что он карикатурен, а следовательно — критик не проникает глубоко в суть рассматриваемого явления. Тут же прилагается испытанный тезис, что К. Ч. силен в литературном «киллерстве», но не в созидательном *разборе*. Некоторая правота тут есть, но только некоторая. Евгения Иванова справедливо пишет в своем предисловии, что статьи Чуковского всегда были наглядны и доказательны, мысли не подкреплялись примерами и цитатами (скорее *не только подкреплялись*. — П. К.), а выростали из детальной проработки произведения, надолго опередившей школу американской «новой критики» с ее «пристальным чтением». И вместе с тем «все достоинства Чуковского оборачивались недостатками, как только дело касалось солидной репутации, именно избранное критическое амплуа ставило имя Чуковского в один ряд с нововременским гаером Виктором Бурениным, хотя идейно и эстетически они не имели ничего общего».

К слову, спустя годы, говоря о самой первой книге Корнея Чуковского, Анна Ахматова заметит, что именно он, молодой критик Чуковский, провозгласил *вхождение города* в тогдашнюю литературу. Не пустяк.

Я прочитал этот том с теми же чувствами, с какими пересматриваю ранние фильмы Чаплина или разглядываю, если угодно, первые романтические картины Гойи. В разновеликих и разноречивых статьях, откликаясь на все мало-мальски значимые имена, события и книги, Чуковский, хотя уже и пытается, как он позднее напишет Горькому, «на основании формальных подходов к матерьялу конструировать то, что прежде называлось *душою поэта*», — все же пока еще только растет как личность в литературе. Он пока еще позволяет себе прямые провокативные ходы, расставляет самодельные «ловушки» и «мины», пока еще охотно делает и самого себя персонажем своих «критических рассказов». Но вот уже в следующем томе начнет проявляться его генеральная строго конструктивная система критических координат, звучащая примерно так: «Имярек как человек и мастер». Это приложится и к Чехову, и к Некрасову, и к боготворимому Блоку. И все равно даешься диву, как уже *здесь* он многое предсказал и обозначил. Если бы я мог, то процитировал бы целиком его убийственную статью 1907 года под названием «Спасите!» — о литературно-газетной сволочи.

Но — думаю, почему Михаил Панов в своем «Звездном небе» так оказался нежен к нему, Чуковскому, который, кстати, в свое время изничтожил его студенческий «опоязовский» труд («Корней Чуковский. / Синее вверху, синее внизу. / Бесконечно доброе небо. / Бескрайняя ласка воды»)? Может, потому, что в основе чуковской работы всегда лежала бесконечная любовь к словесности и ее талантливым выразителям? Не зря же он писал, что у художника руки готов целовать, не зря же на своей первой сказке «Крокодил» (1917) начертал: «Моим глубокоуважаемым детям...»

М. П. Бронштейн. Солнечное вещество. М., «ТЕРРА-Книжный клуб», 2002, 224 стр.

В принципе, эта книга, изданная в серии «Мир вокруг нас», — для детей среднего и старшего возраста. Так она задумывалась.

«Я расскажу о веществе, которое люди нашли сначала на Солнце, а потом уже у себя на Земле...»

«В январе 1896 года весь земной шар облетело странное известие. Какому-то немецкому ученому удалось открыть неведомые дотоле лучи, обладающие загадочными свойствами...»

«Кто и когда изобрел радио?..»

Это — зачины трех повестей, входящих в книгу; кроме рассказа о гелии здесь еще «Лучи Икс» и «Изобретатели радиотелеграфа». Когда-то, во второй половине

тридцатых, в ленинградской детской редакции совсем еще молодой ученый, поддавшись настойчивым советам профессиональных литераторов, в частности того же Чуковского, попробовал себя в научно-популярном, как бы сейчас сказали, писательстве. Книги успели выйти из печати до того, как Матвея Бронштейна убили, как редакция «Детгиза» была разгромлена.

В прошлом году Е. Ц. Чуковская отправила академику Жоресу Алферову двухтомник своей матери, где был напечатан архивный «Прочерк» — документальный роман Лидии Чуковской о своем муже. Нобелевский лауреат и директор Физико-технического института им. А. Ф. Иоффе отозвался письмом, которое было выставлено в Доме-музее Корнея Чуковского на традиционной первоапрельской выставке, подготовленной с В. Агаповым. «...Среди потерь, понесенных институтом и нашей наукой, убийство Матвея Петровича Бронштейна является одним из самых трагических и бесконечно тяжелых. Мы потеряли не просто замечательного ученого, писателя, человека, мы потеряли для страны будущее целой научной области. Для меня М. П. Бронштейн открыл своей книгой „Солнечное вещество“ новый мир. Я прочитал ее первый раз в 1940 г., когда мне было 10 лет. Мама работала на общественных началах в библиотеке, в небольшом городке Сясьстрой Ленинградской области, и хорошие книги „врагов народа“, которые ей приказывали уничтожить, приносила домой...»

Бронштейна убили тридцатилетним. Он был ученым мирового уровня, доктором наук, выдающимся астрофизиком, совершеннейшим эрудитом и энциклопедистом. Спустя десятилетия на Западе в его честь появятся именные стипендии. О нем напишут книги. «Достаточно было провести в его обществе полчаса, чтобы почувствовать, что это человек необыкновенный. <...> Английскую, древнегреческую, французскую литературу он знал так же хорошо, как и русскую. В нем было что-то от пушкинского Моцарта — кипучий, жизнерадостный, чарующий ум», — писал о Бронштейне (в письме «наверх» с просьбой о реабилитации) его тесть Корней Чуковский. Маршак считал, что детские книги Бронштейна очень интересны и взрослым, а тот же Чуковский характеризовал их как «чрезвычайно изящное, художественное, почти поэтическое повествование о величии человеческого гения»; утверждал, что они написаны «с тем заразительным научным энтузиазмом, который в педагогическом отношении представляет собой высокую ценность».

К сожалению, этих цитат в настоящем издании не найти. Жаль, что отсутствует и хотя бы небольшая очерк об авторе. Тем не менее инициатива издательства достойна всяких похвал. Но все-таки скажите кто-нибудь: по какому таким причинам издатели опустили небольшое предисловие академика Льва Ландау³, которое было в предыдущем издании, почему?

Я перечитал «Солнечное вещество» залпом.

Эталон ясности и приключение как оно есть. А после «Прочерка» Л. К. Чуковской я думаю теперь, что само название переизданной наконец книги о гелии, рентгене и радиоволнах — это еще и немножко сказочное, «детское» определение личности ее автора.

П. В. Куприяновский, Н. А. Молчанова. Поэт Константин Бальмонт. Биография. Творчество. Судьба. Иваново, изд-во «Иваново», 2001, 472 стр.

Пятнадцать лет авторы работали над этой монографией. Теперь она — первая книга о поэте, который в 1907 году предположил, браврируя, что в 1960-м его собрание сочинений будет издано в 93-х томах. Славно, что вышла книга на «малой родине» Бальмонта, в Иваново.

Пятнадцать лет — и пятнадцать глав-исследований, каждая из которых названа стихотворной строкой. Откликаясь на издание, парижская «Русская мысль» писала о том, что мы дожили до времен, когда в провинции выходят книги, равных которым нет в *центре*. В данном случае я бы назвал это нормальным положением вещей: кому, как не ивановцам, и заниматься Бальмонтом?

³ «...Она написана с такой простотой и увлекательностью, что читать ее, пожалуй, равно интересно любому читателю — от школьника до физика-профессионала. Раз начав, трудно остановиться и не дочитать до конца».

Никакого «провинциального» духа я при чтении не нашел, если не считать таковым иногда проявляющуюся «домашность» тона («...все же, как нам кажется, Бальмонт здесь несколько „прихорашивается“...»), скрадывающую, впрочем, некоторое наличие заштампованных оборотов, зачинов и определений — более «уместных» в диссертации или учебнике.

Теперь главное: читая время от времени появляющиеся материалы, связанные с личностью и стихами Бальмонта, мы будем знать, какое издание в случае необходимости станет опорным биографическим справочником. Книжка оказалась той самой добросовестно выстроенной «печкой», от которой теперь есть куда плясать при написании комментария, научной статьи или подготовки к лекции. «Она чужда столичных парадоксальных новаций и неизбежной торопливости лепящих книжку за книжкой „мэтров“, обстоятельна в собирании новых достоверных источников и архивных документов, в последовательном освоении запретного ранее эмигрантского пласта публикаций и архивов, в выстраивании событий, дат, вписывании поэта в исторический и литературный контекст долгого и непростого развития России и эмиграции, их очень разным литератур» (Вс. Сахаров).

Сложено издание наиболее естественным для такой «бурной», как Бальмонт, фигуры: биографическая канва пронизана подробным разбором стихотворных сборников; кстати, авторы монографии поделили меж собой обязанности по освоению и представлению материала. Но не поделили ответственность. Они заново прошли весь длинный и нелегкий путь своего героя, постарались не умолчать об уже высказанных ранее взглядах на него самого и на его поэзию критиками разных школ и времен, наконец, о многом догадались — сопоставляя и сравнивая.

Анна Баркова. ...Вечно не та. М., «Фонд Сергея Дубова», 2002, 624 стр. («Народный архив. Век XX. Противостояние: Человек — Система»).

Несмотря на нередкие публикации последних десяти лет, имя Анны Барковой отчего-то прочно держится в памяти по эпизоду из говорухинского фильма «Место встречи изменить нельзя». Это когда Высоцкий — Жеглов, обучая Конкина — Шарاپова науке запоминания, тасует карточки с именами и биографиями уголовниц по имени Аня. Знает Жеглов про каждую, но, называя Анну Баркову, морщит лоб и выдает: «Эту не помню...»

А ее, родившуюся в 1901-м и умершую в 1976-м, очень долго почти никто и не помнил, она незаслуженно оставалась на задворках истории литературы. Ее фигура маячила в гулаговских и постгулаговских хрониках, мелькали какие-то обрывки легенды, за которыми стояла мучительная судьба с лагерями и адом жизни, помрачения и озарения, дома престарелых и мольбы о помощи, груды разножанровых произведений и глухо доносящиеся сведения о давнем признании ее таланта Блоком, Пастернаком и Брюсовым.

Наконец — и тут ивановцы опять оказались первыми и единственными (издание подготовлено Л. Н. Тагановым и О. К. Переверзевым) — издан этот прекрасно оформленный и кропотливо составленный том; издан теми, кто посвятил ей, Барковой, большую часть своей жизни. Я напому только одну публикацию к 100-летию поэтессы — в «Новом мире» (2001, № 6), сделанную все тем же Л. Н. Тагановым.

«Л<уначарск>ий сулил мне: „Вы можете быть лучшей русской поэтессой за все пройденное время русской литературы“. Даже это скромное предсказание не сбылось. Но я была права в потенции. Искринки гениальности, несомненно, были в моей натуре. Но была и темнота, и обреченность, и хаос, и гордость превыше всех норм. Из-за великой гордости и крайне высокой самооценки я независтлива и до сих пор. Кому завидовать? Разве я хотела иметь славу и достижения всех этих, имена их, ты же, Господи, веши? Нет! Я хотела бы иметь их материальное положение» (из дневников 1946 — 1947 годов).

В объемистую книгу вошли, очевидно, почти все стихи Барковой, начиная от книги «Женщина» и так, через двадцатые, — до предсмертных; здесь пьеса «Настасья Костер», проза, письма и документы. Есть и статья о ее жизни, подробнейшая библиография... И все это дышит чудовищным неуютом, тем самым, который все-

гда остро чувствуется мною при упоминании имени Варлама Шаламова, — тем, чему, вероятно, нет названия, а только лишь бессвязные сплетения слов, что-то о «выброшенности из жизни». Наложение этой судьбы на темы и сюжеты ее вещей (например, пьеса — об оплодотворении человеком обезьяны) рождает уж и вовсе тяжелые ощущения. Но она и не обещала никому быть легкой. Потому и написала немало невероятно сильных, беспощадных по отношению к себе, читателю и к эпохе стихов. А может быть, Баркова слишком рано поняла и решила, что она *никому не нужна* (хотя были и те, кто ее любил и кого любила она)?

Что же до желания смотреть за край предметов и явлений, то оно было ей соприродно. То, что других отталкивало, — ее влекло: так она, возможно, старалась, как всякий настоящий поэт, почувствовать тайну, имя которой никогда заранее не известно. Вот только бесконечное поминание нечистого очень уж давит.

В сентябре 1974-го она записала такой стишок: «Слезы горькие дешевы, дешевы, / Не жалея эти слезы, пей! / Нашу жизнь превратили в крошево / Для советских свиней». Две странички перевернул — и

Как пронзительное страданье,
Этой нежности благодать.
Ее можно только рыданьем
Оборвавшимся передать.

1975.

Российская научная эмиграция. Двадцать портретов. Под редакцией академиков Г. М. Бонгард-Левина и В. Е. Захарова. М., «Эдиториал УРСС», 2001, 368 стр.

Переоценить значение этого сборника невозможно. Главное: все эти портреты — от астрофизика Отто Людвиговича Струве до византиста-иконографа Андрея Грабара — написаны профессионалами, в сущности — сегодняшними коллегами великих ученых. Известное присловье о том, как и почему наша тутошняя отечественная наука оказалась подвергнута четвертованию, здесь обрастает многими именами планетарного значения и масштаба. Конкретными судьбами — от химика Алексея Чичибабина до физика Георгия Гамова. С фотографиями, документами, выдержками из писем и выступлений.

Нам есть чем гордиться. Нам нечем гордиться. Теперь по крайней мере конспективное знание о наших главных научных потерях и гордостях — под одной обложкой.

Г. М. Бонгард-Левин. Из «Русской мысли». СПб., «Алетейя», 2002, 228 стр.

Все эти публикации в свое время состоялись в газете, которая тогда еще издавалась в Москве, а теперь доступна лишь подписчикам интернет-версии или жителям Парижа.

Блок, Бальмонт, Шмелев, Вяч. Иванов, Набоков, Добужинский. Три портрета: историк Михаил Ростовцев, востоковед Сергей Ольденбург и исследователь Древнего Рима Теодор Моммзен. Послесловием к сборнику более чем неожиданных работ академика РАН Григория Максимовича Бонгард-Левина стала статья о Георгия Чистякова — тогда еще заместителя ныне покойной И. А. Иловойской. «Книга <...> получилась... и научным трудом, и художественным произведением, и лирическим дневником, в чем-то даже исповедью».

Замечательно то, что все эти публикации — открытия, сделанные именно ученым-востоковедом, и никем другим.

Юрий Кобрин. Я вас переводил... Малая антология. Вильнюс. «Alka», 2002, 880 стр.

«Кому-то моя малая антология покажется странной по составлению. Не всех устроит соседство поэтов, разных по стилю, эстетике и политическим воззрениям... Но это — мой выбор. Я пытаюсь вернуть свой невосполнимый долг людям, живым и ушедшим. Они дарят и дарили мне человеческое тепло и счастье».

Поэт и переводчик Юрий Кобрин мог бы переводить и великолепного Венцлаву, и многомудрого Мартинайтиса. Есть и другие имена, справедливо и прочно усвоенные «международным» книжным рынком. Но кто из русских *сегодня* переведет остальных — покойного уже Межелайтиса, Скучайте, Ращюса, Някрошюса?

Речь литовскую в свою перелагая,
городом без усталы шагаю.
Совершенство готики меня
поражает сходством со стихами:
в пламени застывшего огня
догорают годы мотыльками...

(Ю. Кобрин, «Вместо эпиграфа», 1966)

Наталья Астафьева. Польские поэтессы. Антология. Перевод с польского, составление, предисловие Н. Г. Астафьевой. СПб., «Алетейя», 2002, 640 стр.

Три года назад Наталья Астафьева и Владимир Британишский издали двухтомную антологию «Польские поэты XX века». Там было 16 женских имен, здесь — 28. Дело не в статистике, а в *подвиге*, в самом что ни на есть не пафосном значении слова.

Здесь, у Астафьевой, — подробные биографии, отчетливые (фото)портреты, десятки и сотни стихов, написанных польками за последние сто лет и переведенных впервые. Сорок лет погружения в тему.

Об одной из стихослагательниц, Анне Каменьской (1920 — 1986), Чеслав Милош писал: «Она оставила впечатляющие свидетельства религиозной мысли, противостоящей несчастью». Стихотворение А. К. так и называется — «Следы»:

Боголюбивый недоверок
ищу хоть следа на песке
хоть черточки из того
что писал Он пальцем
на земле библейской
хоть в воздухе витающего жеста
хоть вздоха в стародавней тишине
хоть горизонта на котором
отдыхало Его око

А вижу всюду лишь печаль Христову
на каждом человеческом лице

Трудно представить, внутри какой многоголосой, напряженной симфонии живет все эти годы Наталья Астафьева.

-1

Владимир Каганский. Культурный ландшафт и советское обитаемое пространство. М., «Новое литературное обозрение», 2001, 576 стр. (Библиотека журнала «Неприкосновенный запас»).

576 страниц. У Гумилева и Фоменки тоже помногу.

Там — «пассионарность», здесь — «ландшафт». «Неожиданный и оригинальный взгляд на современную Россию с позиций теоретической географии» (из «баннера» на 4-й странице обложки).

Бывает.

«Пространство СССР — источник ресурсов и место экспонирования внепространственных целей и ценностей. Смысловое единство пространства актуально не дано и не переживается; пространство тотально фрагментировано и маргинализировано» (стр. 159). «Страна-государство (сиречь Россия. — П. К.) пребывает в переходном состоянии; что будет после его окончания на месте РФ — еще не ясно. Может ли быть великой державой страна в состоянии самораспада? Того, что миф приписывает России, у нее и других стран нет. Это не мешает им жить. А нам

должно *не мешать знать и понимать*» (курсив мой. — П. К.; во какие поэты печатаются на стр. 409, под заголовком «*Великая держава?*»).

Ну и хватит выписывать. Живет себе человек в «ЭрЭф» — и пусть живет. На все 576 ученых страниц. На весь ландшафт.

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК ГРИГОРИЯ ЗАСЛАВСКОГО

СОВЕТСКОЕ, НАСТОЯЩЕЕ

Деление искусства на советское и антисоветское сегодня, конечно, уже не актуально. Но для тех, кто родился и вырос при советской власти, эта оппозиция была не только идеологической, но и эстетической. Речь ведь шла не только о содержательных «моментах», но и о самой форме тех или иных сочинений. И те, кто получал право запрещать спектакли, романы или фильмы, и те, кто имел счастливую возможность прочесть или увидеть это запрещенное, «антисоветское» искусство, прекрасно понимали, что вызывает возражение или не устраивает, чутко улавливали политические и художественные проявления разрешенного и запретного.

Но вот, кажется, и это противостояние уходит в историю. Новые спектакли пытаются анализировать советское прошлое вне этих, потерявших актуальность, категорий. Обращаясь к пьесам советского времени или — что, понятно, не всегда одно и то же — пьесам о советском времени, постановщики не пытаются ставить оценки нашему прошлому. Не берутся разоблачать или выставлять минус событиям и обстоятельствам, которые еще недавно по тем или иным причинам оценивались только с плюсом как несомненные завоевания социализма.

Характерными в этом отношении мне показались два спектакля, вышедшие в нынешнем году, — «Таня» Алексея Арбузова в Российском молодежном театре и «Московский хор» Людмилы Петрушевской в Малом драматическом театре — Театре Европы. Последний спектакль в июне был отмечен Государственной премией в области литературы и искусства; лауреатом стала и драматург Людмила Петрушевская, написавшая эту пьесу более десяти лет тому назад.

В адрес премьеры «Тани» в Российском академическом молодежном театре сразу же посыпались упреки. Режиссера Александра Пономарева упрекают в том, что он изменил прежде облюбованным авторам-обэриутам, что иронизирует там, где ирония неуместна, что любитесь той жизнью, которая достойна только осуждения. Той жизнью, от которой теперь следует отказываться, как раньше, в той самой жизни, заставляли отказываться и отказывались от своих родителей. Будто бы при Сталине были только лагеря и потому на страшные 30-е можно смотреть только сквозь решетку тюремной камеры или колючую лагерную проволоку.

Лагеря, конечно, «из песни не выкинешь». Они были.

Но и Таня, такая, какой описал ее Арбузов, — захваченная наивной, детской еще, чистой любовью, брошенная, а вернее, сама бросившая изменившего ей мужа, потерявшая ребенка, уехавшая строить далекий Стальград (вероятно, речь — про Комсомольск-на-Амуре), там встретившая разлучницу и спасшая от смерти ее сына, — такая Таня тоже была. И жизнь — была (и каждое шепотом произнесенное ею слово кричит, как когда-то в своих стихах — Марина Цветаева: «Я тоже *была*, прохожий! Прохожий, остановись!»). Жили не только на чемоданах, наспех собранных для «дальней дороги» и казенного дома, не страхом единым. Очевидцы говорят: и любили, и пели, и пили, и веселились так, как теперь не веселятся. И — вопреки всему — чувствовали себя свободными.

Аберрация памяти? Аберрация зрения? Возможно, конечно, и то, и другое. Но ведь Арбузова нынешние критики винят во лжи, в намеренном умолчании и описании того «дивного, нового мира», которого в реальности не было и не могло

быть. Эти критики, кажется, не поняли, о чем поставлен спектакль и что хотел и что сумел сказать режиссер.

Спектакль Пономарева — о том, в частности, что человек не равен социальной ситуации. Режиссер не упивается «советским мифом» и не иронизирует над советским прошлым, так что интонацию его «Тани» никак нельзя приписать к знакомым и хорошо известным, облюбованным нашим постмодернистским временем мелодиям. Хотя разные проявления того и другого при желании можно вычленишь в тех или других сценах. Например, в доброжелательно выписанном Первомае, где гости Германа, все, как один, выходят в белых брюках и кителях-френчах, открывая «оформленность» времени и его блеск (и то и другое должно завораживать, на то и рассчитано).

Пономарев обращается к первой, «политически неграмотной» редакции пьесы, чтобы посвятить ее, «самую романтическую историю любви отечественной драматургии», своим дедушкам и бабушкам, которые в те страшные годы были «молодыми, веселыми, бесшабашными, влюбленными и наивными». И за эту веру, добавим от себя, заплатившими здоровьем — на тех самых «веселых» и «бесшабашных» стройках — или жизнью, — когда, подобно Кульчицкому или Когану, шли в первые дни войны добровольцами на фронт. Их веселость и бесшабашность не чета нынешним, и потому с такой завистью и в таком молчании смотрят нынешние молодые, почти одногодки арбузовских героев, на, казалось бы, несовременные отношения и несовременные проявления любви.

Пономарев, знаток обэриутов, сполна рассчитавшихся за свою «ненормативную» литературу и аполитичный быт, не пытается уйти от страшного, которое гуляло тогда за дверями Таниной квартиры, счастливо не вторгаясь в ее не слишком счастливую жизнь. «Страшное» гуляет где-то за сценой и молча напоминает вдруг о себе (о времени, о времени!), когда из-за кулис на край сцены выходит на минутку человек в кожанке: присматривается к происходящему и снова прячется в тень. Или — уже трагикомически — время обнаруживает себя в том, как баба Дуся пугается и крестится, роняя фотографию товарища Сталина, заменившую в новом быту старорежимную икону.

Но пьеса Арбузова — не об этом, она — о той частной жизни, которая частность свою сумела уберечь. Трагедии случались не только от столкновения с всеобщей Системой.

«Таня» Арбузова живет уже со шлейфом театральной истории: имя героини непременно соединяется в головах знатоков истории русского театра с именами Марии Бабановой, которая играла Таню в обеих редакциях пьесы, Татьяны Карповой, Ольги Яковлевой, Алисы Фрейндлих. На них на всех, говорят, ложился отсвет бабановской манеры. Дарья Семенова, которая играет в РАМТе, ничем не напоминает ни Бабанову, ни более близкую и знакомую Ольгу Яковлеву. Она — совершенно другая. Не красавица, но совершенно неповторимая в своем земном и воздушном, легком чувстве, вдруг теряющая все свое счастье. Тенью сидящая среди гомонящих подружек-хетагуровок, выехавших на Дальний Восток, на великую стройку.

Ей удастся сыграть и чистоту первой любви, и опытность, которая приходит к ней с потерей сына. Своей естественностью, какою-то бесстрашной, безоглядной, даже пугающей искренностью молодой актрисе удается оправдать даже сказочность здешнего финала — увлечение охотником Игнатом Соколовым, у Пономарева странно, необъяснимо схожего с киношным Кинг-Конгом.

Выпускница последнего курса Андрея Гончарова, Семенова — из тех, к кому совершенно справедливо применить слова: наутро проснулась знаменитой. Она верно чувствует стиль арбузовской пьесы — стиль мелодрамы, снова популярной на нашей сцене. И заставляет зрителей плакать. Конечно, тех, которые готовы к сочувствию.

В пьесе Петрушевской, в спектакле Санкт-Петербургского Малого драматического театра — Театра Европы, который поставили Лев Додин и Игорь Коняев, описаны послесталинские годы — первые годы Хрущева, время оттепели и Фестиваля молодежи и студентов в Москве. Время не названного в пьесе XX съезда и частых разговоров о приближающемся фестивале, время возвращений ссыльных и заключенных, с трудом врастающих в «мирную жизнь».

Музыкальная идиллия, вернее, музыкальная гармония, красота классической музыкальной фразы как будто специально входят в действие, чтобы обострить конфликтность, дисгармонию, музыкальную «расстроенность» и взвинченность жизни людей.

Получая премию за спектакль, Додин поблагодарил среди прочего и прочих коммунальную квартиру, в которой он вырос и которой, как сказал он, хватит еще не на один спектакль. Известно, что «Московский хор» в Малом драматическом репетировали почти три года. Может быть, расставанию с работой как раз и мешал ее автобиографический момент — воспоминания, особенно когда речь о долгой жизни, короткими не бывают. Но, возможно, еще более замедляло репетиции то, что в «Московском хоре» переосмыслению и воспоминанию подлежала не только жизнь постановщика: лагеря, ссылки, возвращение к мирной жизни и невозможность жить мирной жизнью. Да и сама мирная жизнь, как ракушками, обросла отношениями, ненужными и недужными дружбами и связями... «Московский хор» — очередное, но совсем не лишнее подтверждение жизнестойкости и, может быть, вечности, во всяком случае, неиссякаемости традиционного психологического театра. Как написал кто-то из рецензентов, здесь у Додина и Коняева — психологический реализм, доведенный до натурализма и поднятый до метафоры.

У Петрушевской в пьесе — два хора. Один — буквальный, разучивающий «Летите, голуби, летите!..» к грядущему фестивалю, более или менее стройный, и хор разобщенный, хор голосов жителей коммунальной квартиры, где все — родные и одновременно — чужие, даже чурающиеся друг друга. Известная, в общем, пьеса. Когда-то шедшая во МХАТе имени Чехова в постановке Олега Ефремова, где Лику, которая возвращается из ссылки, играла Ангелина Степанова. Но солисткой и она не была. А в спектакле Малого драматического театра невозможность солирования, как и невозможность любого уединения, материально обоснована, облечена в картину всегдашнего соприсутствия на сцене разных героев и всех комнат, всех вещей — кроватей, тумбочек, шкафов. Многоярусный «хор» крупноформатной мебели и бытовой мелочи, где все уместно, где все вместе выглядит как ничем и никем не организованный, хотя и обжитый, то есть одомашненный, хаос. Хаотический уют.

Додину, Коняеву, сценографу спектакля Алексею Порай-Кошицу, актерам Малого драматического театра и главной героине спектакля — приглашенной из питерского же Театра на Литейном Татьяне Шуко — удалось передать муравейник жизни, может быть, тот самый механизм, в котором каждому была уготована роль скромного винтика. Механизм, в котором вдруг что-то ломается, поскольку винтики вдруг обнаруживают свою живую, а не механическую сущность и соответственно способность к самостоятельной жизни, к самобытности. Приставшая ко дну кастрюльки каша вызывает столько же эмоций, сколько и споры об уходе или возвращении мужа. Пестрая жизнь, не такая блеклая и одно- или двухцветная (не черно-белая), какой воображается она кому-то из сегодняшнего далека.

Кажется, актеры выходят без грима, затем хотя бы, чтобы ничем не выделяться на фоне обшарпанной, «неприглаженной» мебели, как будто и впрямь вынудой из каких-то старых питерских коммуналок. Они — и совсем молодые, и известные — не похожи в этом спектакле на актеров, как будто и впрямь шагнули на сцену, в ее многоярусное житье-бытье из «на минуточку» оставленных комнат и кухонь, неведомой машиной времени извлечены из быта и жизни оттепельных 50-х. В мешковатых костюмах или вовсе в жалкой ночной сорочке, какую носит Лика — Татьяна Шуко, не скрывающей ее худеньких рук и всей ее пугающей худобы. Старушка с железной волей, которую выковала и закалила сама жизнь («Гвозди бы делать из этих людей», — как писал Николай Тихонов).

Советская эта пьеса или антисоветская?

По старым нормам, конечно, сочинение Петрушевской относилось к числу «труднопроходимых». Советский быт представлен во всей его коммунальной неприглядности, положительных героев нет, жертвы сталинского террора появляются на сцене вскоре после начала и уже не покидают ее до самого конца... В спектакле Малого драматического театра — Театра Европы нет оппозиции советская — антисоветская, поскольку жизнь — повседневная, простая — такую определенность отвергает. Она — разная. И, как всякая жизнь, схем не признает.

Возможность посмотреть на «советские пьесы» поверх старых, приклеившихся к ним схем возвращает сегодняшнему дню произведения Арбузова, Володина, Розова, в которых постановщики вычитывают не «советское» или «антисоветское» (все перевернув с ног на голову, можно было бы любую из пьес поставить как раз-облачение безумия советского прошлого, чем, к слову, баловались некоторые смельчаки в перестроечные годы). В них видят жизнь, описанную драматургами, равных которым среди нынешних молодых почти, а может, и вовсе нет. Любопытно, что два года назад в трех театрах России была поставлена «Варшавская мелодия» Леонида Зорина, в прошлом году она вышла еще в нескольких театрах, две премьеры состоялись в начале нынешнего года.

Реалии советской жизни в этих новых спектаклях становятся реалиями истории, то есть не нуждающимися в том или ином идеологическом обосновании или истолковании, с плюсом или минусом. Реальностью исторической, то есть неизбежной, не советской и не антисоветской, вариантом рока, судьбы, с которыми человек совладать и которые побороть не в силах, так что слабость, отступление становится понятными и простительными, а любое сопротивление — признаком героизма (так, например, поставлены «Варшавская мелодия» в Театре имени Пушкина и уже описанный «Московский хор»).

Недавняя история становится Историей, страсти затихают. Вернее было бы сказать: одни затихают, другие выступают на первый план. Человеческие судьбы и человеческие отношения теперь важнее «партийности». Жизни проходят, сменяются эпохи, но мало что меняется в самой последовательности трудов и дней. Об этом недавно довелось прочесть пьесу «Вперед и с песней» екатеринбургского драматурга Александра Найденова, пьесу, написанную на основе интервью реальной женщины, поэтессы, проводшей много лет в заключении ГУЛАГа, Ларисы Прокофьевны Ратушной. В первый раз драматург пришел к ней как журналист, чтобы разузнать об изданной Ратушной книжечке рассказов отца, расстрелянного в конце 30-х. Через год, забыв уже о первом визите, Найденов приехал к ней, чтобы поговорить о женщине, которая прятала в подполе уголовного сына. Три поколения семьи, прошедшие через тюрьмы. Русский сюжет, поскольку в России, известное дело, от суммы и от тюрьмы зарекаться нельзя. В рассказе о жизни нет желания поквитаться с советским прошлым или бросить тень на нынешнюю власть: обо всем, что было, героиня рассказывает спокойно, как и положено говорить о жизни, о временах, которые, наверное, бывали и лучше, да вот выбирать не пришлось.

КИНООБОЗРЕНИЕ НАТАЛЬИ СИРИВЛИ

ГЕРОЙ

Долгое время Гонконгское кино боевых искусств существовало лишь как массовое развлечение для зрителей дальневосточного региона. Конечно, сами боевые искусства давно уже были взяты на вооружение Голливудом, и с конца 60-х годов актеры-мастера карате и кунг-фу сделали такими же идолами масскульта, как Микки-Маус или группа «Битлз». Но как бы ловко ни махали руками и ногами Брюс Ли, Чак Норрис, Клод Ван Дамм и иже с ними, их мастерство при всех ухищрениях монтажа воспринималось зрителями как феномен, существующий в рамках земных законов физики и биологии.

Прорыв произошел в «Матрице» (1999) братьев Вачовски, где впервые в большом голливудском кино была использована гонконгская технология боев на проволоках, и персонажи во время поединка обрели способность летать, зависать в воздухе, бегать по стенам и потолку и совершать прочие сверхъестественные кульбиты. Герой «Матрицы» освобождался от власти земного притяжения, осознав, что законы здешнего мира — всего лишь иллюзия, что ограничения существуют только в его голове. Так диктовал сюжет — фантазмагорическая сказка про Матрицу-

Сансару, в которую злые роботы погрузили спящее человечество, чтобы качать из него энергию для поддержания собственной жизни. Продвинутый технократический миф о виртуальной реальности способствовал вживлению восточных визуальных трюков в ткань сугубо западной сказки. Эффект превзошел все ожидания. Летающих воинов страстно полюбили обитатели «мировой деревни», и фантастика кунг-фу вошла в разряд мифологических, визуальных клише Голливуда наряду с Бэтменом и Суперменом. Расширяя завоеванный плацдарм, восточные люди продолжили крупнобюджетную экспансию в Голливуд.

В фильме «Крадущийся тигр, Притаившийся дракон» (2001) натурализовавшегося в западном мире китайца Энга Ли действие сказки про летающих воинов перенесено на родную азиатскую почву, в мир китайских легенд-вукся про великих мастеров кунг-фу, достигших немыслимых высот в искусстве битвы и медитации. Герой Ли Мубай (Чоу Юнфат) оставляет свой меч «Зеленая судьба», чтобы уйти от мира, но меч попадает в руки недостойных, и потому битвы начинаются снова. Причем цель их — не вернуть меч, не отомстить, не уничтожить противников, но убедить упрямую девчонку Сяо Цянь (Чжан Зии), самостоятельно овладевшую искусством кунг-фу, поступить в ученицы к мастеру. Все кончается плохо: мастер погибает, девушка тоже. И вместе с ними уходит из мира великое искусство летать по воздуху. Несовершенство человеческой природы, захваченной стихией желаний, страстей, корысти и своеволия, не оставляет места для мастерства Просветленных.

Западные зрители не слишком въехали в этот пессимистический сюжет, но были крайне воодушевлены. Немыслимая красота съемок, захватывающие полеты, битвы на вершинах деревьев, ощущение причастности к какой-то глубокой мудрости и поразительно гармоничный экшн — все это принесло «Крадущемуся тигру» четыре «Оскара», миллионные сборы и славу фильма, чуть ли не перевернувшего всю историю кино. Продолжение должно было следовать неизбежно.

Продолжением стал «Герой» континентального китайца Чжана Имоу. Здесь тот же продюсер — Билли Конг, тот же прославившийся на «Матрице» и «Крадущемуся тигре» постановщик батальных балетных сцен на проволоках — Чин Сютун, одну из ролей играет малышка Чжан Зии — своенравная отроковица из фильма Энга Ли, а на главную роль приглашен легендарный Джет Ли, которого Энг Ли мечтал снять в образе Ли Мубая.

Однако «Герой» — это уже не прихотливая сказка-вукся, а политическая притча из времен становления китайской империи. Все происходит за два века до Рождества Христова. Великий император Цинь (Чэнь Даоин) огнем и мечом собирает враждующие китайские царства. У него, естественно, есть враги — могучие воины, имеющие более чем веские основания мстить, и потому Император сидит взаперти, в величественном черном дворце, напоминающем склеп, никого не подпуская к себе ближе чем на сто шагов.

И вот появляется герой по имени Безымянный (Джет Ли) и предьявляет оружие поверженных врагов Императора — сломанное копье воина по имени Туча (Дони Йен) и мечи влюбленных друг в друга героев, которых зовут Меч (Тони Люн) и Снежинка (Мэгги Чун). Приведенный пред светлые (точнее, мрачные) очи Циня, Безымянный должен поведать, как ему удалось убить столь могущественных соперников. Рассказ об этом, излагаемый в трех версиях, и составляет основное действие фильма. Первая версия принадлежит Безымянному, вторая — Императору, третья — «как все было на самом деле», однако речь не о конфликте объективного и субъективного, правды и лжи. Все три версии — варианты доказательств абстрактной философско-этической теоремы, в условиях которой даны: государственная власть, личные чувства и просветленная мудрость. Сам же ход доказательства каллиграфически выписан на экране посредством совершенных кинематографических иероглифов, составленных из летающих, сражающихся, танцующих тел актеров.

Версия первая. Туча был влюблен в Снежинку, которая предпочла ему Меча. Безымянный убивает Тучу в «шахматном доме» под красиво, замедленно льющимися с крыши потоками дождя. Причем поединок разворачивается в основном в сознании героев. Они просто стоят друг против друга закрыв глаза, и черно-белые кадры схватки мелькают перед их внутренним взором под звуки сямисэна, на котором играет сидящий тут же слепой музыкант. Сюжет боя, равно доступный для

всех троих, полностью проигрывается в пространстве невидимого. И когда струны на финальном аккорде рвутся под пальцами музыканта, Безымянный бросается в полет среди эффектно разлетающихся дождевых капель и неотразимым движением меча сносит наконечник знаменитого Тучино копь и пронзает самого Тучу. Уже здесь становится ясно, что боевое искусство сродни визионерству и музыке и что победа, одержанная «в голове», полностью определяет все, происходящее в физическом мире.

Поразив Тучу, Герой направляется в некоторое третье царство, где Меч и Снежинка нашли убежище в школе каллиграфии. На город наступают войска императора Циня — чудовищная военная машина, лавина лучников, закованных в броню и выпускающих тучи смертоносных железных стрел. Утонченный Учитель велит ученикам продолжить занятия; они сосредоточенно чертят иероглифы на песке, в то время как Безымянный вместе со Снежинкой, виртуозно вращаясь, отбивают мириады стрел, летящих на город. Меч между тем красной тушью рисует по просьбе героя иероглиф «Меч» (это нужно Безымянному, чтобы проникнуть в тайны его — Меча — боевого искусства. «Проник?» — спрашивает Император. «Нет, тайна от меня ускользнула», — лукавит Герой). Дальше, по версии Безымянного, он рассказывает Снежинке, что убил любившего ее Тучу, и вызывает воительницу на поединок: не может отказаться от мести. Возревновавший Меч демонстративно и грубо овладевает на глазах у Снежинки своей служанкой по имени Луна (Чжан Зи). Снежинка в порыве ревности убивает Меча, потом сражается с Луной (их поединок разыгрывается в космическом вихре летящих осенних листьев; вообще, все герои, втянутые в эту драму любви и ревности, одеты в красное) и, выйдя на бой с Безымянным в смятенных чувствах, терпит, естественно, поражение.

«Не верю, — говорит Император. — Рассказывая эту историю, ты недооценил одного человека. Меня. Я видел Меча и Снежинку в бою, когда три года назад они напали на мой дворец. Они — великие воины, они неподвластны смятению чувств. Ты лжец. Все было не так: ты уговорил Тучу, Меча и Снежинку, чтобы они согласились пасть от твоей руки. Ты знал, что в благодарность за их устранение я позволю тебе приблизиться ко мне на расстояние десяти шагов. Ты владеешь каким-то неотразимым ударом и хочешь убить меня». — «Как ты догадался?» — говорит потрясенный Герой. И далее следуют подробности второй версии. (Все участники одеты тут в голубое.)

В библиотеке, в круглой комнате, до потолка заставленной штабелями свитков, Герой демонстрирует свой коронный удар: поставив чернильницу на острие меча, он неуловимым движением пускает оружие в круговой полет; затем ловит чернильницу, жидкость в которой даже не шелохнулась, а штабеля свитков, расположенных в десяти шагах, с грохотом валятся на пол. Снежинка и Меч, увидев такое искусство, соглашаются помочь Герою и погибнуть от его руки. Но Снежинка, чтобы сохранить жизнь возлюбленному, внезапно и неопасно ранит Меча во время прогулки верхом. Сама же выходит на бой (он происходит в расположении армии Циня, в окружении железных воинов, бьющих, как в барабаны, в свои доспехи), поддается Безымянному и погибает. Раненый Меч не может не отомстить за смерть возлюбленной. Поединок его и Безымянного разворачивается над гладью лесного озера, посреди которого в увитой зеленой беседке покоится тело Снежинки. Герои порхают над водой, время от времени задевая озерную гладь острием меча или краем ступни, брызги летят у них из-под ног, и когда одна такая капля падает на прекрасное лицо Снежинки, Меч бросается, чтобы стереть ее, — и погибает.

«Нет. Все было не так, — возражает Герой. — В этой истории ты недооценил одного человека». — «Кого же?» — спрашивает Император. «Меча. Когда три года назад Снежинка и Меч напали на твой дворец, Меч в последний момент не стал убивать тебя, ибо это противоречило глубоко постигнутому им искусству каллиграфии». Следует новая эффектная батальная сцена, где влюбленные нападают на дворец Циня. Здесь они одеты в зеленое. Снежинка вихрем разметает сгрудившиеся у входа толпы черно-красных железных воинов Императора, а Меч, проникнув во внутренние покои, стремительными взмахами меча срывает зеленые шелковые завесы, которые с медлительным шорохом падают на пол. Император остается невредим.

Далее, рассказывает Герой, встретившись с Мечом и Снежинкой в школе каллиграфии (тут все герои одеты в белое), он объяснил им, что удар его меча не только быстр, но и точен. Пронзив человека, он может не задеть жизненно важных органов. Туча — жив. И Снежинка, выйдя на бой с Безымянным, остается в живых. Но влюбленные спорят: Снежинка страстно мечтает, что Безымянный поразит Императора, а Меч не хочет убийства. Встретив Безымянного, едущего в повозке к Циню, и отдавая ему свой и Снежинкин мечи, он рисует на песке иероглиф: «Все едино под Небесами», — который и заставляет Героя задуматься.

В результате Безымянный не убивает Императора. Схваченный челядью (многочисленные придворные одеты в черный шуршащий шелк и напоминают полчища насекомых), он казнен как наемный убийца и похоронен с почестями, как настоящий герой. Снежинка и Меч совершают двойное самоубийство: он поддается ей в бою (последний эффектный поединок разворачивается среди белых песков пустыни), а она пронзает себя тем самым мечом, которым нанесла ему смертельную рану. Судьба Тучи — за рамками фильма. А Император остается один со своим железным воинством и шуршащим, тараканьим сонмом неотличимых друг от друга придворных. Посреди грандиозного черного sklepa императорского дворца висит начертанный Мечом иероглиф «Меч», смысл которого, постигнутый Цинем, гласит: «Воин наносит удар не мечом, а рукой. Воин разит не рукой, а сердцем. Сердце воина отказывается убивать». Император объединяет царства, прекращает войны и обносит Поднебесную Великой китайской стеной. Только в этой империи уже не осталось великих летающих воинов, не осталось просветленных человеческих лиц и живых глаз, из которых катятся время от времени слезы любви и страдания; не осталось героев, подчинивших себе стихии природы и постигших глубочайшую мудрость бытия. Они принесли себя в жертву имперской идее, или — напротив — ушли, осознав, что мудрость и сила Просветленных чужды роду человеческому, нуждающемуся для счастья и покоя в крепкой руке, железном единобразии и Великой стене.

В общем, в восточных вариациях захватывающего дух поэтического мифа о воинах, наделенных сверхъестественными возможностями, неизменно присутствует печальное осознание одиночества, жертвенности и обреченности супергероев. История идет мимо них; мир — и физический, и социальный — живет, подчиняясь законам, доступным обычному, среднему человеку.

В западной сказке под названием «Матрица» летающий герой Нео — Избранный, призванный спасти человечество и отвлечь катастрофический ход истории. Как ему это удастся, покажет третья часть трилогии братьев Вачовски, которая будет предьявлена зрителям в октябре. Но уже сейчас можно сказать, что обитатели глобальной «мировой деревни» сегодня с равным любопытством готовы внимать и восточным, и западным киносказкам, при том, что в восточных — несравнимо больше медитативной мудрости и утонченной культуры, а в западных — технократического варварства и исторического оптимизма.

WWW-ОБОЗРЕНИЕ ВЛАДИМИРА ГУБАЙЛОВСКОГО

*Электронные библиотеки**

Едва ли не первым порывом первых пользователей глобальных сетей было выложить в сеть наиболее значимые с их точки зрения тексты и обеспечить к ним доступ максимального числа подключенных к Сети пользователей.

* На эту тему уже писал у нас в журнале Сергей Костырко в своем «WWW-обозрении» («Новый мир», 2001, № 1). (Примеч. ред.)

Старейшей электронной публичной библиотекой является существующий и по сей день «Проект Гутенберг» (<http://www.gutenberg.net/history.html>).

Этот проект начал реализовывать Майкл Харт — оператор компьютера Xerox Sigma V Университета штата Иллинойс. Первым документом, который был разослан по глобальной сети американских университетов, была «Декларация независимости». И было это в 1971 году. Почти за два десятилетия до того, как появился Интернет.

По мере развития глобальных сетей число электронных библиотек непрерывно росло. Но только с появлением Интернета начался настоящий бум. Стремительно дешевели ресурсы передачи данных и хранения электронной информации. Все проще становился доступ и для создателей библиотек, и для их пользователей. Тогда же сложился и тот тип сотрудничества, при котором создатель библиотеки становится только ее хранителем, пополняется же она за счет текстов, которые присылают энтузиасты. А он выставляет тексты у себя на сайте.

Вот как описывает Максим Мошков рождение и развитие самой знаменитой электронной библиотеки Рунета: (<http://www.lib.ru/COPYRIGHT/computera.txt>):

«Электронные тексты я начал собирать с 1990 года на рабочем компьютере. Мощный текстовый редактор „Рк“, которым я тогда пользовался, позволял легко структурировать и размещать большие текстовые проекты и комплекты документации и программ, а также — файлов со словами песен, туристических отчетов и книжек.

Когда в 1994 году я выбрался в Интернет, я обнаружил там большую массу сайтов с текстами. Можно сказать, сбылась мечта — вот они, искомые книжки. Но в каком кошмарном состоянии все эти сборники и хранилища пребывали! Масса несовместимых друг с другом форматов. В одном каталоге: TeX, PostScript, html, gif, латиница, 5 разных кодировок, 6 различных архиваторов. В каталогах отсутствовали оглавления. Чтобы что-то найти, приходилось часами рыскать по разным сайтам и каталогам, перебирая вслепую файлы. Выход был только один: преобразовать все в единый формат, подписать в индексах заглавия всех книг и разложить их по тематическим каталогам. Все файлы я собрал вместе на своем рабочем компьютере. Главный инструмент для такой работы — редактор „Рк“ — у меня был. Главным пользователем моей коллекции был я сам. Для себя я и усовершенствовал ее структуру, сделал простенький удобный и быстрый интерфейс, напрограммировал поиск и много других полезных функций и выставил в Интернет на своей домашней странице. Вскоре туда повадился ходить народ. Надо же людям хоть где-то почитать тексты на русском языке — пусть это будет у меня.

Примерно 2 года я рыскал по Интернету: выискивал и перетаскивал из Сети книжки, валявшиеся в открытом доступе. Потихоньку библиотека увеличивалась, заодно росла и аудитория.

Мне начали присылать книжки. Потому что у меня их удобнее читать. И вскоре настало время, когда я перестал бродить по Интернету: книжки присылали постоянные читатели, что продолжается и по сей час. Теперь я получаю около 100 писем в день, среди которых 10 — 30 с книгами. И так каждый день. Количество присылаемых книг стало таким, что я уже не успеваю их обрабатывать. Стали присылать также авторы, переводчики и издательства.

Библиотека оказалась нужна им всем. Если дело так пойдет и дальше, мне начнут присылать обязательный экземпляр, будто настоящему библиотекарю...

Никакого отбора по качеству книг не ведется. Качество представленной в электронной форме литературы тем не менее оказывается весьма и весьма высоким, хотя, конечно, всякое встречается. Ведь перевод книги в электронную форму — тяжелый труд. И люди сканируют только любимые книжки.

Примерно так же рождались и другие электронные библиотеки. Примерно так же они живут и сейчас, существуя на личные средства библиотекарей, которые тратят свое время на то, чтобы поддерживать сайты в актуальном состоянии.

Сегодня можно сказать, что электронные библиотеки не просто нужны как одна из возможностей работы с текстами — сегодня они необходимы для работы и нормального существования очень многих пользователей Интернета. Почти десятилетняя история существования и развития библиотеки Мошкова говорит об этом

вполне определено, а «Проект Гутенберг» существует более тридцати лет. Наличие электронного текста в Сети общего доступа не только упрощает доступ к книге — очень часто оно делает этот доступ единственно возможным.

Реальный доступ к большим библиотечным собраниям до сих пор имели только жители крупных городов: в России это в первую очередь Москва — с Ленинкой или Государственной публичной научно-технической библиотекой и некоторыми другими огромными собраниями книг. Но даже находясь в непосредственной географической близости от «бумажной» библиотеки, воспользоваться ее услугами не так-то просто. Пользоваться большой «бумажной» библиотекой нужно учиться.

Таким образом, доступ к книгам реально получали только те, кто профессионально работает с ними, или те, кто тратит большие деньги на формирование домашних библиотек.

Всякий человек, у которого есть домашняя библиотека, знает, что прочитает он, дай Бог, треть всех имеющихся в ней книг. А большинство были куплены ради одной-двух цитат. А некоторые так и остались неоткрытыми. И стыдно становится перед своими книгами. Купил, а не читаешь, и смотрят они на тебя с немым укором.

А электронная библиотека! Это же именины сердца! Доступ — мгновенный и из любой точки планеты, где есть Интернет. Обновление и пополнение — очень быстрое.

В частности, еще совсем недавно доступ к газетам месячной и более давности был крайне труден. Сегодня у тех газетных изданий, у которых есть свои сайты (а они есть почти у всех, и почти у всех они бесплатны, исключение составляет разве что «Коммерсантъ»), просмотреть полугодовую подписку очень просто.

Если мы говорим о свободном доступе, то есть о бесплатных библиотеках, то оплата интернет-доступа — это единственное, что требуется, чтобы добраться до кладезя всей человеческой мудрости, до всех областей знаний, накопленных людьми за все время существования письменности.

Но преимущества здесь только начинаются. Если вы не просто читаете книгу, а пытаетесь с ней работать, то одна из трудных задач — это подбор и поиск нужных цитат. В некоторых случаях это занятие становится делом довольно мучительным. А если текст представлен в электронном виде, для поиска не нужно ничего: его за тебя выполнит любой текстовый редактор или поисковая система.

В общем, одни сплошные преимущества. Но так ли это на самом деле?

Максим Мошков говорит о своей библиотеке:

«Эту библиотеку подбирал не издатель, которому все равно, что издавать, — лишь бы покупали, не писатель, которому не важно, кто придет, — лишь бы донести „свое“ слово до всех пришедших. Это библиотека для читателя, собранная читателем, с помощью читателей. Отсюда и вытекают ее достоинства и недостатки. Здесь не оказалось классики, не оказалось писателей-средняков, здесь очень много (перебор) фантастики и эзотерики всех мастей. Здесь встречаются бестселлеры — но не все, а только высокохудожественные. Здесь много книг, ставших широко известными, нашумевших и запомнившихся. Фактически она отражает вкусы своих читателей, отобранных по принципу „есть доступ в Интернет, имеется свободное время и осталась потребность в чтении“».

Это — трезвое суждение и спокойный взгляд на вещи. Мошков не претендует, во-первых, на полноту, во-вторых, на аутентичность текстов. Ошибки — могут быть. И если вы хотите тексты без ошибок, то пожалуйста в обычную библиотеку. На что претендует Мошков — это на постоянство существования своего ресурса, на постоянство его развития и на его лицензионную чистоту: по закону Российской Федерации об авторском праве, если автор не продавал права на интернет-публикацию издательству, он остается полным собственником этого права и его разрешения достаточно, чтобы текст мог быть легально выставлен в библиотеке Мошкова. Результаты переговоров и полученные от авторов разрешения представлены на сайте библиотеки. Вот пример такого письма:

«Сергей Лукьяненко — Максиму Мошкову. 12 января 1999.

Настоящим письмом я, Сергей Лукьяненко, разрешаю к помещению в электронной библиотеке Мошкова тех моих текстов, которые представлены на моей

официальной странице, при условии некоммерческого использования и проставления копирайта. <http://www.lib.ru/COPYRIGHT/>».

О политике Сергея Лукьяненко в размещении свободных интернет-публикаций его текстов мы еще поговорим.

Постоянство присутствия в Сети, свободный доступ и лицензионная чистота в рамках российского законодательства — это и есть тот максимум, которого может достигнуть электронная библиотека, организованная и существующая усилиями энтузиастов. Как только мы попытаемся добиться аутентичности и полноты — пускай даже в отделе взятой области знаний, мы сталкиваемся с неразрешимыми трудностями. И эти трудности очень хорошо видны, если мы обратимся к специализированным библиотекам. Например, к такому уникальному собранию философских текстов, как Библиотека философской литературы Института философии Российской академии наук (<http://www.philosophy.ru/library/library.html>).

В алфавитном каталоге библиотеки указано около полутора тысяч произведений. Но сегодняшнее состояние библиотеки не позволяет назвать ее полным и достаточно аутентичным собранием философских текстов. Недостатки бросаются в глаза: далеко не везде указаны печатные издания, с которых производилось сканирование, опущены имена переводчиков, индексы имен и предметные указатели, которые являются неотъемлемой частью любого научного издания. Не везде представлены страницы. Не ясен выбор произведений даже у классических авторов. Например, «Метафизика» Аристотеля есть, а его не менее знаменитое произведение «О душе» — отсутствует. «Категории» — есть, но нет ни 1-й, ни 2-й «Аналитики» — важнейших Аристотелевых логических трактатов. Нет и многих других произведений философа, выходивших в серии «Философское наследие» издательства «Мысль», с книг которого, вероятно, и производилось сканирование, — но об этом можно только догадываться.

Отсутствие индексов и указателей — это, увы, правило. Ошибки в текстах — очень нередки. Комментариев к Аристотелю — нет. Как нет и интереснейших комментариев Лосева и Асмуса к платоновским диалогам. Если мы попробуем загрузить «Историю русской философии» Зеньковского — там другая беда. И издание указано, и страницы проставлены, и примечания постраничные есть, но только страница предстает на экране как две-три длиннейших строки, каждая из которых на самом-то деле — абзац, и увидеть ее можно только путем долгого горизонтального скроллинга. То есть отсутствует форматирование строк. Забыли. Ну что ж, бывает. И таких неточностей, к сожалению, очень много.

Пользоваться библиотекой в научных целях нельзя. Можно что-то посмотреть, сориентироваться в текстах, которые есть, но потом все равно, будьте любезны, — в нормальное книгохранилище за нормальными (то есть печатными) изданиями, где можно найти гораздо более надежные сведения.

Такое состояние дел в электронных библиотеках не случайность.

Конечно, нельзя не испытывать чувства благодарности к авторам сайта, проделавшим огромную работу и продолжающим его регулярно пополнять. Но нельзя не понимать того, что проделанная работа — это всего лишь первый набросок будущей нормальной электронной библиотеки философской литературы.

Программисты знают: когда кажется, что работа закончена, она на самом-то деле только начинается. Вроде бы все уже есть — текст книги отсканирован, проверен spellchecker'ом, переведен в HTML, выложен в Сеть. Ан нет. Подготовка текста явно недостаточна — фактически нужно еще раз держать корректуру, — а что такое вычитка и сверка Аристотеля, знают только те, кто Аристотеля на самом деле читал. И форматирование — неряшливо, и научный аппарат утрачен.

Электронное издание и печатное издание — это принципиально разные вещи. И любое издание — это не только текст. В электронном издании совершенно изменяется понятие страницы — как основной единицы любого печатного издания. Html-страничка гораздо больше напоминает пергаментный или папирусный свиток, который прокручивается при чтении.

Что же делать? Как это ни прискорбно, нужно тратить деньги. Барьер качества, за которым в электронных библиотеках могут появиться действительно полноценные научные издания, усилиями одних только энтузиастов не преодолеть. Полнота и точность недостижимы: как отметил Мошков, классику мало кто будет сканировать. Точность текста — также недостижима, потому что ее может гарантировать только настоящий специалист, внимательно вычитавший электронный текст.

Журнал «Электронные библиотеки» (<http://www.iis.ru/el-bib/2000/200006/vanoudenaren/vanoudenaren.ru.html>) пишет о проекте «Память Америки», который был выполнен Библиотекой Конгресса США: «Ядром будущей Национальной электронной библиотеки (НЭБ) является проект „Память Америки“, начавшийся в 1996 году при поддержке Конгресса США и также частных инвесторов, выполнявшийся в течение 5 лет. Общий бюджет проекта составляет 60 миллионов долларов. В рамках проекта планируется оцифровать 5 миллионов документов по американской истории к концу 2000 года. Проект осуществляется в рамках программы создания Национальной электронной библиотеки на базе Библиотеки Конгресса силами отдельного подразделения, насчитывающего около 90 человек. Ее годовой бюджет составляет 12 миллионов долларов».

Ни Максим Мошков, ни энтузиасты из Института философии просто физически не могут выполнить тот объем работы, на который Библиотека Конгресса тратит 60 миллионов долларов, потому что все, что делают они или их добровольные помощники, делается в свободное от основной работы время на чисто альтруистических началах, а свободного времени всегда не много.

Важнейшей проблемой, решение которой может самым радикальным образом повлиять на наполнение электронных библиотек, является лицензионная чистота. Конечно, российский автор может дать разрешение на свободную публикацию своей книги. Но как себя поведет его издатель?

Объявление на сайте библиотеки Мошкова на странице Сергея Лукьяненко: «Идут работы по продвижению перевода „Лабиринта отражений“ на западный рынок. Наличие полных текстов романов в открытом доступе серьезно усложняет ведение переговоров с издателями, поэтому автор попросил свои романы из Сети убрать».

Это объявление стало прямым следствием письма Лукьяненко: «...я считаю необходимым пойти на изменения официальной политики страницы. Начиная с 1 июня 2003 года все романы будут представлены на ней лишь в виде фрагментов — четверти или трети общего текста. Рассказы и повести будут по-прежнему доступны полностью. Я также прошу всех держателей электронных библиотек, которые строят свои отношения с авторами на основе сотрудничества, принять данную информацию к сведению и снять со своих страниц полные тексты моих романов, а также все существующие переводы на английский язык моих произведений».

Надо отметить, что Мошков выполнил требование Лукьяненко — 1 июня 2003 года все романы были убраны с сайта.

На своей официальной странице на сайте «Русской фантастики» (<http://www.rusf.ru/lukian/faq/common.htm>) Лукьяненко высказался о свободном доступе к своим книгам и о свободном доступе вообще вполне определенно:

«Q: Я привык, что ваши книги доступны на вашей странице бесплатно!»

A: Что ж, ситуация меняется, причины я указал выше. Вы же не пробуете зайти в магазин и взять бесплатно компакт-диск или книгу?

Q: Я возмущен! Сегодня же сделаю свой сайт и все твои книжки выложу!

A: Ваше право — нарушать законы, наше — этому противодействовать.

Q: С какой это стати западные издатели что-то указывают российскому автору? Это просто наглость!

A: Нет, это не наглость. Это принятые в цивилизованных странах нормы отношения авторов и издателей. Любой писатель имеет право размещать свои книги свободно и бесплатно, но тогда и издатель имеет полное право его не публиковать. Большинство российских издателей тоже требует от своих авторов не размещать текст книг в Интернете. Я держался едва ли не дольше всех своих коллег — хотя это требовало определенных усилий.

Q: А что, собственно говоря, вам писали западные издатели и на что жаловались?

А: В качестве примера — фрагмент из ответа, полученного моим литературным агентом. Название данного конкретного издательства позвольте опустить».

Здесь я приведу только окончание отрывка:

«...until Russian sci-fi authors stop with the free dispersing of books on the internet, I guarantee you they will never be approached by a North American publisher! Simply no one wants to risk the huge costs involved in publishing. Look at American authors — you won't find their works for free online. And this is why they get published...»

Перевод: «До тех пор, пока русские писатели-фантасты не прекратят свободное распространение своих книг в Интернете, я гарантирую, что они никогда не найдут североамериканского издателя! Просто потому, что никто не захочет рисковать огромными суммами, вложенными в публикацию. Посмотрите на американских авторов — вы не найдете их произведений в свободном доступе. Потому-то их и печатают».

Можно сколько угодно убеждать Лукьяненко в том, что свободный доступ не вредит и не может вредить распространению его книг в печатном виде. Аргументы в пользу этого неоднократно приводил Максим Мошков. Например, что это дополнительная очень мощная и совершенно бесплатная для автора реклама.

Убеждать Лукьяненко можно — убедить нельзя. Он разумный человек и никогда не станет рисковать возможностью подписать действительно выгодный контракт с американским издателем. И потому, что реклама-то рекламой, но: во-первых, он и так достаточно раскрученный автор, а во-вторых — это реклама в России, а гонорары, которые платят авторам российские издательства, отличаются от американских в десятки и даже сотни раз.

Позиция Лукьяненко симптоматична. Следует ожидать, что при возникновении любого, даже малого, риска для контракта с американским издательством любой российский автор пойдет по тому же пути.

Босоное детство электронных библиотек кончилось. К ним стали относиться серьезно. Печатные издания — как к конкурентам. Читатели — как к источникам нормальных достоверных текстов. На сегодняшний день существует очень мало электронных публичных библиотек, которые выдерживают жесткие требования аутентичности. Но они есть. Одним из примеров является библиотека энциклопедий «Рубрикон». Этот ресурс включает в себя 50 энциклопедических изданий, из которых 27 бесплатных. За доступ к другим необходимо платить.

Вероятно, это неизбежно. Вероятно, библиотеки должны постепенно стать платными, и это уже другой этап развития онлайн-библиотечных ресурсов. Без серьезного притока денежных средств — оплатой ли за доступ, прибылью ли от рекламы — мы никогда не перешагнем порога профессионализма в наших электронных библиотеках.



БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ЛИСТКИ

КНИГИ



Михаил Берг. Несчастливая дуэль. Романы. СПб., Издательство Ивана Лимбаха, 2003, 568 стр., 2000 экз.

Проза известного петербургского писателя и теоретика литературы.

Дмитрий Бобышев. Знакомства слов. М., «Новое литературное обозрение», 2003, 156 стр.

Одна из первых книг, открывающих новую издательскую серию «Нового литературного обозрения» «Поэзия русской диаспоры»; автор — живущий в США бывший ленинградец, поэт из круга «ахматовских сирот».

Анна Горенко. Праздник неспелого хлеба. М., «Новое литературное обозрение», 2003, 108 стр.

В серии «Поэзия русской диаспоры» стихи поэта, умершего в двадцать семь лет, но успевшего стать одним из самых заметных явлений русской поэзии Израиля.

Леонид Губанов. «Я сослан к музе на галеры...» Составление И. И. Губанова. М., «Время», 2003, 736 стр., 3000 экз.

Самое полное издание стихотворений легендарного для двух (по крайней мере) читательских поколений андерграундного поэта 60 — 70-х, автора единственной при жизни публикации («Холст тридцать семь на тридцать семь, такого же размера рама...» — журнал «Юность», 1964), основателя (вместе с В. Батшевым и В. Алейниковым) поэтической группы «СМОГ» («Самое молодое общество гениев») в 1965 году Леонида Георгиевича Губанова (1946 — 1983).

Ф. М. Достоевский. Собрание сочинений. В 9-ти томах. Том 1. Произведения 1848 — 1859 гг. «Бедные люди», «Двойник», «Белые ночи», «Неточка Незванова», «Село Степанчиково и его обитатели». М., «Астрель» — «АСТ», 2003, 763 стр., 5000 экз.

Ф. М. Достоевский. Собрание сочинений. В 9-ти томах. Том 2. Произведения 1861 — 1864 гг. «Записки из Мертвого дома», «Записки из подполья», «Униженные и оскорбленные». М., «Астрель» — «АСТ», 2003, 810 стр., 5000 экз.

Новое собрание сочинений Достоевского в сравнительно новом для такого рода изданий варианте «интерпретационного», «авторского» собрания — составление, подготовка текстов, примечания, вступительные статьи, комментарии принадлежат известному исследователю творчества Достоевского Татьяне Касаткиной. При подготовке текстов за основу было взято Полное собрание сочинений в 30-ти томах (Л., «Наука», 1972 — 1990), текстологическая же работа, произведенная для данного издания, заключалась в восстановлении прописной буквы в словах *Бог*, *Создатель*, *Творец*, *Провидение*, *Богородица*, *Церковь* и др., в местоимениях, относящихся к словам *Бог*, *Богородица*, *Христос* и др., в уточнении некоторых ударений и так далее. Принципиально новым в этом издании Достоевского является подход к составлению справочного аппарата и комментирования — «впервые публикуется комментарий нового типа, включающий, помимо традиционного литературоведческого, интерпретационный комментарий, вскрывающий евангельскую основу произведений Ф. М. Достоевского и объясняющий символические детали, „говорящие” имена, особенности художественного мира писателя». Первый том, представляющий произведения 1848 — 1859 годов, открывается подборкой высказываний о писателе («Читатели Достоевского о смысле и значении его творчества») Василия Розанова, Вячеслава Иванова, Николая Бердяева, Аарона Штейнберга, преподающего Иустина (Поповича), Сергея Фуделя; а также — «Краткой летописью жизни и творчества Достоевского» и статьей Т. Касаткиной «„Главный вопрос, которым я мучился сознательно и бессознательно всю мою жизнь, — существование Божие...” Опыт духовной биографии Ф. М. Достоевского». Во втором томе перед художественными текстами помещены воспоминания современников о Достоевском — А. П. Милюкова, А. Е. Врангеля, З. А. Сытина, а завершается том комментариями и подборкой избранных писем Достоевского 1854 — 1864 годов.

Александр Кабанов. АЙЛОВЬЮГА. Стихотворения. СПб., «Геликон + Амфора», 2003, 144 стр., 500 экз.

Четвертая книга киевского поэта — избранные стихи с 1989 года. «Ты налей мне в бумажный стаканчик / медицинское спирта стишок. / Нас посадят в ночной балаганчик, / разотрут в золотой порошок. / Будет плакать губная гармошка / о тоскливом своем далеке... / Я наказан, как хлебная крошка / в уголке твоих губ, в уголке».

Киран Карсон. Чай из трилистника. Перевод с английского Петра Степанова. М., ООО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2003, 333 стр., 5000 экз.

Роман современного ирландского писателя, написанный в жанре «культурологической фэнтези»: повествователь ведет свой рассказ из второй половины XX века; в центре повествования картина Яна ван Эйка «Двойной портрет Арнольфины», в мир (эпоху, культуру, «физиологию» и т. д.) которой герои проникают с помощью магического чая из трилистника; среди персонажей романа Конан Дойл, Витгенштейн, Метерлинк, Йейтс; переплетение реальности с вымыслом порождает, как сказано в издательской аннотации, «легкое кружево увлекательной интеллектуальной игры». Этот роман вместе с романом Иэна Макьюэна «Амстердам» открывают новую книжную серию издательства «РОСМЭН-ПРЕСС» «Премия Букера: избранное».

Коллекция. Петербургская проза (ленинградский период). 1960-е. СПб., Издательство Ивана Лимбаха, 2002, 528 стр.

Александр Кондратов, Генрих Шеф, Олег Григорьев, Рид Грачев, Борис Иванов, Федор Чирсков, Андрей Битов, Инга Петкевич, Валерий Попов, Сергей Вольф, Борис Вахтин.

Юрий Кублановский. В световом году. Стихотворения. М., «Русский путь», 2003, 276 стр., 2000 экз.

Избранные стихи последних лет лауреата Литературной премии Александра Солженицына 2003 года.

Виктор Летцев. Становление. М., «Новое литературное обозрение», 2003, 95 стр.

Книга поэта, живущего в Киеве, лауреата премии имени Андрея Белого (1997).

Иэн Макьюэн. Амстердам. Роман. Перевод с английского В. Голышева. ООО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2003, 190 стр., 7000 экз.

Дважды «букероносная» книга — роман получил британскую премию Букера в 1998 году, переводчик же ее, Виктор Голышев, стал лауреатом российского Малого Букера в 2001 году.

Харуки Мураками. Страна Чудес без тормозов и Конец света. Роман. Перевод с японского Дмитрия Коваленина. М., «ЭКСМО», 2003, 544 стр., 20 000 экз.

Перевод еще одного романа культового в нашей стране современного японского писателя; повествование строится одновременно по законам антиутопии и фэнтези.

Андрей Стасюк. Белый ворон. Роман. Перевод с польского Л. Цывьяна. СПб., «Азбука-классика», 2003, 352 стр.

Впервые на русском языке проза одного из ведущих прозаиков сегодняшней Польши — лауреата престижных литературных премий, известного в молодости панк-музыканта, пацифиста, из-за отказа от военной службы отсидевшего тюремный срок, а затем, уже будучи известным писателем, обосновавшегося в карпатской деревушке и занявшегося разведением коз и лам. Роман представляет сегодняшний польский вариант ремарковских «Трех товарищей» (у Стасюка их пятеро).

Юрий и Ольга Трифоновы вспоминают. М., «Коллекция „Совершенно секретно“», 2003, 256 стр., 5000 экз.

Первую часть этой книги — «Ольга» — составили повесть Ольги Трифоновой «Попытка прощания», за сюжетом и персонажами которой реальная история супругов Трифоновых, и лирико-документальная повесть «Подробности», описывающая последние годы жизни Трифонова. Во вторую часть книги — «Юрий» — вошла мемуарная проза Трифонова: «Записки соседа», рассказы из книги «Опрокинутый дом» («Посещение Марка Шагала», «Кошки или зайцы?», «Серое небо, мачты и рыжая лошадь») и несколько писем жене.

Дмитрий Унжаков. Над городом живут... Стихотворения. Нижний Новгород, 2003, 134 стр.

Книга одного из самых интересных поэтов «русской провинции»: «Вниз с карниза голубок — / омут города глубок, / и однажды без следа / в нем утонешь навсегда. / Словно темная вода, / смотрят в небо города, / а над ними вкус полыни — / пахнет горечью звезда. / Омут города глубок, — / в нем сплелись в один клубок / и похожи на котят / те, кто вынырнуть хотят». См. также собрание его стихотворений в Библиотеке сетевого «Нового мира» — http://magazines.russ.ru/novyi_mi/portf/ungak/index.htm



С. Н. Булгаков. Религиозно-философский путь. Составление М. Васильевой, А. Козырева. М., «Русский путь», 2003, 520 стр. 1000 экз.

Сборник, составленный по материалам научной конференции, посвященной 130-летию со дня рождения философа (2001), — статьи о Булгакове С. С. Аверинцева, Н. А. Струве, И. Б. Роднянской, С. С. Хоружего, В. В. Биbihина и других, а также публикация хранившейся в архивах работы о. Сергия «Мужское и женское» (публикация А. П. Козырева).

Михаил Вайскопф. Сюжет Гоголя. Морфология. Идеология. Контекст. 2-е издание, исправленное и расширенное. М., РГГУ, 2002, 686 стр.

Творчество Гоголя, в частности его «мистическая составная», в контексте философских и культурных исканий эпохи.

М. Л. Гаспаров. Очерк истории европейского стиха. М., «Фортуна Лимитед», 2003, 272 стр., 2500 экз.

Второе, исправленное и дополненное, издание монографии одного из ведущих отечественных литературоведов, охватывающей историю европейского стиха с древнейших времен до наших дней и описывающей стихосложение тридцати языков.

Арсений Гулыга, Искра Андреева. Шопенгауэр. М., «Молодая гвардия», 2003, 367 стр.

Последняя книга известного историка немецкой философии Арсения Владимировича Гулыги, подготовленная к изданию его женой и изданная в серии «Жизнь замечательных людей».

Сергей Мельгунов. Воспоминания и дневники. Составление Ю. М. Емельянова. М., «Индрик», 2003, 528 стр.

Воспоминания и дневники вынужденного (выслан в 1922 году) эмигранта, историка и публициста Сергея Петровича Мельгунова (1879 — 1956).

А. Ю. Милитарев. Воплощенный миф. Еврейская идея в цивилизации. М., «Наталис», 2003, 253 стр., 1500 экз.

Книга специалиста по языкам и этническим культурам Ближнего Востока и Северной Африки, цель которой — «вызвать интерес к еврейской теме, подробно освещенной и в научной, и в популярной литературе, но не имеющей... достаточно серьезной интерпретационной и системной базы, соответствующей уровню современного научного сознания». Автор книги ориентируется на исследование еврейской этнокультурной модели, которое бы опиралось на средства современной истории, социологии, социальной антропологии, демографии, лингвистики, психологии, генетики, этологии и т. д. — в противовес чисто идеологическому, политическому или метафизическому подходу к проблемам «национальных идей».

Уистен Хью Оден. Застольные беседы с Аланом Ансенем. Перевод с английского М. Даданяна и Г. Шульпякова. Предисловие Г. Шульпякова. Комментарии М. Даданяна и Г. Шульпякова. М., Издательство «Независимая газета», 2003, 256 стр., 5000 экз.

Записи дружеских разговоров, сделанные учеником (короткое время бывшим литературным секретарем) знаменитого англо-американского поэта и философа У. Х. Одена (1907 — 1973) в 1946 — 1947 годах. «Чаще всего Оден, войдя в раж, просто не замечал, что Ансен не только слушает, но еще и записывает. Ему нужен был собеседник,

„уши”, на которых он обкатывал свои теории и шлифовал мысли»; «В этом тексте Оден живет в лучшую пору своей жизни. Сорока лет от роду он уже ушел от марксизма и Фрейда, но еще не безнадежно „вошел” в христианство и философию Кьеркегора» (из предисловия).

Д. М. Петрушевский. Очерки из истории средневекового общества и государства. Под общей редакцией М. А. Морозова; вступительная статья Г. Е. Лебедевой, В. А. Якубского. СПб., «Гуманитарная Академия», 2003, 448 стр.

Книга известного ученого-медиевиста, академика Д. М. Петрушевского (1863 — 1942); «В своей методологии автор следует наметившейся в историографии начала XX века тенденции к отказу от гегелевской философии истории, рассматривающей исторический процесс как прямолинейно-поступательное движение некоего единого целого» (из аннотации).

Зана Плавинская. Лики, клики, глюки Анатолия Тимофеевича Зверева. М., «Магазин Искусства», 2003, 50 стр. и 24 листа с репродукциями.

Издание, посвященное жизни и творчеству художника Зверева; содержит очерк Плавинской «Отражения» — воспоминания о Звереве его друзей; стихи и записи самого Зверева, фотографии и, разумеется, репродукции его работ. Альбом представляет собой часть арт-проекта Заны Плавинской, работающей над книгой о поэтах и художниках-шестидесятниках; в качестве отдельных частей этой книги уже вышли альбомы художников Владимира Пятницкого (1994) и Василия Ситникова (1997).

Вальтер Раушер. Гинденбург. Фельдмаршал и рейхспрезидент. Перевод с немецкого С. Липатова. М., «Ладомир», 2003, 338 стр.

Военная и политическая биография фельдмаршала рейхспрезидента Веймарской республики Пауля фон Гинденбурга (1847 — 1934), написанная австрийским историком. Последние главы посвящены истории прихода Гитлера к власти в Германии.

Рильке и Россия. Письма. Дневники. Воспоминания. Стихи. Издание подготовил К. М. Азадовский. СПб., Издательство Ивана Лимбаха, 2003, 656 стр.

«Русский период» жизни Райнера Марии Рильке (1899 и 1900 годы) — переписка с Л. Пастернаком, Л. Толстым, А. Бенуа и другими деятелями русской культуры, дневники, воспоминания, стихи сопровождаются комментариями, явившимися итогом многолетних разысканий.

Надежда Улановская, Майя Улановская. История одной семьи. Мемуары. СПб., «ИНАПРЕСС», 2003, 464 стр.

Основу книги составили — в разделе «Рассказ матери» — мемуары Надежды Марковны Улановской (1904 — 1986; арестована по политическому обвинению в 1948 году, срок — 15 лет, освободилась в 1956-м) и — в разделе «Рассказ дочери» — воспоминания Майи Александровны Улановской (арестована в 1952-м за участие в молодежной антисоветской организации, срок — 25 лет, освободилась в 1956-м); в «Приложениях», составившие треть книги, вошла лагерная переписка членов семьи, — значительную часть составляют письма из лагеря мужа первой повествовательницы и отца второй — Александра Петровича Улановского (1891 — 1971), участника революционного движения в России, ссыльного в Туруханском крае, участника Гражданской войны, работавшего затем по заданиям советской разведки в Европе, Китае, США; преподававшего в военных академиях, арестованного в 1949 году (освобожден в 1955-м). Здесь же публикуется запись беседы с Анатолием Александровичем Якобсоном (1935 — 1978), в которой Якобсон рассказывает о правозащитной деятельности московских диссидентов на рубеже 60 — 70-х годов, в частности, о своей работе над «Хроникой текущих событий», о процессе Якира и Красина, о проблеме эмиграции в Израиль. «Чистота и искренность революционеров (от романтических и пафосных дедов до отчаявшихся и изувечившихся внуков), одинаково пожираемых революцией, — экзистенциальная фабула повествования, охватывающего почти все минувшее столетие. Но историческое время в своей низкой неприглядности и высоком романтизме понимается и осознается авторами через призму семейной драмы не как мания необоримого рока, а как непреложность и основание личного бытия, однажды даденного человеку» (из аннотации). См. о книге: Михаил Золотоносов, «Семейные трапезы» — «Московские новости», 2003, № 22 (<http://www.mn.ru>).

Составитель Сергей Костырко.

ПЕРИОДИКА

101-й выпуск



«*Большие Бульвары*», «*Время MN*», «*Гуманитарный экологический журнал*»,
«*Дальний Восток*», «*День литературы*», «*Завтра*», «*Знание — сила*», «*Известия*»,
«*Книжное обозрение*», «*Консерватор*», «*Крещатик*», «*Левая Россия*»,
«*Литературная газета*», «*Литературная Россия*», «*Логос*», «*Московские новости*»,
«*Наш современник*», «*НГ Ex libris*», «*Новая газета*», «*Новая Польша*»,
«*Новое время*», «*NEWSru.com*», «*Огонек*», «*Октябрь*», «*ПОЛИТ.РУ*», «*Посев*»,
«*Русский Базар*», «*Русский Журнал*», «*Сетевая словесность*»,
«*Спецназ России*», «*Топос*», «*Труд*»

Наталья Айрапетова. Миграционная война. В России предпринимаются попытки использовать неконтролируемую миграцию для разрушения страны. — «Литературная газета», 2003, № 23-24, 11 — 17 июня <<http://www.lgz.ru>>

«<...> ее [России] независимости явно угрожает „независимая“ миграция, причем любой разумный шаг власти по сохранению российской государственности немедленно встречается топотом ног, только ног уже „демократических“».

См. также сайт «Движения против нелегальной иммиграции»: <http://www.dpni.org>

Лев Аннинский. «Я был советский человек, пока нас не растащили». Беседу вела Фотина Морозова. — «Литературная газета», 2003, № 23-24, 11 — 17 июня.

«Мой атеизм — одна из религиозных систем, не хуже других, со своей мечтой, со своим отсутствующим богом — я внутри этой системы вырос».

«<...> русский язык — единственный, в котором одним и тем же словом „воля“ обозначается и выход на свободу, и отказ от свободы с помощью волевого самосмирения».

«Я по природе русификатор, я считаю, русская культура — это та родина, которая у нас есть, а вопрос именно и только в том, чтобы русификация была добровольной. А для этого надо добровольно стать русским. Не все это могут».

«Пока не исчезла Москва и Россия, я москвит и русский. Это моя идентификация».

Лев Аннинский. Отзвуки, ответы, отблески. Заметки на полях книги Геннадия Костырченко [«Тайная политика Сталина. Власть и антисемитизм»]. — «День литературы», 2003, № 5 <<http://www.zavtra.ru>>

Пересказ с комментариями.

Алексей Арбузов. Деньги. Повесть. Предисловие Кирилла Арбузова. — «Октябрь», 2003, № 5 <<http://magazines.russ.ru/october>>

«<...> где я был объявлен единственным наследником не только поместья Н., но и всего ее состояния, исчисляемого в два с половиной миллиона рублей. Внизу стояла дата — 20 октября 1917 года». Текст Арбузова датирован: «23 декабря 1941 г., Чистополь — 13 апреля 1945 г., Переделкино». Здесь же — краткий мемуар Леонида Хейфеца об Арбузове «Куда уходят дни?».

Армен Асриян. Антисемитофобия. — «Консерватор», 2003, № 18 (34), 30 мая <<http://www.egk.ru>>

«Недавно, обнаружив в свежкупленной книге фразу: „Вот еще одна книжка про Холокост. На этот раз — раскраска...“, и, отсмеявшись, я показал фразу приятелю. Тот выпучил глаза, но, посмотрев обложку, успокоился: „А, это Вуди Аллен... Он — еврей, ему можно...“ И вот тут я испытал вспышку ярости — оказывается, если бы эта шутка пришла в голову мне, я должен был бы ее скрывать и таиться — ибо не еврей...»

«Я практически уверен — не будь подобная инновация чересчур неполиткорректной — очень и очень многим сегодня пришлось бы ставить новый медицинский диагноз: „антисемитофобия“. Серьезный невроз, иногда протекающий в очень тяжелой форме. Судя по всему, минимальное число жертв невроза находится в Израиле — что совершенно естественно. Люди, воюющие за свою страну, окруженные реальными опасностями, менее подвержены опасностям мнимым».

Федор Бармин. Русский протест. — «Спецназ России». Газета Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора Альфа. 2003, № 5 (80), май <<http://www.specnaz.ru>>

Говорит **Александр Ципко**: «Русские знают, что их практически нет среди олигархов, среди самых богатых, среди тех, кто, с их точки зрения, присвоил основные на-

циональные богатства. <...> Но, пожалуй, больше всего наших людей раздражает „культурная” — информационная политика „новой России”.

«Получается, что сейчас мы являемся свидетелями уникального явления в русской истории последних веков: русские начинают осознавать себя как нация, как единство по крови. <...> На место имперского национального сознания приходит этническое, русское национальное сознание. И оно провоцируется сразу по многим линиям: как скрытый конфликт между бедными русскими и богатыми нерусскими олигархами, как конфликт между русской бедной провинцией и ожиревшей космополитической Москвой, как конфликт между „русской духовностью” и враждебным „американским телевидением”».

«Нельзя не видеть, что представители правоохранительных органов, представители прокуратуры, судов — которые в подавляющем большинстве являются этническими русскими — очень сочувственно относятся ко всем акциям русского национального протеста, даже если они приобретают brutalный характер. Среди тех, кто в России держит в руках ружье, нет ни одного человека, который бы питал добрые чувства к нашей либеральной элите, поддерживал бы ее экономическую, культурную и информационную политику».

См. также беседу с Александром Ципко: «Прощание славян. Грядет ли русская национальная революция?» — «Литературная газета», 2003, № 8, 26 февраля — 4 марта <<http://www.lgz.ru>>

Александр Бикбов. Москва/Париж: пространственные структуры и телесные схемы. — «Логос», 2003, № 3-4 <<http://www.logos.ru>>

«Чтение в московском кафе столь же нетипично, как в парижском метро». Весь номер «Логоса» посвящен *Городу*.

Юрий Богомолов. Пара пустяков. — «Известия», 2003, № 100, 7 июня <<http://www.izvestia.ru>>

«Я знаю людей, которые чувствуют себя неуютно, если их соотечественников никто не уничтожает, если в стране три дня кряду никого не убивают и ничего не взрывают. И, наоборот, испытывают душевный подъем, когда все-таки убивают и взрывают».

Густав Богуславский. «Этот город исчерпал себя?» Об авангардности Петербурга. — «Посев», 2003, № 5 <<http://posev.ru>>

«Эта авангардность, присущая городу [Петербургу], породила и все лучшее, и все худшее, что было пережито им за три столетия».

Владимир Бондаренко. Живой. — «Наш современник», 2003, № 6 <<http://nashovr.aihs.net>>

Борис Можяев.

Владимир Бондаренко. Мимо цели... — «Завтра», 2003, № 24, 10 июня <<http://www.zavtra.ru>>

«Я никогда не соглашусь со сторонниками катакомбной, резервационной патриотической культуры. Мы — русские, и мы живем в своей стране, здесь все — наше, и все конкурсы, все премии должны быть нашими национальными премиями».

«В „[Голово]ломке” всего хватает: мата, секса, гениталий, водки и виски, трупов (даже с явным избытком), — не хватает литературы», — с сожалением пишет критик о романе Александра Гарроса и Алексея Евдокимова, получившем в этом году премию «Национальный бестселлер».

Александр Бренер, Барбара Шуриц. *London calling* (памяти Джо Страммера). — «Логос», 2003, № 3-4.

Поэма в прозе.

См. также фрагменты книги Питера Акройда «Биография Лондона» — «Иностранная литература», 2002, № 10 <<http://magazines.russ.ru/inostran>>; «Вестник Европы», 2002, № 6, 7 <<http://magazines.russ.ru/vestnik>>

Дмитрий Быков. Памяти последней попытки. — «Консерватор», 2003, № 18, 30 мая.

«Стагнация — это не просто исторический процесс. Это конкретные люди с конкретными фамилиями и интересами. Перечислять их — скучно, полемизировать с их печатными органами — бессмысленно. <...> Тактика их все та же: гуманизм на марше. Мы не хотим кровопролития. Мы не хотим ни великой России, ни великих потрясений (потому что сегодня уже ясно, что без великих потрясений никакой великой России не будет). <...> Поздравляю вас, люди с чистой совестью. Ваше дело правое, победа будет за вами».

Дмитрий Быков. Клуб самоубийц, или Хроника одной бессмыслицы. («Быков-quickly»: взгляд-54). — «Русский Журнал», 2 июня <http://www.russ.ru/ist_sovr>

«Почти одновременный выход романа Юлии Латыниной „Промзона” и нового фильма Абдрашитова и Миндадзе „Магнитные бури” заставляет думать, что долгий, мучительный и довольно скучный процесс поисков нового языка, с помощью которого предполагается рассказывать о новой реальности, наконец завершился — и вместо глубоко формальных задач (нащупывание словаря, попытки овладения композицией *etc.*) искусство начинает ставить задачи более серьезные, то есть осмысливать наконец эту реальность».

«Не хочу принизить роль очерка — ренессанс русской прозы, да и поэзии некрасовской школы начался с „Физиологии Петербурга”; у нас эту благотворную роль сыграл Роман Сенчин, ни на что другое, кажется, и не претендующий».

См. также: Роман Сенчин, «Ничего страшного» — «Дружба народов», 2003, № 5 <<http://magazines.russ.ru/druzhba>>

См. также: Роман Сенчин, «Нубук» — «Новый мир», 2002, № 11, 12.

См. также: Роман Сенчин, «Минус» — «Знамя», 2001, № 8 <<http://magazines.russ.ru/znamia>>

См. также: Роман Сенчин, «Один плюс один» — «Дружба народов», 2001, № 10 <<http://magazines.russ.ru/druzhba>>

Дмитрий Быков. Идиоты. — «Огонек», 2003, № 20, май <<http://www.ropnet.ru/ogonyok>>

«„Он думает, что раз он сам болен, то и весь мир болен”, — обидчиво сформулировал Толстой, очень, видимо, боявшийся такого самоанализа; страшно сказать, но Достоевский ведь в этом не ошибался. Мир действительно болен, что ж тут прятаться. Иные думают, что ему нужен врач (чаще всего на проверку оказывающийся убийцей), иные — что сиделка или духовник. Толстой был из врачей, Достоевский — из духовников, и неумудрено, что в душе оба должны были считать друг друга немножко шарлатанами, при всем взаимном уважении». Но название статьи относится не к ним, а к персонажам романа и телесериала «Идиот».

О сериале см. также мнения Андрея Немзера, Александра Соколянского и Алены Солнцевой — «Время новостей», 2003, № 98, 2 июня <<http://www.vremya.ru>>

См. также мнения Игоря Волгина и Людмилы Донец — «Литературная газета», 2003, № 23-24, 11 — 17 июня <<http://www.lgz.ru>>

Мария Бялко. Русскоязычная периодика зарубежья. — «Неприкосновенный запас». Дебаты о политике и культуре. 2003, № 2 (28) <<http://magazines.russ.ru/nz>>

Много электронных адресов.

Георгий Васюточкин. Петербург Солженицына. — «Посев», 2003, № 5, 6.
Не только «Красное Колесо».

Рената Гальцева. Культурная перспектива России: угрозы и надежды. — «Посев», 2003, № 5.

«<...> культурная проблема стоит по неотложности впереди всех». Арьергардные бои гуманизма. «<...> убедить властные инстанции ввести нравственную цензуру <...>».

См. также: Рената Гальцева, «Тяжба о России» — «Новый мир», 2003, № 7, 8.

Рената Гальцева. В защиту понятия. — «Русский Журнал», 2003, 28 мая <<http://www.russ.ru/krug>>

«Назвать себя консерватором и одновременно отрешиваться от идеологической позиции — значит вызвать у читателя сшибку нервных процессов, потому что консерватизм (в отличие, к примеру, от „партии жизни”) — это сегодня определенная идейная ориентация среди других идейных ориентаций: радикалов, левых и правых, либералов, неолибералов, фашистов, национал- и интернационал-социалистов, или коммунистов, и т. п.». Это — полемика с Дмитрием Быковым.

См. также: Рената Гальцева, «Непреложное свидетельство» — «Русский Журнал», 2003, 23 апреля <<http://www.russ.ru/krug>>

См. также: Дмитрий Быков, «Быков-quickly. взгляд-53» — «Русский Журнал», 2003, 28 апреля <http://www.russ.ru/ist_sovr>

Евгений Горный. Некрофилия как структура сознания. — «Сетевая словесность» <<http://www.litera.ru>>

«Интерес к трупам может мотивироваться и иначе. Например, в творчестве Андрея Платонова (на которого, как и на многих других писателей 20 — 30-х годов XX века, большое влияние оказало учение Николая Федорова о физическом воскрешении мертвых в будущем) труп обычно — не столько предмет романтических чувств, сколько

вещь, таящая в себе загадку жизни, разгадать которую его герои пытаются естественно-научными методами».

Борис Гребеншиков. «В культуре то же, что и в России, — воруют». Беседовала Юлия Санкович. — «Новая газета», 2003, № 37, 26 мая <<http://www.novayagazeta.ru>>

«Как явление [рэп] это — колоссальный шаг вперед для поэзии. Мне кажется, сложность ритмов рэпа мог бы оценить только Бродский. Он тоже любит всякие замысловатые закрутки. Думаю, Бродский написал бы отличный еврейский интеллектуальный рэп. Это было бы настоящее...»

Владимир Губайловский. Несуществующая поэзия. — «Русский Журнал», 2003, 29 мая <<http://www.russ.ru/krug>>

Чтобы утверждать табель о рангах и раздавать чины сверху донизу, нужно самому быть как минимум генерал-фельдмаршалом или канцлером. Но для того, чтобы кому-то стать чиновником первого класса, табель о рангах уже должна существовать. <...> В современной поэзии — нет иерархий. Это — полемика с Сергеем Чуприниным («Знамя», 2003, № 5 <<http://magazines.russ.ru/znamia>>).

Здесь же: «Если тебе хочется рассказать, что ты думаешь о стихах поэта Имярек всем, кому интересно это послушать, посиди вечерок в О.Г.И. — ты встретишь всех и всем все расскажешь».

Владимир Губайловский. Несуществующая поэзия. Продолжение. — «Русский Журнал», 2003, 11 июня <<http://www.russ.ru/krug>>

Кублановский. Седакова.

Владимир Губайловский. Несуществующая поэзия. Окончание. — «Русский Журнал», 2003, 8 июля <<http://www.russ.ru/krug>>

Переводы с русского Михаила Гаспарова.

Декларация прав живых существ. (Проект). — «Гуманитарный экологический журнал». Издатели: Киевский эколого-культурный центр, Всемирная комиссия по охраняемым территориям МСОП (*WCPA/IUCN*). Журнал издан при поддержке Фонда МакАртуров. Главный редактор В. Е. Борейко. Киев, 2003, том 5, спецвыпуск «Дискуссия о правах природы» <<http://www.ln.com.ua/~kekz/human.htm>>

Здесь же — проекты «Декларации свободы дикой природы», «Декларации прав дикой природы Космоса» и другие проекты.

«Следует особо подчеркнуть, что, в отличие от активистов движения за права животных (в основном млекопитающих и птиц), мы поддерживаем идею предоставления естественных прав видам всех классов животных, а также бактериям, вирусам, растениям, экосистемам и даже объектам неживой природы» (из редакционной врезки к спецвыпуску).

См. также сайт по гуманитарной экологии: <http://www.ecoethics.ru>

Вячеслав Долинин. НТС в Ленинграде: 1950 — 1980-е гг. — «Посев», 2003, № 5. Много фактов, имен.

Александр Дугин. Растворим государство в народе. — «Литературная газета», 2003, № 21, 28 мая — 3 июня.

«Мы, русские, в первую очередь народ, и это делает нас теми, кто мы есть. <...> Преимущество по линии государства формально и второстепенно. Непрерывность нашей государственности давал народ, сами же формы этой государственности лопались и рушились, противоречили друг другу, наползали друг на друга, выталкивали и душили друг друга. История русского государства противоречива, она может нас разделить и рассорить, может развести по разные стороны, вовлечь в усобицу. Народ же нас объединяет».

Ольга Дунаевская. Вперед — в прошлое! — «Московские новости», 2003, № 21 <<http://www.mn.ru>>

Издатель Михаил Котомин («Ad Marginem») рассказывает о новом проекте «Атлантида»: «Это будет советская развлекательная литература до 70-го года издания, литература „категории С“. <...> „Атлантида“ — исследовательский проект по разысканию массовой литературы ушедшей эпохи. Эти книги выходили в издательствах „ДОСААФ“, „Молодая гвардия“ (библиотечка „Подвиг“), „Трудрезерв“, „Политиздат“ (серия „Прочти, товарищ!“). <...> Раньше каждый жанр западной литературы имел свой отечественный аналог. Были и советские триллеры, и детективы, и боевики, но назывались они „приключенческая повесть“. Рядом с ней с конца 30-х годов существовала повесть научно-фантастическая. Там описывались будущие радиотелефоны, автоответчики, излучатели власти и генераторы смерти. <...> Начнем со шпионского детектива начала 50-х „Прочитанные

следы” Самойлова и Скорбина. Затем выйдут фантастическая повесть Гребнева „Тайна подводной скалы” и приключенческая повесть Кима „Агент особого назначения”. <...> Советская литература, даже низовая (американцы называют ее „трэш”), находилась в поле классических тургеневских традиций. Там отличные мизансцены и психологические характеристики, четкая этическая позиция. <...> В отличие от литературы высокой, именно в низовой сохранилось понятие позитивного героя, морали, она всегда выполняла социально-терапевтическую роль. <...> Тогда трэш выполнял разные функции: от популяризации научных открытий до социальной модернизации общества; например, когда случилось массовое переселение крестьян в город, людей надо было учить жить в городе, помочь пережить травму. Для меня трэш — позитивное понятие, зона, которая пользуется читательским спросом, и не надо думать, что людьми манипулируют. Нет. В этой литературе есть простое и понятное высказывание к людям, мессидж к повседневности. <...> И еще: эта литература безумно оптимистична, люди верили, что светлое будущее — за дверью. (Издательский слоган серии: „Назад, в будущее!”) Надо только построить гипнотрон или освоить мирный атом. Книги писались в бараках, но этот оптимистический импульс не может не потрясать, он преодолевает временное несовпадение. <...> „Атлантида” направлена на возврат базовых понятий, которые нельзя терять. Это попытка преодолеть разрыв, когда в угоду политическим установкам в 90-е годы люди отказывались от родителей — простых советских служащих, признавая своим предком не сотрудника НИИ, а статс-секретаря 1915 года. <...> Приглашаем всех принять участие в составлении серии. Эта литература редко попадает в библиотеках, она гниет на дачах. Сколько выйдут томов — не знаем. Это живой процесс. Если книга войдет в серию, на титуле будет указано, кем она предоставлена.

Михаил Евзлин (Мадрид). «Евгений Онегин»: роман без героя. — «Крещатик/*Kreschatik*». *International Literary Magazine*. Журнал издается благотворительным Фондом Сергея Параджанова. Выходит 4 раза в год. Главный редактор Борис Марковский. 2003, № 2 (20) <<http://www.kreschatik.net>>

«Онегин весь выходит из XVIII века. В этом своем качестве он никак не квалифицируется в „реалистическом” времени и потому ошибочно принимается за „романтического” героя <...>. Онегин — романтический герой *по ошибке*, и в этом смысле он — „пародия”».

Сергей Есин. Выбранные места из дневника 2001 года. — «Наш современник», 2003, № 6.

«Невольно вспомнил, как однажды ко мне в ректорский кабинет ворвался некий пышнотелый восточный мужчина и пообещал 10 тысяч долларов только за знакомство с Приставкиным» (из записи от 31 июля 2001 года).

См. также беседу **Сергея Есина** с Григорием Заславским: «Дневник как поступок» — «Русский Журнал», 2003, 2 июня <<http://www.russ.ru/culture>>

Ольга Есипова (Арнштадт). «Где мчится поезд Воркута — Ленинград». — «Крещатик/*Kreschatik*». *International Literary Magazine*. 2003, № 2 (20).

«Я „ссылный”, не „лагерный” ребенок. Родилась в 1943-м, когда отца и мать, отсидевших срок, выпустили на поселение».

«Есть ли жизнь на Марсе?» Беседу вела Ольга Славникова. — «Время МН», 2003, 30 мая <<http://www.vremyamn.ru>>

Говорит фантаст **Михаил Успенский**: «Когда „нормальный” писатель вводит в сюжет какой-то фантастический элемент, все начинают восторгаться: ай, как здорово. Хотя когда приличный автор вроде Айтматова пытается писать про космонавтов, то выглядит как первоклассник, ей-богу. Если бы я сейчас вдруг стал повествовать о судьбе киргизского народа, о котором очень мало знаю, получилось бы примерно так же. Ту же „Кысь” взять: когда я ее читал, у меня было ощущение, что я же ее и писал. Существуют тысячи романов о постъядерном обществе. То, что в фантастике давно отработано, в мейнстриме воспринимается как новое».

«Мне американцы говорили: „Курта Воннегута сделала ваша Райт-Ковалева, мы у себя такого не знаем”».

Варвара Жданова. «Все обращалось к его славе... Пушкин в романе М. А. Булгакова Мастер и Маргарита». — «Наш современник», 2003, № 6.

Тема сюжета в «Борисе Годунове» и «Мастере и Маргарите». «В списке драматических замыслов (датируется предположительно второй половиной 1820-х годов) А. С. Пушкин обозначил будущее сочинение „Иисус”». Пушкинская «Сцена из Фауста». Рюхин перед памятником Пушкину на Тверском бульваре.

См. также: **Эли Корман**, «Куда летит Маргарита?» — «22». Общественно-политический и литературный журнал еврейской интеллигенции из СНГ в Израиле. Тель-Авив, № 128 <<http://club.sunround.com/club/22.htm>>

Сергей Завьялов. Так что же нам делать? Мордовский взгляд на Россию. — «Неприкосновенный запас», 2003, № 2 (28).

«Но вернемся к стереотипам. Один из них заключается в том, что страна, этнически однородная в центре, имеет национальные окраины. Парадоксально, но в России, кроме Северного Кавказа, как раз все наоборот: нерусский центр (Урало-Поволжье) и две русские периферии (историческая Россия в границах на начало правления Ивана Грозного и Сибирь, в которой коренного населения много меньше, чем индейцев в США). Посмотрим на карту: нерусские „субъекты федерации“ (Коми с Ненецким и Коми-Пермяцким округами, Удмуртия, Марий Эл, Мордовия, Чувашия, Татария, Башкирия) единым массивом от Ледовитого океана до казахской границы, где уже (как между Вяткой и Пермью) — где шире (от западной точки Мордовии до восточной точки Башкирии) 1200 километров, распарывают надвое Россию не то как воспоминание о геополитической конфигурации эпохи Золотой Орды, не то как напоминание о том, что никакие вавилоны не вечны и нужно смотреть в будущее».

См. также: **Сергей Завьялов**, «Переводы с русского» — «Новое литературное обозрение», 2003, № 59 <<http://magazines.russ.ru/nlo>>

См. также: **Сергей Завьялов**, «Переводы с русского и другие стихотворения» — «TextOnly», 2002, № 10 <<http://www.vavilon.ru/textonly/issue10>>

См. также: **Сергей Завьялов**, «Русская поэзия начала XXI века» — «Дружба народов», 2000, № 8 <<http://magazines.russ.ru/druzhba>>

Замгенпрокурора РФ предложил создать мировую моноэтническую империю скифов во главе с Бушем. — «NEWSru.com», 2003, 20 мая <<http://www.newsru.com/russia>>

Цитирую — с новостного сайта: «Автор закона „О противодействии экстремистской деятельности в РФ“, бывший министр юстиции, а ныне — председатель комиссии по законодательству Госдумы РФ Павел Крашенинников говорит, что ему удалось достичь невероятного. „В Уголовном кодексе России появились статьи, наказывающие экстремистов еще до того, как они ими станут. Например, собирается группа из трех человек и начинает изучать провокационные труды, скажем, Ницше или того же Че Гевары, с целью их воплощения в жизнь. Этого уже достаточно для приличного срока“...»

Неужели так и сказал?

Воплощение в жизнь провокационных трудов Ницше.

Иван Золотарев. Заложник. — «Консерватор», 2003, № 16, 16 мая.

«Стоит ли говорить, что доктор [Леонид] Рошаль весьма достойный человек — умный, честный, добрый. Но „Совесть нации“ — это не профессия, не должность, не особый социальный статус. Это специфическое „повреждение сознания“, „изменение ума“ — и человека, и нации».

Михаил Золотоносов. Синдром Сквороды. Издательство «Захаров» выпустило сборник современной прозы. Естественно, сюда вошло самое пригодное для рынка. — «Московские новости», 2003, № 20.

«Обозначившийся в 1990-е годы распад литературы на массовую и „другую“, отрыв массового чтения от науки о литературе, помогающей не просто глотать занятный текст, но понимать его, уже в первые годы XXI века приобрел характер закона, которому и государство, и все издатели следуют неукоснительно. Самым характерным проявлением стали издания русской классики без вступительных статей. <...> А так как мало кто из покупателей этих романов вообще имеет представление об этих писателях и даже о веке, в котором они жили, во вступительных статьях необходимы биографические сведения, но их также нет. В результате классиков как бы понижают в звании, уравнивая „Идиота“ Достоевского или „Доктора Живаго“ Пастернака, скажем, с „Льдом“ Сорокина или бесчисленными описами Акунина и Пелевина. Все они в одинаковой мере предложены просто для чтения».

«И еще один вывод рискну предложить. Точнее, социологическую гипотезу. В сегодняшнем прагматичном мире книги пишут для тех, у кого есть деньги и кто книги может купить. Возраст этих людей таков, что значительная их часть была воспитана на молодежной субкультуре 1980-х годов, например, на дилетантских верлибрах Виктора Цоя, незамысловатых, как коровье мычание, пустых по смыслу, но ложно многозначительных. Юношам и девушкам нравилось романтическое противостояние его лирического героя „чужому“ миру, занятому и освоенному благополучными людьми, презрение к мещанскому уюту, ощущение себя „лишним“ там, где комфортно обитает большинство. Любовь к этой теме осталась в далеком прошлом, сменившись тягой к благополучию и уюту, а вот привычка к примитиву осталась навсегда. И теперь отлилась в социальный заказ».

Василий Иванов. Канонизация Федора Достоевского. — «День литературы», 2003, № 5.

«Священник отец Дмитрий Дудко недавно выступил на страницах печати с предложением о канонизации пяти русских писателей, на первое место среди них поставив Ф. М. Достоевского („Канонизация классики” — „День литературы”, 2003, № 3). Мы согласны с этой идеей в принципе. И хотя принимать решение о канонизации будет Церковь, но поскольку много лет мы занимаемся изучением творчества Достоевского, то хотели бы привести свои доводы в пользу канонизации именно этого человека. <...> У нас есть более далеко идущее предположение, а именно о том, что католическая Церковь не останется в стороне от процесса канонизации этого писателя».

Здесь же — о том же: **Емельян Марков**, «Созидательная интуиция».

Ср.: «Не так давно движимый лучшими побуждениями пастырь предложил канонизировать Достоевского (а заодно Пушкина, Розанова, Толстого!). Это вполне либеральная мысль. Не важно, что указанные лица уже канонизированы нашим культурным сознанием. И что у Церкви есть собственные мерилы святости, далеко не совпадающие с нашими мирскими понятиями. Прославление не есть посмертная премия, присуждаемая за выдающиеся литературные заслуги. <...> Не надо смешивать небесное с земным», — пишет **Игорь Волгин** («Литературная газета», 2003, № 23-24, 11 — 17 июня <<http://www.lgz.ru>>).

Леонид Клейн. «От воя про духовность — к ресторану „Пушкин”». Беседу вела Наталья Иванова-Гладильщикова. — «Известия», 2003, № 95, 31 мая.

«На самом деле массовая культура (то, чем мы сейчас окружены и чего не было в советское время) сегодня гуманитаризирует окружающую жизнь. Русская литература превратилась в бренд. Обратите внимание, какое количество ресторанов названы именами русских писателей или литературных героев: „Пушкин”, „Обломов”, „Штольц”... <...> В какой еще стране можно предположить, что тарифный план у „Би Лайна” будет называться „Пушкин”?» Леонид Клейн — преподаватель литературы Европейской гимназии.

Игорь Клев. Светопреставление. Повесть. — «Октябрь», 2003, № 5.
Школа. Двор. Семья.

Маруся Климова. Моя история русской литературы. № 39. Вечная женственность. — «Топос». Литературно-философский журнал. 2003, 3 июня <<http://www.topos.ru>>

«<...> если уж ставить все точки над „i” и провести до конца эту начатую не мной аналогию между Дон Кихотом и Мышкиным, то можно, наверное, было бы самое главное отличие между ними сформулировать еще и таким образом. Дон Кихот — это самый что ни на есть настоящий мужественный пидор, в том смысле, на котором с таким упорством настаивал Берроуз. А вот князь Мышкин, по-моему, — это все-таки педик».

Предыдущие тридцать восемь монструозных глав см.: <http://www.topos.ru/articles/0206/06_06.shtml>

О Марусе Климовой и журнале «Топос» см. «WWW-обозрение Сергея Костырко» в июньском номере «Нового мира» за этот год.

Юрий Коваленко. Эротические фантазии Сергея Эйзенштейна. — «Русский Базар», Нью-Йорк, 2003, № 23, 29 мая — 4 июня <<http://www.russian-bazaar.com>>

Говорит журналистка и переводчица **Галина Аккерман** (написавшая вместе с известным специалистом по русскому искусству Жан-Клодом Маркаде статьи для альбома «С. М. Эйзенштейн. Тайные рисунки», вышедшего в свет во французском издательстве «Сей»): «У него есть одна картинка: на ней изображен клубок тел в разнообразных позах, а в углу сидит маленький лысый человечек и грустно на все это смотрит. Я думаю, что он и был этим человеком. Его чрезвычайно это занимало, он забавлялся, но в то же время в рисунках никогда не чувствуется накала страсти».

«Его эротическое искусство надо ставить не в русский, а в европейский контекст, где оно вполне на своем месте. Не случайно большинство подписей к его рисункам выполнено на английском, французском, немецком, испанском языках и очень мало на русском — в основном там, где темы русские, как гоголевский „Нос»».

«Он просто не заметил начала Октября и, кстати говоря, в искусство пришел через масонов, а не через революцию. Он был членом масонской ложи, которая помогла его стремительному взлету. Его протащили масоны, и от них он потом откестился. Эйзенштейн был человек достаточно аполитичный, которому важно было творить и который вовремя сориентировался».

Николай Коляда. По есенинскому следу. — «Большие Бульвары». Еженедельная газета. Екатеринбург, 2003, № 10, 9 мая.

Краткий посмертный мемуар о Борисе Рыжем, датированный маем 2001 года.

См. также: **Юрий Казарин**, «Народный поэт Борис Рыжий. Необыкновенный и странный» — «НГ Ex libris», 2003, № 15, 24 апреля <<http://exlibris.ng.ru>>

См. также: **Борис Рыжий**, «...не может быть и речи о памятнике в полный рост...» Роттердамский дневник — «Знамя», 2003, № 4 <<http://magazines.russ.ru/znamia>>

См. также: **Лариса Миллер**, «Переписка с Борисом Рыжим (12.03.2001 — 30.04.2001)» — «Русский Журнал», 2003, 24 апреля <<http://www.russ.ru/krug>>

См. эту переписку также: «Урал», Екатеринбург, 2003, № 6 <<http://magazines.russ.ru/ural>>

Андрей Кончаловский. «Только не про кино!» Беседу вел Дмитрий Быков. — «Консерватор», 2003, № 17, 23 мая.

«Единственный принцип, которому я неукоснительно следую, — человек свободен делать все, что ему заблагорассудится, и за это отвечать».

«Мы ее [Россию] все пытаемся любить как абстрактную, чужую махину, а она своя, единственная. Как жизнь. Как я сам у себя. Другого не будет».

Наум Коржавин. Атипичный антисемитизм? — «Новое время», 2003, № 21, 25 мая <<http://www.newtimes.ru>>

«Эпицентром нынешней „вспышки“ [антисемитизма в Европе] справедливо считается Франция».

Геннадий Красухин. 170 лет ожидания, или Злоключения «Медного всадника». — «Русский Журнал», 2003, 6 июня <<http://www.russ.ru/krug>>

«Вот уже почти двадцать лет я борюсь за то, чтобы восстановить для читателя подлинный текст „Медного всадника“, проясняющий подлинный смысл пушкинской повести. И сталкиваюсь либо с раздраженным недоумением, либо с полным игнорированием этой проблемы».

См. также: **Всеволод Сахаров**, «Поединок двух всадников. Еще о „петербургской“ поэме Пушкина» — «Литературная Россия», 2003, № 23, 6 июня <<http://www.litrossia.ru>>

Константин Крылов. Со слезами на глазах. — «Спецназ России», 2003, № 5 (80), май.

«После всех идеологических метаний наши власти пришли к неожиданному, но по-своему логичному решению: оформить День Победы как *веселый праздник*. Типа всенародно любимого Нового года, дня Святого Валентина или Рождества. Когда можно надеть на голову резиновые заячьи ушки и дарить друг другу сахарные сердечки. <...> Люди, которые не могут и не хотят испытывать скорбь по поводу прошлого, рано или поздно обретают эту самую скорбь в настоящем. А те, кто не умеет чтить память своих погибших, оказываются вынуждены почитать каких-нибудь чужих дядь».

Константин Крылов. Проклятая свинья жизни. — «Консерватор», 2003, № 17, 23 мая.

«<...> все тот же прекрасодушный либерализм: мечтания о старосоветском Человеке Воспитанном, до которого гадкое человечество с щипцами все никак не дорастет. Все мешает „вредная невоспитанная обезьяна“ внутри человека, низшее животное начало. Просвещенческая утопия, XIX век... Философия класса, ничего не забывшего и ничему не научившегося. Помилуйте, господа. Ну при чем тут ваше „воспитание“. Для начала не надо быть падлой. Падлой не надо быть. И зарубить себе на носу, что измена Родине (а интеллигенция коллективно совершила именно это) себя не окупает. Вот тогда, может быть, вы и отползете от парашаи, столь убедительно описанной в последнем — и, похоже, лучшим — творении Бориса Натановича [Стругацкого/Витицкого „Бессильные мира сего“]. Но не раньше».

Константин Крылов. Европейские льды. — «Консерватор», 2003, № 18, 30 мая.

«[Тумас] Транстрёмер, как и подобает европейскому поэту, в совершенстве владеет международно конвертируемой формой стиха: нагруженным метафорами верлибром. Верлибр сейчас — евростандарт, норма для европейской культуры, осознавшей своей главной проблемой переводимость. Верлибр был выбран проектировщиками общеевропейской культуры затем, что обеспечивает транспарентность чувств и переживаний: самое „особенное“, „непередаваемое“, что было в национальных культурах, — поэтическая традиция, — стало вполне конвертируемым. Освободившись от рифмы и размера, европейская поэзия свела себя к набору метафор, выражающих „общечеловеческое содержание“, то есть мысли и настроения, понятные всякому культурному человеку от Мадрида до Токио. Обязательно что-нибудь о тоске, одиночестве, страхе смерти, любви, чашечке кофе, Венеции, театре, несколько цитат из Расина или Басё. Кстати, опыт

японской поэзии тоже усвоен, поскольку Япония принята в „Белый Мир”, у европейских поэтов (и, разумеется, у Транстрёмера) встречаются чудесные трехстишия».

Константин Крылов. Уроки Солженицына. — «Консерватор», 2003, № 18, 30 мая.

«Признаться, я очень не люблю Александра Исаича и все его идеи. Но определенный урок из них извлечь стоит. Солж — жертва той идеи, что зло имеет предел и есть вещи, „хуже которых ничего быть не может”. Так вот, эта идея ложна. Коммунизм был действительно плох — но, как показало последнее десятилетие, есть вещи и похуже коммунизма. Есть, наверное, вещи и похуже Ельцина, Путина, Пинопчета, Гитлера *and so on*. Зло неисчерпаемо в своем разнообразии. Идея „очищения” всегда ложна. Превращать интересы своего народа ради чего бы то ни было — нельзя... В таком вот аспекте».

Константину Крылову — здесь же — возражает **Дмитрий Ольшанский**: «В России живет Солженицын. Человек старых правил, он своим существованием доказывает, что пока что (хоть, может, и ненадолго) та, старая наша Родина, богами и героями которой увлекаются по всему миру, есть еще на свете. <...> Александр Исаевич прежде всего грандиозный стилист, увлекательнейший писатель — а уж только потом начинаются согласия и несогласия с общественной его ролью. „Архипелаг” и „Теле-нок” — книги бесконечно занимательные, написанные так, что невозможно оторваться. <...> Главное сейчас: пусть он проживет как можно дольше».

Сергей Кузнецов. Нон-фикшн. — «Русский Журнал», 2003, 11 июня <<http://www.russ.ru/krug>>

«Марио Пьюзо знал мафию, а Гришем знает про юриспруденцию — и то, как мы воспримем роман [Юлии] Латыниной [„Промзона”], прежде всего зависит от того, верим ли мы в ее знание механизмов российской экономики. <...> Появись в романе „Промзона” идеалист, радеющий о благе отечества или о спасении души, это было бы изменой выбранному жанру: люди, как я уже сказал, репрезентируют экономические структуры, а экономической структуры, соответствующей душе, не существует (в принципе кто-то мог бы защищать интересы отечества, но, видимо, существование таких людей в промышленно-политических кругах невозможно). По этой же причине в „Промзоне” невозможно появление рабочих — про них можно сказать, что они не получают зарплаты по полгода и потом разбивают палаточные городки, но на этом их участие в экономической жизни страны, увы, оканчивается. Жаловаться на то, что нигде не сказано, что именно они производят то, что продают герои романа, так же странно, как жаловаться на то, что в „Крестном отце” не изображены простые труженики США, которых грабят мафия и монополии. В конце концов, читатель Латыниной читает про экономику России, а читатель Марио Пьюзо — про мафию в США. По большому счету это нон-фикшн, замаскированная под роман. <...> Говоря о массовой беллетристике, сейчас в России всего нужней романы, из которых люди узнали бы про страну, где они живут, — а про чувства и эмоции они сами додумают».

См. также: **Дмитрий Быков**, «Быков-quickly: взгляд-54» — «Русский Журнал», 2 июня <http://www.russ.ru/ist_sovr>

Анна Кузнецова. Добрый писатель. — «Русский Журнал», 2003, 26 мая <<http://www.russ.ru/krug>>

Геласимов.

Анна Кузнецова. На бесстыдную нахальчивость. — «Русский Журнал», 2003, 9 июня <<http://www.russ.ru/krug>>

«<...> первая ложь (? — А. В.) — уже в аннотации к книге „Книжный шкаф Кириллы Кобрин” (М., 2002): рецензии, помещенные здесь, печатались в „Новом мире” с 2000-го, а не с 1999 года. А с первых же собственных слов автора *ощущение тотальной дезинформации в жанре грубого стёба нарастает до свиста в ушах* (курсив мой. — А. В.)...»

И эти люди запрещают нам ковырять в носу...

Валентин Курбатов (Псков). Виктор Астафьев: завешание. — «Литературная газета», 2003, № 23-24, 11 — 17 июня.

«Оно было напечатано в сборнике „Прощание”, посвященном уходу Виктора Петровича. На авантитуле сверху слева мелко стоял „адрес”: „От Виктора Петровича Астафьева. Жене. Детям. Внукам. Прочсть после моей смерти”. А посредине страницы и сама эта страшная, невозможная, грозная и мучительная

Эпитафия.

Я пришел в мир добрый,
родной и любил его безмерно.
Ухожу из мира чужого,
злобного, порочного.

Мне нечего сказать вам
на прощанье.

Виктор Астафьев.

См. также: **Владимир Тыцких**, «Виктор Петрович» — «Дальний Восток», Хабаровск, 2003, № 1, январь — февраль.

См. также: **Дмитрий Шеваров**, «У Астафьева» — «Новый мир», 2003, № 8.

Сергей Кучеренко. Властелин уссурийских дебрей. Записки ученого-охотоведа. — «Дальний Восток». Главный редактор Вячеслав Сукачев. Хабаровск, 2003, № 3, май — июнь.

Тигры.

«**Любовь сильнее литературы**». Беседу вела Татьяна Восковская. — «Консерватор», 2003, № 18, 30 мая.

«В России глупость стала уже неким национальным брендом», — считает **Владимир Сорокин**.

Александр Люсый. Российский мюзикл-строй. — «ПОЛИТ.РУ», 2003, 6 июня <<http://www.polit.ru>>

«Вот они, два культуротворческих полюса-новостройки современной России. Сияние гигантского билборда „Chicago“ над Театром эстрады стало не меньшим символом нашего времени, чем возвышающийся напротив, через Москву-реку храм Христа Спасителя. С известной долей условности эта оппозиция воспроизводит архетипическую дихотомию тела и духа. Ведь удовольствие от музыки специалисты связывают не с рациональной сферой сознания, как и не с сознанием вообще, или сферой духа, а с телом. Музыка возникает из телесных вибраций и воспринимается прежде всего телом. Это при том, что и символ новейшей русской духовности имеет свои очень острые материальные проблемы. Этот возведенный методами постперестроечно-постсоциалистической ударной стройки храм — что-то вроде БАМа на небесах и по грандиозности своих идео-строительных масштабов, и по бюджетной обременительности его дальнейшей эксплуатации».

Давид Маркиш. Убить Марко Поло. Рассказы. — «Октябрь», 2003, № 5.

«— А то и случилось, — отпихнув внучку и с опаской выглянув наружу, сказал дедушка, — что конец света наступил. Дожили. Вон, черт на дерево залез» («Конец света»).

См. также: **Давид Маркиш**, «Стать Лютовым. Вольные фантазии из жизни писателя Исаака Бабеля» — «Октябрь», 2001, № 1, 2.

Новелла Матвеева. Над омутом лозы. — «Литературная газета», 2003, № 23-24, 11 — 17 июня.

Автобиографическая проза.

«**Неизвестный Пушкин**». Беседу вела Ольга Рычкова. — «Труд», 2003, № 103, 6 июня <<http://www.trud.ru>>

Говорит **Валентин Непомнящий**: «<...> тамошние [петербургские] пушкинисты сосредоточены в основном на изучении „материальной“ стороны своего предмета — конкретных фактов творчества и биографии (без чего, конечно, наука о Пушкине неммыслима). Москвичи, занимаясь этим, больше обобщают и философствуют».

Мирослав Немиров. Все о поэзии-139. Маяковский, Владимир. — «Русский Журнал», 2003, 6 июня <<http://www.russ.ru/netcult>>

«Вообще, ЛЕФ, конечно, важное явление в истории мирового авангарда. И конечно, гораздо более важное, чем сам Маяковский. Главная ударная сила ЛЕФа была, конечно, Маяковский, — точней сказать, фронтмен (к тому же именно под него давали деньги), — но главное-то в ЛЕФе, за что мы его теперь ценим, был вовсе как раз не Маяковский с его, в сущности, все тем же романтизмом, а гораздо более радикальные вещи — проповедь производственного искусства, проповедь искусства факта, искания в области дизайна, Родченко, Эль Лисицкий эт сетера».

«**НЛО — это радикальный проект**». Беседовал Игорь Шевелев. — «Время МН», 2003, 10 июня.

Говорит **Ирина Прохорова**: «Я принадлежу к меньшинству, которое не ностальгирует по старым временам. <...> Общество до сих пор живет старыми представлениями о культуре. Откройте любые газеты, во всех одно и то же — премьера в Большом, 80 лет народному артисту, фестиваль в Каннах. Это замечательно, но если бы какое-нибудь издание пересмотрело свое отношение к тому, что считать культурным событием, перед нами открылось бы невероятное количество новой информации. Через 30 лет скажут, что сегодня было самое поразительное время в развитии культуры. Но общество не сфокусировано на том, что реально происходит. Поэтому и кажется, что ничего нет».

См. также беседу **Ирины Прохоровой** с Владимиром Ермиловым: «Аккумулируем лучшие гуманитарные умы» — «Книжное обозрение», 2003, № 23, 9 июня <<http://www.knigoboz.ru>>

Ханс-Хайнрих Нольте, Павел Полян. Гитлер и Сталин: с кем же жить лучше, с кем веселее? — «Неприкосновенный запас», 2003, № 2 (28).

«<...> многие государственные элиты в побежденной Германии сохранились несоизмеримо лучше, чем в победившем СССР».

«**О старших братьях по вере**». Беседа с о. Михалом Чайковским. Беседу [в марте 1998 года] вели Катажина Яновская и Петр Мухарский. — «Новая Польша», Варшава, 2003, № 4 (41), апрель.

Говорит священник Вроцлавской епархии, профессор, доктор наук, библиист о. **Михал Чайковский**: «Антисемитизм или антииудаизм придумали вовсе не христиане. Он существовал до христианства в кругах греческой и египетской интеллигенции. <...> Печально, что христиане почерпнули антиеврейские аргументы из арсенала язычников. Эти аргументы язычники относили сначала к евреям, а затем и к христианам». Он же: «Многие евреи протестуют против того, чтобы превращать Катастрофу, Шоах, в какую-то новую еврейскую религию, а такие попытки уже есть». Он же: «Оставим Господу решать, что будет в конце».

Глеб Павловский. «Поиски»: провалившееся восстание. Беседовала Татьяна Трофимова. — «Русский Журнал», 2003, 9 июня <<http://www.russ.ru/politics>>

«Меня мания журнала одолевала полжизни. Идея журнала вообще почему-то заложена в русской культуре. <...> Теперь слово „диссидент“ что-то вроде пустой банки на хвосте Новодворской. Но В. И. — та хоть вправду сидела. А после того, как кто угодно — хоть Калугин, хоть любой предатель — назвался диссидентом, слово ничего не значит. Вот пример: шестидесятников именуют диссидентами, и они это повторяют. А тогда разницу хорошо ощущали, ведь Движение доопределилось именно после ошеломляющего предательства шестидесятниками, всей средой переметнувшимися в начале 70-х на сторону „реального социализма“. Диссиденты составились в Движение из тех, кто отказался предать базовые ценности. <...> Замысел „Поисков“ был в том, чтобы консолидировать среду противостояния в силу, в сторону диалога — через демонстрацию общего пространства, в котором можно двигаться, несмотря на политические разногласия. Но вот как раз искать политических решений мы не хотели. Это был дефект Движения в целом. Движение вплоть до своего заката в начале 80-х, за редкими индивидуальными исключениями, не хотело быть политическим даже там, где явно использовало политические технологии. Правозащитное давление на власти через Америку было передовым по тем временам и действенной политической технологией. <...> Для человека Движения акт действия заканчивается оргазмом оглашения нравственных мотивов и открытым присоединением к мартирологу репрессий. <...> „Поиски“, в сущности, были всего лишь фрондой в диссидентском гетто, попыткой бархатного восстания. <...> У меня нарастало кожное чувство близкой катастрофы, за год до ареста я будто взбесился и много писал на тему конца СССР, но тогда только начал понимать пропасть между этическим жестом — и нехваткой средств <...> Это была безнадега, а мы в ней купались, купались в Противостоянии, эмоционально обкурившиеся отчаянием. Я думаю, наркота безнадежности заменяла нам недостроенную в нас личность. Наша среда, несмотря на поразительную красоту участников — любящие, преданные друг другу мальчики и девочки, — была безумно инфантильна. Я говорю не только о молодых. Инфантильные были даже старики, и особенно инфантильной оказалась элита — те, кто отсидел за Движение. <...> В 70-е под угрозой был не столько «коммунизм», сколько люди, их быт и воляности — общество, которое возникло в Советском Союзе. Очень хрупкая неформальная сеточка с едва прощупывающимися цивилизационными косточками. Мы не готовили общество к работе в режиме быстрых решений. Оно не выдержало, и большого государства не стало. Вот и сегодня у нас на руках опять нечто хрупкое. Еще более молодая, новоначная конструкция — Российская Федерация. Государство русского языка, которому чуть больше 10 лет, что, кстати, в упор не видит политический класс, рассуждающий о „тысячелетней России“, а сам догрызающий мослы советской цивилизации. И в этой новой неопределенной стране с омерзительно инфантильными политиками подрастает поколение — *ее, новой России, новый народ*. И на этот народ снова катится удар мировых сил, неясных и необсуждаемых, а его, как и наше поколение, опять не готовят держать удар!»

«**Перешагнуть через горизонт**». Беседу вел Андрей Ковалев. — «Время MN», 2003, 5 июня.

Говорит художник **Эрик Булатов**: «Я от соцарта открещиваюсь не потому, что к нему плохо отношусь. Дело в другом — соцартисты исходят из того, что социум — это

единственное, что нам дано, а все остальное обман, ложь и фикция. А мне всегда была важна граница социального пространства, поиск возможностей проскочить эту границу. Социальное пространство для меня всегда было тюрьмой. Я работал с советским материалом, потому что другого не знал».

«Польская нить» в биографии Арсеньева. История одной переписки. Предисловие Светланы Гончаровой. — «Дальний Восток», Хабаровск, 2003, № 2, март — апрель.

Два письма 1914 — 1915 годов известного исследователя Дальнего Востока В. К. Арсеньева к польскому этнологу Станиславу Понятовскому, обнаруженные польским ученым Антонием Кучинским.

«Право на самоопределение и будущий миропорядок». Беседовал М. Г. — «Неприкосновенный запас», 2003, № 2 (28).

Говорит правозащитник **Сергей Ковалев**: «Мое отношение к вопросу о праве народов на самоопределение категорично отрицательное, хотя и не без некоторых „но“, диктуемых сиюминутными политическими реалиями. Я вообще по своим убеждениям космополит или, как теперь модно говорить, глобалист. И я полагаю, что право народов на самоопределение — если, как и большинство исследователей, подразумевать под ним право на самостоятельную государственность — это довольно опасный или, во всяком случае, неприятный аттавизм».

«Что касается этносов, то мы еще имеем некие смутные направления поисков определения — тут в основе лежит самоидентификация, — а что касается народа, то я вообще не понимаю, что это такое, и никто не мог мне объяснить, в том числе и этнографы. Мой хороший друг Елена Боннэр считает, что народ — это все, кто населяет некоторую местность. Все мы живем в Мытищинском районе, мы — народ».

Пути столиц. — «Октябрь», 2003, № 5.

Рубрика «Путевой Журнал» (рубрику ведет **Андрей Балдин**). Авторы этого выпуска — **Рустам Рахматуллин, Надежда Замятина, Гела Гринева, Андрей Балдин**.

См. также: **Дмитрий Замятин**, «Метагеография русских столиц» — «Октябрь», 2003, № 4.

См. также: **Рустам Рахматуллин**, «Средокрестия Москвы» — «Новый мир», 2003, № 7.

Игорь Пыхалов. Впал ли Сталин в прострацию 22 июня 1941 года? — «Спецназ России», 2003, № 5 (80), май.

«<...> дежурные в приемной Сталина в Кремле вели специальные тетради, в которых фиксировали фамилии посетителей и время их пребывания в сталинском кабинете. В последние годы эти записи неоднократно публиковались <...> Выясняется, что вместо того, чтобы прятаться на даче, Сталин в первые же часы войны прибывает в Кремль, где принимает десятки посетителей — членов Политбюро, партийных и государственных деятелей, высших военачальников. И в последующие дни Сталин продолжает ежедневно приезжать работать в свой кремлевский кабинет».

Вячеслав Пьецух. Уроки родной истории. Пособие для юношества, агностиков и вообще. — «Октябрь», 2003, № 5.

«<...> в России чем страшнее жизнь, тем чудесней песни».

См. также: **Вячеслав Пьецух**, «Поэт и замарашка» — «Дружба народов», 2003, № 1 <<http://magazines.russ.ru/druzhiba>>

См. также: **Вячеслав Пьецух**, «Три рассказа» — «Новый мир», 2003, № 9.

Александр Рекемчук. Наука выть по-волчьи. Охотничьи и городские байки Ильи Кочергина. — «Литературная Россия», 2003, № 23, 6 июня <<http://www.litrossia.ru>>

Хороший прозаик Кочергин.

Наталья Решетовская. Вне опасности. — «НГ Ex libris», 2003, № 19, 5 июня <<http://exlibris.ng.ru>>

«Мне казалось, что так я смогу защитить Александра Исаевича — защитить от государства, от ГБ, даже от него самого. Что в подобного рода защите он вряд ли нуждается — мне тогда и в голову не приходило. Страх за него, за его жизнь, страх, что нас ожидает вечная разлука, заслонял все прочие соображения». Фрагменты книги «АПН — я — Солженицын. Моя прижизненная реабилитация». *Наталья Алексеевна Решетовская, первая жена Александра Солженицына, умерла 28 мая с. г. в Москве.*

«Серапионы» и «смердяковщина». Беседовала Екатерина Ефремова. — «НГ Ex libris», 2003, № 19, 5 июня.

Говорит композитор **Сергей Слонимский**: «<...> Вениамин Каверин, пережив всех „серапионов“ и дожив до середины перестройки, успел написать мемуары под названием „Эпилог“. Там наряду с апологией братства 20-х годов немало личных счетов с пи-

сателями. <...> Злопамятный Каверин через семнадцать лет после смерти моего отца [„серапиона” Михаила Слонимского] напечатал мемуары, в которых образ Слонимского полностью искажен. <...> мемуары Каверина оказались основой для многочисленных литературоведческих работ». В данном случае идет речь о книге Бориса Фрезинского «Судьбы „серапионов»».

«**Сербский папа постмодерна**». Беседу вела Татьяна Бек. — «НГ Ex libris», 2003, № 18, 29 мая.

Говорит сербский прозаик **Бора Чосич**: «Русским читателям, наверное, была бы интересна моя книга о Мышкине [„Повесть о Мышкине”]. <...> Я ее написал в конце 80-х. Это 25 — 30 эссе о людях искусства и философии, каждый из которых имел в себе что-то от идиота. Для меня они — позитивные идиоты. Как Ницше, как Пруст, как Хлебников, как Бруно Шульц, как Вирджиния Вулф... Бывают и негативные идиоты (и среди писателей — тоже), но это другой, отдельный разговор».

Питер Сингер. Человек и животные равны. Сокращенный перевод А. И. Петровской. — «Гуманитарный экологический журнал». Киев, 2003, том 5, спецвыпуск «Дискуссия о правах природы».

«Если существо страдает, то не может быть никакого морального оправдания отказу считаться с этими страданиями». Отрывки из книги философа-моралиста Питера Сингера, австралийца, преподающего в США: «*Animal Liberation*», NY, 1977.

Татьяна Сотникова. Неграндиозное чувство. — «Русский Журнал», 2003, 27 мая <<http://www.russ.ru/krug/kniga>>

«Очень трудно писать о книге [„Лето в Бадене”], которая стала доступна читателю через двадцать пять лет после смерти ее автора [Леонида Цыпкина]. Особенно если этот автор жил при советской власти, да еще был невыездным, да еще не был признан ни литературным истеблишментом, ни неофициальной, но влиятельной писательской тусовкой. <...> И все-таки когда Сюзан Зонтаг <...> включает этот роман „в число самых выдающихся, возвышенных и оригинальных достижений века, полного литературы и литературности”, — ее оценка кажется несколько преувеличенной. Впрочем, все-таки менее преувеличенной, чем западные рецензии на английский перевод романа Цыпкина: „грандиозная веха русской литературы XX века”, „самое неизвестное гениальное произведение, напечатанное в Америке за последние 50 лет”...»

Ср.: **Борис Крамер**, «Высота» — «Русский Журнал», 2003, 27 мая <<http://www.russ.ru/krug/kniga>>

«**Талантливых рукописей много, но они горят**». Записала Арина Яковлева. — «Новая газета», 2003, № 39, 2 июня.

Говорит критик и переводчик **Борис Кузьминский**, в настоящее время — главный редактор молодого московского издательства «Пальмира»: «За все время новейшего капитализма в России не было ни одной успешной книжной пиар-кампании, если не считать тех, которые начинались уже после того, как писатель стал популярным, а значит, по большому счету были не нужны».

«<...> львиная доля выпускаемых книг — детективы. А в реальной пиущей России все наоборот: ее коронный жанр — психологическая проза, издателями толком не востребованная. Литературная картина, которая проявляется на рынке, роковым образом не совпадает с реальной».

«Если сравнить с Францией или Италией — современная русская словесность на порядок лучше и ярче. Это заметно любому, кто пропускает сквозь себя поток рукописей, но этого не видно на прилавках».

Александр Тарасов. На стороне Ацтеков. Послание моему редактору Антону Баумгартену. — «Левая Россия». Политический еженедельник. 2003, № 14 (90), 4 июня <<http://www.left.ru>>

«Вам не нравится, Антон, что молодежь (не вся, а лишь очень небольшая часть — интеллектуальная и наиболее *ищущая*: тираж Маркоса — всего 2 тысячи экземпляров!) читает „неправильного” субкоманданте, а не „правильных” Маркса и Ленина. Ситуация сегодня такова, что к Марксу и Ленину молодые могут прийти *только* через такие книги, как книга Маркоса. Вы скажете, что это — патологическая ситуация. Согласен. Но это — *реальность*».

«На самом деле ситуация с книгой Маркоса — это *прорыв*. <...> Выходили ведь и раньше книги левых теоретиков — буржуазные СМИ их *игнорировали*. Игнорировать Маркоса оказалось невозможно потому, что *дети главных редакторов и редакторов отделов* этих самых буржуазных СМИ стали читать Маркоса и зачитываться им. <...> Ответсек „Книжного обозрения” А. Ройфе, повторю, просто бился в истерику — и дописался до того, что провозгласил „массовую культуру”, бульварную литературу *последним*

бастионом либерализма, рубежом сопротивления против „высоколобой” литературы с „вредными идеями” — вроде Маркоса. <...> И [Ройфе] обладает выраженным классовым чутьем. И не такой он дурак, чтобы не понимать, что тактически правильнее Маркоса замолчать <...> Если Ройфе не стал замалчивать Маркоса, то только потому, что понял: уже не получится».

«Антон, почему Вы ставите в вину [Борису] Кагарлицкому то, что он работал в буржуазной газете [„Новой газете”] — и не ставите в вину рабочим то, что они работают на принадлежащих буржуазии заводах и фабриках? Кагарлицкий — такой же точно *наемный работник*, как и они. Его *голод* заставил работать в буржуазной прессе. <...> Мы почти все вынуждены работать либо на буржуазию, либо на буржуазное государство. Это и есть капитализм, когда средства производства принадлежат нашему классовому врагу».

«Абстрактно Вы правы: конечно, не надо работать на классового врага, а надо его уничтожать. Но тех, кто ведет (как приведенные Вами в пример маоистские партизаны) с буржуазией открытую вооруженную борьбу, кто-то должен *содержать*: кормить, поить, одевать, вооружать. Для этого нужна мощная подпольная организация. Этой организации в России нет. И пока ее нет — мы не вправе предъявлять претензию рабочим, что они работают на буржуев, а не убивают буржуев (обрекая своих детей на голодную смерть), — так же как не вправе предъявлять претензию журналистам, что они работают на буржуев, а не убивают буржуев (опять-таки обрекая своих детей на голодную смерть)».

«*Буржуазная Россия* — это не моя родина (даже формально моя родина — это СССР)».

См. также: Александр Тарасов, «Право народов на самоопределение как фундаментальный демократический принцип» — «Неприкосновенный запас», 2003, № 2 (28) <<http://magazines.russ.ru/nz>>; *полная версия статьи публикуется только в Интернете.*

Оксана Тимофеева. Безысходность как объект потребления. — «Консерватор», 2003, № 18, 30 мая.

«Пессимизм — вещь заразительная и в высшей мере опасная. Натуры сильные и творческие ее производят и продают, натуры слабые — покупают и кушают, чтобы потом болеть и умирать. [Мишеля] Уэльбека можно читать, можно наслаждаться, но главное — иметь хорошо противоядие против штаммов его хандры. Если мир и движется к гибели, то в топку этого паровоза самые горячие угли подбрасывают как раз угрюмые вещатели и пророки, дабы он окончательно сошел с рельсов в полной уверенности, что это — его единственная возможность».

См. также: Виктор Канавин, «Новый правый» — «Итоги», 2003, № 4 <<http://www.itogi.ru>>; Кирилл Куталов, «Смерть им к лицу» — «НГ Ex libris», 2003, № 2, 23 января <<http://exlibris.ng.ru>>; Игорь Порошин, «Трах и трепет» — «Известия», 2003, № 32, 21 февраля <<http://www.izvestia.ru>>; Евгений Ермолин, «Частицы боли» — «Континент», 2003, № 115 <<http://magazines.russ.ru/continent>>; Александр Скидан, «Любовь холоднее смерти» — «Русский Журнал», 2003, 6 марта <<http://www.russ.ru/krug/kniga>>; Сергей Кузнецов, «Наслаждение и сострадание» — «Русский Журнал», 2003, 6 марта <<http://www.russ.ru/krug/kniga>>; Наталья Бабинцева, «Последний девственник Европы» — «Время новостей», 2003, № 54, 27 марта <<http://www.vremya.ru>>

См. также беседу Мишеля Уэльбека с Александром Гавриловым: «Книжное обозрение», 2003, № 12, 24 марта <<http://www.knigoboz.ru>>

См. также стихи Мишеля Уэльбека в переводах Михаила Яснова: «Иностранная литература», 2003, № 3 <<http://magazines.russ.ru/inostran>>

Александр Трапезников. «Кровь, мат, секс». Беседу вел Аршак Тер-Маркарьян. — «Литературная Россия», 2003, № 22, 30 мая.

«<...> истинную сущность америкосов. Только сейчас они со своим правом силы дошли уже до полного дебилизма, недаром их президент похож на удравшего из клиники сумасшедшего с бритвой в руке.

— Не отвлекайся, Александр. О политике мы еще поговорим.

— Да. Меня иногда заносит, когда я ощущаю мертвящее дыхание этой „новейшей цивилизации”».

Андрей Трейвиш. Наша страна — самая холодная в мире. — «Знание — сила», 2003, № 5 <<http://www.znanie-sila.ru>>

«Геодетерминизм периодически возвращается то обновленным, то архаично-абсурдным в духе убеждения аббата де Бо (начало XVIII века), что искусство создано только в полосе между 25 и 52 градусами северной широты <...>». Нерадикальная полемика с геофатализмом Андрея Паршева: спор не с его аргументами, а с его выводами (о необходимости самоизоляции и проч.).

См. также: **Сергей Цирель**, «О мнимой дефектности русской природы» — «Новый мир», 2003, № 7.

Алексей Хаиров. Пульсирующая империя. — «Спецназ России», 2003, № 5 (80), май.

«На Востоке мы побеждали западными методами — техникой и тактикой. Например, Румянцев и Суворов с несколькими полками громили многотысячные войска турок, а Котляревский с парой батальонов разбил всю персидскую армию, а на Западе побеждали по-восточному — давили числом (так Александр Невский в десять раз превосходил рыцарей на Ледовом побоище). Петр I превосходил Карла XII при Полтаве, а Салтыков Фридриха Великого при Кунерсдорфе».

«Капитан Белли с отрядом моряков брал Рим и Неаполь, а Ренненкампф с казачьими полками брал Пекин, и не важно, какой они были национальности, — служили русскому флагу».

Егор Холмогоров. Священная Римская империя нерусской нации. — «Консерватор», 2003, № 17, 23 мая.

«<...> в ходе Второй мировой войны Советскому Союзу противостояла объединенная Адольфом Гитлером Европа, силы которой, направленные на Восточный фронт, во много раз превосходили силы так называемого „сопротивления“. На памяти еще живущего поколения существовала, пусть и всего несколько лет, объединенная мощным имперским началом Европа, и тот факт, что после победы над этой Европой пришлось делать вид, что ее нет, и экстренно выдумывать солидарное сопротивление народов против фашизма, говорит о воле победителей, а не о подлинном настроении побежденных».

Егор Холмогоров. С кем идти в разведку? — «Консерватор», 2003, № 18, 30 мая.

В современной России трудно оскорбить или опозорить человека, обвинив его в сотрудничестве с КГБ. Скорее напротив <...>. <...> Между тем вопрос как был, так и остался — возможно ли священнослужителю сотрудничать с госбезопасностью, и если да или нет, то почему? Вопрос непростой, поскольку в священных канонах, обязательных для священника законах Церкви, об этом ничего не сказано. <...> Однако кем не мог быть священник, согласно церковным правилам, — так это государственным чиновником. <...> Священник не может быть по совместительству офицером, то есть тем, над кем довлеет власть начальника. Ведь начальник может приказать нечто, что прямо противоречит христианской совести, и тогда придется нарушить либо один долг, либо другой.

Сергей Цирель. Какие силы могут создать гражданское общество в России? — «Неприкосновенный запас», 2003, № 2 (28).

Среди прочего: «<...> консерватизм молодых людей, в отличие от консерватизма стариков, может опираться на чужое или вымышленное прошлое».

Сергей Шаргунов. «Улица моя тесна». Пушкин: слишком человеческое! — «НГ Ex libris», 2003, № 19, 5 июня.

«Пушкин не вопил: „Да, смерть!“, а трогательно надеялся, что все же выживет».

Михаил Шолохов: неизвестные письма. Вступительное слово и комментарии Виктора Петелина. — «Завтра», 2003, № 22, 27 мая.

Письма к писателю Николаю Федоровичу Корсунову (род. в 1927), а также два письма В. Варееву и одно письмо Г. Маркову. «Дорогой Яицкий казачишка! <...> Скажи своему соседу Варееву, что он не только татарин, мордвин, черемис и прочий безродный чуваш, но и просто сукин сын азиатского склада. Сколько раз он гостил на Братановском, а не считает себя обязанным хотя бы из элементарного приличия написать: как рыба, какие виды на будущую рыбалку, как зимовка, вообще — как жизнь придется в Уральске и его окрестностях» (из письма Н. Ф. Корсунову от 3 января 1968 года). Сборник писем М. А. Шолохова подготовлен к изданию в Шолоховском центре Московского государственного открытого педагогического университета имени М. А. Шолохова.

Ольга Эдельман. Город чьей-то мечты. — «Логос», 2003, № 3-4.

«Теофилю Готье в России все нравилось, Кюстину — все не нравилось. Проехали они по одним и тем же местам с интервалом в два десятилетия (Кюстин в 1839, Готье в 1859), за которые страна изменилась, но не настолько, чтобы нельзя было сравнивать их тексты».

Санджар Янышев. Офорты Орфея. Стихи. — «Октябрь», 2003, № 5.

«Можжевельное, хрупкое, травяное...»

Денис Яцутко. Учительница первая моя, или Проблема террора в начальной школе. — «Русский Журнал», 2003, 29 мая <http://www.russ.ru/ist_sovr/sumerki>

«...» осознание своей власти над детьми (и следовательно, над родителями) подвигает многих учителей начальных классов без всякого стеснения эксплуатировать родительские кошельки по всякому формальному поводу (праздники и т. п.). Если называть вещи своими именами — эти учительницы *шантажируют родителей, создавая угрозу детям*. Чем же они, в таком случае, отличаются от захватывающих школы, больницы и автобусы с детьми террористов и других преступников, стремящихся, создавая угрозу жизни и здоровью ни в чем не повинных детей, решить какие-то свои взрослые проблемы?»

Составитель Андрей Василевский (<http://www.avas.da.ru>).

«Дружба народов», «Звезда», «Знамя», «Наше наследие»

Алексей Автократов. Афера. Физиологический очерк. — «Дружба народов», 2003, № 5 <<http://magazines.russ.ru/druzhiba>>

Из редакционного предисловия: «Он (Автократов. — Л. К.) убежден, что право писать о чем бы то ни было дает лишь доскональное знание предмета. Более того, сам пишет лишь о том, что потрогал своими руками и испытал на собственной шкуре — возможно, сказываются вьевшиеся в плоть и кровь установки историка, который сменил изыскания в архивах на нелегкий труд челнока или риелтора не по заданию редакции или из исследовательского любопытства, а по злой житейской нужде. И все же в „Афере“ он постарался не просто описать „физиологию“ особого мира, связанного с торговлей жильем, но и придать повествованию динамику и остроту, внося в очерк интригу и построив его как историю одного мошенничества».

Это, конечно, не Волос, немного скучновато. Но зато многое *раскрыто*, есть даже повод опасаться за спокойную жизнь нашего «физиолога». Впрочем, я собираюсь дать эту вещь знакомому риелтору, что-то он скажет?

Франческо Альгаротти. Из книги «Путешествие в Россию». Перевод с итальянского, вступительная заметка и примечания Ю. Н. Ильина. — «Звезда», 2003, № 5 <<http://magazines.russ.ru/zvezda>>

Публикуется впервые — в юбилейном «сверхпитерском» и «сверхнаследном» номере журнала. Синьор Альгаротти — литератор, дипломат, искусствовед, друг монархов, корреспондент Вольтера, знакомец Кантемира, автор подхваченной Пушкиным метафоры про «окно в Европу».

«Не хочу перед Вами, Милорд, умалчивать и еще об одной подробности, каковая, хотя и идет опять-таки от природы, а все же очень странна. Как Вы думаете, из каких таких краев приходит то дерево, из которого в Петербурге строят корабли? Их ведь делают из дубовых бревен, которые добрых два лета проводят в пути, прежде чем оказаться здесь. Так вот, эти красивые и чисто нарезанные бревна прибывают сюда из бывшего Казанского ханства; каждое бревно поднимают по Волге, потом по Тверце; отсюда это дерево проходит по каналу, потом через пару мелких рек и через Волхов попадает в Ладожский канал, отсюда, наконец, по Неве оно спускается до Петербурга. Тут, в Кронштадте, есть яхта, сработанная в Казани; сюда ее доставили через эти самые реки, которые таким образом соединяют Каспийское море с Балтикой, и это вам вовсе не пресловутый Лангедокский канал. В прошлые времена это дерево пускали в дело сразу, как оно поступало. Теперь его помещают вылеживать в особые большие сараи со множеством отверстий, похожие на куриные клетки, — это для свободного прохода воздуха. С приходом зимы их накрывают большими холщовыми полотнищами, чтобы защитить от непогоды, — примерно так в Италии накрывают цитрусовые саженцы».

Как странно рифмуется сия вдохновенная «поэма» о дубовых бревнах с публикующимися впервые стихами Заболоцкого (см. ниже).

Дмитрий Бак. Дом номер ноль. Стихи. — «Знамя», 2003, № 5 <<http://magazines.russ.ru/znamia>>

Стихотворная подборка известного литературоведа и преподавателя. Из украинских:

Дорога зникає під снігом,
опалене серце мовчить...
Коли ще — жадана відлига
зітхне, затремтить, задзвенить?

На цьому засніженім дроті
півколом лежить самота,
а мій поневолений потяг
летить, ніби в небо зліта...

(«Біля Львова. Залізницею», 1991)

Андрей Битов. Дежа вю. — «Звезда», 2003, № 5.

«Так ли уж я боюсь воды?

Я очень тяжело в нее вхожу. Даже в теплое море. Мой сердечный друг Юз Алешковский, наблюдая, как я это произвожу, прозвал меня „бздиловатый конь“, на него я не обиделся.

Обиделся я в другой раз, в Адриатическом море, купаясь с одной урожденной русалкой, когда она мне сказала, смеясь: „Да ты воды боишься!“ А мне казалось, я довольно красиво плыву вольным стилем.

Как кочевник, не очень-то я люблю мыться. Опасаюсь лихорадки. Недавно я наконец обнаружил, что задыхаюсь, когда пью воду. Будто тону.

Я не верю ни во Фрейда, ни в реинкарнацию.

Сам я еще ни разу не тонул.

Когда увидел первого утопленника, то с перепуту залпом написал „Пушкинский дом“.

Там много воды. Не дай Бог, что и в переносном смысле тоже. Роман начинается с дождя и наводнения и кончается ледяным школьно-похмельным утром.

Говорят, раньше я писал лучше...»

Сергей Говорухин. Сто сорок лет одиночества. Рассказ. — «Знамя», 2003, № 5.

«В 1995 году был ранен в Чечне, вследствие чего лишился ноги и веры в человечество» (из предисловия «От автора»).

Да и рассказ ли это? «Интересно, к какому жанру отнесут мои поиски истины? К авторской литературе? Есть же такое определение: авторская песня. Будто у других песен нет авторов... Россия вообще страна определений. Здесь они выдаются единожды и навсегда». Может быть, это организованное в рассказ воспоминание о боли, существование в боли и ожидание новой боли? Не физической...»

Говорят финалисты премии Ивана Петровича Белкина. — «Знамя», 2003, № 5.

Говорит Асар Эппель: «Вот-вот и какой-нибудь мастеровитый проходимец по имени, допустим, Л. Рифеншталь, согласно своей содомитской ориентации предпочитающий крепдешинные шальвары, снимет изумительно изготовленный документальный шедевр. Про то, как роддомовский главврач поедает невостребованных младенцев, слабривая редкостную еду кетчупом. И мои бесстыжие сотоварищи на элитарных обсуждениях станут настаивать, что фильм этот — киношедевр о простом человеке с непростыми страстями, но ни в коем случае не явная мерзость. И найдут, что крупные планы гениальны, монтаж поразителен, младенческая массовка безупречна. И будут красоваться у микрофонов ничтожные эти тусовочные краснобаи».

Асар Эппель является также лауреатом премии имени Юрия Казакова за лучший рассказ 2002 года.

Наш журнал планирует напечатать рецензию на трехтомное собрание сочинений пронзительного и прозорливого Эппеля.

Ольга Грабарь. Человек войны. Рассказы. — «Знамя», 2003, № 5.

Как и цитируемый ниже Александр Сегаль, автор по специальности — тоже биолог, и родилась она тоже в начале 20-х. И в названии — тоже война, только здесь все гораздо *художественнее*: «Война явилась для Прошкина настоящей свободой, он отдавал ей себя целиком. Не сумев полюбить жену и детей, он нежно любил солдат, и они платили ему тем же. Офицерский денежный аттестат Прошкин исправно пересылал домой, ничего не оставляя себе даже на мелкие расходы, но писем никому не писал. Он остался жив, однако после победы его никто никогда не встречал. Как будто с окончанием войны его больше не стало».

Иван Дзюба. Свобода и неволя Бориса Чичибабина. С украинского. Перевод Елены Мовчан. — «Дружба народов», 2003, № 5.

«Было нечто Главное, что составляло его суть, и сам он определял, что это. Можно конкретизировать и добавить: абсолютный слух на правду, чувство справедливости и плебейскость (так с вызовом элитарным болтунам-современникам он называл свой врожденный демократизм), открытость всем здоровым проявлениям жизни и высочайшая степень социальной солидарности. <...> Поражает его и то, что общество оказалось не готовым к свободе. Люди остались рабами и компенсируют свое рабство расхристанностью и вседозволенностью. Свобода невозможна без культуры, без ответственности. А именно их и недостает. Это — предмет постоянных размышлений Чичибабина в последние годы. Осознание зависимости свободы от состояния общества, от качества

жизни людей связывается для него с другой проблемой — со степенью доходчивости его поэтического слова, — проблемой вроде бы интимно-творческой, а на самом деле драматически-общественной, политической. Он, который неоднократно и на разные лады, можно сказать, бравировал равнодушием к своей популярности, теперь ощутил, что это ему не только далеко не безразлично (скрытый интерес все-таки чувствовался и раньше), но глубоко затрагивает его статус русского поэта с украинскими корнями. <...> „Отпадение” (позднее помеченное 1992 годом) Украины от России он воспринял как личную трагедию. И это естественно. Его боль понятна — боль приходит без спросу.

Интересно, что сказал бы Дзюба о непубликуемом стихотворении космополита Бродского «На независимость Украины»?

М. В. Добужинский. Облик Петербурга. Публикация, вступительная заметка и примечания Галины Глушанок. — «Звезда», 2003, № 5.

Эссе было опубликовано в 1943, *блокадном*, году, в эмигрантском журнале «Новоселье».

«Как это ни неожиданно, культ старого Петербурга, который создан был поколением „Мира искусства”, в настоящее время не замер. У нас он имел, кроме исторической, чисто эстетическую и романтическую основу, но весьма сомнительно, что в современной психологии есть место *нашему* эстетизму и романтике. Однако в советском журнале „Искусство” за 1938 год пришлось прочесть буквально: „Мы любим петербургскую старину, красоту Петербурга и его ансамбли не меньше, чем 'мирискусники', но только любовь наша иная”. Выводов я делать не буду, но, по-видимому, то, что было сделано нами в давно прошедшие годы, не пропало даром. Наше поколение после равнодушия наших отцов *самостоятельно* узнало и осознало любовь к Петербургу».

Н. Заболоцкий. Ночные беседы. Публикация, подготовка и вступительная заметка Самуила Лурье. — «Звезда», 2003, № 5.

Повезло: мне довелось поддержать в руках эти тетрадки, фотокопию которых журнал тоже представил на второй странице обложки. Рукопись найдена Лурье в архиве Алексея Ивановича Пантелеева.

Из предисловия: «<...> Если тетрадки более или менее похожи на первую и вторую главы поэмы Николая Заболоцкого „Торжество земледелия”, — хотя различения важны и очень красивы, — то карандашная „Третья беседа” уходит совсем в другую сторону и на другую, по-моему, глубину. И дает нам шанс представить себе отчетливой, кем был Николай Алексеевич Заболоцкий в триумфальном для него и роковом двадцать девятом. И насколько его мышление было несовместимо с жизнью в советской литературе. Известно, какими средствами, какой совокупной мощью эта литература отторгала великого поэта. Но только теперь, только прочитав этот карандашный автограф и хоть отчасти уяснив замысел „Ночных бесед”, — только теперь, пожалуй, мы видим весь этот ужас наяву: это было примерно как в стихотворении Полежаева про погибающего пловца. Но сказать, что Заболоцкий плыл против течения, — ничего не сказать: поток-то был селевой — миллионнотонная грязь. *Что* нужно сделать с автором, чтобы он припрятал подальше такой текст, как „Третья беседа”, и взамен сочинил тот, что стал третьей главой „Торжества земледелия”, — даже думать об этом невыносимо».

И — Заболоцкий:

<...> Дуб, открыв глаза пустые
в равнину теплую небес,
глотал, дымясь, лучи косые,
далеко видимый окрест.
— «Ужель, природа, ты прекрасна? —
сказал он неисканными устами, —
ужели, солнце, не напрасно
течешь над нашими листьями?
Всеобщее состояние растений
как печально стало ныне!
Ты же плаваешь без тени
в голубой своей пустыне.
Когда, растерзан острою пилой,
лежу разрезанный на части —
душа по членам моим бродит,
найти стремясь крупницу счастья.
А я, построенный саженью,
лежу, и непонятен мне
тот, кто предаст меня сожженью
в печной могиле и огне! <...>»

Наталья Иванова. И так далее. — «Знамя», 2003, № 5.

Новые сюжеты из нового мемуарно-публицистического цикла. Тут есть и о встрече с Бродским. Но я приведу о здравствующем критике Аннинском, который, в отличие от писателя Битова, очень дружит с водой.

«<...> Он у нас человек неожиданный, никогда не знаешь, что с ним может произойти; например, в той же индийской поездке: приехали мы к священной реке Ганг, так Аннинский первый (и единственный) мгновенно до трусов разделся и прыгнул в воду. Вода — грязная, не то слово; в воду спускают все останки недосожженных людей и животных; по реке плывет не топор, а туша быка... И еще, и еще... Аннинский плещется, а по берегу бегают круглолицый полненький индус, прикомандированный к нам монастырем, по прозвищу *Савельич*, бегают и кричат по-английски: „Anninsky, get out of the water! Anninsky, get out of the water!“ К Аннинскому страшно теперь прикоснуться — не потому, что стал святым, смыв все свои грехи, а потому, что непонятно, какая теперь на нем зараза...»

Георгий Кубатьян. Козлы и козлища. — «Знамя», 2003, № 5.

Отважный ереванец из российских изданий читает только «Литературную газету». Читает внимательно, выписывая особо заметную, прошу прощения, дурь. Коллекция получилась отменная: неточные цитаты, фактические огрехи, грамматический бред, воинствующее невежество и т. д. Волосы дыбом встают. Стыдно за всех и за себя в том числе, конечно.

Омри Ронен. «Змей». — «Звезда», 2003, № 5.

Примечательное эссе о памяти — одного из самых памятливых филологов.

«Недавно по электронной почте я получил запрос: „Что это: Теперь им чешутся няды?“ Прошли целые сутки, пока я наконец снабдил вопрошателя ссылкой: „Дитяти маменька расчесывать голову / Купила частый гребешок“. Но я так, верно, и умру, не зная, например, кого цитирует Гершензон в „Переписке из двух углов“ („Лишь детей бы рок наш трудный / Миновал, не повторясь“), а Пушкин в „Станционном смотрителе“ („С тех пор, как этим занимаюсь“).

Александр Сегаль. Война как она есть. — «Звезда», 2003, № 5.

Воспоминания фронтовика. Ныне автор — известный биолог.

«Я сам не заметил, как превратился в грабителя и мародера. Придя на постой в деревню, солдаты без зазрения совести грабили жителей, забирали последние продукты и теплые вещи, а в случае чего угрожали оружием, обвиняя хозяев в пособничестве немцам. Хорошо помню, как я, в компании с несколькими пожилыми солдатами, зашел в продуктовый магазин в какой-то деревне. Помахивая винтовками, мы сгребли с прилавка весь хлеб и ушли на глазах у перепуганной насмерть продавщицы и молчащей очереди. Вот уж поистине что значит „человек с ружьем“. Так меняется психология и поведение человека, в руках у которого оружие».

Борис Хазанов. Третье время. Повесть. — «Дружба народов», 2003, № 5.

«В который раз воображая все сызнова — для чего не требуется усилий, достаточно вспомнить одну какую-нибудь сцену, одну подробность, огонек на столе, перо, называемое „селедочкой“, с загнутым кончиком, и тотчас придет в движение весь механизм, — в который раз, снова и снова воображая или, лучше сказать, возрождая эту историю, наталкиваешься на трудность особого рода, грамматическую проблему. Все просто, пока вы пишете о других. И насколько сложнее найти в хороводе лиц и событий подходящую роль для себя, подобрать подходящее местоимение. Странная коллизия, которая показывает, как трудно уживаются память и язык, память и повествование. Оба лица глагола несостоятельны — и первое, и третье. Пишущий говорит о себе: „он“, „его отражение в запотелом стекле“, представляя себе того, кем уже не является. Он пишет о другом. Но другой, тот, кого давным-давно не существует, был как-никак он сам, был „я“. Он тот же самый, он другой. И он чувствует, что местоимение первого лица расставляет ему ловушку, тайком впускает через заднее крыльцо в заколоченный дом памяти того, кому входит не положено. Говоря „я“, невозможно отделить себя от того, прежнего, — вернее, отделить прежнего от себя нынешнего».

Литература приходит на помощь, находит выход, пусть конформистский, рабский, в цепях грамматики, которые она сотрясает, приучая читателя к зыбкости точек зрения; литература говорит: не доверяй „ему“, на самом деле это я, скрывшийся под личиной повествователя; но не полагайся и на „меня“, ибо это не я, а некто бывший мною; не верь вымыслу, единственный вымысел этой повести — то, что она притворяется выдумкой; но и не обольщайся мнимой исповедальностью, на самом деле „я“, как и „он“, — не более чем соглядатай».

На самом деле это повесть о мальчишке, который родился писателем. О страсти к слову, об испытании *полном*. Об отчетливом проживании в себе того, что, может, никогда и не случится, но точно — когда-то было.

Четыре письма Жуковского. Письма к гр. А. Д. Блудовой, Р. Р. Родионову, П. А. Плетневу, А. П. Елагиной. Публикация, вступительная заметка и комментарии А. С. Янушкевича. — «Наше наследие», 2003, № 65.

«Предлагаемые читателю письма Жуковского, по всей вероятности, не опубликованы. Во всяком случае, фронтальный просмотр периодики и всякого рода сборников, библиографий переписки не дал положительных результатов. Все <...> письма относятся к тому периоду жизни и творческой биографии поэта, который традиционно определяется как „поздний Жуковский”» (из предисловия).

«При всеобщем разрушении о своей маленькой персоне думать не следует. — И если бы жена была здорова, я смотрел бы на все с большим спокойствием духа, хотя все происходящее кругом имеет такую необъятную всемирно-историческую значимость, что все мысли им ежеминутно окованы. <...> самое верное теперь убежище — Россия. Но я принужден ждаться. Болезнь жены усилилась; она едва ходит; это чудовище, которое называют нервами, терзает и тело ее, и душу; не могу выразить Вам того чувства, которое давит при виде этих страданий, которые всего человека уничтожают и которых успокоить никакого нет способа. Соединение такого положения *дома* с теми действиями, которые совершаются *вне* дома, производит на душе нечто весьма тягостное. Но всякое даяние благо, и всяк дар совершен должен быть от Тебя, Отца Святого. Так и здесь» (из письма П. А. Плетневу, 1848).

«Я теперь с рифмою протислся. Она, я согласен, дает особенную прелесть стихам — у Языкова она совершенная волшебница, но мне она не под лета. Рифма для старого, еще не состарившегося душой поэта есть то же, что для старого мужа молодая жена (не такая, как моя для меня), но модница и вертушка. Моя жена своею молодостью дает настоящую зрелость моей старости; это сосуд живой воды, из которого я пью, отживая новую жизнь, дающую земной, прежней, уже испытанной жизни что-то свежее, новое, чистое и не пускающее в душу того увядания, которое по закону природы творится во всем внешнем, материальном. Жена-рифма не похожа на мою жену-жизнь. Она модница, нарядница, прелестница, и мне, ее старому мужу-поэту, пришлось бы худо от ее причуд» (из *огромного* письма А. П. Елагиной; полужирным шрифтом редакция «Нашего наследия» выделила фрагменты, публиковавшиеся ранее — в № 1 журнала «Москвитянин» за 1845 год).

Сергей Чупринин. Граждане, послушайте меня... — «Знамя», 2003, № 5.

Все о критике и о критиках. Все, что накопилось в душе С. Ч. Интонация — сейсмографическая. Трудно не согласиться.

Вот — об утратах: «Днем с огнем не сыщешь автора, который взялся бы сосредоточенно и ответственно объяснить, что происходит, допустим, в современной поэзии и как там сегодня обстоит дело с табелью о рангах, с соперничеством дарований, с соотношением прозаизмов и поэтизмов, с традициями и новаторством да мало ли еще с чем. Внятных высказываний о стилевых тенденциях и жанровых трансформациях я что-то давно не слышал, орудия и трофеи мировоззренческих дискуссий сданы в музей боевой славы, да и само словосочетание *литературный процесс* стало выходить из повседневного употребления... <...> И это грустно. Потому что единственное, другим не присущее знание, которым мы располагаем, — это знание контекста».

Елена Шварц. Кольцо Диоскуров. Стихи. — «Знамя», 2003, № 6.

О темной и глупой, бессмертной любви
 На русском, на звездном, на смертном, на кровном
 Скажу, и тотчас зазвенят позвонки
 Дурацким бубенчиком в муке любовной
 К себе и к Другому, к кому — все равно —
 Томится и зреет, как первое в жизни желанье,
 И если взрастить на горчичное только зерно —
 Как раненый лев упадет пред тобой мирозданье.

(«Солнце спускается в ад»)

В. С. Шефнер. Листопад воспоминаний. Публикация и подготовка текста Д. В. Шефнера и И. С. Кузьмичева. Вступительная заметка И. С. Кузьмичева. — «Звезда», 2003, № 5.

Один рассказ и фрагменты записных книжек недавно умершего прозаика и поэта.

Из «Меморий»: «Удобное кресло — на самом деле не самое удобное. В слишком удобной постели плохо засыпать. Помехи нужны. У Кушнера есть на этот счет хорошие строки».

«Ощущение первозданности мира. Утром, не проснувшись еще до конца, подхожу к окну. Вижу деревья, снег, собака бежит. Вижу, но еще не знаю, как все это называется. Еще не проснулся. (Мир еще не имеет наименований.)»

«Блокада. Труп ребенка, защищенный горизонтальными дверями бомбоубежища в саду, напротив Зверининской ул<ицы>».

«Если бы Ленинград сдали, я бы покончил с собой. Город без меня я могу себе представить, но себя без города — Ленинграда — я представить себе не мог (и не могу)».

Из «Записных книжек»: «Художник в камере нарисовал себя повесившимся. Когда вошел тюремщик, он увидел только изображение. Себя художник разрисовал под стену и спрятался в углу. Тюремщик побежал докладывать начальству, а художник выскользнул из камеры».

«У каждого человека бывают вспышки гениальности. И даже — периоды (может быть)». «Гениально — но скучно».

Николай Шлиппенбах. ...И явил нам Довлатов Петра. — «Звезда», 2003, № 5.

Нет, пусть уж лучше жизнь не вторгается в литературу. Выходит — хуже. Автор — персонаж рассказа «Шоферские перчатки» — излагает про то, как снимали кино о посещении царем современного Ленинграда — с Довлатовым в главной роли.

А уж когда в журнальной сноске читаешь, что Н. Ш. — прямой потомок шведско-го генерала, участника Полтавской битвы, — совсем неловко становится. Я-то был уверен, что это выдуманно... Даже если Шлиппенбах и реален! Так мы, глядишь, и до рубрики «Воспоминания прототипов» докатимся.

Составитель Павел Крючков.



АЛИБИ: «Редакция, главный редактор, журналист не несут ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности и порочащих честь и достоинство граждан и организаций, либо ущемляющих права и законные интересы граждан, либо представляющих собой злоупотребление свободой массовой информации и (или) правами журналиста: <...> если они являются дословным воспроизведением сообщений и материалов или их фрагментов, распространенных другим средством массовой информации, которое может быть установлено и привлечено к ответственности за данное нарушение законодательства Российской Федерации о средствах массовой информации» (статья 57 «Закона РФ о СМИ»).



АДРЕСА: авторская страница поэта, критика, эссеиста Владимира Губайлового: <http://magazines.russ.ru/novyi_mi/redkol/gubail>



ДАТЫ: 7 (19) сентября исполняется 200 лет со дня рождения писателя Николая Филипповича Павлова (1803 — 1864); 26 сентября (8 октября) исполняется 180 лет со дня рождения публициста, критика, поэта Ивана Сергеевича Аксакова (1823 — 1886); 7 (19) сентября исполняется 125 лет со дня рождения Михаила Андреевича Осоргина (Ильин; 1878 — 1942); 11 сентября исполняется 100 лет со дня рождения немецкого философа, музыковеда, литературного критика Теодора Адорно (1903 — 1969).



ИЗ ЛЕТОПИСИ «НОВОГО МИРА»

Сентябрь

5 лет назад — в № 9, 11 за 1998 год напечатана первая часть воспоминаний Александра Солженицына «Угодило зёрнышко промеж двух жерновов. Очерки изгнания».

10 лет назад — в № 9 за 1993 год напечатана комедия Андрея Платонова «Ноев ковчег (Каиново отродье)».

75 лет назад — в № 9 за 1928 год напечатана поэма Э. Багрицкого «Веселые нищие».

ИЗ ПОЭЗИИ «НОВОГО МИРА»

Э. БАГРИЦКИЙ

ВЕСЕЛЫЕ НИЩИЕ

(Р. Бёрнс)

Листва набегом ржавых звезд
Летит на землю, норд-ост
Свистит и стонет меж стволами,
Траву задела седина,
Морозных полдней вышина
Встает над сизыми лесами...
Кто в эту пору изнемог
От грязи нищенских дорог,
Кому проклятья шлют деревни:
Он задремал у очага,
Где бычья варится нога,
В дорожной воровской харчевне;
Здесь Нэнси нищенский приют,
Где пиво за тряпье дают...
Здесь краж проверяется опыт
В горячем чаду ночников...
Харчевня трещит: это топот
Обрушенных в пол башмаков...
К огню очага придвигается ближе
Безрукий солдат, горбоносый и рыжий,
В клочки изодрался багровый мундир...
Своей одинокой рукою
Он гладит красотку, добытую с бою,
И что ему холодом пахнувший мир...
Красотка не очень красива,
Но хмелем по горло полна,
Как кружку прокисшего пива,
Свой рот подставляет она...
И, словно удары хлыста,
Смыкаются дружно уста...
Смыкаются и размыкаются громко,
Прыщавые лбы освещает очаг...
Меж тем под столом отдыхает котомка —
Знак Ордена Нищих,
Знак Братства Бродяг...

.....

SUMMARY



This issue contains a novel by Aleksander Melikhov «The Plague», a story by Vladimir Makanin «The Older People» as well as three stories by Vyacheslav Pietsukh. The poetry section of this issue is made up of the new poems by Inga Kuznetsova, Igor Melamed, Tatyana Milova and Kiril Kovaldgy.

The sectional offerings of this issue are as follows:

Studies of Our Days: an essay by Boris Yekimov «The Abandoned Farmsteads».

Close and Distant: an essay by Yury Sakkov «Two Half Years Missed. A Brief Passion of Hollywood».

Time and Morals: an article by Yulia Ushakova «Atypical Religiosity in Post Soviet Russia» and an article by priest Vladimir Vigilyansky «Mass Media and Orthodoxy».

The Writer's Diary: an essay by Aleksander Kushner «Zabolotsky and Pasternak».



«Редакция не обязана отвечать на письма граждан и пересылать эти письма тем органам, организациям и должностным лицам, в чью компетенцию входит их рассмотрение» (Закон РФ «О средствах массовой информации», ст. 42).

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Словесное сочетание «НОВЫЙ МИР» зарегистрировано ЗАО «Редакция журнала „Новый мир“» в качестве товарного знака по классам МКТУ 16, 38, 41, 42.

Редакция журнала «Новый мир» не имеет никакого отношения к деятельности одноименных компаний в Москве и за ее пределами.

Общественный совет: С. С. Аверинцев, А. Г. Битов, С. Г. Бочаров,
А. Г. Волос, Д. А. Гранин, В. А. Губайловский, Б. П. Екимов,
Ф. А. Искандер, Ю. М. Каграманов, А. А. Ким, А. С. Кушнер, А. Н. Латынина,
Б. Н. Любимов, А. М. Марченко, В. С. Непомнящий, П. А. Николаев, О. А. Славникова,
Т. В. Чередниченко, М. О. Чудакова

Главный редактор А. В. Василевский

Редакционная коллегия: М. В. Бутов, Р. Т. Киреев, С. П. Костырко,
П. М. Крючков, Ю. М. Кублановский, О. И. Новикова, И. Б. Роднянская,
О. Г. Чухонцев

Корректоры Н. Н. Замятина, Т. И. Филиппова

Редактор-библиограф А. И. Фрумкина

Компьютерная верстка — И. Н. Колесникова

Компьютерный набор — Т. В. Дорофеева

Адрес редакции: 127994, ГСП-4, Москва, К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2.

Телефоны: главный редактор — 209-57-02, ответственный секретарь — 209-91-81,

отдел прозы — 200-54-96, отдел поэзии — 229-56-92, отдел критики — 209-05-88,

зав. редакцией (хозяйственные вопросы) — 209-62-68,

для справок, продажа журналов — 200-08-29.

Факс: 200-08-29. Электронная почта: newworld@newtimes.ru;

по вопросам зарубежной подписки: novy-mir@mtu-net.ru

Сетевой журнал «Новый мир»: http://magazines.russ.ru/novy_mi

Свидетельство Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций ПИ № 77-15286 от 28 апреля 2003 г.

Учредитель и издатель — ЗАО «Редакция журнала „Новый мир“».

Сдано в набор 20.05.2003 г. Подписано к печати 30.07.2003 г. Формат бумаги 70x108 1/16. Бумага кн.-журн.

Высокая печать. Объем 15,0 печ. л., 21,0 усл. печ. л., 27,0 уч.-изд. л.

Тираж 9000 экз. Зак. 3329. Цена договорная.

Отпечатано с оригинал-макета в ФГУП Издательство «Известия» Управления делами Президента РФ, 101999, ГСП-9, Москва, К-6, Пушкинская пл., д. 5.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ ИМЕНИ ЮРИЯ КАЗАКОВА

Премия имени Юрия Казакова присуждается с 2000 года автору, живущему и работающему в России, за рассказ на русском языке, впервые напечатанный в текущем году на территории России (циклы и сборники рассказов, рукописи и сетевые публикации не рассматриваются).

По итогам 2000 года лауреатом премии стал ИГОРЬ КЛЕХ, по итогам 2001 года — ВИКТОР АСТАФЬЕВ (посмертно), по итогам 2002 года — АСАР ЭППЕЛЬ.

Правом выдвижения произведений на премию обладают критики, издатели и творческие организации.

Выдвигаемые произведения направляются в редакцию журнала «Новый мир» с пометкой «На премию имени Юрия Казакова» до 1 декабря 2003 года.

Объявление лауреата 2003 года и торжественное вручение премии состоится в начале 2004 года.

Состав жюри и размер премии будут объявлены дополнительно.

Контактный телефон: (095) 209-57-02

E-mail: newworld@newtimes.ru